ISSN 0130-6545

11.1999

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

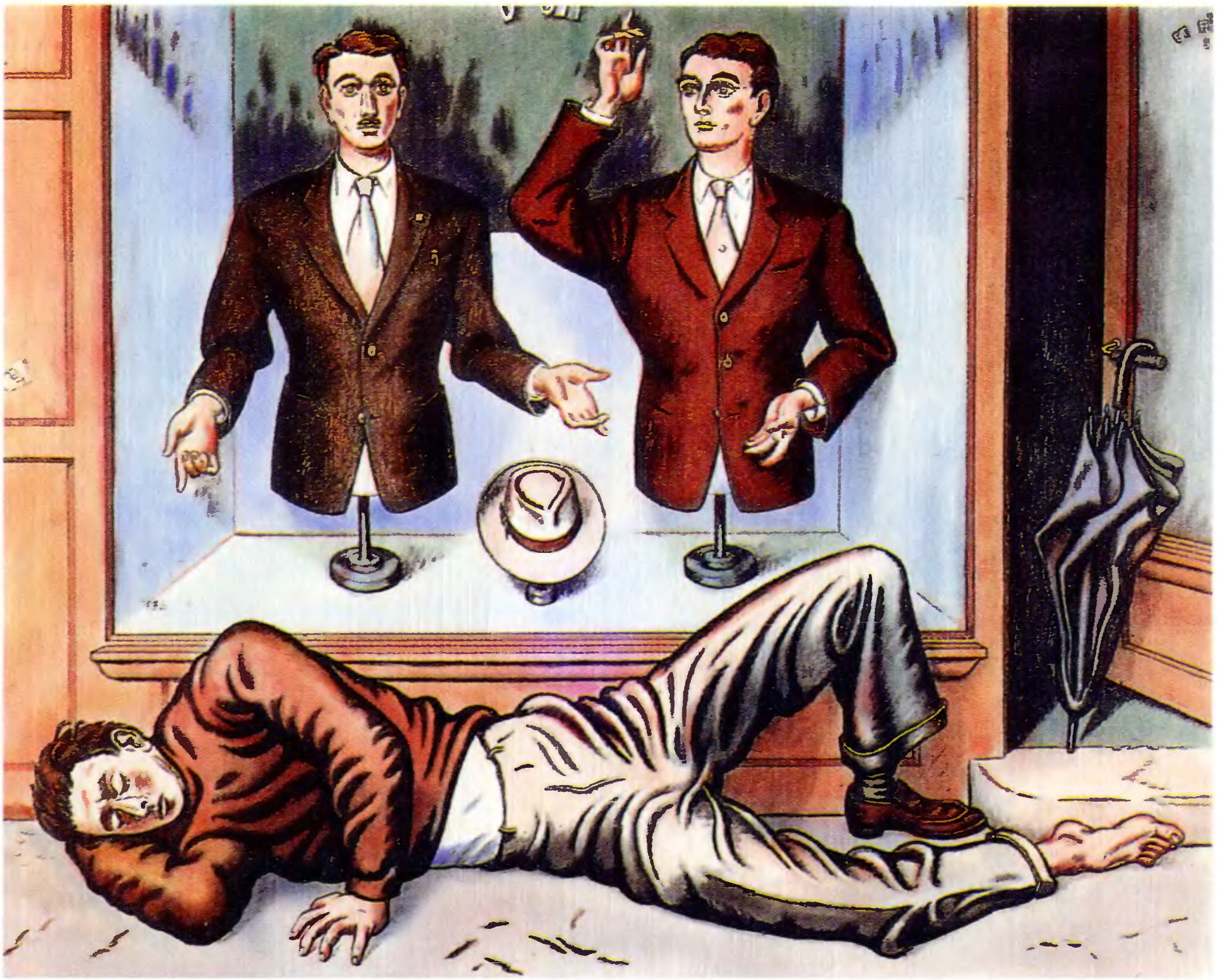
В номере:

КРИСТОФЕР БАКЛИ
Здесь курят

РАДЕК КНАПП
Франек

ХАРРИ МУЛИШ
Симметрия

ЛИТературный гид ЖИЗНЬ КАК РОМАН-2



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

**Из общего тиража в 13 300 экземпляров
Институт «Открытое общество» ежемесячно
выкупает и безвозмездно направляет
в библиотеки России и ряда стран СНГ 3 500 экземпляров.**

**Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует ЗАО КОНВЕРСБАНК (Акционерный банк Конверсии).**

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Н.А. БОГОМОЛОВА — заведующая отделом критики и публицистики
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — ответственный секретарь
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
ОСНОВАН В 1891 ГОДУ.
ДО 1943 ГОДА ВЫХОДИЛ ПОД НАЗВАНИЯМИ «ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ», «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА».
С 1955 ГОДА — «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

11 ноябрь 1999

СОДЕРЖАНИЕ

КРИСТОФЕР БАКЛИ — Здесь курят *(Роман. Перевод с английского Сергея Ильина)*..... 5
ХАРРИ МУЛИШ — Симметрия *(Рассказ. Перевод с нидерландского С. Белокриницкой)*..... 101
Из книги «Лучшие американские стихи 1998 года» *(Перевод с английского и вступление Г. Кружкова)*..... 106
РАДЕК КНАПП — Франек *(Рассказ. Перевод с немецкого Е. Соколовой. Вступление Станислава Лема)*..... 111

Литературный гид

ЖИЗНЬ КАК РОМАН-2

ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ — Три жизни Габриеле Д'Аннунцио. ГАБРИЕЛЕ Д'АННУНЦИО — Речь, произнесенная с балкона Капитолия 17 мая 1915 года *(Перевод с итальянского И. Кормильцева)*. Ноктюрн *(Фрагмент книги. Перевод с итальянского С. Герье под редакцией А. Смирнова)*..... 138
М. АННИНСКАЯ — Творивший легенды. БОРИС ВИАН — Квартира в наперстке *(Рассказ. Перевод с французского М. Аннинской)*..... 162
СЕРГЕЙ ДУБИН — «Самоубитые обществом»: Риго, Ваше, Краван. ЖАК РИГО — Э.Л. *(Рассказ)*. ЖАК ВАШЕ — Письма с войны. АРТЮР КРАВАН — Оскар Уайльд жив! *(Рассказ. Переводы с французского С. Дубина)*..... 185

Эпистолярий

«Храни меня в своем сердце!». *(К 250-летию со дня рождения Иоганна Вольфганга Гёте)*. ЗИГРИД ДАММ — «Ах, но ты же не оставишь меня одну!». Кристиана и Гёте. Из семейной переписки *(Перевод с немецкого Г. Косарик)*..... 207

Статьи, эссе

АЛЕНА ЗЛОБИНА — Зеркало. *Шекспир на московской сцене и вокруг*..... 230

Галерея «ИЛ»

АЛЕКСЕЙ МОКРОУСОВ — Счастливый побег, или Время манекенов. *Жан Эльон и соблазны эпохи*..... 238

Среди книг

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ — «Друг друга отражают зеркала». МИХАИЛ ВИЗЕЛЬ — Прореха в ткани бытия. БОРИС ДУБИН — Прирученная бесконечность словаря..... 241

У книжной витрины..... 247

Курьер «ИЛ»..... 249

Авторы этого номера..... 252

©«Иностранная литература», 1999

В следующем номере «ИЛ»

Рассказы одного из лучших английских писателей XX века **Дилана Томаса**, посвященные вечным темам: детство, дружба, чувство родины, смерть.

«ВСЕ, НАКОНЕЦ» — экстравагантная пьеса-монолог известного австрийского драматурга **Петера Туррини**.

В рубрике *«ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»* — «ПСАЛОМ» крупнейшего немецкоязычного поэта **Пауля Целана**: девять русских версий текста и эссе французского философа **Филиппа Лаку-Лабарта** «МОЛИТВА».

Литературный гид «ТЕНЬ НАБОКОВА», посвященный столетнему юбилею классика, вовлекает читателя в стихию игры, спровоцированной гением писателя: он предстает здесь не только автором, но и объектом исследования, и даже персонажем. Мы печатаем фрагмент из книги **Владимира Набокова** «УБЕДИТЕЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО», роман французского прозаика **Эрика Орсенна** «ДВА ЛЕТА», повесть-мистификацию **Чарльза Кинбота** «СЕРЕБРИСТЫЙ СВЕТ» и дающее неожиданный поворот теме эссе **Алексея Медведева**.

Цветные иллюстрации номера — работы французского художника ЖАНА ЭЛЬОНА (1904 — 1987):

На 1-й стр. обложки — «Выход П. ...» (1977)
На 2-й стр. обложки — «Большая витрина» (1945)
На 3-й стр. обложки — «Фигуры дождя» (1951)

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
«Летний сад» — ул. Большая Никитская, д.46
«Мир печати» — ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://www.infoart.ru/magazine/inostran

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

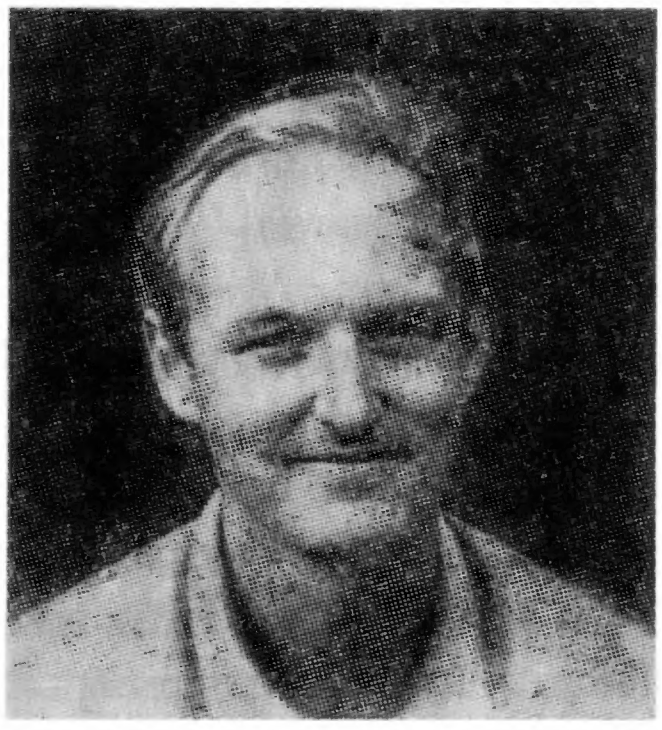
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 30.09.99. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,34. Заказ №4835.

Тираж 13 300 экз.

Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой «Красный пролетарий», 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.



КРИСТОФЕР БАКЛИ

Здесь курят

РОМАН

Перевод с английского СЕРГЕЯ ИЛЬИНА

ОТ АВТОРА

Кое-кто из реально существующих людей появляется в книге под своим именем, однако все это — выдумки.

Пролог

До того как Ник Нейлор стал главным общественным представителем Академии табачных исследований, его, случалось, обзывали по-всякому, однако с Сатаной так вот прямо никто покамест не сравнивал. Председательствующий — давний получатель обильных правительственных дотаций, вдохновлявших его на неустанную священную войну с индустрией, которая поставляла пятидесяти пяти миллионам страдающих хроническим кашлем американских курильщиков предметы любезного их сердцам, хоть и неотделимого от чувства вины удовольствия, — тыкал теперь указкой в картинку, спроецированную на пещерную стену бальной залы отеля, в которой проводилась эта конференция. Рогов или там хвоста Нику не пририсовали, пострижен он тоже был по-людски и вообще походил на человека, с которым разминешься в коридоре и не оглянешься, вот только кожа у него была такой красной, как будто он сию минуту искупался в воде, омывшей ядерный реактор, а глаза — сверкающими, бойкими глазками сводника. Подпись, выполненная гарнитурой, явно позаимствованной с пачки сигарет, — у себя в конторе они называли ее «истерика полужирная», — гласила: **«Предупреждаем: есть люди, способные сказать что угодно, лишь бы продать Вам сигареты».**

Аудитория, состоящая из 2500 «профессиональных здравоохмурителей», как назвал их про себя Ник, пролиставший список участников, в котором ему удалось обнаружить и нескольких дипломированных докторов, завидев слайд, удовлетворенно заурчала. Это их урчание Ник знал, и знал хорошо. В воздухе явственно пахнуло котовником, и Ник представил, как «здравоохмурители» точат когти о ножки своих стульев. «Я уверен, что следующий наш... э-э... оратор...» — председательствующий запнулся, слово было слишком невыразительным для описания человека, который зарабатывает на жизнь, уничтожая по 1200 человек в день. Двенадцать сотен людей ежедневно — два аэробуса, набитых мужчинами, женщинами и детьми. Да-да, он убивает и невинных детей тоже, отнимая у них светлое будущее, радостные мгновения победных голов, надежду на окончание школы, а там и университета, счастливый брак, отцовство, возможность реализовать свои способности в любимой профессии, добиться выдающихся успехов в технике, медицине, экономике, — и кто знает, сколькие из них могли бы получить Нобелевскую премию?

© 1994 by Christopher Taylor Buckley
© С. Ильин. Перевод, 1999

Агнцы, обреченные на заклание Николасом Нейлором и прочими приспешниками табачной индустрии, которую он так велеречиво защищает. Более 400 000 в год! Геноцид, вот что это такое. Человеку чувствительному просто не по силам удержаться от слез при мысли о таком числе — да, именно жертв, жизни которых обращены в груду окурков, дотлевающих в колоссальной пепельнице корпоративной алчности, вот этим высоким, ухоженным, одетым в хороший костюм сорокалетним палачом, который, конечно же, «...не нуждается в представлении».

Бессмысленно пытаться умягчить эту свору обычным неискренним юмором, который в Вашингтоне сходит за искреннее самоуничижение. Пожалуй, неискренняя серьезность будет повернее.

— Хотите верьте, хотите нет, — начал Ник, теребя свой шелковый галстук, дабы показать, что нервничает, хоть он ничуть не нервничал, — но мне очень приятно участвовать в симпозиуме «Чистые легкие — 2000».

Двадцатый век, жалуясь и покряхтывая, влачится к концу, и какую конференцию ни возьми, всякая называется «То да се — 2000», норовя внушить мысль, что она-де посвящена наиважнейшим вопросам, рассмотрение которых невесть почему было отложено на целую тысячу лет, — а на самом деле, пытаясь привлечь внимание какого-нибудь из комитетов Конгресса по ассигнованиям, или «титьки», как называют их между собой падкие до привилегий корпорации, которые тем, собственно, и кормятся, что сосут средства из государства. «Интересно, — думал Ник, — конференции 1890-х были такими же? Проводился ли, скажем, в ту пору субсидируемый федеральным правительством симпозиум «Кучерской кнут — 1900»?»

Аудитория не откликнулась на вступительное излияние Никовых чувств. Но и не ошикала его. Он взглянул на ближайший стол, круглый стол, за которым сидели ненавистники особенно ярые. Самые ярые обычно усаживаются поближе и что-то лихорадочно строчат в блокнотах — купленных, между прочим, на деньги налогоплательщиков США, — блокнотах, которые они обнаружили в якобы замшевых кейсах, также оплаченных несчетными налогоплательщиками и украшенных красиво оттисненной эмблемой конференции «Чистые легкие — 2000». Они отвезут эти кейсы домой и подарят детишкам, сэкономив на приобретении новой футболки. «Мой предок сгонял в Вашингтон, и все, что он мне привез, — вот этот занюханный кейсик». Ненавистники, взвинченные предыдущими докладчиками до экстатического восторга ревнителей нового пуританизма, теперь понемногу впадали в мыслительный ступор и свирепо таращились на Ника снизу вверх.

— Потому что, — продолжал Ник, которого бесполезность происходящего начинала уже утомлять, — я твердо верую в то, что нам нужна не столько конфронтация, сколько консолидация.

Целиком украдено из «Курса бессмысленной, но ритмичной элоквенции» Джесси Джексона[1] — ну и ладно, зато работает безотказно.

— И я особенно благодарен организаторам «Чистых легких — 2000»... — произносится с тонкой иронией, дабы организаторы поняли, что ему известно, до чего отчаянно — совсем как морские пехотинцы на горе Сирубачи[2] — они сражались, стараясь не допустить его сюда, — за то, что они в конце концов согласились сделать эту конференцию *конференцией* в самом полном смысле слова. Я всегда твердо веровал, что, имея дело с вопросами такой сложности, как наши, следует побольше говорить не друг о друге, но друг с другом.

Ник сделал паузу, позволяя слушателям оценить изящную подстановку — «вопро-

---

[1] Джесси Джексон (род. в 1941 г.) — политический деятель, один из лидеров движения американских негров за равные гражданские права. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Гора на японском острове Иводзима, при взятии которого войсками США в начале весны 1945 г. погибло более 5 тыс. морских пехотинцев.

сы» вместо «прав табачной индустрии истреблять по полмиллиона американцев в год».

Пока все идет хорошо. Никто не вскакивает, не орет: «Массовый убийца!» После того как тебя поставят в один ряд с Гитлером, Сталиным и Пол Потом, бывает порой трудно собраться с мыслями.

Впрочем, когда дело дошло до ответов на вопросы, это все же случилось. В центре зала воздвиглась женщина и сообщила, вызвав радостный гогот, что Ник «представляется ей приятным молодым человеком»; затем она сказала, что хочет «поделиться с ним своим недавним опытом». Ник внутренне подобрался. «Обмен опытом» с кем бы то ни было из этой своры не сулил ничего хорошего. Женщина живо описала подробности «отважной борьбы» дорогого ей, ныне усопшего человека с раком легких. Затем, скорее в грусти, чем в гневе, спросила Ника: «Как вы можете спать по ночам?»

Ник, не впервые попадавший в такое положение, сочувственно кивал, слушая рассказ о последних героических часах дядюшки Гарри.

— Я благодарен вам, мадам, за то, что вы поделились с нами вашим опытом, и, полагаю, выражу чувства всех присутствующих, сказав, что все мы сожалеем о вашей трагической утрате, однако мне кажется, что вопрос, который стоит перед нами сегодня, сводится к тому, желаем ли мы, американцы, жить, сохраняя верность таким документам, как Декларация независимости, Конституция и Билль о правах. Если мы отвечаем «да», тогда, я думаю, путь, лежащий перед нами, ясен. И я уверен, что, если бы ваш дядюшка, бывший, несомненно, прекрасным человеком, оказался сегодня здесь, он наверняка согласился бы с тем, что, принявшись переиначивать главные принципы, заложенные нашими отцами-основателями, многие из которых и сами были, как вы помните, табачными фермерами, — переиначивать, опираясь всего лишь на разного рода откровенно ненаучные домыслы, мы поставим под угрозу не только нашу свободу, но и свободу наших детей и внуков.

Тут важно было не останавливаться, дабы не помешать этому сногсшибательному по алогичности выводу окрасить собою процессы, протекающие у слушателей в мозгу.

— В антитабачной истерии нет ничего особенно нового. Вы, разумеется, помните турецкого султана Мурада IV, — разумеется, никто из них ни о каком Мураде IV и слыхом не слыхивал, однако толика интеллектуальной лести всегда воспринимается с удовольствием. — Мурад, как вы помните, вбил себе в голову, что курение недопустимо, и поставил курильщиков вне закона, и сам, переодеваясь простым турком, выходил по ночам в Стамбул и бродил по улицам, изображая никотиновое голодание и умоляя продать ему немного табаку. А когда кто-то проникался к нему жалостью и давал покурить, Мурад — шарах! — сносил ему голову прямо на месте. И оставлял тело разлагаться на улице. **«ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: продажа табака Мураду IV может быть опасной для Вашего здоровья».** — Ник решил, что пора закругляться. — Мне хочется думать, что мы как нация далеко ушли от дней массовых казней за преступление, состоящее в стремлении следовать нашим собственным понятиям о счастье.

После столь удачного уподобления действий современных противников курения погромным подвигам кровожадного турка семнадцатого столетия Ник мог позволить себе удалиться, испытывая удовлетворение оттого, что ему удалось отбить у этой орды несколько дюймов территории. Не бог весть какой плацдарм, но в этой войне и его захват сходил за большую победу.

1

Когда Ник вернулся к себе в контору, на лотке с биркой «Пока вас не было» его ожидала пухлая стопка розовых листков. Академия размещалась в одном из любопытнейших зданий К-стрит — десятиэтажном, с атриумом посередке, в который выходили увитые плющом балконы. Общее впечатление оставалось словно бы от вывернутых наизнанку Висячих садов Вавилона. На первом этаже огромный неодекоклассический фонтан из-

вергал и сразу же усмирял плещущий поток белого шума. Академия табачных исследований обосновалась в трех верхних этажах. Нику, занимавшему в АТИ — или Академии, как по требованию БР обязаны были называть ее сотрудники, — пост старшего вице-президента по связям с общественностью, полагался по чину внешний угловой офис, но он предпочел внутренний, и тоже угловой, потому что любил звук текущей воды. К тому же здесь он мог оставлять дверь открытой, чтобы сквозь нее выносило в портик табачный дым. Даже курильщикам следует заботиться о хорошей вентиляции.

Он пролистал пачку розоватых узких листков, дожидавшихся его на стойке приемной. «Си-би-эс ждет нашей реакции на призыв ГВ[1] запретить размещение рекламы табака вдоль шоссейных дорог». Эй-би-си, Эн-би-си, Си-эн-эн и т.д. и т.п. — все они ждут того же, за исключением «Ю-Эс-Эй тудей», которому требуется наша реакция на завтрашнюю статью в «Медицинском журнале Новой Англии», содержащую заключение медицинской науки насчет того, что курение, помимо прочего, ведет к некоей «болезни Бюргера» — расстройству системы кровообращения, чреватому ампутацией всех конечностей до единой. «Хоть бы раз, — подумал Ник, — вернуться в офис и обнаружить что-нибудь отличное от обвинений в новых жутких болезнях».

— Вам мать звонила, — протягивая ему последний листок, сказала Морин, секретарша, ведающая приемом посетителей и ответами на звонки. — Доброе утро, — тут же прощебетала она в телефон, после чего выдохнула клуб дыма и закашлялась. То был не грациозный, прочищающий горло кашелек, но взревы легочного бульдозера. — Академия — агрр! — табачных — кхаа! — исследований.

Ник давно уже задавался вопросом: такой ли уж плюс для них телефонистка, не способная выговорить «алло» без бронхиальных судорог?

Морин ему нравилась. Может быть, сказать ей, чтобы не кашляла в присутствии БР? За последние шесть месяцев у нас и так слетело немало голов. Теперь тут правил Мурад IV.

Войдя в кабинет, Ник стянул с себя новую спортивную куртку от Пола Стюарта и повесил ее на дверь. Одна из хороших сторон смены руководства Академией состояла во введении новых правил по части одежды. Появившись в Академии, БР первым делом созвал всех сотрудников отдела по связям с общественностью, которым приходилось появляться перед телекамерами, и объявил, что не желает, чтобы они выглядели как орава задрипанных бомжей с К-стрит. «Часть нашей проблемы, — сказал он, — состоит в том, что табак утратил сексуальную привлекательность». Он хочет, сказал БР, чтобы его сотрудники выглядели, как люди с рекламной картинки, а не как жмотье, прибарахлившееся на распродаже универмага «Джей-Си Пенни»[2] в День рождения Вашингтона[3]. После чего он выдал каждому по пять тысяч долларов на покупку одежды, и каждый, уходя с того совещания, думал: «Вот это босс!» Половина из них, вернувшись к своим столам, обнаружила уведомление об увольнении.

Ник взглянул на собственный стол и нахмурился. Черт знает что! Он не педант, он готов мириться с определенным беспорядком, но ему вовсе не хочется становиться мусорным ящиком, которым пользуется кто ни попадя. Он уже объяснил это Дженнет, и та с обычной своей серьезностью заверила Ника, что все поняла, — но тем не менее продолжает использовать его письменный стол как компостную яму. Сложность состояла в том, что хотя Дженнет как сотрудница отдела по связям с общественностью формально подчинялась Нику, однако, с другой стороны, БР притащил ее с собой из Ассоциации автоматической торговли, причем и он и она явно души друг в друге не чаяли. Странно, но вела себя Дженнет так, будто Ник и есть ее настоящий босс — высшая, низшая и какая угодно инстанция.

---

[1] Главный врач государственной службы здравоохранения. Именно его предупреждение о вреде курения печатается на каждой упаковке табачных изделий.

[2] Компания, владеющая сетью из примерно 4 тыс. универсальных магазинов.

[3] Официальный праздничный день — третий понедельник февраля.

Она свалила на его стол пять пачек отчетов АООС[1] о пассивном курении, все с пометками «Срочно». Ник коллекционировал ножи. Так Дженнет уложила поверх одной из пачек принадлежащий ему кинжал в кожаных ножнах, с каким племя масаи охотится на кабанов. Не издевка ли это, закамуфлированная под аккуратность?

Позвонила его секретарша Гэзел: БР просил передать, что желает увидеть Ника, как только тот вернется с «Чистых легких». Ник решил, что сразу к БР не пойдет. Сделает несколько звонков, а уж *после* отправится отчитываться перед начальством. Вот так. И Ник ощутил облегчение, просто-таки раздулся от ощущения собственной независимости.

Через несколько минут Гэзел, словно прочитав его мысли, позвонила опять:

— Ник, БР сказал — как только ты вернешься.

Гэзел, хорошенькая черная мать-одиночка, только-только разменявшая четвертый десяток, вертела Ником как хотела, поскольку Ник, выросший в доме, которым заправляла черная служанка старой выучки, смиренно выслушивал любой сделанный негритянкой выговор.

— *Да*, Гэзел, — кисло ответил он, даже этим изрядно перенапрягши свою способность к сопротивлению. Он понимал, что́ происходит в ее умной головке: Гэзел знала, что Дженнет нацелилась на его место и что ее, Гэзел, работа зависит от того, сохранит ли Ник свою.

И все же он не позволит секретарше помыкать им. Утро выдалось тяжелое, ему необходимо отдышаться. С обрамленной серебром фотографии на него смотрел двенадцатилетний Джой. Долгое время Джой смотрел на кушетку, стоявшую напротив стола, но в один прекрасный день репортерша из журнала «Здоровье Америки» — интервью с ней вовсе не обещало благосклонной рекламы, однако приходится давать и такие, иначе эти ублюдки просто объявят, будто табачное лобби не желает с ними разговаривать, — так вот, эта баба приметила фотографию и самым любезным тоном спросила: «Ой, это ваш сын?» Ник просиял, как и положено гордому своим отпрыском папочке, и подтвердил ее догадку, после чего она ему вмазала: «И как он относится к вашей пропаганде курения среди несовершеннолетних?» С того дня портрет Джоя от кушетки отвернулся.

Ник потратил немало времени, обдумывая психологическую тональность убранства своего кабинета. Над его письменным столом висел большой плакат, гласивший: «Курение есть основная причина существования нашей статистики». Фразу эту он услышал от одного из адвокатов юридической компании «Смут и Хокинг» из Омахи, которая вела большую часть дел по искам, предъявляемым табачным компаниям людьми, которые всю жизнь прикуривали одну сигарету от другой, а обнаружив, что умирают от рака легких, решали, что им причитается компенсация.

Над кушеткой красовались оригиналы двух рекламных объявлений из журналов сороковых и пятидесятых годов. Первое изображало старомодного доктора из тех, что, получив вызов, выезжали к пациентам домой и даже пробивались сквозь пургу, дабы принять роды. Улыбающийся доктор протягивал пачку «Лаки» с таким выражением, словно это не сигареты, а спасительная упаковка эритромицина. «20 679* врачей утверждают: от «Лаки» не так першит в горле», — сообщала подпись. Звездочка указывала, что врачей этих действительно пересчитала самая настоящая, специализирующаяся на сборе статистики фирма. Насколько легче было работать, когда медицина стояла на твоей стороне!

Второй плакат показывал, как «Кэмел» помогает человеку переваривать, блюдо за блюдом, обед, съедаемый в День благодарения. «Начните с настоящей еды — с хорошо проперченного томатного супа-пюре. И сразу после супа выкурите — для улучшения пищеварения — сигарету «Кэмел». Еще одну надлежало употребить перед второй порцией индейки. Почему? Потому что «Кэмел» снимает напряжение. «Подстегните ваш желудочный сок. Увеличьте щелочность организма». Потом еще одну перед салатом

---

[1] Агентство по охране окружающей среды.

«Уолдорф». И еще одну после. «Эта двойная пауза очистит ваше нёбо и подготовит почву для десерта». А там и еще одну, под пирог с черносливом, — «чтобы окончательно создать у вас ощущение уюта и приятное настроение». Итого, стало быть, пять, и это только за обедом. А уж как подадут кофе, так вытаскивайте из кармана всю пачку и устройте себе настоящий загул. «Для улучшения пищеварения».

БР во время единственного предпринятого им до сей поры обхода трущоб, сиречь кабинетов сотрудников, долго глазел на этот плакат, как бы пытаясь понять, достойно ли украшение подобного рода того, чтобы висеть в кабинете старшего вице-президента по связям с общественностью. Его предшественник, Джи-Джи Холлистер, нанявший Ника после малоприятного разговора, — вот кто был табачником старой школы, человеком, способным под одну только благодарственную индейку выкурить десяток «Кэмел», человеком, родившимся с табачной смолкой в крови. Отличный был мужик, добрый, заботливый, любивший после работы посидеть в конторе с «хайболлом» в руке, рассказывая байки о прежних временах, о сражениях с Лютером Терри, который еще в 1964-м, будучи Главным врачом, представил правительству совершенно катастрофический доклад. Ник особенно любил ту историю Джи-Джи, в которой...

— Ник, он сказал — немедленно...

В конце концов, это невыносимо. Он этого не потерпит.

— Я *знаю*, Гэзел.

«Да пошли они все, — думал он, перебирая, точно никчемную покерную масть, розовые листки, — подождут, и Гэзел и БР». У него работы по горло.

Он позвонил в несколько телевизионных компаний и, как обычно, сообщил о своей готовности «где и когда угодно» подебатировать с Главным врачом на тему рекламных щитов, — собственно говоря, и на любую другую. Главный врач, со своей стороны, отклоняла все приглашения Ника на том основании, что она не желает позорить свое ведомство, появляясь перед публикой в обществе представителя «индустрии смерти». Тем не менее Ник посылал вызов за вызовом. Все лучше, чем объяснять, что табачные компании имеют конституционное право лезть со своей рекламой к детишкам из гетто.

Так, теперь болезнь Бюргера. От нее легко не отделаешься. Ник поразмыслил несколько минут и позвонил Биллу Олбрайту из «Ю-Эс-Эй тудей». Ему вовсе не хотелось вдаваться в обсуждение деталей заболевания и еще менее того — видеть свое имя пристегнутым к цитате, содержащей слово «ампутация».

— Ну-с, — начал он скорее в грусти, чем в гневе, — почему бы и впрямь не повесить на нас болезнь Бюргера? На нас теперь каких только собак не вешают. С неделю назад я прочитал, что сигареты расширяют озонную дыру, так давайте в нее и Бюргера. Кто там у нас на очереди? Дельфины? Судя по тому, как развиваются события, мы уже на следующей неделе узнаем, что дельфины, являющиеся, как принято считать, замечательнейшими среди мелких морских млекопитающих, мрут, давясь сигаретными фильтрами, которые люди швыряют в океан с круизных судов.

На самом деле ничего подобного Ник насчет озонной дыры не читал, но, поскольку Билл был другом, Ник полагал, что может наврать ему, не покривив душой. С другого конца линии донеслось мягкое пощелкивание клавиатуры. Билл записывал сказанное. Каждый из них играл отведенную ему роль.

— Ник, — сказал Билл, — насчет этого отчета в «Медицинском журнале Новой Англии»...

— К коему я питаю величайшее уважение. Но могу ли я задать один-единственный вопрос?

— Ну?

— Где данные?

— Что значит, «где данные»? В «Медицинском журнале Новой Англии». Ради бога, там одни только цифры и есть.

— Исследования проводились двойным слепым методом?

— Конечно.

Фатальное колебание. В атаку!

— И сколь же велика была контрольная группа?

— Брось, Ник.

— Так это было исследование с заранее предсказанным результатом?

— Ты хочешь, чтобы тебя упомянули в статье, или не хочешь?

— Разумеется.

— Хочешь, чтобы я использовал твое «иде данные»?

— «*Где* данные», а не «иде данные». Ради бога, можешь изображать меня бессердечным прохвостом, пресмыкающимся перед табачными корпорациями, но не делай из меня безграмотного, бессердечного прохвоста, пресмыкающегося перед табачными корпорациями.

— То есть твой комментарий сводится к тому, что «Медицинский журнал Новой Англии» сам не понимает, что говорит?

— Мой комментарий таков... — Ну, и каков же? В поисках вдохновения Ник обратил взгляд к доктору с пачкой «Лаки». — Болезнь Бюргера была диагностирована совсем недавно. Это сложная, а на самом деле *чрезвычайно* сложная патология. Одна из сложнейших в области нарушений кровообращения. — Во всяком случае, он надеялся, что это так. — При всем моем уважении к науке, я полагаю, что необходимы дальнейшие исследования, прежде чем она, наука, схватив намыленную веревку, займется линчеванием традиционных подозреваемых.

Клавиатура Билла щелкала безостановочно.

— А могу *я* тебя кое о чем спросить? — Что-то Билл нынче разошелся. Обычно он записывает то, что ему говорят, вставляет записанное в статью и берется за следующую.

— О чем? — подозрительно осведомился Ник.

— Ты действительно веришь в то, чем занимаешься? Потому что впечатление складывается именно такое.

— То, чем я занимаюсь, помогает мне оплачивать закладную, — сказал Ник, уже столько раз прибегавший к этому рационалистическому объяснению, что от него начало попахивать оправдательными речами Нюрнбергского процесса: «Я фсего лишь хотел отплатить дзакладную...»

— Ник, он только что звонил. Он *хочет* видеть тебя. *Немедленно*.

Как ни подмывало его сделать еще один звонок, следовало все-таки помнить о закладной, а кроме того, где-то под наваленными Дженнет бумагами лежал счет от колледжа Св. Эвтаназия за обучение Джоя в следующем семестре — 11 742 доллара в год. Как они выводят подобные суммы? На что, к примеру, идут эти сорок два доллара? И чему вообще можно учить двенадцатилетнего мальчишку на 11 742 доллара? Субатомной физике?

Ник, задумавшись, шел коридором к кабинету БР. Коридор украшали афиши оперных спектаклей, симфонических концертов и музейных выставок, которые спонсировала Академия. Во времена Джи-Джи здесь висели великолепные цветные плакаты с изображениями высушенных табачных растений — солнце сияло, пронизывая яркие листья.

Сондра, секретарша БР, окинула Ника неулыбчивым взглядом и кивком показала — входи. Эта тоже следит за здоровьем. На *ее* столе пепельницы не увидишь.

Просторный, обшитый деревом — грецким орехом — мужественного обличия кабинет всегда напоминал Нику внутренность сигарной коробки с увлажнителем. Пока, во всяком случае, БР не содрал со стен оставшуюся от Джи-Джи прелестную деревянную обшивку, не заменил ее протравленной сталью.

Бадд Рорабачер приветственно поднял брови. Он сидел, откинувшись в просторном кресле, и читал «Еженедельный отчет по заболеваемости и смертности» — обычное в Академии чтиво. БР было сорок девять лет, но энергию он излучал юношескую. Только глаза его, светло-зеленые, пристальные, безрадостные, взирающие на жизнь, как на бух-

галтерскую электронную таблицу, могли бы, пожалуй, показаться принадлежащими человеку постарше, человеку, который в юные лета испытал крушение иллюзий и оттого норовит испортить жизнь всем, кто его окружает. Поговаривали, будто он каждое утро, уже в пять часов, играет в сквош — привычка, у начальника необнадеживающая, ибо благодаря ей БР появлялся в офисе в половине седьмого, бодрый, заряженный энергией, которой хватало и на целый день работы, и на то, чтобы сожрать с потрохами любого подчиненного, преданного ему меньше, чем на 1000 процентов. Ник подозревал, что БР, желая подчеркнуть все выпуклости своего торса, носит рубашки на размер меньше, чем следовало бы; впрочем, верным было и то, что дважды в неделю БР ограничивался вместо ленча витаминным коктейлем, сочетая его с поднятием тяжестей в клубе здоровья. Росту в нем было под два метра, что он ненавязчиво подчеркивал, открывая, к примеру, дверь перед вами и кивком приглашая пройти под аркой придерживающей ее руки. Както под конец рабочего дня он проделал этот фокус с Ником, и тот с удовлетворением ощутил исходящий от БР запашок пота. Всегда ведь утешаешься, обнаружив унизительное телесное несовершенство человека, который властен над твоей судьбой. Карьеру в табачном деле БР начал, работая в грязноватой, отмеченной далеко не всегда остающейся в рамках законности подковерной борьбой сфере продажи сигарет через торговые автоматы. Известно было, что такое начало наградило его подобием комплекса неполноценности, так что подчиненные старались не упоминать при БР о торговых автоматах без особой на то нужды. Возглавив Академию, БР изрядно размял свои административные мышцы и обеспечил индустрии ощутимый прирост доходов. Он тесно сотрудничал с торговыми представительствами США и добился того, что страны Азии разрешили показывать по телевидению рекламу сигарет в часы утренних детских программ. (В одной только Японии потребление американских сигарет подростками выросло на 20 процентов.) В самих США он успешно отразил две попытки конгрессменов ввести запрет печатной рекламы, склонил законодателей трех южных штатов учредить у себя «Неделю любви к табаку» и провел в городском совете Лос-Анджелеса блистательную интригу, вследствие которой в составленные этим советом правила для курильщиков вошла оговорка, разрешающая курение в ресторанных барах, — успех, с которым его от души поздравил председатель совета директоров Академии, легендарный Доук Бойкин. БР обладал качеством, которое Наполеон столь ценил в своих генералах, — удачливостью. После того как он вошел в совет директоров, трое из заболевших раком легких и судившихся по этому поводу с табачной индустрией людей скончались вследствие курения в постели, а их наследники отозвали иски, — «застеснявшись», — так объяснил это явление один из адвокатов фирмы «Смут и Хокинг».

— Привет, Ник, — сказал БР, и Ник подавил желание ответить: «Привет». — Ну, как там легкие?

— Чистые, — ответил Ник.

— По телевизору тебя покажут?

Ник ответил, что подскакивал к каждой камере, какую смог углядеть, и расписывал, как наша индустрия заботится об ответственной рекламе, здоровье населения и малолетних курильщиках, однако он сомневается, что физиономия его удостоится особого внимания в выпусках новостей, если удостоится вообще. Профессиональные говоруны из табачных компаний пользуются у электронных средств массовой информации все меньшим спросом, обратившись как бы в руку, пишущую на стене все более зловещие предречения. Еще совсем недавно телевизионщики регулярно присылали в Академию съемочные группы, чтобы отснять ядовитый пяти-, десятисекундный репортаж, в котором официальные представители индустрии привычно подвергали сомнению достоверность очередного медицинского исследования, доказывающего, будто сигаретные компании каждый год наносят ущерб не меньший, чем четыре бомбы вроде той, что сбросили на Хиросиму. Однако в последнее время эти рутинные материалы, обычно мелькавшие, противопоставляя две точки зрения, в середине программы новостей, стали

появляться все реже и реже. Теперь комментатор, как правило, заканчивал сообщение о новом отчете фразой: «Стоит ли говорить, что табачная индустрия оспаривает отчет НИЗ[1], заявляя, будто нет никаких — я цитирую — «научных доказательств того, что беременная женщина, если она безостановочно курит, наносит тем самым вред вынашиваемому ею плоду».

— Капустную Голову ты с собой брал? — спросил БР, вновь принимаясь шарить глазами по «Еженедельному отчету» — привычка не самая приятная, а если говорить честно, хамская, способная довести человека до белого каления, однако в смысле административном весьма эффективная: БР обзавелся ею в бизнес-школе Станфорда. Очень хорошо помогает держать подчиненного в узде. Под «Капустной Головой» он разумел гр.— в смысле графа — Эрхарда фон Группен-Мюндта, «научного эксперта» Академии. Эрхард получил некогда ученую степень по судебной патологии в университете Штайнгартена, не входящем, возможно, в число ведущих научных центров Германии, но звучащем достаточно импозантно. Джи-Джи притащил его в Академию в семидесятые годы и построил для него в Рестоне, штат Виргиния, «исследовательскую лабораторию», официально именуемую Институтом здорового образа жизни. Основной научный потенциал этого заведения образовали тысячи перекормленных белых крыс, которые, сколько их ни мажь никотиновыми смолами, нипочем не желали обзаводиться опухолью Ф344. Средства массовой информации уже много лет не воспринимали Эрхарда всерьез. Главное его занятие состояло в даче свидетельских показаний на бесконечных судебных разбирательствах по предъявляемым табачным компаниям искам о причинении ущерба здоровью — там он старался заморочить судьям головы своей эрудицией, киссинджеровским акцентом и наукообразными заклинаниями насчет погрешностей выборки и многомерной регрессии. На процесс Люминотти его решено было выпустить прямо в белом лабораторном халате, и это произвело на судью сильное, хоть и неблагоприятное впечатление.

— Да, — ответил Ник, — он дал интервью Эн-эйч-кей, японскому телевидению. Очень хорошо говорил о пассивном курении. Разгромил в пух и прах. Уверен, его покажут в Токио.

— Боюсь, в Пеории нам от этого будет ни тепло, ни холодно.

— Ну... — Стало быть, Эрхард следующий. Двадцать лет беспорочного служения науке и — auf Wiedersehen[2], Фриц, ты уже наше прошлое.

— Я думаю, нам следует обзавестись ученым-негром, — сказал БР. — Уж негра-то они показывать будут, никуда не денутся, так ведь?

— Это чревато не самыми приятными последствиями.

— *Мне* эта идея нравится.

А, ну тогда конечно...

— Садись, Ник. — Ник сел, тоскуя по сигарете, однако куда там — в этом кабинете, принадлежащем человеку, который отвечает за все табачное лобби, не было ни единой пепельницы. — Нужно поговорить.

— Давай, — сказал Ник. Джоя всегда можно будет перевести в бесплатную школу.

БР вздохнул.

— Буду краток. Этот тип, — он ткнул большим пальцем в сторону Белого дома, — намеревается повысить акцизный сбор с пачки сигарет до четырех долларов, его жена призывает задаром раздавать всем желающим никотиновые пластыри. ГВ пробивает полный запрет рекламы. Боб Смут сказал мне, что мы проиграем дело Хеффернана, влетим на кругленькую сумму, а это повлечет сотни и, может быть, тысячи новых исков в год. АООС присвоило нам канцерогенный класс. А. Пит Ларю говорит, что у НИЗ имеется в запасе ужастик, который они вот-вот обнародуют, — что-то насчет связи курения со *слепотой*, Иисусе Христе, а Лу Уиллис сообщил мне, что на следующий год комитет

---

[1] Национальный институт здравоохранения США.

[2] До свидания (*нем.*).

по ассигнованиям срежет нам средства, выделяемые на страхование урожая. Хороших новостей на нашем горизонте ровный ноль.

— Дело табак, верно? — сочувственно откликнулся Ник.

— Я не меньше прочих люблю разрешать сложные проблемы. *Больше* прочих, если тебе нужна полная правда.

Да, БР, полная правда мне нужна.

— Что, собственно, и сказал мне Капитан, когда уговаривал занять этот пост, — БР встал, возможно желая напомнить Нику, что он выше его ростом, и подошел к окну, глядящему на К-стрит. — Ты знаешь, он дал мне карт-бланш. И сказал: «Поступай как считаешь нужным, используй любые средства, *лишь бы дело пошло на поправку*».

Что-то он нынче ходит вокруг да около.

— Сколько мы тебе платим, Ник?

— Сто пятьдесят, — ответил Ник. И добавил: — Грязными.

— Угу, — сказал БР. — Ну так скажи мне, стоишь ты этих денег?

Перед мысленным взором Ника мелькнула приятная картина: он обходит письменный стол БР, сжимая в руке солдатский кинжал времен первой мировой. К сожалению, картина эта быстро поблекла, сменившись другой: Ник пытается получить под свой дом вторую закладную.

— Не знаю, БР. Это уж ты мне скажи. Стою я этих денег?

— Давай говорить как профессионалы. Я не хочу разводить дискуссий. Я тебя спрашиваю прямо, по-мужски: что мы имеем? У меня такое впечатление, что от твоей лавочки исходит душок... пораженчества. Все, что я вижу, это белые флаги.

Ник постарался остудить быстро закипавшую в жилах кровь.

— *Белые флаги?*

— Ну да, вроде этого дурацкого предложения, которое ты разослал в прошлом месяце, — чтобы мы признали существование некоторых связанных со здоровьем проблем. Чем ты вообще думал, Иисусе Христе?

— Собственно, — сказал Ник, — я и сейчас считаю, что это было разумное и смелое предложение. Давай глядеть фактам в лицо, БР: на наши уверения, будто курение никому не вредит, никто и не купится. Так почему бы нам не сказать: «Хорошо, иногда курение бывает опасным. Так же, как вождение автомобиля. Или выпивка, или перелеты, или переход улицы, или употребление молочных продуктов. Однако это вполне законное, приятное занятие, которое, если им не слишком злоупотреблять, оказывается, вероятно, не более опасным, чем... я не знаю... чем сама жизнь». По-моему, услышав это, многие подумают: «А что, в конце концов, они не такие уж и вруны».

— Самая идиотская идея, какую я когда-либо слышал, — резко сказал БР. — Идиотская и дорогостоящая. Я приказал сжечь все экземпляры твоего меморандума. Ты хоть понимаешь, что случится, если его продемонстрируют на одном из этих чертовых судов? Внутренний документ, в котором признается, что нам известно, насколько опасно курение! Это все равно что подать им Иисуса Христа на блюдечке с голубой каемочкой — представляешь, каким кошмаром это может для нас обернуться?

— Хорошо, — Ник пожал плечами, — давай и дальше делать вид, будто курение никому повредить не способно. Тем более что до сих пор это так здорово работало...

— Вот об этом я и говорю, — сказал, покачав головой, БР, — чистое пораженчество.

Ник вздохнул.

— БР, мы попусту тратим время. Моя преданность делу ставится под сомнение впервые за шесть лет.

— Может быть, ты просто выдохся? Это случается.

Вошла, без стука, Дженнет.

— Ой, — сказала она, — простите, что помешала. Я принесла «Исследование синдрома тошноты» Нексиса, которое ты хотел посмотреть.

Что ж, она привлекательна, хоть и малость пресновата на вкус Ника: деловой кос-

тюм, цокающие каблучки, собранные сзади в узел льдисто-светлые волосы, выщипанные брови, высокие скулы, шустрые черные глазки и ямочки на щеках, почему-то внушающие ощущение опасности, хотя, вообще говоря, не должны бы. Наверное, по уикэндам катается верхом в Виргинии. Самое что ни на есть подходящее для нее занятие. Вложи ей в руку хлыст, получится вылитая повелительница яппи.

— Спасибо, — сказал БР. Дженнет вышла, с силой захлопнув за собой дверь.

— Раз уж мы говорим «по-мужски», — сказал Ник, продолжая разговор с того места, на котором он прервался, — скажи прямо: чего ты хочешь?

— Скажу, — ответил БР, пристукнув по столу карандашом. — Мне кажется, что за сто пятьдесят в год мы могли бы иметь результаты получше.

— Не думаю, что мне удастся убедить нашего Главного врача, будто курение не приносит здоровью ничего, кроме пользы. Честно говоря, БР, я считаю, что этот поезд уже ушел.

— Вот это и есть твоя главная беда! Не думай о том, что тебе *не удастся*. Только о том, что *удастся*. Ты тратишь время, пытаясь погасить пожар в мусорной корзинке, между тем как твое дело — поджигать *леса*.

— Леса?

— Ты действуешь, исходя из уже случившегося. А должен бы опережать события. Не сиди за столом и не жди, что тебе будут звонить каждый раз, как кто-нибудь выкашляет свои легкие. Ты у нас отвечаешь за связи с общественностью. Так налаживай их. Представь мне перспективный план. Какой у нас нынче день?

— Пятница, — мрачно сообщил Ник.

— Отлично, значит, в понедельник. Принеси мне в понедельник хоть что-нибудь стоящее. — БР заглянул в ежедневник и вдруг ухмыльнулся. Этого Ник еще ни разу не видел. — Смотри-ка, как раз в шесть тридцать я совершенно свободен.

2

Здесь Ник мог оставаться самим собой. Здесь он был среди своих.

Наличный состав «Отряда ТС» собирался у Берта каждую среду или пятницу — или вторник, или когда придется. При их работе происшествия разного рода, по преимуществу катастрофические, случались, как правило, в последнюю минуту, так что планировать что-либо заранее было сложно. Но если без общего ленча или ужина проходило больше недели, они начинали нервничать. Они нуждались друг в друге не меньше, чем люди из групп психологической поддержки: иллюзий они никаких не питали, зато могли положиться один на другого.

Название «Отряд ТС» не содержало отсылки к популярному в 60-х телесериалу о трех хиппи, а на самом деле тайных полицейских агентах, вкушавших все прелести расовой и сексуальной десегрегации. ТС означало попросту «торговцы смертью». Поскольку в «Отряде» состояли люди, представляющие общественное лицо компаний, торгующих табаком, спиртным и оружием, название это казалось им более чем уместным. Ник сказал когда-то, что пресса, если ей удастся пронюхать о существовании их маленького кружка, наверняка именно так его и окрестит, а стало быть, ничто не мешает им самим принять это название.

«Им» означало — Нику, Бобби Джею и Полли. Эту троицу объединяла не только работа в организациях, пользующихся всеобщим презрением, но и возраст — под сорок, немного за сорок, — возраст, в котором радость, вызванная тем, что ты занимаешь высокий пост, несколько увядает и на передний план выходит забота о том, как бы этот пост сохранить.

Бобби Джей Блисс подвизался в Обществе по распространению огнестрельного оружия и боевой подготовке молодежи, называвшемся прежде Национальным комитетом за право ношения оружия.

Этот весящий под сто килограммов тихоголосый курчавый человек родился в городке Лубер, штат Миссисипи (население 235 человек). Отец его был там мэром, шерифом и главным источником средств, поступавших в городскую казну, каковые средства он добывал, арестовывая каждого третьего проезжавшего через Лубер водителя независимо от того, как быстро тот ехал. Он всегда держал под рукой коллекцию знаков ограничения скорости, выбирая потребный прямо на месте преступления. Бобби Джей уже с восьми лет помогал отцу: мальчик прятался в кустах, заменяя знаки в зависимости от скорости, развитой очередной жертвой, а отец вытаскивал нарушителя из машины и отчитывал за неосторожную езду в деловой части города, хотя никакой деловой части в Лубере, штат Миссисипи, отродясь не значилось. Все это внушило Бобби пожизненное уважение к представителям правоохранительных органов, а заодно и к ручному оружию.

Вскоре после стрельбы в Кентском университете Бобби Джей, тогда уже семнадцатилетний, автостопом отправился в Меридиан, намереваясь записаться в Национальную гвардию и тоже получить таким образом возможность поупражняться в стрельбе по студентам, однако у вербовщика Национальной гвардии случился обеденный перерыв, зато на месте — в соседнем кабинете — оказался вербовщик армейский. Человек этот, обладавший безошибочным чутьем на достойных молодых людей, тут же вызвался оплатить университетское образование Бобби. В итоге Бобби кончил стрельбой по вьетнамцам, которые были ничем не хуже студентов — всей-то и разницы, что вьетнамцы отстреливались. Тем не менее Бобби с удовольствием дважды прокатился в Юго-Восточную Азию; он съездил бы туда и в третий раз, если бы во время поспешной эвакуации десанта из слишком уж жаркого места хвостовой винт вертолета не оттяпал ему по самый локоть левую руку. Бобби стал одним из немногих солдат вьетнамской поры, удостоившихся по возвращении домой приветственного парада. Особенно многолюдным назвать этот парад было нельзя, хоть в нем и участвовало все население Лубера, но, поскольку в те беспокойные времена такие парады случались редко, этот попал в газеты, а там и привлек внимание Стоктона Драма, легендарного главы Общества по распространению. Возглавив дышащее на ладан объединение владельцев огнестрельного оружия, Драм ухитрился превратить его в подобие крупнейшей в мире регулярной армии, насчитывающей тридцать миллионов крепких и чрезвычайно горластых, что подтвердит вам любой сенатор и конгрессмен, мужиков. Бобби Джей с его картинными ухватками южанина и железным крюком вместо левой руки идеально подходил для роли пылкого защитника права ношения оружия, что и позволило ему, сделав блестящую карьеру, занять в конце концов пост главного публичного выразителя интересов Общества. В ходе этой карьеры он отвратился от стези порока, став новообращенным христианином — дело далеко не простое, если учесть, сколько телепроповедников загремело в тюрьму за поступки решительно не благочестивые. На работу Бобби Джей приезжал в компании таких же новообращенных, как он, — в автомобилях, купленных ими в складчину, — а возвращаясь домой в виргинские пригороды, где он жил с женой и четырьмя детишками, Бобби заворачивал с друзьями на стрельбище, дабы снять накопившееся за день напряжение, паля по бумажным силуэтам лиходеев неопределенной этнической принадлежности.

«Альянс за умеренность», называвшийся прежде Национальной ассоциацией алкогольных напитков, представлял компании по производству зернового спирта, вина и пива. Назначив главным своим публичным говоруном Полли Бейли, «Альянс» несомненно сделал правильный выбор. Усиливающийся подъем неопуританизма и неопрогибиционизма, сопровождаемый катастрофическим падением объемных показателей, внушил «Альянсу» мысль о необходимости новых подходов. В итоге реклама производителей пива переключилась с блондинок в бикини и наклюкавшихся собачек на изгвазданных в нефти парней, героически спасающих тюленят, производители сухих виноградных вин стали все больше напирать на снижение их продуктами содержания холестерина в крови, а производители напитков покрепче, махнув рукой на ледяной сухой мар-

тини, принялись взывать к совести своих потребителей, уговаривая их не садиться за руль в пьяном виде. Вот тогда-то торговая их ассоциация и заменила традиционно напористого, не шибко молодого белого господина в деловом костюме речистой особой, способной вскружить не одну голову. Полли, хорошенькая, смуглая, миниатюрная, с бойкими голубыми глазами и длинными (от природы) ресницами, была явным образом рождена для рекламы мыла, поэтому, когда она появлялась на телеэкране, чтобы оспорить последний правительственный отчет относительно числа совершенных в пьяном виде автомобильных аварий или синдрома «пьяного зачатия» — вместо того чтобы поведать о том, как она жить не может без мыла «Слоновая кость», — эффект получался сногсшибательный. О гениальности ее, как отметил про себя Ник, свидетельствовало хотя бы то, что она не обрезала волосы, но отрастила их до самых плеч, так что весь ее облик — истинное воплощение молодости и живости — ничем не напоминал о привычном натужно-деловом стиле, который женщины усваивают, принося природную свою красоту в жертву ассимиляции полов, без коей невозможно дорасти до поста равноправного партнера, старшего вице-президента или хотя бы министерской секретарши.

Полли курила — сигарету за сигаретой, — отчего голос ее приобрел приятную хрипотцу, и, когда она, безупречно жонглируя словами, уклонялась от прямых утверждений относительно содержания алкоголя в крови или акцизных сборов, слушавшему ее казалось, будто он лежит с ней в постели — простыни смяты, в стереоколонках звучит джаз, мерцают свечи, табачный дымок кольцами уходит к потолку. Мало того, она еще и одевалась не без элегантности — это в Вашингтоне-то, где на элегантную женщину принято взирать с подозрением. Полли предпочитала черные с белым костюмы от Донны Каран — в особенности те, с преувеличенными воротниками, сообщающие женщине нечто от школьницы, одновременно намекая, что не принимать ее всерьез — значит совершать большую глупость. В общем, если в Вашингтоне и существовал человек, способный постоять за этиловый спирт, то им была Полли.

Производители спиртного, в стараниях продать побольше своего зелья, с незапамятных времен прибегали к услугам женщин, заставляя их страстно обнимать на рекламных плакатах фаллические бутылки или выставлять напоказ ножки, уютно воркуя с подружками о привязанности своих новых кавалеров к какой-либо марке скотча, но почему же, дивился Ник, до них лишь теперь дошло, что для создания благоприятного общественного мнения следует использовать красивую женщину? Разве сенаторы и конгрессмены, принимающие решения насчет предупредительных надписей и акцизных сборов, восприимчивы к сексуальной притягательности менее прочих людей? Разве и сам Ник не столкнулся в последнее время с необходимостью отстаивать свою традиционную белую мужественность перед боссом, которому, похоже, не терпится заменить его телегеничной Дженнет?

Полли родилась на юге Калифорнии, поступила, имея в виду дипломатическую карьеру, в Джорджтаунский университет, однако провалилась на решающем экзамене и в итоге нашла работу на Капитолийском холме, где большую часть времени бегала вокруг того или иного стола от конгрессменов из тех, у кого на уме не одно только завершение прений.

В конце концов она получила пост заместителя главы аппарата Сельскохозяйственного комитета палаты представителей — комитета, руководимого весьма влиятельным во фракции большинства членом названной палаты. Член этот происходил с севера Калифорнии, где виноградники к тому времени были практически изведены филоксерой; именно блистательно проведенная Полли интрига позволила ему заключить подобие брака по расчету с членом из цитрусового региона и отхапать субсидии у двух других членов, представлявших, соответственно, авокадо и артишоки, — в стараниях добиться субсидий, как и в стараниях добиться любви, все средства хороши. Член Полли вознаградил ее за прилежание и тяжкие труды тем, что назначил руководителем аппарата кого-то другого, так что когда искренне благодарный ей глава винного отдела «Альянса за умеренность» позвонил Полли, чтобы поздравить с блестящей победой, и между делом за-

метил, что не прочь был бы иметь в своем штате человека с ее качествами, Полли переметнулась к нему.

Еще не дожив до тридцати, она вышла замуж за коллегу по Холму, Гектора, толкового, привлекательного и честолюбивого молодого человека, казалось самой судьбой предназначенного для того, чтобы со временем сыграть видную роль в той или иной президентской администрации. Однако, побывав на лекции Поля Эрлиха, провозвестника грядущих ужасов перенаселения, Гектор обратился в его ревностного адепта, ушел с Холма и поступил на работу в общественную организацию, занимающуюся бесплатной раздачей противозачаточных средств в «третьем мире» — преимущественно презервативов, по три миллиона в год. В «третьем мире» он и проводил четыре пятых своего времени. Остаточную пятую часть Гектор коротал в Вашингтоне, пытаясь избавиться от последней подхваченной им в тропиках экзотической заразы, иные из которых делали его общество крайне неприятным. Судя по рассказам Полли, перенаселение стало манией Гектора, главным предметом всех его разговоров.

Впрочем, вернувшись из затянувшейся поездки в Западную Африку, он объявил Полли, прибегнув к выражениям не столько романтическим, сколько по-деловому точным, что желает не сходя с места обзавестись детьми, множеством детей. Полли это его желание застало врасплох. Было ли тут дело в чувстве вины перед миллиардами и миллиардами обманутых сперматозоидов «третьего мира» или в желании перенаселить свой собственный уголок в мире первом, Полли сказать не взялась бы; слушая мужа, она сознавала только одно: миг слабости, порожденной необходимостью бегать вокруг очередного стола, спасаясь от очередного предприимчивого конгрессмена, бросил ее в объятия законченного неудачника.

Гектор что ни день все больше и больше костенел в своей решимости. Между тем кожа у него совершенно позеленела от сомнительных противомалярийных таблеток, купленных у жуликоватого браззавильского аптекаря, что в сочетании с его маниакальной тягой к размножению пагубным образом повлияло на половой инстинкт Полли. Гектор предъявил ей ультиматум, а когда Полли оный отвергла, сказал, что все кончено и что он пойдет искать по свету лучшего применения для своего жезла плодородия. Осенью они развелись. Ныне Гектор пребывал в Лагосе, Нигерия, организуя разбрасывание с самолетов огромного количества презервативов над толпами, которые, как предполагалось, стекутся к мессе во время предстоящего визита Папы.

Сколь ни осмотрительны были члены «Отряда ТС», от случая к случаю они, дабы укрепить в своей среде, среде отверженных, дух товарищества, приглашали на ленч кого-нибудь из коллег. У них в гостях перебывали коллеги из таких организаций, как представляющее производителей телятины Общество за гуманное обращение с молодняком, союз «Друзья дельфинов», называвшийся прежде Тихоокеанской ассоциацией ловцов тунца, Американская ассоциация за безопасность на дорогах, объединяющая владельцев и производителей трехприцепных грузовиков, Фонд обогащения почв, изначально именовавшийся Коалицией за ответственное избавление от радиоактивных отходов, и многие иные. Случались и гости иностранные. Скажем, недавно побывавший у них общественный представитель Бразильской ассоциации скотоводов поделился своими соображениями о способах сохранения девственной сельвы. Он очень смешно показывал, как разлетаются, завидев бульдозеры, стайки попугаев.

Они всегда занимали у Берта один и тот же столик в зале для курящих, рядом с камином, электрический нагреватель которого обливал их отблесками уютного, пусть и поддельного пламени. Ник заказывал свой обычный салат «Кобб» (который у Берта подавался с чуть ли не квартой вязкого голубого сыра поверх груды бекона и мелко нарезанного яйца, достаточной, чтобы закупорить артерию размером с туннель «Холланд»[1]) плюс

[1] Первый в мире автомобильный туннель, проложенный под рекой Гудзон. Состоит из двух стволов диаметром 9 м каждый.

кофе глясе, дабы смыть все это и подкрепить таламус перед послеполуденными схватками со средствами массовой информации.

Бобби Джей, как правило, угощался зажаренными в тесте креветками с майонезом. Полли, недолго повздыхав над значащимся в меню кальмаром, ограничивалась зеленым салатом с французской приправой и стаканом фирменного «chenin blanc», живительного напитка, более чем стоящего своих 3 долларов 75 центов.

Полли приметила, как мрачно вглядывается Ник в свой глясе.

— Ну, — сказала она, — как делишки?

То был традиционный в «Отряде ТС» зачин. Ответ всегда давался один и тот же — «паршиво», так как рассчитывать, что медицина обнаружит продлевающие жизнь свойства курения, или что резко понизится процент совершаемых с применением ручного оружия убийств, или что некий юнец с 0,24 процента алкоголя в крови, вместо того чтобы загубить чью-нибудь многообещающую молодую жизнь, вдруг возьмет да и спасет ее, — рассчитывать на все это особо не приходилось.

— Как у тебя прошло с «Легкими»? — спросила Полли, глубоко затягиваясь длинной сигаретой с низким содержанием смол. Ник уже говорил ей, чтобы она завязала с ними, поскольку исследования показали, что человек, стремясь получить нужную ему порцию никотина, лишь выкуривает таких сигарет побольше, — сведения, которые невозможно было отыскать во всей обширной литературе, издаваемой Академией табачных исследований.

— А, — сказал Ник, — все нормально. Правда, эта дура призвала к полному запрету рекламы. Вот уж удивила так удивила.

— Я поймала по Си-СПЭН[1] кусочек твоего выступления. Мне понравилось насчет Мурада.

— Угу.

— У тебя все в порядке?

Ник рассказал ей о разговоре с БР, о том, что к понедельнику, к половине седьмого утра, ему надлежит представить прожект, способный одним махом обратить вспять волну антитабачных настроений, набиравшую силу вот уже сорок лет. Полли мигом вникла в суть проблемы.

— Он просто хочет усадить на твое место Дженнет. Только и всего, — и, пообещав что-нибудь придумать к понедельнику, Полли сменила тему и вновь вернулась к Главному врачу.

— Ты же понимаешь, следующие у нее на очереди мы. Я еще ни разу не слышала об акцизном сборе, который бы ей не понравился. И финансирование здравоохранения тут ни при чем. Ей просто не угодно, чтобы кто-нибудь что-нибудь пил. И точка. На следующей неделе здесь состоится ежегодный съезд пивных оптовиков, так они ее просто убить готовы. Грозятся все свои грузовики загнать на Эспланаду[2].

— Интересно будет взглянуть, — сказал немного повеселевший Ник. — Памятник Вашингтону в окружении грузовиков «Бадвайзер».

— Они уже на стену лезут. Шестьдесят четыре цента акциза за упаковку из шести банок! Правительство хочет выехать из бюджетного дефицита на горбу торговцев пивом, а тем почему-то кажется, что это нечестно.

По временам собрания «Отряда ТС» смахивали на сходки голливудских сценаристов, обменивающихся за чашкой кофе только что придуманными шуточками. Правда, шуточки членов «Отряда» несколько преуменьшали смертельно опасный характер их продукции.

До этой минуты Бобби Джей не принимал участия в разговоре, поскольку сидел, прижимая к уху сотовый телефон и выслушивая «сенсационные новости», каковые для

---

[1] Некоммерческая сеть кабельного телевидения.

[2] Часть парка в Вашингтоне, расположенная между Капитолием и Мемориалом Линкольна.

людей их профессии оборачивались обыкновенно «новостями дурными». На сей раз очередную пакость учинил «разочарованный почтовый служащий», то есть человек из тех, от кого оружейная промышленность привычно не ждет ничего хорошего. Придя, как обычно, воскресным утром в церковь городка Карбюратор-сити, штат Техас, служащий в разгар проповеди на тему «Чувствилища любви, кои Всемогущий Господь простирает повсюду» встал и одним выстрелом снес проповедника с кафедры, после чего открыл огонь на уничтожение по церковным хористам. Тут он несколько отклонился от положенной процедуры, ибо не «обратил свое оружие против себя», как в подобных случаях пишут газеты. Видимо, «разочарован» он был не настолько, чтобы свести счеты с жизнью. Теперь на него велась самая массированная в истории штата Техас охота. По словам Бобби Джея, Общество по распространению принимало в связи с этой историей по две тысячи звонков в день.

— Одобрительных или не очень? — спросил Ник.

— Тебе известно, сколько «разочарованных почтовых служащих» выкинуло подобный фортель за последние двадцать лет? — спросил Бобби Джей, поднося ко рту вилку с креветками. — Семеро. И что я хотел бы узнать? Я хотел бы узнать, отчего все они такие разочарованные? В конце концов, почта-то не до них не доходит, а до *нас*.

Полли задала профессиональный вопрос:

— Оружие боевое?

Бобби Джей ободрал зубами хвостик креветки.

— На этот раз я, пожалуй, ответил бы утвердительно. Конечно, в девяти случаях из десяти то, что называют «боевым оружием», таковым не является. Но поди объясни это нашим друзьям вон оттуда, — он ткнул замасленным большим пальцем в сторону здания «Вашингтон сан». — Их послушать, так и воздушка моего десятилетнего сына тоже боевое оружие. — Бобби поднял вилку. — Для них и *вот это* — самое что ни на есть боевое оружие. Что ж нам теперь, вилки запретить?

— Вилки? — переспросил Ник.

— «Не вилки убивают людей, людей убивают люди», — сказала Полли. — Не знаю, может, это сработает?

— Он стрелял из «Меткого коммандос» сорок пятого калибра. Строго говоря, эту штуку можно отнести к разряду полуавтоматического боевого оружия.

— Еще бы, при таком-то названии, — сказала Полли. — Ты б уговорил производителей давать оружию более мирные названия. Что-нибудь вроде «Благодушный увещеватель» или «Спутник домашней хозяйки».

— Но вот чего я не понимаю — с какой стати этот сучий потрох стрелял пулями «Гидра-шок»?

— Ничего себе, — сказал Ник.

— Это же армейский боеприпас. С ним только на террористов ходить. Такая пуля взрывается внутри человека. — И Бобби показал на пальцах, как «Гидра-шок» ведет себя в человеческом теле.

— Я тебя умоляю, — сказала Полли.

— Он что себе думал? — риторически вопросил Бобби Джей. — Что проповедник и хористы носят под облачением пуленепробиваемые жилеты? Какого вообще черта происходит нынче с людьми?

— Хороший вопрос, — откликнулся Ник.

— Ты-то что в связи со всем этим предпринимаешь? — спросила Полли.

— И почему всякий раз, как какой-нибудь... рехнутый почтмейстер учиняет стрельбу в церкви, все тут же тянутся к веревке, чтобы вздернуть *нас*? Можно подумать, что это мы вручили ему оружие и сказали: «Иди, перестреляй всех прихожан». Редекамп — репортер из «Сан» — звонит мне, и я просто *слышу*, как он пухнет от счастья. Он обожает массовые бойни. Это основной продукт его питания. Свинья безбожная. Я ему говорю: «Когда самолет разбивается из-за ошибки пилота, вы обвиняете корпорацию «Боинг»?»

— Неплохо, — сказал Ник.

— Когда какой-нибудь налившийся до бровей алкаш переезжает человека, вы бьетесь о двери «Дженерал моторс» и вопите «J'accuse»[1]?

— Прямо так и сказал? — удивилась Полли.

— Ну хорошо, — сказал Ник. — И все-таки как ты справляешься с ситуацией?

Бобби Джей стер с губ пятнышко майонеза. Глаза его блеснули.

— Господь сам управился с ней.

Ник знал Бобби Джея как человека честного, усердного в молитве, которую он делил, как и автомобили, с другими, ему подобными, человека, склонного приправлять свою речь библейскими фразами, сообщая, скажем, что некто «точно брат Исава, продал себя с потрохами за миску чечевичной похлебки», но психом его отнюдь не считал. С ним можно было нормально поговорить на любую мирскую тему. Однако последнее высказывание насчет Господа, взявшегося улаживать идиотскую ситуацию, заставило Ника задуматься, не следует ли и Бобби занести в список пострадавших от обсуждаемого ими несчастного случая.

Оглянувшись через плечо, Бобби Джей склонился к собеседникам:

— Других объяснений я не вижу. Возможности вроде этой ниспосылаются только свыше. И только истинно верующим.

— Бобби Джей, — озабоченно поинтересовалась Полли, — ты хорошо себя чувствуешь?

— Выслушай меня, о маловерная, и после скажи, не Господь ли простер руку Свою над стариной Бобби Джеем. Я ехал в машине на работу...

— Вместе с Пригородными свидетелями Иисуса?

— Нет, Полли, и, кстати, не вижу тут ничего смешного. Я ехал один. Слушал телефонное шоу Гордона Лидди...

— Воображаю, — сказала Полли.

— Гордон, между прочим, мой друг. Ну, в общем, молотит он обычную лабуду об этой самой стрельбе, и тут раздается звонок, и он говорит: «Карбюратор-сити, вы в эфире», а следом женский голос произносит: «Я была в той церкви и хочу сказать вам, что человек, с которым вы только что разговаривали, совершенно неправ». Я чуть с дороги не слетел. А она говорит: «У меня есть пистолет, но, поскольку закон штата Техас не позволяет носить оружие с собой — только держать в машине, я оставила его в бардачке. Так вот, если бы пистолет был со мной в церкви, наш хор пел бы сейчас «Ходи со мною, Иисусе».

Нику стало завидно. Хоть бы раз кто-нибудь позвонил, когда его распинали в очередной радиопередаче, и сказал: «Если бы я последние сорок лет не выкуривал по пять пачек в день, я бы давно уже копыта отбросил».

Бобби Джей, вытаращив глаза, продолжал:

— Гордон был на седьмом небе. Он продержал эту бабу в эфире минут пятнадцать. И она раз за разом повторяла: какая трагедия, что при ней не было ее миниатюрного смит-вессона тридцать восьмого калибра, который позволил бы избежать *такого* несчастья. Она находилась от него *так близко!* Прострелила бы ему башку, и все! — Бобби протянул руку, прицеливаясь в человека за соседним столиком. — Бабах!

— Тише ты, Бобби, клиентов распугаешь.

— И как же ты поступил? — спросил Ник.

— Как *я* поступил? — забулькал Бобби. — Как я *поступил?* Это я тебе расскажу. Я дал по газам и понесся в аэропорт «Нэшнл»[2], и потребовал билет на следующий рейс до Карбюратор-сити. Следующего рейса до Карбюратор-сити у них не оказалось, не оказа-

---

[1] Я обвиняю (*франц.*).

[2] Один из двух аэропортов Вашингтона.

лось вообще никакого. Попасть туда можно только через Даллас. Тем не менее я сумел добраться до гостиной этой маленькой леди уже к шести часам вечера.

— Маленькой леди? — переспросила Полли. — Видали наглеца?

— Полтора метра от силы, — огрызнулся Бобби. — На каблуках. И леди до мозга костей. Описательное предложение, не более того, так что позвольте я продолжу, мисс Заноза-в-глазу? Наши ребята с камерами прибыли туда уже к следующему полудню. И интервью с ней обратилось после соответствующего монтажа в лучший видеоклип в классическом стиле, какой вы когда-либо видели.

Бобби выставил перед собой ладони на манер режиссера, вглядывающегося в будущий кадр.

— Мы начали так: «Карбюратор-сити, штат Техас. Страдающий умственным расстройством федеральный бюрократ...»

— Недурно, — сказал Ник.

— Дальше лучше: «...напал в церкви на проповедника и хористов...» На экране появляются кареты «Скорой помощи», носилки, люди, скрежещущие зубами и рвущие на себе волосы...

— Так уж и рвущие, — сказала Полли.

— В общем, картина кровавой бойни и смятения, — продолжал Бобби Джей. — Багровый хаос!

— Багровый хаос? — переспросила Полли.

— Закройся, Полли, — сказал Ник.

— Вступает голос. Догадайтесь чей? — с напускной скромностью предложил Бобби.

— Чарлтона Хестона?

— Нет, сэр, — жеманно улыбаясь, ответил Бобби. — Попробуйте еще раз.

— Дэвида Дьюка, — предположила Полли.

— *Джека Таггарди*, — торжествующе произнес Бобби.

— Лихо, — сказал Ник.

— А ему разве не вшили чужие бедренные кости? Я читала в «Пипл».

— При чем тут бедренные кости, хотел бы я знать? — удивился Бобби Джей.

— Он ходить-то вообще может или не может?

— Ну, не может, ну и что с того?

— Ты давай дальше рассказывай, — сказал Ник.

Бобби опять изобразил ладонями кадр.

— Значит, вступает голос Таггарди: «Можно ли было избегнуть этой ужасной человеческой трагедии?»

— Вопрос, — сказал Ник, — почему «человеческой»?

— А почему нет? Кто, по-твоему, пострадал, человеки или не человеки?

— Может быть, лучше «нечеловеческой трагедии»?

— Точно, — сказала Полли.

— Ладно, это мы подредактируем. Вы будете наконец слушать?

— Будем, — сказал Ник, — еще как.

— Следом появляется моя маленькая леди. Сидит в кресле, вся такая подтянутая и симпатичная. Не женщина — конфетка. Я к ней отличного парикмахера приставил. Она еще и намазаться хотела, но я не велел. Мне требовалось, чтобы у нее были красные от плача глаза. Так что мы ей малость потерли луком под веками — штука безвредная, нужное настроение создает, открывает слезные протоки.

— Луком?

— Да в общем-то и зря. Она как увидела сделанные полицией цветные снимки — я их держал прямо перед ней, у камеры, — разрыдалась что твое дитя. Сначала все твердила, до чего это ужасно, а после перешла прямо к пистолету, который ей пришлось оставить в бардачке. И вот тут она вдруг уставилась в камеру, в лицо зрителю, промокнула платочком уголки глаз — в сценарии ничего такого не было — и говорит: «Почему зако-

нодатели, которых мы избираем, *не позволяют нам защищать самих себя?* Неужели просить их об этом — значит просить слишком многого?» Затемнение. Тут снова вступает Таггарди, а его уж ни с кем не спутаешь: «Вторая поправка к Конституции гласит, что право народа хранить и носить оружие не может ограничиваться. Поддерживают ли избираемые *вами* законодатели Билль о правах? Или они просто пытаются запудрить вам мозги?» — Бобби Джей откинулся в кресле. — Ну, как оно вам?

— Впечатляет, — сказал Ник. — Мастерская манипуляция посттравматическим стрессом.

— Ароматнее, чем жимолость при луне, — ухмыльнулся Бобби Джей.

— Мои поздравления, — сказала Полли. — Настоящий шедевр.

— К сегодняшнему вечеру каждый член Конгресса от штата Техас и каждый член законодательного собрания этого штата получит по копии нашего ролика. К завтрему их получат все греховодники, каких нам удастся застукать в Конгрессе. Возможно, мы даже крутанем его по национальному телевидению. На этот счет мистер Драм решения пока не принял, но, я думаю, тут он меня послушается.

Босс Бобби Джея был одним из немногих в Вашингтоне начальников, настаивавших на том, чтобы его называли «мистером». Это была часть его мистической ауры, и ауры, сказать по правде, не маленькой. Когда он, много лет назад, принял на себя руководство неблагополучным Обществом, в Америке ходило по рукам всего-навсего пятьдесят миллионов единиц стрелкового оружия. Теперь их насчитывалось больше двухсот миллионов. В плане физическом это был представительный, хоть и совершенно лысый мужчина. Редекамп из «Сан» ухитрился выкопать где-то сведения о том, что в возрасте шестнадцати лет мистер Драм застрелил семнадцатилетнего приятеля, поспорив с ним о том, кому из них принадлежит коробчатая черепаха. Обвинительный приговор впоследствии отменили на том основании, что коробчатая черепаха, вскоре скончавшаяся — вероятно, от стресса, — не была предъявлена суду в качестве вещественного доказательства. Тем не менее настроенная против Общества вашингтонская пресса, то есть вся вашингтонская пресса за вычетом консервативной «Вашигнтон мун», всякий раз, упоминая мистера Драма, поминала и этот прискорбный инцидент.

Подали кофе. Ник повернулся к Полли.

— А как поживают «умеренные»?

— Вообще-то вчера мы получили отличную новость, — сказала Полли. Это было нечто из ряда вон. Ник не помнил ни единого случая, когда за их столом произносились такие слова. — Верховный суд Мичигана постановил, что проверки водителей на трезвость прямо на дорогах неконституционны.

— Крышка празднику, — сказал Ник.

— Правда, Верховный суд США объявил их конституционными, так что теперь они конституционны везде, кроме Мичигана.

— Ты видишь? — спросил Бобби Джей.

— Что именно? — поинтересовался Ник.

— Схему, по которой они действуют. Сначала они нас разоружают, а потом выставляют засады на дорогах. Все идет по плану.

— Чьему?

— А знаешь, что помогает обмишурить эту их трубочку? — продолжал Бобби Джей. — Таблетки активированного угля.

— Может, использовать их в нашей новой кампании, в «Сознательном водителе»? — сказала Полли. — «Если уж садитесь за руль пьяным в стельку, так, пожалуйста, сосите уголек».

— Они продаются в зоомагазинах. Для очистки воздуха в аквариумных насосах. Не знаю уж, много ли от них там проку, потому как стоит мне купить моим ребятишкам новых рыбок, и те уже через день всплывают кверху брюхом. В общем, держишь таблетку под языком, и она разрушает молекулы этанола.

— А полиция не спрашивает, почему у тебя торчит изо рта угольный брикет?

— А нету такого закона, чтобы не держать во рту уголь, — сказал Бобби Джей.

— Будет, — хором заверили его Ник и Полли. То обстоятельство, что в любой наугад взятый миг некто, окопавшийся в «гигантской федеральной бюрократической машине», вводит нормы и правила, направленные лично против них, все они принимали как данность. Они были кавалерами Ордена Потребления, выстроившимися в чистом поле для битвы с круглоголовыми[1] от неопуританизма.

— Кто меня действительно беспокоит, — сказала Полли, — так это мои пивные оптовики, которые прикатят сюда на той неделе.

— С чего бы это? — спросил Ник.

— Мне предстоит препираться с Крейгхедом перед их двухтысячной толпой.

Гордон Р. Крейгхед был видным «неизбираемым бюрократом», командовавшим Отделом по предотвращению злоупотреблений дурманящими веществами в Министерстве здравоохранения и социальных служб — «зануд и сволочных скудоумцев», как именовали министерских чиновников люди, работающие в алкогольной и табачной индустриях. Отдел Крейгхеда тратил около 300 миллионов в год на поддержку борцов с курением и вождением машин в пьяном виде. И хотя согласно статистике табачная промышленность расходовала на рекламу курения 2,5 миллиарда в год, или четыре тысячи долларов в секунду, Ник не упускал случая посетовать на «чрезмерно раздутый бюджет» ОПЗДВ.

— Ну, с Крейгхедом ты как-нибудь сладишь.

— С ним-то слажу, а вот с оптовиками. Они люди простые. Большинство начинало дальнобойщиками. Боюсь, если Крейгхед вякнет что-нибудь о новом повышении акцизных сборов или взносов на повторную переработку, они начнут кидаться в него чем ни попадя. Или обматерят сверху донизу. А что толку?

— Ответы на вопросы у вас запланированы?

Полли сказала: да, по завершении дебатов они будут отвечать на вопросы из зала.

— Тогда заставь своих мужланов представить вопросы в письменном виде. Мы както дискутировали с «Матерями против курения» — на конгрессе владельцев торговых автоматов. Вопросы задавались прямо из зала. Это был тихий ужас. Владельцы выдирали микрофон друг у друга и орали на матерей: «Ты вырываешь кусок хлеба изо рта моего малыша, а еще мать называется!» Я даже удивился. Мне всегда казалось, что у мафии принято относиться к матерям с определенным почтением. А теперь «Матери против курения» не желают даже отвечать на мои звонки. После этого я ввел правило — вопросы только в письменном виде. Девиз для съезда ты уже придумала?

— «Мы — часть Решения», — ответила Полли. — Как тебе?

Ник поразмыслил.

— Мне нравится.

— Пришлось помучиться, — сказала Полли. — Они требовали чего-нибудь поагрессивнее. Те еще склочники, мои оптовики.

— У меня есть для тебя хороший девиз, — сказал Бобби Джей. — Видел на футболке. «День не пил, считай и не жил».

— Поначалу, — не обращая на него внимания, сказала Полли, — мы выбрали «В духе сотрудничества», но они заявили, что это смахивает на рекламу духов. Наша публика никаких конкурентов на дух не переносит. У меня половина времени уходит на то, чтобы не дать пивным торговцам поубивать винных, а винным — всех остальных. «Альянс» и придуман-то для того, чтобы в пору снижения объемных показателей собрать все силы в единый кулак, но это все равно что пытаться объединить Югославию, — Полли отхлебнула холодного капучино. — Родоплеменные отношения.

Она закурила. Нику нравились женщины, умеющие курить эротично. Полли откину-

---

[1] Прозвище возглавляемых Кромвелем пуритан во время Гражданской войны в Англии (1642—1651).

лась в кресле, уложила левую руку под грудь, подперев ею локоть правой, —правая отведена чуть в сторону, сигарета глядит в потолок. Долгие, глубокие затяжки, голова чуть откидывается, затем столь же долгие, неторопливые, элегантные выдохи с очищающим легкие коротким и резким выбросом дыма под самый конец. Прекрасная курильщица. Мать Ника тоже была в свое время прекрасной курильщицей. Он помнил ее сидящей у бассейна: лето в середине пятидесятых, длинные ноги, короткие шорты, заостренные на внешних краях солнечные очки, широкая соломенная шляпа, губная помада, оставляющая яркие, липкие мазки на окурках, которые он поворовывал и, кашляя, досасывал за гаражом.

От этих грез Ника пробудил визгливый стрекот сотового телефона Бобби Джея. Бобби с заученной невозмутимостью откинул крышку телефона, щелкнув ею, как пружинным ножом.

— Блисс. Да? — сказал Бобби. — *Отменно.*

Он поднял взгляд на Ника и Полли:

— Почтовый служащий. Они его достали. Угу... угу... Миссури... угу... угу... *что?* — Брови Бобби полезли вверх. — А Си-эн-эн как об этом пронюхала? *При нем?* ФБР... что ты сделал? Надеюсь, *им* ты ничего не сказал? Членство проверил?

Ник смотрел, как у Бобби обвисают щеки, и думал: «Вот оно, лицо в свободном падении».

— Постоянное? И он его оплатил? Ну так проверь, да поскорее, прежде чем что-то предпримешь. *Нет*, ни в Си-эн-эн, ни в ФБР больше не звони. И хрен с ними! Буду через три минуты.

Бобби защелкнул телефон. Ник и Полли смотрели на него, ожидая объяснений.

— Мне надо бежать, — сказал Бобби, бросая на стол двадцатку. Банкнота упала, как падает в лужицу талого льда осенний листок.

— А нам, значит, прикажешь узнавать, что случилось, от Си-эн-эн?

Вид у Бобби был такой, словно его вот-вот прошибет холодный пот.

— Вздохни поглубже, — посоветовал Ник.

— Сукин сын оказался членом нашего Общества, — сказал Бобби Джей. — И не простым, а пожизненным.

— А как Си-эн-эн об этом узнала?

— Он таскал с собой членский билет. У Си-эн-эн имеется снимок — билет валяется рядом с его бумажником. В луже крови.

— М-да, — сказал Ник, уже распростившийся с завистью к невероятному везению Бобби. По крайности, жертвы табака мирно доживают свое в больничных палатах.

— За моей спиной «Общество»! — произнесла Полли, намекая на широко известный плакат «Общества по распространению», на котором мужественный, хоть немного и полинялый актер стоит посреди стрельбища с дорогим, украшенным гравировкой ружьем в руках.

— Полли! — одернул ее Ник. Сколько в ней все-таки цинизма, в Полли. Временами Нику хотелось ее отшлепать. Полли отмахнулась — «подумаешь!» Бобби Джей, забыв обо всем на свете, стоял, уставясь в середину стола. Полли провела перед его глазами ладошкой и сообщила Нику:

— По-моему, он сейчас брякнется в обморок.

— О господи, — тихо произнес Бобби, — *видеоклип!*

— Может, попробуешь его отозвать? — сказал Ник, но Бобби уже вылетал из дверей, на пути к долгим часам, которые ему предстояло провести за письменным столом, терзаясь и, это уж точно, зарабатывая геморрой.

3

Пока Ник отсутствовал, позвонил режиссер шоу Опры Уинфри и спросил, не согласится ли Ник приехать в понедельник днем в Чикаго для участия в шоу. Призыв ГВ полно-

стью запретить рекламу табачных изделий наделал много шума, и Опра хотела посвятить ближайшее свое шоу курению. Ник немедленно перезвонил режиссеру и ответил согласием. Это была удача, и немалая. Миллионы и миллионы женщин — основных потребителей сигарет — смотрели Опру. Ник испытал соблазн звякнуть БР, однако решил разыграть эту карту по-умному, поставив небольшой эксперимент. Он позвонил Дженнет и, расспрашивая ее о какой-то ерунде, подпустил между делом: «А, чуть не забыл, в понедельник мне выступать в шоу Опры, так будь добра, собери все, что у нас есть, по неэффективности рекламы».

Он запустил секундомер на своих ручных часах. БР перезвонил через четыре минуты: что там за история с Опрой? Ник пространно рассказал, как он в течение долгого времени «окучивал» одного продюсера и как это окучивание наконец окупилось.

— Я вот подумал, может, нам стоит Дженнет послать? — сказал БР.

Ник стиснул зубы.

— Шоу будет сенсационное. Приглашены люди с самого верха. Мне дали ясно понять, что им нужен *главный* общественный представитель табачной индустрии.

А не твоя кабинетная обжималка.

— Ладно, — раздраженно сказал БР и повесил трубку.

Позвонила мать — напомнить, что Ник с Джоем уже больше месяца не появлялись у них на воскресном ужине. Ник в свой черед напомнил ей, что при последнем визите отец прямо за столом обозвал его «проституткой».

— По-моему, это показывает, как сильно он тебя уважает — так сильно, что считает возможным говорить с тобой совершенно откровенно, — сказала мать. — Да, кстати, сегодня утром звонила Бетси Эджворт, сказала, что видела, как ты рассказывал по Си-СПЭН про какого-то турецкого султана. Говорит: «Ник такой обаятельный! Как жаль, что он бросил журналистику. Сейчас у него уже было бы собственное шоу».

— Мне нужно идти, — сказал Ник.

— Приведи Джоя к ужину в воскресенье.

— Не могу. Воскресенье у меня тяжелое.

— Как это воскресенье может быть тяжелым?

— В понедельник я выступаю у Опры. Нужно подзубрить кое-что.

Пауза.

— Ты выступаешь в шоу Опры Уинфри?

— Да.

— Ну ладно. Добудь у нее автограф для Сары. Сара любит Опру Уинфри, — Сара была их служанкой, той самой, из-за которой Ник так и не научился справляться с собственной секретаршей. — Опра курит?

— Сомневаюсь.

— Тогда лучше возьми автограф *перед* шоу. А то вдруг все они на тебя разозлятся, как — помнишь? — вышло с Регисом и Кэти Ли.

Ник опаздывал. Он сбежал в подземный гараж, продрался со всей агрессивностью, на какую был способен, сквозь пятничный поток машин и все равно подъехал к Св. Эвтаназию на добрых полчаса позже положенного. Одетый в форму колледжа Джой с несчастным видом сидел перед главным зданием на бордюрном камне. Ник, визжа покрышками, затормозил и выскочил из машины, будто участник операции, проводимой командой СУОТ[1].

— Опоздал! — крикнул он, подтверждая очевидное. Джой смерил его испепеляющим взглядом.

— О, мистер Нейлор.

Только его не хватало. Григс, директор школы.

---

[1] Специальное полицейское подразделение, используемое для борьбы с террористами, освобождения заложников и т.п.

— Ваше преподобие, — произнес Ник, натужно изображая радость. Григс до сих пор не простил Нику, что тот, заполняя бланк прошения о приеме Джоя в школу, в графе «Занятие отца» написал «Вице-президент крупной деловой ассоциации производителей». Григс ведать не ведал, что Ник является старшим вице-президентом компании «Геноцид, Инк.», пока как-то ночью не увидел его в программе «Вечерней строкой»[1] сцепившимся с главой профсоюза авиационной обслуги по поводу воздействия табачного дыма на некурящих пассажиров. Но к тому времени Джоя уже приняли в самую престижную в Вашингтоне школу для мальчиков.

Григс скосился на часы, показывая, что получасовое опоздание Ника не ускользнуло от его внимания.

— Добрый день, — протягивая руку, сказал Ник. Он надеялся, что ему удастся отделаться шутливым враньем насчет пятничных пробок на дорогах округа Колумбия. — Рад вас видеть, — солгал он.

Его вовсе не привлекала роль объекта молчаливого презрения со стороны директора школы, в которой учились сыновья эмиров Персидского залива и членов Конгресса. За 11 742 доллара в год преподобный отец Джосайя Григс мог бы оставлять свое отношение к нему в церковном притворе.

— На улицах творится нечто ужасное, — сказал Ник.

— Да, — Григс кивнул так медленно и веско, точно Ник сию минуту предложил ему коренным образом переработать «Книгу общей молитвы». — Пятница... разумеется.

— А мы в этот уик-энд на рыбалку собрались, — меняя тему, сказал Ник. — Правда, Джой?

Джой не ответил.

— Я вот подумал, не смогли бы вы заглянуть ко мне на той неделе? — с важностью, приличествующей директору школы, осведомился Григс. Ник встревожился. Он оглянулся на Джоя, но по виду сына узнать что-либо о причине этого требования было невозможно.

— Разумеется, — сказал Ник. — Правда, в начале недели я, как правило, занят.

Мелькнула мысль: интересно, смотрит Григс Опру? Наверняка нет.

— Тогда, может быть, в конце? В пятницу? Вы сумеете приехать за Джоем несколько... раньше? — на узком лице Григса обозначилась тонкая улыбка.

— Да, — сказал Ник.

— Превосходно, — посветлел Григс. — А что собираетесь ловить?

— Зубатку.

— О! — Григс кивнул. — Элли, наша экономка, очень любит зубатку. Хотя мне она не нравится, внешне. Эти ее *усищи*. — И Григс, заложив за спину руки, удалился в свои покои.

Усевшись за руль, Ник спросил:

— Что ты натворил?

— Ничего, — ответил Джой.

— Тогда зачем я ему нужен?

— *Я* не знаю, — обронил Джой. Двенадцатилетние мальчики не очень разговорчивы. Беседа с ними, как правило, сводится к игре в «двадцать вопросов».

«Замечательно, — подумал Ник, — придется идти на важную встречу вслепую».

— Предлагаю полную и безоговорочную амнистию. Что бы ты ни учинил, я на твоей стороне. Просто скажи мне: зачем Григс хочет меня видеть?

— Я же сказал — *не знаю*.

— Ладно. — Ник отъехал от бордюра. — Как прошла игра?

— Профукали.

— Ну, ты же помнишь, что сказал Йоги Берра. «Бейсбол на девяносто процентов — половина сумасшедшего дома».

---

[1] Вечерняя информационная программа телекомпании Эй-би-си. Выходит в прямой эфир с 1980 г. в 23.00, пять дней в неделю.

Джой подумал.

— Получается сорок пять.

— Это шутка. — И Ник в несколько приемов вытянул из Джоя счет игры — 9:1.

— Самое главное, — Ник рискнул прибегнуть к утешительному тону, — это...

Да, и что же у нас самое главное? Ник закончил Воспитательную школу Винса Ломбарди, и отец его, сидя на трибуне, громогласно обвинял сына в трусости всякий раз, как Ник пропускал посланный по земле мяч. Вследствие чего Ник решил при воспитании собственного сына проявлять побольше терпимости.

— ...это чувствовать усталость в конце дня.

Аристотелю вряд ли удалось бы построить на этой посылке непротиворечивую философскую систему, но ничего, сойдет. Правда, Гитлер и Сталин тоже, наверное, чувствовали себя усталыми под конец дня. Однако то была *неблагая* усталость.

Джой не высказал никакого мнения относительно этой «грандиозной теории бытия», указав лишь на то, что отец проскочил «Блокбастер видео»[1] и теперь им придется разворачиваться в плотном потоке машин.

Они совершили привычный ритуал: Джой предлагал один неприемлемый фильм за другим — как правило те, на футлярах которых изображались полуголые блондинки с пестиком для колки льда либо раздувшиеся от стероидов европейские качки, подавшиеся в актеры и теперь сносившие людям головы цепной пилой. Ник отвечал фильмами пятидесятых с Дорис Дей и Кэри Грантом, на что Джой проводил пальцем по горлу, выказывая свое отношение к шедеврам эпохи Гранта — Дей. Компромисс достигался обычно на фильме, посвященном второй мировой. Насилие — да, но показанное, по нынешним меркам, со вкусом, без этих, введенных в оборот Пекинпа, кровавых ошметков, сверхзамедленно разлетающихся во все стороны от проделанного пулей отверстия. «О, вот этого ты не видел, — воодушевленно объявил Ник. — «Пески Иводзимы» с Джоном Уэйном. Классная вещь!» Никакого энтузиазма подвиги Дюка, Джона Агара и Форреста Тернера, пробивающихся к вершине горы Сирубачи, у Джоя не вызвали, однако он снизошел до них, поставив условие, что они в семнадцатый раз возьмут «Скотный двор».

Ник жил на Дюпон-серкл, в квартирке с одной спальней, окна ее глядели на улицу, на которой за этот год произошло всего восемь ограблений, и только два из них со смертельным исходом. Большая часть его ста пятидесяти тысяч уходила на обслуживание закладной за дом, расположенный в нескольких милях отсюда, на Коннектикут авеню, в тенистых окрестностях Кливленд-парка, — в нем жил Джой со своей матерью. Два раза в месяц Джой приезжал сюда, чтобы провести уик-энд с папочкой.

Отец с сыном сытно пообедали тройной пиццей с пеперони и домашним пирогом с мороженым. Домашний пирог с мороженым! И люди, набивая им животы, еще ухитряются волноваться насчет курения?

«Пески Иводзимы» оказались немного устаревшей, но хорошей, добротной картиной. И был в ней один момент... совершенно замечательный, когда Уэйн, проведший своих солдат через ад к победе, восклицает: «В жизни не чувствовал себя так здорово! Как насчет сигареты?» И только он протягивает своим ребятам пачку, японский снайпер — бах! — и убивает его. Ник, сам того не замечая, вытащил сигарету и закурил.

— Па-ап, — протянул Джой.

Ник послушно вышел на балкон.

4

БР не предложил Нику кофе из своего кофейника, хотя разговор их начался ровно в половине седьмого утра в понедельник. Произнести «С добрым утром» он также не удосужился, только: «Я всерьез надеюсь, Ник, что ты до чего-то додумался. От этого многое зависит».

---

[1] Крупнейшая в США сеть видеосалонов.

— С добрым утром, — тем не менее сказал Ник.

— Я слушаю. — БР подписывал или притворялся, что подписывает, какие-то бумаги.

— Нельзя ли мне кофе?

— *Я слушаю*, — сказал БР.

Что ж, обойдемся без кофе. Ник сел, сделал глубокий вдох.

— Кино.

— У меня нет времени на сократические диалоги. Переходи к сути.

— Это и есть суть.

БР неторопливо поднял на него взгляд.

— То есть?

— Я думаю, что ответ на нашу задачку способно дать кино.

— Каким образом?

— Тебе нужны обоснования? Могу составить памятную записку.

— Просто расскажи.

— В 1910 году, — начал Ник, — США производили десять миллионов сигарет в год. К 30-му мы производили в год уже по сто двадцать три миллиарда. Что произошло между двумя этими датами? Три события. Первая мировая война, помешательство на диетах и появление звукового кино.

БР слушал.

— Что касается войны, то солдатам неудобно было таскать с собой на поле боя трубки и сигары, поэтому им выдавали сигареты. И привились они так быстро, что в 17-м генерал Першинг отправил в Вашингтон каблограмму, в которой говорилось: «Табак является незаменимой частью повседневного рациона. Нам нужны тысячи тонн табака, и немедленно».

Ник не стал упоминать о том, что в 1919-м, сразу после войны, появились и первые жертвы практически неслыханного до той поры заболевания, именуемого раком легких. В Сент-Луисе декан медицинского факультета созвал студентов на производившееся им вскрытие бывшего пехотинца, сказав, что они вряд ли когда-нибудь увидят другой такой случай.

— Итак, мужчины перешли на сигареты. В 25-м Лиггет и Майерс начали печатать рекламу «Честерфилда», на которой женщина говорит прикуривающему мужчине: «Выдыхай в мою сторону». Так было нарушено табу, разделявшее курящих и некурящих по половому признаку. Однако прошло несколько лет, прежде чем мы *действительно* объяснили женщинам, почему им стоит курить. Джордж Вашингтон Хилл, только что унаследовавший от отца «Американскую табачную компанию», ехал в машине по Нью-Йорку. Остановившись на светофоре, он заметил на углу толстуху, уминавшую шоколадку. Потом рядом с ним встало такси с элегантной дамой на заднем сиденье — и что она делала? Курила сигарету, быть может как раз «Честерфилд» Лиггета и Майерса. Добравшись до своего офиса, Хилл распорядился о начале рекламной кампании под лозунгом «Лаки» вместо шоколадки». И на женщин снизошло озарение. С тех пор они дымят себе и дымят. Как ты знаешь, они вот-вот обратятся в основных потребителей нашей продукции. К середине девяностых женщин среди курильщиков станет, впервые в истории, больше, чем мужчин.

БР поерзал в кресле.

— Что еще появилось тогда же? Звуковое кино — 27-й год, Эл Джолсон. Что в нем такого важного? Да то, что перед режиссерами возникла проблема. Нужно было чем-то занять актеров, пока те разговаривают. И режиссеры вложили им в руки сигареты. Зрители смотрели, как закуривают их идолы — Кэри Грант, Кэроль Ломбард. Та же Бетт Дэвис — паровозная труба, да и только! А сцена в конце «Сейчас, путешественник», когда Пол Хенрейд закуривает для нее и для себя по сигаретке, держа обе во рту? Открытие целой области сигаретной эротики. А Богарт? Богарт! Ты помнишь первые слова, с которыми обращается к нему Лорен Баколл в «Иметь и не иметь», их первой совместной картине?

БР молча смотрел на него.

— Она, пританцовывая, входит в дверь, девятнадцатилетняя, секс в чистом виде, а голос! И говорит: «Найдется у кого-нибудь спичка?» Богги бросает ей коробок. И она его ловит. Величайший романтический фильм двадцатого века — а с чего он начинается? Со спички. Знаешь, сколько раз они в этом фильме закуривают? Двадцать один. Две пачки сигарет извели.

— А теперь она яростная сторонница никотиновых пластырей, — сказал БР. — К чему ты клонишь?

— Ты ходишь в кино, БР?

— У меня нет времени на кино.

— Ну еще бы, с твоим-то графиком. А клоню я к тому, что теперь, если в фильме кто и курит, так это психопат-полицейский, обуянный жаждой смерти, да и тот под конец бросает, потому что усыновленный им шестилетний сирота объясняет новому папочке, какая это вредная привычка. Время от времени можно увидеть с сигаретой и классных, сексуальных ребят, как в том сериале, в «Твин Пикс», но это редкость. Тенденция далеко не господствующая. И непременно в фильме для, — Ник пальцами начертил в воздухе кавычки, — «эстетов». Девять курильщиков из десяти — люди с отклонениями, неудачники, чокнутые, заключенные и плохо постриженные извращенцы. То есть Голливуд втолковывает нам, что курение равносильно распущенности. А ведь люди заимствуют свои ролевые модели именно из фильмов. Так что...

— Так что?

— Не предпринять ли нам что-нибудь в этом направлении?

— Например? — спросил БР.

— Заставить режиссеров вернуть сигареты в руки актеров. Сколько мы тратим в год на рекламу — два с половиной миллиарда? На эти деньги можно весь Голливуд кормить бесплатными завтраками.

БР откинулся в кресле и скептически обозрел Ника. Потом вздохнул. Протяжно и томно.

— Это все, Ник?

— Да, — сказал Ник. — Это все.

— Скажу тебе честно. Ты меня не поразил. Я надеялся, тебе удастся сбить меня с ног, ради твоего же блага. Но, — БР снова нарочито вздохнул, — я, как видишь, стою на своих двоих.

Вообще-то, он сидел. Зато Ник чувствовал себя поверженным в прах. Жаль. Он считал, что в идее насчет Голливуда таятся неплохие возможности.

БР сказал:

— Мне кажется, нам стоит еще раз подумать, то ли место ты у нас занимаешь.

Стало быть, вот она, рука, пишущая на стене большими, мерцающими неоновыми буквами: «Ты уже в прошлом, дружок».

— Понятно, — сказал Ник. — Прикажешь очистить кабинет к обеденному перерыву, или у меня есть время до пяти?

— Нет-нет, — сказал БР. — На сегодня оставим все как есть. Тебе еще нужно будет ввести Дженнет в курс дела. Так что давай двигайся, ты ведь нынче у Опры выступаешь.

«Не поблагодарить ли БР за такое его великодушие?» — подумал Ник.

— Да, — сказал БР, — если представится случай, объяви, что мы решили потратить пятьсот тысяч на кампанию против курения подростков.

— Пятьсот... тысяч?

— Я думал, тебе это понравится, — злорадно ощерился БР. — Это ведь *твоя* идея. Думаешь, в Уинстон-Сейлеме[1] она вызвала такой уж восторг? Капитан вообще отозвал-

[1] Город в Северной Каролине, центр табачной промышленности и торговли.

ся о ней как об «экономическом самоубийстве», но я сказал ему, что, по твоему мнению, нам следует немного потратиться, чтобы люди поняли, как мы заботимся о здоровье детей.

— Пятьсот тысяч ни на кого впечатления не произведут. Что ты на них купишь — пару плакатов для подземки?

— Главное, чтобы идея была хороша, — БР улыбнулся. — Поторопись, на самолет опоздаешь.

По пути в аэропорт Ник думал о том, не стоит ли ему застраховаться перед полетом — на случай, если БР уже лишил его всех пособий.

5

Времени Нику только и хватило что на быструю пробежку вдоль озера Мичиган.

Если ты — посланник смерти, тебе следует выглядеть как можно более цветущим. Одним из первых попавших под увольнение сотрудников Академии был Том Бейли. Бедный Том. Приятный был малый, даже не курил, и все шло хорошо, пока в один прекрасный день он не похвастался на этот счет журналистке, а та вставила его похвальбу в заголовок. Джи-Джи вызвал Тома на ковер, вручил ему пачку сигарет и объявил, что с сегодняшнего дня он курит. И Том начал курить. Вот только не стоило ему бросать при этом занятия в гимнастическом зале. Пару месяцев спустя Джи-Джи увидел его по Си-СПЭН — шмыгающего носом, бледного, одрябшего, — и это стало для Тома началом конца. Так что Ник старался поддерживать форму: пробежки, штанга и время от времени салон искусственного загара, где он лежал внутри машины, похожей на агрегат для поджаривания великанских тостов с сыром.

— А ты хорошо смотришься, — сказала ему перед началом шоу веселая, разговорчивая Опра. — На телохранителя похож.

— Да уж куда мне до тебя, — Ник с удовольствием обнаружил, что Опра вновь набрала кое-какие из сброшенных ею семидесяти пяти фунтов. Пока в мире существуют женщины с избыточным весом, существует и надежда для табачной промышленности.

— Мы пытались пригласить Главного врача, но она заявила, что не станет разговаривать с торговцем смертью, — Опра хохотнула. — Это она тебя так назвала. Торговец смертью.

— Такова жизнь, — улыбнулся Ник.

— При ее произношении я не понимаю и половины того, что она говорит, — Опра взглянула Нику прямо в глаза. — А скажи, почему ты этим занимаешься? Молодой, симпатичный, белый. Слушай, а ты... где-то я тебя видела.

— Я часто появляюсь на кабельном.

— Так почему же ты этим занимаешься?

— Испытание сил, — сказал Ник. — Самая трудная работа, какую мне удалось найти.

Похоже, на это она не купилась. Лучше иметь ее на своей стороне, хотя бы до начала шоу.

— Тебе это действительно интересно?

— Да.

Ник прошептал:

— Я пытаюсь сдержать демографический взрыв.

Опра состроила гримаску.

— Какой ты испорченный. Ты бы сказал это во время шоу, — и она оставила его на попечение гримерши.

Ник изучил список участников шоу, и это не прибавило ему бодрости. С пятницы в списке произошли кое-какие изменения.

В нем значились: глава «Матерей против курения» — роскошно, — «специалист по

рекламе» из Нью-Йорка, руководитель Национальной ассоциации учителей, один из заместителей Крейгхеда в Отделе по предотвращению злоупотреблений дурманящими веществами. Нику уже надоело препираться с заместителями. Интересно, какое такое важное дело нашлось нынче у Крейгхеда — более важное, чем попытка оскальпировать главного общественного представителя табачной индустрии? Раздача денег налогоплательщиков своим лизоблюдам, которым так не терпится облагодетельствовать человечество? Сидевшие в креслах гримерной участники шоу почти не разговаривали друг с другом.

Скоро их отвели в студию, чтобы настроить микрофоны. В соседнем с Никовым кресле обнаружился гость не вполне понятный — совершенно лысый подросток. Это еще кто такой?

— Привет, — сказал Ник.

— Привет, — вполне дружелюбно ответил подросток.

Так, интересно было бы узнать, для чего приглашен именно на это шоу лысый подросток — не просто лысый, безбровый? Звукооператор в здоровенных наушниках громко крикнул: «Одна минута!» Ник поманил к себе режиссера, и тот, подбежав, сообщил ему, что в уборную он уже не поспеет. Новичков нередко поражает в последнюю минуту нервное расстройство мочевого пузыря, и в итоге им приходится отсиживать целый час в мокрых подштанниках.

— Я э-э... — сказал Ник. — Я в порядке.

И прошептал:

— Кто этот мальчишка?

— Робин Уиллиджер, — прошептал в ответ режиссер.

— Что он здесь делает?

— У него рак.

— Скажите Опре, что мне нужно поговорить с ней. *Сию же минуту.*

— Слишком поздно.

Нащупав зажим нагрудного микрофона, Ник отцепил его от своего галстука, оранжевого, с жирафами.

— Тогда ей придется обойтись без меня.

Режиссера смело. Подошла, торопливо перебирая ножками, Опра, симпатичный бюст ее подпрыгивал под синим шелком.

— В чем дело?

— Я не люблю сюрпризов, — сказал Ник.

— Его поставили на замену в последний момент.

— На замену кого? Анны Франк? Ладно, пусть заодно и меня заменит.

— Ник, — прошипела Опра, — ты же знаешь, без тебя шоу не состоится.

— Знаю.

— Пятнадцать секунд, — крикнул звукооператор.

— Что мне, по-твоему, делать? Дать ему пинка под зад?

— Это твоя проблема.

Ничего она делать не стала. Инстинкт говорил Нику, что пора уносить ноги. И побыстрее! Но перед ним стояла Опра, черная женщина, приказавшая ему сидеть, где сидит, и закончить наконец ужин, и Ник не мог сдвинуться с места.

Она покрутила в воздухе беспроводным ручным микрофоном и, поворотясь к камере с вспыхнувшей красной лампочкой, просияла всеми своими жемчужными зубками.

Вставай! Улепетывай!

Поздно. Мы в эфире. Может быть, удастся улизнуть как-нибудь неприметно?

Заголовок: «Сигаретный рекламщик удирает от больного раком ребенка».

А в довершение унижения он зацепит ногой электрический кабель и завалит софит. И грохнется, ослепленный, на пол студии, а аудитория будет гоготать. Вся Америка покатится со смеху, все домашние хозяйки станут, улюлюкая, тыкать в него пальцами. Только БР смеяться не будет.

И Раковый Ребенок тоже. Нет, он не засмеется, на устах его заиграет лишь тончайшая улыбка торжества, смешанного с печалью, порожденной его глубоко личной трагедией. Ник чувствовал, как у корней волос выступают горячие капельки пота, шарики расплавленной лавы, которым ничто не мешает скатиться к бровям по гладкому, загорелому лбу. И разве не прекрасно смотрится на телеэкране человек, вытирающий потный лоб, сидя рядом с умирающим школьником, удостоенным национальной стипендии за заслуги — он наверняка ее получил, еще бы, и наверняка он председатель школьного совета и дискуссионного общества, а в свободное время, когда у него нет занятий с детишками из трущоб, он руководит благотворительной столовой. Единственный его недостаток состоит в том, что он как-то выкурил одну сигарету — да-да, только одну, не больше, всего одну, разве это не доказывает, что никотин смертельно опасен в любых, даже самых крохотных дозах? — так ведь и ту мальчику навязали, одолев лучшие стороны его натуры, табачные компании, эти... долбаные... верблюды с фаллическими носами, играющие на саксофонах, — вот этот самый Ник Нейлор, старший вице-президент Академии табачных исследований, торговец смертью.

А он и шелохнуться не может. Опра приклеила его к креслу. Обвела его вокруг пальца, злоехидная сучка!

В такие мгновения —ему уже случалось подходить к краю пропасти, правда, не так близко, как сейчас, — Ник воображал себя пилотом авиалайнера. Пилоты ведь всегда сохраняют спокойствие, даже когда все восемь двигателей горят, шасси заело и арабского обличия пассажир, место 17Б, уже выдернул чеку из гранаты.

Ник набрал полную грудь воздуха и выпустил его — медленно, медленно, медленно. Вот так. Дыхательное упражнение. Курсы по методике Ламаза[1]. Но сердце все равно продолжало ухать и бухать в груди. Интересно, микрофон это буханье улавливает? Как мило, если гулкий стук его сердца транслируется сейчас во все гостиные страны!

Может, стоит как-то выказать Раковому Ребенку сочувствие? Нужна начальная фраза. Ага, вот: «Ну, так сколько ты еще протянешь, паренек?»

Опра уже произносила вступительный текст:.

— В прошлом году фирма «Ар-Джей-Ар Набиско», производящая сигареты «Кэмел», развернула новую рекламную кампанию стоимостью в семьдесят пять миллионов долларов. Звездой ее стал Старина Джо, верблюд. Но это не обычное жвачное четвероногое, — на экране замелькали изображения Старины Джо: играющего на саксофоне, играющего на контрабасе, слоняющегося по пляжу, разглядывающего девушек, невозмутимого, с погасшей сигаретой, свисающей с его губы (или с крайней плоти — зависит от того, насколько у вас развито фаллическое воображение). — Он стал очень популярным, особенно среди детей. Согласно недавнему опросу, около девяноста процентов шестилетних детей — *шестилетних!* — не только знакомы со Стариной Джо, но и знают, за что он ратует. Этот верблюд приобрел популярность не меньшую, чем Микки Маус.

До того как Старина Джо начал появляться на рекламных щитах и страницах множества журналов, доля «Кэмела» в противозаконной продаже сигарет детям составляла меньше одного процента. Сейчас это... тридцать два процента — тридцать два и восемь десятых, если назвать точную цифру. Что равноценно годовой прибыли в четыреста семьдесят шесть миллионов.

Главный врач Соединенных Штатов призвала «Ар-Джей-Ар» свернуть эту рекламную кампанию. Даже «Век рекламы», ведущий журнал рекламной индустрии, выступил против пропаганды Старины Джо. Однако кампания продолжается.

Затем, в прошлую пятницу, главный врач призвала к *полному* запрету рекламы сигарет. В журналах, на рекламных щитах — повсюду. Затея весьма спорная. Слишком большие деньги стоят на кону.

---

[1] Методика физической и психологической подготовки будущих матерей к родам без обезболивания.

Я хочу представить вам Сью Маклин, возглавляющую Национальную организацию «Матери против курения». Сью приступила к созданию НОМПК после того, как ее дочь заснула с сигаретой в постели и сожгла дотла общежитие своего колледжа. По счастью, никто не пострадал. Сью сказала мне, что после этого дочь курить бросила.

Смех в студии. Одобрительный.

— Дочь Сью уже сама стала матерью и очень активной сотрудницей НОМПК.

Аудитория радостно воркует.

Ник, ощущая, как перегреваются его межнейронные контакты, пытался соорудить на лице подходящее к случаю выражение, нечто среднее между тем, с каким стоишь на остановке, поджидая сильно запоздавший автобус, и тем, которое возникает, когда тебя головой вниз опускают в резервуар, кишащий электрическими угрями.

— Фрэнсис Дживерсон, исполнительный директор Национальной ассоциации учителей в Вашингтоне. Она отвечает за посвященные проблемам здоровья публикации НАУ, из которых преподаватели узнают, как лучше внушать своим ученикам мысль о вреде курения.

Рон Гуди, заместитель директора Отдела по предотвращению злоупотреблений дурманящими веществами Министерства здравоохранения и социальных служб, Вашингтон, округ Колумбия. ОПЗДВ является командным центром войны против сигарет, ведущейся в масштабе всей страны, то есть выходит, что вы, Рон, кто — полковник?

— Простой пехотинец, Опра.

«Где это он набрался такой скромности?» — подивился Ник. Гуди был одним из самых напыщенных и самодовольных засранцев во всем федеральном правительстве.

Опра улыбнулась. По публике, сидящей в студии, прокатился невнятный, но теплый шепоток. *Знаете, какая у него власть? А посмотрите, какой он скромный!*

Опра повернулась к Раковому Ребенку.

— Робин Уиллиджер, старшеклассник из города Расин, штат Висконсин. Он увлекается историей и состоит в школьной команде пловцов.

Душа Ника мгновенно воспряла. Возможно, ему все приснилось. Возможно, у мальчика нет никакого рака. Разве пловцы не бреют голов для повышения скорости? А у которых не все дома, те сбривают и брови.

— Он намеревался продолжить образование в университете. Но тут случилось несчастье. Недавно у Робина обнаружили рак, причем рак, плохо поддающийся лечению. Сейчас он проходит курс химиотерапии. Мы желаем ему удачи — всей, какая только есть на свете.

Аудитория взрывается аплодисментами. Ник несмело присоединяется к ним.

— Причина, по которой мы пригласили его на наше шоу, состоит в том, что Робин, когда ему было пятнадцать, начал курить сигареты «Кэмел». Начал потому, что, по его словам, ему хотелось быть, я цитирую, клевым, как Старина Джо. Он также сказал мне, что, узнав о своей болезни, курить бросил. И больше не считает, что курение, я снова цитирую, — это клево.

Громовые аплодисменты.

Все, что требовалось сейчас Нику, это ампула с цианистым калием. Но Опра уже повернулась к нему:

— Ник Нейлор, вице-президент Академии табачных исследований. Услышав такое название, можно подумать, будто речь идет о каком-то научном институте. На самом деле это главное лобби табачной индустрии в Вашингтоне, а мистер Нейлор — его, так сказать, общественное лицо. Спасибо, что пришли к нам, мистер Нейлор.

— Всегда рад, — прокаркал Ник, хоть чувства, им испытываемые, и рядом с радостью не лежали. Аудитория с ненавистью ела его глазами. Вот, стало быть, что ощущали нацисты в день открытия Нюрнбергского процесса. Только Ник не может прибегнуть к избранной ими линии защиты. Не может с серьезным видом заявить, что фюрер ни в какую Польшу отродясь не вторгался. «Где фаши данные?»

— Кто хочет начать? — спросила Опра.

Ник поднял руку. Опра и прочие участники шоу недоуменно воззрились на него.

— Никто не будет возражать, — спросил он, — если я закурю?

Аудитория ахнула. Опешила даже Опра.

— Вы хотите *закурить?*

— А разве не существует традиции, по которой командир расстрельной команды предлагает приговоренному последнюю сигарету?

На несколько секунд в студии повисло ошеломленное молчание, потом кто-то из публики засмеялся. К нему присоединились еще несколько человек. Скоро хохотали уже все.

— Простите, но, по-моему, это не смешно, — сказала миссис Маклин.

— И по-моему тоже, — подхватила дама из Национальной ассоциации учителей. — По-моему, это шутка в чрезвычайно дурном вкусе.

— Вынужден с вами согласиться, — сказал Гуди. — Я не вижу тут ничего веселого. И полагаю, мистер Уиллиджер тоже не видит.

Но Раковый Ребенок смеялся. Благослови его Боже, он смеялся! Ника захлестнула волна теплых чувств. Ему захотелось усыновить этого мальчика, забрать его в Вашингтон, вылечить от рака, найти ему высокооплачиваемую работу, подарить машину — роскошную машину, — построить дом с бассейном, таким большим, чтобы он смог продолжить занятия плаванием. А еще Ник купил бы ему парик и устроил трансплантацию бровей. Какая все-таки гадость, этот рак! Может быть, облучение...

Забудь про мальчишку! Он уже в прошлом! В атаку! В атаку!

— Почему бы вам не оставить его в покое, — Ник резко развернулся к Гуди, — и не указывать, что он обязан чувствовать?

Теперь к Опре.

— С вашего разрешения, Опра, это типичная позиция федерального правительства. «Мы знаем, что́ вы должны чувствовать». Именно она подарила нам «сухой закон», Вьетнам и пятьдесят лет жизни на грани ядерного уничтожения.

Ну и дальше что? И при чем тут ядерное устрашение? *Не важно! В атаку!*

— Если мистеру Гуди угодно набирать дешевые очки, используя страдания этого молодого человека для увеличения своего бюджета, что позволит ему указывать еще большему числу людей, как им следует поступать и что чувствовать, то, должен вам сказать, мне это представляется печальным, очень и очень печальным. Но вот то, что член федерального правительства явился на это шоу и читает нам лекции насчет рака, между тем как то же самое правительство почти пятьдесят лет производит атомные бомбы, двадцать пять тысяч бомб, если быть точным, мистер Статистик, бомб, способных наградить каждое живое существо на планете, мужчин, женщин, детей, раком настолько страшным, настолько кошмарным, настолько... настолько *неизлечимым*, что медицина даже названия для него еще не придумала... вот это... — *быстро к сути! А в чем суть?* — это не заслуживает даже презрения. И честно говоря, Опра, мне хотелось бы узнать, каким образом человек вроде... *вот этого* получает в федеральной бюрократии пост, дающий ему такую власть. Впрочем, я и сам это знаю — ему *не приходится* избираться на свой пост. Нет-нет. На *него* демократия не распространяется. Он *выше* ее. Выборы? Согласие управляемых? Пфа! Тех самых людей, которые платят ему жалованье? Обойдутся. Это не для Рона Гуди. Все, что ему требуется, так это наживаться на людях, подобных бедному Робину Уиллиджеру. Ну, так позвольте мне кое-что сообщить и вам, Опра, и тем достойным, сознательным людям, которые нас сегодня смотрят. Это не очень приятно, но и вам и им стоит это услышать. Роны Гуди нашего мира *хотят*, чтобы Робины Уиллиджеры умирали. Ужасно, но правда. Мне очень жаль, но таков факт. И знаете почему? Я вам скажу. Потому что от этого растут их, — и Ник выплюнул тошнотворное слово, — *бюджеты*. Это не что иное, как торговля человеческим горем, и вам, сэр, следовало бы *стыдиться* смотреть людям в глаза.

От этого удара Рон Гуди так и не оправился. В течение следующего часа он только и мог, что визжать в сторону Ника, нарушая все маклахановские наставления насчет бессмысленности попыток раззадорить слушателя, который полностью к тебе равнодушен. Даже Опре с трудом удавалось его успокаивать.

Ник же, соорудив на лице выражение безмятежной правоты, только кивал или качал головой, более в грусти, чем в гневе, как бы говоря, что эти вспышки лишь подтверждают все им сказанное. «Все это хорошо и прекрасно, Рон, но вы не ответили на мой вопрос», или «Ну бросьте, Рон, зачем притворяться, будто вы меня не слышите?», или «А как насчет людей, облученных при ядерных испытаниях в штате Нью-Мексико? Об *их* раковых заболеваниях вы поговорить не хотите?»

Во время одной из рекламных пауз звукооператору пришлось держать Рона Гуди за руки.

Глава НОМПК и представительница учительской ассоциации пытались, сколько могли, помочь своему правительственному благодетелю, но всякий раз, как они отваживались вставить хоть слово, Ник обрывал их фразой: «Послушайте, мы же с вами на одной стороне», поражавшей их настолько, что они теряли дар речи. Когда они наконец осмелились оспорить ее, заявив, что не видят ни единого квадратного дюйма той почвы, на которой могут бок о бок утвердиться человеколюбие и злодейские ухищрения табачников, Ник понял, что получил шанс, за который можно зацепиться. Никто, сказал он, не озабочен проблемой курения подростков в большей мере, нежели табачные компании. Дело, разумеется, не в том, что существуют хотя бы ничтожные научные доказательства связи между курением и болезнями, просто эти компании, сознавая свою ответственность перед обществом, никак не могут мириться с распространением курения среди подростков — а равно и с вождением автомобиля в пьяном виде, — и по одной простой причине: и то и другое *противозаконно*. Лучшего момента для объявления нового крестового похода против курения подростков и придумать было нельзя.

— Собственно говоря, мы со дня на день приступим к осуществлению новой, стоящей пять миллионов долларов программы, задача которой — отвратить детей от курения, — сказал Ник. — То есть можете считать, что *наши* деньги мы на стол выложили.

6

Еще получая в студийной артистической свой кейс, Ник услышал, как в нем настырно свиристит сотовый телефон, но решил не обращать внимания. Он продолжал игнорировать телефон и по дороге в аэропорт. В конце концов водитель наполовину удивленно, наполовину сердито спросил, не собирается ли Ник все-таки ответить на звонок. Но Ник, не без удовлетворения сознавая, что звонит ему раздираемый невыносимыми чувствами БР, не спешил брать трубку. Он сделал это лишь в зале ожидания аэропорта «О'Хэйр» да и то скорее потому, что на него стали поглядывать окружающие, чем из потребности услышать горестные излияния БР.

— *Пять миллионов долларов?* — разумеется, это был БР. По прикидкам Ника давление у него должно было доехать до 180 на 120. — Ты спятил?

— Все может быть. Последние несколько дней выдались тяжелыми. Но сейчас мне значительно лучше.

— Откуда, во имя Божие, мы возьмем пять миллионов на кампанию, направленную против курения?

— Если вдуматься, это не так уж и много. «Ар-Джей-Ар» тратит семьдесят пять миллионов в год на своих идиотских верблюдов с херовыми носами. А мы к тому же еще и хорошую прессу получим.

БР пенился, грозил судебным преследованием, публикацией статей, в которых бу-

цет сказано, что у Ника произошел нервный срыв, и так далее. И все никак не мог остановиться. Слушать его было одно удовольствие. Потом Ник услышал, как БР сказал в сторону: «Кто? О господи». И следом Нику: «Капитан на второй линии».

— Кланяйся ему от меня.

— Не отключайся.

Ник не стал отключаться — не потому, что его попросил БР, а из желания узнать, как отреагировал могущественнейший из боссов табачной индустрии на новость о том, что много о себе возомнивший исполнительный вице-президент только что вынудил эту индустрию потратить более чем приличные деньги на отпугивание потенциальных потребителей.

Он прождал минут десять. Объявили его рейс, но на летное поле Ника с включенным сотовым телефоном не пустили. Наконец БР вновь подсоединился к линии Ника. Голос его изменился, теперь это был не рев, а шипение ледяной воды, процеживаемой сквозь стиснутые зубы.

— Он хочет тебя видеть.

— Меня? — спросил Ник. — Зачем?

— Откуда мне, черт возьми, знать? — ответил БР и швырнул трубку.

Прямых рейсов из Чикаго в Уинстон-Сейлем не существовало, пришлось лететь в Роли. В самолете рядом с Ником сидела женщина лет за пятьдесят, грузная, с волосами такого цвета, какого не сыщешь в природе, и не отрываясь смотрела, как он механически читает завалявшуюся в прихваченной с собой папке с вырезками статью из «Сайенс», озаглавленную «Научные стандарты в эпидемиологических исследованиях факторов, составляющих угрозу повседневной жизни».

— А я вас знаю, — наконец сказала она обвиняющим тоном, будто это Ник был повинен в том, что ей никак не удается вспомнить, кто он такой.

— Правда?

— Ага. Вы по телевизору выступали.

Ник услышал скрип сиденья за своей спиной. «Да неужели? Так среди нас знаменитость?» — «Кто это?» — «Я его где-то видел». — «Это этот, как его, из «Самых смешных видеофильмов Америки». — «С чего бы его в Роли-то понесло? И вообще, он бы первым классом летел». — «А я тебе говорю...»

Ник вечно влипал в такие истории.

— Вы правы, — негромко сказал он женщине.

— Я так и знала! — она шлепнула себя по колену свернутым в трубку журналом. — Шоу «Мужики»!

— Совершенно верно.

— Ну! Вы, наверное, здорово огорчились, когда она сказала, что вы целуетесь, как рыба.

— Еще бы, — сказал Ник. — Разве приятно такое услышать?

Проникшись жалостью к Нику, женщина поделилась с ним собственными сердечными горестями, в частности связанными со вторым ее браком, который, похоже, разваливался. Ник всегда с трудом выпутывался из таких положений. После часа сочувственного внимания ее рассказу шейные мышцы Ника завязались от напряжения в стальные узлы. Придется по возвращении заглянуть к доктору Виту. Он поймал себя на мысли о том, что вот бы сейчас сюда террориста. На его счастье, пилот объявил, что они входят в «обширный грозовой фронт», и в салоне поднялась суматоха, заставившая женщину забыть о душевных ранах и впиться ногтями в левую руку Ника, оставив на ней глубокие метки. Когда он добрался до отеля, день, оказавшийся необычайно длинным, подходил к концу, и сил Ника хватило только на то, чтобы выдуть две банки пива да слопать долларов на четыреста орешков и кренделькoв, найденных им в холодильнике своего номера.

Утром ему принесли завтрак и местную газету, «Уинстон-Сейлем тар-интеллиджен-

сер». Развернув ее, он с удивлением обнаружил в самом верху первой полосы свою фотографию, цветную. Заголовок гласил:

ОТВЕТНЫЙ УДАР: Представитель табачных компаний отчитывает чиновника от здравоохранения за манипулирование человеческой трагедией

Статья расхваливала его за «отвагу» и «готовность встать на борьбу с ханжеством». Корреспонденту удалось даже заручиться благосклонным замечанием Робина Уиллиджера, в котором тот снял с Ника какую бы то ни было вину за его, Робина, заболевание, добавив, что людям самим следует более ответственно относиться к своей жизни.

Зазвонил телефон, деловитый женский голос произнес:

— Мистер Нейлор? Поговорите, пожалуйста, с мистером Доуком Бойкином.

Капитан. Ник сел в кровати. Но откуда они узнали, где он остановился? В Уинстон-Сейлеме отелей немало. Он ждал. Наконец из трубки послышался высокий голос:

— Мистер Нейлор?

— Да, сэр, — неуверенно сказал Ник.

— Э-э, я просто хотел лично поблагодарить вас.

— Вот как?

— Я думал, этого деятеля из министерства прямо на национальном телевидении хватит инфаркт. Великолепно проделано, сэр, великолепно. Вы ведь, насколько я понимаю, в городе?

Вот он, признак истинной власти, — человек даже не знает, куда звонит.

— Вы еще не завтракали? Не хотите ко мне присоединиться? В Клубе сносно готовят. В полдень вам удобно? Превосходно. — Капитан произнес это таким тоном, словно Ник, которого он в любую минуту мог слопать и не подавиться, только что наделил смыслом всю его дальнейшую жизнь. Они проиграли войну за рабовладение, эти южане, и все же какие они учтивые!

Покидая отель, Ник купил в вестибюле номер «Ю-Эс-Эй тудей». Нужная статья отыскалась в разделе «Финансы», тоже на первой полосе и тоже вверху:

ТАБАЧНЫЕ КОМПАНИИ ПЛАНИРУЮТ ПОТРАТИТЬ **5 МИЛЛИОНОВ**
НА КАМПАНИЮ ***ПРОТИВ*** **КУРЕНИЯ**, —

говорит их главный представитель

Ник начал читать. БР вертело в классическом водовороте «ничего не отрицаю, ничего не утверждаю». Необходимо еще проработать множество деталей, однако да, Академию всегда «в первую очередь» заботили курящие подростки, так что она готова израсходовать «значительные суммы» на широкую общественную кампанию. Как же, как же. Цитировалась и Дженнет, сообщившая, что мистер Нейлор, столь прекрасно выступивший на шоу Опры Уинфри, покамест недостижим: «Мы не знаем точно, где он находится в настоящее время». Создавалось впечатление, что он пьет горькую в каком-нибудь кабаке.

Подъезжая к Табачному клубу, Ник припоминал то немногое, что знал о Доуке Бойкине. Доук — уверяли, будто он заменил этим именем более плебейское Доки — Бойкин был одним из последних великих людей в табачном деле, своего рода легендой. Самостоятельно пробившийся с самого низу, он начал с ничего и добился всего. Кроме сына. У него было семь дочерей: Энди, Томми, Бобби, Крис, Донни, Скотти и Дейв — на последнюю бремя неосуществившейся отцовской мечты о сыне легло особенно тяжко. Именно Доук Бойкин, после того как в «Ридерс дайджест» появились первые статьи с заголовками наподобие «Рак в картонной упаковке», додумался до сигаретных фильтров и сам воплотил эту идею в жизнь. (В частности, ему принадлежала блестящая мысль

об асбестовых фильтрах, благодаря которой юристы «Смута и Хокинга» проводили ныне в судах тысячи хорошо оплачиваемых часов, отбиваясь от исков по возмещению ущерба, причиненного здоровью.) Когда число статей этого рода стало неуклонно возрастать и индустрия уяснила, что ей необходимо постоянное представительство в Вашингтоне, он же основал Академию табачных исследований, дабы та, как говорилось в ее уставе, служила «центром анализа и синтеза научной информации, беспристрастным и неизменно честным посредником между табачными компаниями и надеждами и чаяниями народа Америки».

В последнее время большую озабоченность вызывало здоровье Капитана. Слухи ходили самые разные. При посещении «Рощи богемы»[1], что в Калифорнии, у него стало плохо с сердцем. Его отвезли в ближайшую больницу в Санта-Розу, а там сразу поместили в хирургическое отделение. Молодой ординатор-кардиолог, узнав, кто его пациент, сказал, везя туго соображавшего Капитана в операционную, что доктора прозвали ее Страной Мальборо, потому что именно в ней обычно оперируют больных раком легких. Капитан, решив, что попал в лапы убийцы, отчаянно пытался привлечь чье-нибудь еще внимание, однако капельница с валиумом уже лишила его способности к связному выражению мыслей, и ему оставалось лишь беспомощно и немо дергаться, пока его ввозили в блистающую сталью пустыню Страны Мальборо. Настроение его далеко не улучшилось, когда он, очнувшись после операции, узнал, что вместо предполагаемых двух шунтов пришлось наложить четыре, а обычный в таких случаях износ митрального клапана потребовал замены его свиным. Рассказывали, что больницу Капитан покинул насмерть перепуганным и тут же распорядился, чтобы в случае каких-либо новых осложнений со здоровьем его немедленно доставили вертолетом в Уинстон-Сейлем, в построенный исключительно на табачные деньги Медицинский центр Боумана—Грея. Там он, по крайней мере, будет избавлен от дальнейшего вредительства со стороны поколения, выросшего на телесериале «Санта Черт-те-где».

Ник приехал в Табачный клуб за полчаса до назначенного времени. Это было массивное здание в псевдогреческом стиле, выстроенное в 90-х годах прошлого века табачными баронами, нуждавшимися в убежище от своих жен. Ника провели в небольшую превосходно обставленную комнату для гостей. По стенам ее висели забранные в дорогие рамки подлинники картинок, красовавшихся некогда на пачках давно уже обратившихся в дым сигарет. Здесь были «Крокодил», «Ярко-красные», «Герцог Дарем», «Красный Кэмел», «Мекка», «Оазис», «Мурад» — сладкая месть старому головорезу, — «Янки-герл», «Шомпол» («Мягок, как летний ветерок!»), «Банка печенья» («Медовые, модерные, мягкие!»), «Сладкая махорка», «Собачья голова», «Мозолистка» («Настоящий эвкалиптовый дымок»). История, и какая!

Ник сидел в тяжелом кожаном кресле, курил и слушал тиканье гигантских дедовских часов.

Ровно за минуту до полудня стеклянная дверь отворилась, пропустив человека явно значительного, поскольку появление его вызвало волну поклонов и всяческую суету. Подтянутый, элегантный мужчина под семьдесят с усами Дэвида Нивена и волнистыми белыми волосами, наводившими на мысль о кратком, давно завершенном романе с богемой. Невысокий, но с осанкой столь прямой, что она, казалось, добавляла ему несколько дюймов роста. На нем был великолепного покроя двубортный костюм из легкой темно-синей в тонкую светлую полоску ткани, сидевший так, точно его шили в Лондоне, у «Хантсмана» или у «Гивза и Хокса», в общем, в одном из тех заведений, куда вас и на порог не пустят без рекомендаций трех герцогов и одного виконта. На отвороте пиджака Ник заметил яркую розетку военного ордена. Человек этот излучал властность. Клубные лакеи устремились к нему, торопясь принять шляпу и трость с серебряным наконечни-

[1] Место летнего отдыха членов Клуба богемы, объединяющего людей, интересующихся изобразительным искусством, музыкой и театром.

ком — уж не таится ли в ней клинок? — с такой озабоченностью, точно оба эти предмета были непосильной ношей. Еще один лакей с черной щеточкой в руке возник прямо из воздуха и тут же принялся нежно смахивать пыль с плеч его пиджака. Освобожденный и от ноши и от пыли джентльмен глянул в сторону комнаты для гостей, лакей склонился к нему, пошептал что-то на ухо и указал на Ника.

Джентльмен развернулся и направился к Нику, протягивая руку и улыбаясь.

— Мистер *Нейлор*, — сказал он, всем своим видом выказывая удовольствие и понимание важности момента. — Я Доук Бойкин, и я *чрезвычайно* рад знакомству с вами.

Перед лицом такого величия Нику только и удалось, что промямлить:

— Здравствуйте, мистер Бойкин.

— Прошу вас, — сказал старик, — зовите меня Капитаном.

И взявши Ника под локоток, провел его к столику в углу.

— Точность, — улыбнулся он, — вежливость *королей*. Не многие из северян понимают это.

Один из слуг отодвинул кресло Капитана, другой снял со стола стоявший перед креслом конус белой крахмальной салфетки и, одним грациозным взмахом развернув ее, накрыл колени Капитана.

— Взбодриться не желаете? — впрочем, ответа Ника Капитан ждать не стал. Официанту также ничего сказано не было, тот просто кивнул, и через миг явился еще один, с подносом, на котором стояли две серебряные чашечки, покрытые каплями морозного пота, ибо их доверху наполнял колотый лед с веточками свежей мяты.

— Отличное пойло! — сказал Капитан. Он отхлебнул, закрыл глаза и выдохнул негромкое «ах». — Вам известен секрет *действительно* хорошего джулепа? Надо пальцами вдавить мяту в лед и растереть. Высвобождает ментол. — Капитан негромко хмыкнул. — Знаете, кто меня этому научил?

Ник не знал, но предполагал, что то был некий потомок Роберта Э. Ли[1].

— Фердинанд Маркос, президент Филиппин.

Ник подождал развития этой темы, но его не последовало. Еще одна прерогатива человека по-настоящему богатого.

— В каком году вы родились, мистер Нейлор?

Не сказать ли ему: «Зовите меня Ником»?

— В пятьдесят втором, сэр.

Капитан улыбнулся и покачал головой.

— Господь милостивый, в пятьдесят втором! — он еще отхлебнул джулепа и разгрыз кусочек льда, показав при этом зубы, очень белые. — В пятьдесят втором я торчал в Корее, отстреливая китайцев.

— Да что вы? — сказал Ник, не сумевший придумать ничего другого.

— А нынче китайцы — лучшие наши покупатели. Вот вам двадцатый век.

— В Китае курят семьдесят процентов взрослых мужчин, — заметил Ник.

— Верно, — кивнул Капитан. — В следующий раз нам не придется отстреливать их в таких количествах, не так ли?

И он, усмехнувшись, откинулся на спинку кресла.

— Еще по одной?

Появился новый поднос с джулепом. Каков, собственно говоря, протокол? Следует ли Нику первым осушить свою чашу? Он так и сделал, просыпав немного льда на колени.

— Пятьдесят второй был для нашего бизнеса годом очень серьезным, — продолжал Капитан. — Помните, что сказал мистер Черчилль? — и Капитан раскатисто произнес голосом Черчилля: «Это не конец и даже не начало конца. Но я верю, что это может стать

---

[1] Роберт Эдвард Ли (1807—1870) — генерал, во время Гражданской войны командовавший войсками южан.

концом начала». Как раз в том году «Ридерс дайджест» опубликовал статью о некоторых сторонах курения, связанных... со здоровьем.

Люди, стоящие у руля табачной индустрии, стараются не произносить определенных слов — слова «рак», например.

— Можно сказать, что это и было концом нашего начала.

Принесли еду — к большому облегчению Ника, голова которого слегка закружилась от сдобренного мятой бурбона. Капитан рассуждал о том, что может дать табачной индустрии новое руководство Кореи. Начав с холодных креветок со специями, они перешли затем к бифштексу из вырезки и печеным картофелинам с нашлепками сметаны на каждой. Капитан попросил официанта ни в коем случае не рассказывать миссис Бойкин, что́ он тут ест, иначе, зловеще предупредил Капитан, «она с нас обоих шкуру заживо сдерет». Богатые мужчины любят изображать преувеличенный страх перед женами. Им кажется, будто это делает их более человечными.

— Есть, Капитан! — ответил официант, довольный ролью, отведенной ему в заговоре молчания.

— Вы позволите? — спросил, когда опустели тарелки, Ник, вытягивая из кармана пачку сигарет.

— Конечно, большое спасибо. Я всегда так *благодарен* курящим представителям младшего поколения, — вид у Капитана стал тоскующий. — Я бы присоединился к вам, но после моего недавнего... приключения миссис Бойкин стала весьма нетерпимой по этой части, так что мне приходится, ради мира в семье, крепиться и воздерживаться. Пару дней назад старшая дочь спросила, что в мои года способно меня порадовать, и я ответил: «Возможность голосовать за республиканцев и не давать твоей матери повода меня пилить».

Принесли кофе. Другие члены клуба останавливались у стола, чтобы почтительно поприветствовать Капитана, и он учтиво представлял им Ника.

— *Тот самый* Ник Нейлор? — воскликнул один из них, стискивая ладонь Ника. — Страшно рад познакомиться с вами, сэр! Отличная работа, отличная!

Они кудахтали над Ником, точно над дитятей. Все это было очень приятно. Очень. Ник так и видел себя живущим в Уинстон-Сейлеме, завтракающим в Клубе и уже не обязанным каждый божий день извиняться и оправдываться за свое существование. Как принято здесь говорить: «Табак сам о себе заботится». И это действительно так.

— Должен вам сказать, Ник, вы произвели прекрасное впечатление, — улыбаясь, произнес Капитан, когда удалился последний из поклонников. — Вы не против, если я перейду на ты и буду называть вас Ником? Как правило, я уменьшительными именами не пользуюсь, но в данном случае был бы не прочь. Вы немного напоминаете мне меня самого, каким я был в вашем возрасте.

— Разумеется, — в замешательстве откликнулся Ник, — пожалуйста.

— Ты ведь был прежде телерепортером?

Ник покраснел. Ну, тут уж никуда не денешься. Это войдет и в его некролог. *«Тот самый Ник Нейлор, который, в бытность свою репортером Вашингтонского телевидения, объявил в живом эфире, будто президент, посещая военную базу, подавился куском мяса и умер, что привело на фондовой бирже к обвалу на 180 пунктов и к убыткам, которые к тому времени, как Белый дом смог предъявить президента, живого и невредимого, достигли 3 миллиардов долларов».* Заветнейшая из надежд Ника состояла в том, что ему еще удастся совершить в жизни нечто, способное оттеснить эти сведения во второй абзац некролога.

— Это было очень давно, — сказал Ник.

Капитан поднял ладонь.

— Тебе не нужно ничего объяснять. На твоем месте я, вероятно, проделал бы то же самое. Представился шанс — бери его за рога. Джи-Джи пересказал мне эту историю во всех подробностях. Собственно, из-за нее он тебя и нанял. Отлично понимая, что делает.

— Вы полагаете?

— Еще бы! Какими бы там недостатками ни обладал Джи-Джи — а я сожалею, что мне пришлось отпустить его, — он был превосходным знатоком человеческой натуры. Он сказал мне: «Этот мальчик будет так рваться вперед, лишь бы оставить эту историю позади и сделать себе новое имя, что его собственная задница не догонит».

— Вместо «Человек, обошедшийся в три миллиарда».

— Он сказал и еще кое-что: «Из мальчика вырастет очень сердитый молодой человек». Я не сознавал, насколько ты сердит, пока не увидел тебя вчера в шоу этой цветной женщины, Опры. Сынок, ты был *великолепен*.

— Спасибо.

— Я тоже вернулся из Кореи сердитым. И знаете почему, мистер Нейлор?

— Нет, сэр.

— Потому что принял решение никогда — никогда больше — не попадать в подчинение к *людям некомпетентным*. Я начал с сигаретных гильз и уже через пять лет стал вице-президентом — самым молодым в истории табачной индустрии. Вот, сэр, что значит рассердиться по-настоящему. Выпьешь со мной бренди?

Вновь как бы ниоткуда появился серебряный поднос с напитками. Ну и клуб! Здешние официанты не набиваются тебе в знакомцы, представляясь по именам. Они как раз таковы, какими им следует быть: услужливые, расторопные и безмолвные.

— Скажи, Ник, тебе нравится твоя работа?

— Да, — ответил Ник. — Это хорошее испытание сил. Мы между собой говорим так: «Если ты справишься с табаком, то справишься и со всем остальным».

Капитан фыркнул в свой стаканчик.

— Знаешь, подвизающиеся в табачном деле мужчины твоего поколения — и женщины, вечно забываю добавлять «и женщины» — считают, что им приходится тяжелее, чем их предшественникам. Вам кажется, будто все началось в пятьдесят втором. Ну так ни фига!

Ни фига?

— Все это тянется лет почти уж пятьсот. Говорит тебе что-нибудь такое имя: Родриго де Херес?

Ник покачал головой.

— Нет, так я и думал. По-видимому, в школах теперь учат не истории, а только общему взгляду на нее. Так вот, сэр, к вашему сведению, Родриго де Херес сошел на берег вместе с Христофором Колумбом. И увидел туземцев, «впивающих дым», как он выразился, из трубок. Он привез табак в Старый Свет. Превозносил его там до самых расписных потолков. И чем он, по-твоему, кончил? Испанская инквизиция упекла его за это в тюрьму. Объявив курение «диаволовым обыкновением». Думаешь, иметь дело с Федеральной комиссией по торговле это такое уж горе? А понравилось бы тебе объясняться с испанской инквизицией?

— Ну...

— Готов поспорить, не понравилось бы. Запомни это имя, Родриго де Херес. Ты идешь по его стопам. Он был первым публичным защитником табака. Полагаю, он тоже считал это «хорошим испытанием сил».

— Э-э...

— А что говорит тебе имя Эдвин Прун?

— Прюн?

— Боже ты мой, а мы-то выбрасываем миллиарды долларов на муниципальные школы! Эдвин Прун жил в Массачусетской колонии в начале семнадцатого века, как раз когда пуританские священники надумали приколачивать к стенам самые первые в Новом Свете таблички «Курить воспрещается». Думаешь, вы первые, кому пришлось иметь дело с нарастающими будто снежный ком ограничениями и предписаниями? Так нет же, сэр, Эдвин Прун еще бог весть когда сражался в этой войне. Пуритане провели закон, воспрещающий курить в общественных местах, а под «общественным» местом они ра-

зумели такое, в котором находится больше одного человека. Пруна бросили за решетку. Когда же выяснилось, что он курит и за решеткой, ему надели на лицо железный клобук. Как по-твоему, Эдвин счел это «хорошим испытанием сил»?

«Пристегните ремни, — подумал Ник, — у вас впереди еще четыреста лет». Капитан, пересыпая свой доклад подробностями, напомнил ему, что Америка открыто воевала с «пагубной привычкой» в 1790-х, в 1850-х и в 1880-х. Он напомнил о словах Хораса Грили[1]: «Сигара — это огонь с одного конца и дурак с другого», о том, что Томас Эдисон не брал курильщиков на работу, что уже в нашем столетии американцев — и не только женщин — самым натуральным образом арестовывали всего лишь за попытку закурить сигарету. Речь Капитана текла и текла, пока на лбу его не выступили, как на чашечке с джулепом, капли пота. В конце концов он умолк и промокнул лоб носовым платком.

— Прошу прощения. Похоже, после операции у меня появилась склонность... к неумеренным словоизлияниям. Кстати, постарайся никогда не болеть в Калифорнии. И уж во всяком случае, не доводи дело до операции. Они там ни аза в хирургии не смыслят. Со мной не приключилось ничего такого, с чем не справилась бы чайная ложка соды.

Поговорили о ханжестве и подлости политиканов Одиннадцатого региона. Почти все антитабачные постановления исходили из Одиннадцатого региона, то есть Калифорнии, этого рейха нацистов от здравоохранения. Какой можно ждать справедливости, если национальные стандарты здравоохранения определяет именно Калифорния?

— Известно ли тебе, кто такая Люси Пейдж Гастон? — поинтересовался Капитан, вперяя в Ника вопрошающий взгляд.

Нет, Нику не известно, кто такая Люси Пейдж Гастон.

— В девяностых годах прошлого века она откололась от движения трезвенников и принялась искать новые души, которые могла бы спасти. Это по ее милости шестьсот чикагских табачных торговцев были арестованы за продажу сигарет несовершеннолетним. Она же учредила Антисигаретную лигу. В 13-м Люси вместе с каким-то врачом основала клинику, в которую они затаскивали с улицы мальчишек-газетчиков, смазывали несчастным гортань азотнокислым серебром и наказывали им впредь не курить, а уж если приспичит — жевать корень горечавки. Теперь у нас появились взамен эти чертовы пластыри! В 19-м она обратилась с письмом к королеве Марии и президенту Хардингу, призывая их бросить курить. Какова нахалка! Объявила, что будет баллотироваться в президенты. В 24-м, возвращаясь с антисигаретного митинга в Чикаго, попала под трамвай. Выжила. Протянула еще восемь месяцев. Знаешь, от чего она умерла, Ник?

— Нет, сэр.

Капитан улыбнулся.

— От рака горла. Как по-твоему, что это доказывает, а, Ник? Что Бог все-таки существует.

Выйдя из Клуба, Капитан объявил, что, раз уж нынче выдался такой чудный весенний денек, он был бы не прочь прогуляться. Пошли прогуливаться, при этом лимузин Капитана медленно ехал следом.

— А скажи-ка мне, — спросил Капитан, — что ты думаешь о БР?

Нику показалось, что тротуар под его ногами покрылся шкурками крупных бананов.

— БР, — ответил он, — БР... мой босс.

Капитан удивленно хмыкнул.

— А мне-то казалось, сынок, что это *я* твой босс.

Сынок?

— Впрочем, мне по душе лояльные люди. Я ценю лояльность. Лояльному человеку я готов простить практически все. — Они неторопливо шли бок о бок. Капитан остановился, чтобы полюбоваться каким-то вьющимся растением. — Через три недели зацве-

---

[1] Хорас Грили (1811—1872) — журналист и политический деятель, основатель и главный редактор нью-йоркской газеты «Трибюн».

тет глициния. Лучший запах на свете. Наверно, на небесах пахнет глицинией. БР надумал поработать с голливудскими продюсерами, чтобы те заставили актеров курить. Мысль интересная. Примерно через год мы столкнемся с полным запретом рекламы. Он считает, что таким манером мы сможем этот запрет обойти. Глядишь, еще и деньги сэкономим. Пока мы тратим на печатную рекламу почти миллиард в год. А ты что об этом думаешь?

— Интересная мысль, — кипя от злости, сказал Ник.

— Да, мне она очень нравится. БР человек умный.

— О да. И лояльный.

— Рад это слышать. Ты ведь знаешь, он начинал с торговых автоматов. Самая рискованная часть нашего бизнеса. Нам сейчас необходим человек вроде БР. Он хорошо обходится с японцами. Жестко. В ближайшие годы Дальний Восток начнет приобретать для нас все большее значение. Потому-то я и сделал ему предложение, которое ошарашило бы и Креза. Хотя в нынешней корпоративной Америке ошарашить кого бы то ни было трудновато. Как мне не хотелось отпускать старину Джи-Джи! Но что было делать — он получил в наследство эту недвижимость в Тарпон-спрингсе[1]. Полагаю, скоро и меня отправят в стойло. С другой стороны, — Капитан фыркнул, — человек, владеющий двадцатью восемью процентами акций, имеет приятную возможность *самостоятельно* выбирать время своей отставки. И все же, я не молодею. Временами я ощущаю себя как Tirannosaurus rex, ковыляющий по болотам на шаг впереди ледников. Ты знаешь, — скептически ухмыльнувшись, спросил он, — что ученые утверждают теперь, будто динозавры вымерли из-за газов в желудке?

— Нет, — сказал Ник.

— Говорят, будто они пукали, пукали, и все это собиралось в атмосфере и в конце концов создало парниковый эффект, от которого начал таять ледяной покров, — Капитан покачал головой. — И как они это узнали?

— Где данные?

— Вот именно. Вот именно! Помнишь, что сказал Финистер?

— «Проснитесь, ребята, нынче Великая пятница, так не хлебнуть ли нам пивка?»

— Не тот Финистер. Ромул К. Финистер, президент. Уж его-то ты помнить должен! Он сказал: «Факел передается новому поколению». Это он о моем поколении говорил. А теперь пришло время передать факел вашему. Ты как, Ник, готов принять факел?

— Факел?

— Будет нелегко. Нас окружает враждебный мир. Я оглядываюсь по сторонам и вижу только вспышки выстрелов. Больше того, я вижу их в той стороне, где стоят лагерем наши друзья. Пару дней назад я вызвал к себе Джордана. Старая шлюха, за долгие годы мы вбабахали столько денег в его избирательные кампании, что на одни только проценты все его дети получили университетское образование. А во время последней я, черт побери, не мог даже пользоваться собственным самолетом, потому что Джордан просто-напросто не вылезал из него. И что, по-твоему, он имел наглость заявить мне в моем собственном кабинете? Что ему придется поддержать повышение акцизных сборов, иначе Белый дом прикроет базу ВВС в Лагроуне.

Ник не мог не согласиться с Капитаном: и впрямь, не прискорбно ли, что достопочтенный джентльмен из Северной Каролины, председатель сенатского Сельскохозяйственного комитета, вынужден отдавать свой голос за двухдолларовый налог на пачку сигарет?

— Порой я сам себе кажусь колумбийским наркодельцом. Недавно моя семилетняя внучка, плоть от плоти чресл моих, сказала мне: «Дедушка, а правда, сигареты такие вредные?» Моя родная внучка, чье образование в частной школе, собственная лошадь и все прочее оплачивается сигаретными деньгами, и между прочим немалыми!

Капитан остановился и сказал:

---

[1] Курортный городок на западном побережье Флориды.

— Надо что-то делать. Что-то серьезное, значительное — и быстро. Вот этот голливудский проект БР. Я хочу, чтобы им занялся ты. И чтобы ты отчитывался лично передо мной.

— Но это ведь идея БР, — сказал Ник. — Мне не хотелось бы обижать его, отнимая плод его умственных усилий.

— На этот счет можешь не беспокоиться. С БР я как-нибудь слажу. Он, похоже, думает, что этим должна заняться его девица, Дженнет. Ему кажется, будто земля вращается вокруг нее. Мне же кажется, что ты — именно тот, кто нам нужен, — он положил руку на плечо Ника. — А я ошибаюсь редко.

Капитан помахал водителю. Они сели в машину.

— В главный офис, Элмор, — сказал Капитан. — Потом отвезешь мистера Нейлора в аэропорт.

— Мне нужно забрать из отеля сумку.

— Об этом уже позаботились, сэр, — сказал Элмор.

Капитан улыбнулся:

— Табак сам о себе заботится.

Машина остановилась у здания Табачной корпорации. О пятимиллионной выходке Ника так и не было сказано ни слова. Пришлось напомнить о ней самому.

Капитан задумчиво покивал.

— Конечно, это немалая сумма. Тебя, похоже, донимает склонность к широким тратам, — лицо его помрачнело, как будто Капитана внезапно обуяли сильные чувства, и на несколько секунд Ником овладела уверенность, что сейчас все отменится и ему придется-таки встать в очередь безработных. Но грозовые тучи рассеялись. Старик хмыкнул: — Ладно, я не думаю, что пять миллионов долларов пустят нас по миру. Хотя не думаю также, что именно эту рекламную кампанию ждет ошеломительный успех.

Он протянул Нику руку:

— Спасибо, что нашел время навестить меня. Будем поддерживать связь.

В аэропорту при приближении лимузина автоматически разъехались ворота из металлической сетки. Самолет, лоснящийся «Гольфстрим-5», ждал — с уже запущенными двигателями, с улыбающейся у трапа стюардессой в форме, смахивающей на купальник из последнего номера «Спортс иллюстрейтед»[1]. Неудивительно, что председатель сенатского Сельскохозяйственного комитета так привязался к этой машине.

— Привет, — сказала стюардесса. — Рада, что вы летите с нами!

Ник поднялся по трапу. Ступни его утонули в пышном ковре. Писанные маслом картины на переборках, позолоченный потолок, огромные кресла, обитые кремовой кожей, словно бы впитавшей Ника, когда он сел в одно из них.

— Капитан говорит, что это самое любимое его кресло во всем мире, — сообщила стюардесса.

Рядом на столике стояла ваза со свежими фруктами, лежал пяток газет, выглядевших так, точно их долго гладили утюгом, из плотного картона карточка, на которой было написано: «Приветствуем Вас на борту, мистер Нейлор из АТИ!» и далее указывалось время полета до Вашингтона, скорость и предполагаемая высота, погодные условия и температура воздуха в Вашингтоне. Стюардесса склонилась над Ником, так что глядеть ему осталось некуда, кроме как в мягкую ложбинку между ее кремовых грудей, из которой веяло нежнейшими духами:

— Если существует хоть что-то, способное сделать ваш полет более приятным, не стесняйтесь, скажите прямо.

---

[1] Спортивный еженедельник, самый популярный в США.

7

— Долетел нормально? — спросил БР.

— Хорошо долетел, — ответил Ник.

— А каким рейсом? Тот, что в четыре пятнадцать, приземляется в пять двадцать, а сейчас только пять.

— Вообще-то, я летел на самолете...

— Господи Иисусе, разумеется на самолете!

— ...на самолете Капитана. — Ник, собственно говоря, еще не решил, как использовать свой новый статус, он просто чувствовал себя подобно пятнистой сове, залетевшей в кабинет главы деревообрабатывающей компании «Уэйерхойзер», — то есть в полной безопасности[1].

Глаза БР округлились.

— Это было... весьма любезно с его стороны.

— Да уж, — сказал Ник, наслаждаясь. — А хорош у него самолетик, верно?

— Не знаю.

— Да что ты?

— Пока не знаю. Я летал на предыдущем. Чуть ли не жил в нем. Капитан раз десять приглашал взглянуть на новый, но у меня все не получалось.

— Ну еще бы, с твоим-то графиком. Я понял, почему он так нравится сенатору Джордану. Эшли, стюардесса — очень милая особа, — говорит, что новый самолет здорово выигрывает в сравнении с «Г-4», в смысле дальности полета.

— М-да. А что сказал Капитан о пятимиллионной кампании против курения?

— Сказал — валяйте. Но в меру, чтобы дело не пострадало.

Физиономия у БР вытянулась. Это смахивало на таяние ледника, только происходило гораздо быстрее. Занятная штука жизнь, думал Ник, тридцать шесть часов назад ему в этом же кабинете отказали в чашке кофе и безо всяких околичностей дали понять, что он человек конченый. А теперь у БР сводит челюсти, и вообще, выглядит он так, словно ему не помешала бы встреча с доктором Витом. Может, дать ему карточку? «Д-р Вит, ДО[2], Остеопатические манипуляции». Расслабьтесь... хрряк!

— Я, пожалуй, поручу ее «Би-Эм-Джи», новой фирме из Миннеаполиса, помнишь, я тебе о ней говорил? Если, конечно, ты не возражаешь.

— Нет. Нисколько.

— Да, кстати, БР, Капитану *очень* понравилась твоя идея насчет того, чтобы заставить актеров побольше курить.

БР покраснел.

— Это была твоя идея. Он, должно быть, что-то напутал.

— Может быть. Ему приходится столько всего держать в голове.

— Возраст. — Ник прямо-таки видел, как над головой БР, будто в комиксе, раздувается пузырек с мыслью внутри: «Он недолго протянет, Нейлор, и через десять секунд после его смерти я займусь твоей задницей».

— Да, — сказал Ник, — хотя, по-моему, голова у него все еще здорово варит. Ничего не упускает, правда?

— Он велел передать тебе это, — БР подтолкнул по столу листок бумаги.

Новая платежная ведомость. Поначалу Ник решил, что в нее вкралась опечатка. Со ста пятидесяти к... двум... ого-го!

— Ну что же, — сказал Ник, — спасибо.

---

[1] Массированные вырубки лесов на северо-западе США, производимые крупной деревообрабатывающей компанией «Уэйерхойзер», поставили на грань уничтожения многие виды животных, рыб и птиц, в том числе и упоминаемую здесь пятнистую сову, ставшую в 80-х своего рода тотемом движения защитников окружающей среды.

[2] Доктор остеопатии.

— Меня, — искренне заверил Ника БР, — тебе благодарить не за что.

Люди, мимо которых он шел по коридорам, определенно не знали, как с ним теперь здороваться — как с прокаженным или как с героем. Воздух ощутимо вибрировал от слухов. Ника вышвырнули. Но вот же он, Ник, с его радиоактивной улыбочкой, куда ж его вышвырнули? Выходит, целехонек.

— Привет, Ник, здорово ты им дал у Опры.

— Я думал, Гуди тебя придушит.

— Ник, мы действительно выставляем пять «лимонов» против детского курения?

Ника поджидала Гэзел, явно воспрявшая духом от того, что ее босс не лишился работы. Из «Би-Эм-Джи» уже поступили эскизы плакатов, весьма своевременно. Медлить нечего.

— Ну-ка, посмотрим.

Гэзел расставила на кушетке эскизы, и Ник углубился в их изучение. У открытой двери кабинета начали скапливаться люди. Что там такое? Чем занят Ник? Жужжание голосов сгустилось почти до осязаемости. Кабинет Ника внезапно стал для Академии центром притяжения. А вот и Дженнет, в очаровательном костюме и при галстуке. Улыбается совершенно как кобра.

— Ник, — входя, сказала она, — ты *баснословно* выступил у Опры. Мы получили потрясающую прессу.

— Тебя убить угрожают, ты видел? — спросила Гэзел, протягивая ему несколько листков, которые она вытащила из лотка «ПОКА ВАС НЕ БЫЛО».

— Ты что, записываешь угрозы на листках для неотложных сообщений?

— Я бы не стала обращать на них внимания, — объявила Дженнет, плечом отодвинув Гэзел. — Отдай их Карлтону.

Карлтон возглавлял в Академии службу безопасности.

— Не поняла, — сказала Гэзел.

— Если Ник станет отвлекаться на каждого психа, ему работать будет некогда, — снисходительно пояснила Дженнет и, повернувшись к Нику, сказала: — Нет, послушай, ты действительно выглядел потрясающе.

— Не хочешь прочитать, что говорят на твой счет? — Гэзел, словно игральную карту, вытянула из ладони листок. — «Я залью тебе глотку расплавленной смолой, вонючий подонок». «Ты скользкий хер, верно, Ник Нейлор? Но у меня есть дальнобойное ружье, способное продырявить мешок с дерьмом, вроде тебя, с расстояния в 250 ярдов, так что побереги свою задницу».

— Я просто зашла сказать, что ты был великолепен, — легонько сжав локоть Ника, сказала Дженнет и обернулась к людям, толпившимся у дверей. — Ведь так?

Аплодисменты.

Гэзел только что не наподдала дверью по корме покидавшей кабинет Дженнет.

— Не выношу эту сучку.

— Ну, не знаю, — сказал Ник, — мне показалось, что она выбросила белый флаг.

— Да? Вчера она крутилась здесь с образцами цветных тканей — интерьер, видишь ли, не по ней. А сегодня лижет тебе задницу. И тебе это нравится.

Ник еще раз, нахмурясь, вгляделся в эскизы.

— Ты бы не могла связать меня со Свеном Глэндом из Миннеаполиса? Если, конечно, ты уже исчерпала запас критических замечаний, — он пролистал записи телефонных звонков. Сэмми Наджиб, режиссер шоу Лэрри Кинга[1]. Ну-ну... — Кто такая Хизер Холлуэй?

— Репортер из «Вашингтон мун».

— И чего она хочет?

— Взять у тебя интервью.

---

[1] Лэрри Кинг (род. в 1933 г.) — ведущий популярных ток-шоу на радио и телевидении.

— О чем?

Гэзел уперла руки в бока.

— А как по-твоему, о чем? О мирном процессе на Ближнем Востоке?

— Слушай, почему ты записала все, что несли эти... эти полоумные маньяки с дальнобойными ружьями, и не потрудилась записать ни слова из сказанного журналисткой? И чего ты нынче такая суровая? Кстати, что тут без меня случилось новенького?

— Так тебе нужен Свен Глэнд или не нужен?

— Да, *будь любезна*, — сквозь стиснутые зубы выдавил Ник. — И кофе свари.

Вообще-то, кофе он не хотел, но как-то нужно же ее прищемить.

— Пять тридцать, на что тебе кофе? Ты же заснуть не сможешь.

Гэзел вышла. Вот ведь угораздило его затащить Гэзел в постель той ночью, когда они допоздна засиделись в Академии, а потом заглянули к Берту выпить пива. После этого одно пошло цепляться за другое, как оно всегда и бывает, — Ник опомниться не успел, как уже беседовал с развязным ночным портье, заказывая номер в отеле «Мэдисон». Нет, оставлять номер за собой он не собирается. Без багажа. Да, на двоих. Нет, *без* двух отдельных кроватей. Затем подъем в лифте с портье, уже другим, норовившим объяснить ему, как пользоваться холодильником, нагревателем, выключателем, телевизором, — господи боже, портье уже добрался до пылесоса, когда Ник заткнул ему рот десяткой и выставил за дверь. На следующий день в Академии — соблюдение дурацких обрядов. С добрым утром, мисс Талли. С добрым утром, мистер Нейлор. Кофе? Да, пожалуйста, мисс Талли. А после, в первый же раз, как она сделала что-то не так и он ей об этом сказал, — трам, бам, барабаны, литавры, злые глаза и лекция о неравенстве полов. И всякий раз, как они зарабатывались допоздна и Ник предлагал заскочить к Берту немного выпить, он слышал одно и то же: «Нет, уже поздно, мне нужно забрать у сестры Джерома» — и гадал, ощущая себя сексуальным параноиком, уж не случилось ли ему потерпеть некое... фиаско, что ли, той бурной ночью, отмеченной, по сохранившимся у него воспоминаниям, более чем пристойной демонстрацией его возможностей. Собственно, не одной и не двумя. Правду говорят о черных женщинах — они ненасытны. Не диво, что черные мужчины косяками бегут от жен. Спать-то тоже когда-нибудь нужно.

Ник еще раз вгляделся в эскизы. Они были неотразимы, блестящи, они завораживали. Он правильно сделал, отказавшись от услуг унылого рекламного отдела Академии и обратившись к «Буда—Мунганаро—Глэнду», только-только созданному замечательному маленькому агентству из Миннеаполиса, уже успевшему обратить второсортную, отдающую селедочной чешуей шведскую водку в самый раскупаемый напиток страны. Ник вздохнул.

— Полный блеск, Свен, — сказал он в микрофон. — Я потрясен.

— Знаю, — сказал Свен. — Мы тоже.

— В том-то и горе. Понимаешь, тут все та же история — «есть новость хорошая и есть плохая». Плохая такова: кампания эта должна провалиться и плакаты нужны безликие, иначе у нас их не утвердят. А хорошая: мы собираемся потратить на нее пять миллионов долларов.

За вычетом жалованья и комиссионных на долю «Би-Эм-Джи» приходилось около 770 тысяч.

— Свен? Ты слышишь?

— Тебе нужны *безликие* плакаты?

— Да, непременно.

— Вообще-то, Ник, это не совсем по нашей части.

— Извини. Вы внушили миллионам людей, будто они последуют за модой, если станут давиться водкой, которая отличается от любой другой только тем, что она хуже. От нее же несет рыбой. Я слышал, что в Швеции ни один человек, пребывающий в здравом уме, в рот ее не берет. Они там в Стокгольме, надо полагать, катаются по снегу от смеха. Так не говори мне, что за приличные деньги вы не способны провести скучную рекламную кампанию, направленную против курения подростков.

Пауза.

— Ну, в общем и целом способны.

— Так в чем проблема?

— Никаких проблем.

Ник сказал, что в пятницу он должен будет показать своим переросткам хоть что-то, поскольку им крутит хвосты Совет по рекламе, на который уже насели учуявшие запах жареного антитабачные горлопаны.

Он позвонил Сэмми Наджиб. Оказывается, министр здравоохранения и социальных служб потребовала немедленной отставки Ника.

— И всякую-то новость я узнаю последним, — горестно сказал Ник.

Лэрри хотел, чтобы Ник выступил в его завтрашнем шоу. Как только Ник повесил трубку, Дженнет просунула голову в дверь, дабы сообщить, что госпожа Фуриозо, сиречь министр зануд и сволочных скудоумцев (см. выше), потребовала его отставки, и Ник не преминул сказать, что уже слышал об этом от режиссера Лэрри Кинга. Популярность есть популярность.

Пять минут спустя позвонил БР. Поговорили о позиции, которую им надлежит занять. Тон БР переменился разительно. Он уже знал о приглашении Лэрри Кинга. Это безусловная победа, отличный шаг вперед. Теперь насчет госпожи Фуриозо: как бы получше разыграть нашу карту? «Табачная империя наносит ответный удар» — это неплохо, просто здорово. Однако она как-никак член кабинета министров, и слишком задевать ее не стоит. Правильно?

Правильно. Значит, договорились. Ник будет твердо стоять на своем, но при этом вести себя уважительно. И постарается, насколько это возможно, развить тему «тут мы все заодно». Фуриозо, конечно, упрямая старая дура. И БР вдруг наградил его комплиментом. С ума сойти! Он сказал: «Постарайся почаще совать им в нос наших пятимиллионных деточек. Вообще говоря, может оказаться, что это будут наиболее толково потраченные нами деньги». Нами! Единой командой табачников!

Планеты расположились в гармоничном согласии. Полли выпал хороший, по-настоящему хороший день. Пожалуй, можно даже сказать, что второго такого не будет. Вот уже несколько лет окопавшиеся в федеральном правительстве новые прогибиционисты изо дня в день прибегали к одной и той же формулировке, от которой алкогольное лобби места себе не находило: «алкоголь и другие наркотики». «Альянс за умеренность» потратил миллионы, пытаясь заставить круглоголовых дяди Сэма отказаться от использования этой фразы в деловой переписке. Все попусту. И вдруг сам Папа публично заявляет, что вино не следует считать наркотиком. Правда, Папа говорил о вине причастия и о вине, выпиваемом в умеренных количествах за семейным обедом, предпочтительно в виде приготовления к акту супружеской любви, имеющему целью рождение дитяти. Но это не помешало Полли поднять бумажную бурю, извещая всех и каждого о новом догмате Его Святейшества. Виноторговцы взлетели от радости на седьмое небо. Торговцы пивом изошли желчью. Глава компании «Гатмейстер—Мелч» полчаса выговаривал Полли за то, что она не позаботилась «заставить его» сказать то же самое о пиве.

— Я пыталась втолковать дураку, что я тут ни при чем. Все провернули итальянские виноделы. Увидели, что объем продаж в США стремительно падает, и настропалили одного из своих кардиналов.

— Трудно представить, что хорошего мог сказать Папа о *пиве*, — заметил Бобби Джей. — Вряд ли Благой Господь обращал в Кане воду в пиво. И чтобы участники Тайной вечери дули пиво в горнице большой, устланной, тоже как-то не похоже.

— Потом позвонили торговцы виски и тоже принялись сквалыжничать.

— А эти-то чего ждали? — спросил Ник. — Что Папа выступит в защиту скотча?

— Нет, просто они считают, что если кто-то выиграл, значит, они проиграли. Объемы продаж падают, вот у них крыша и едет. Первое, что им приходит в голову, когда виноделам или пивоварам выпадает какая-никакая удача, это: «Нам меньше достанется». Я кучу времени трачу на то, чтобы не дать им поубивать друг друга, хотя им полагается прикрывать спины соратников.

— Все равно поздравляю! — поднимая бокал, сказал Ник. — Здорово проделано, даже если ты тут ни при чем. А теперь скажите, ребятки, кто-нибудь из вас знаком с Хизер Холлуэй из «Мун»? Она собирается взять у меня интервью.

— Хизер Холлуэй? Еще бы, — сказал Бобби Джей. — Ирландский тип, волосы с рыжиной, большие зеленые глаза, роскошная кожа. И изумительные титьки.

— Титьки? — переспросила Полли. — При чем тут ее титьки?

— Ха, — сказал Бобби Джей, уже успевший набить рот. — Буфера мирового класса у журналистки, которая интервьюирует самца одного с ней вида, очень даже при чем, можешь мне поверить.

— Я полагала, что Чудаки Христовы[1] более сдержанны в выражениях.

— Я к этой публике отношения не имею. Я не пристаю к прохожим, не играю на гитаре. Я новообращенный христианин. И если стреляю, — добавил Бобби Джей, — то на поражение.

— И все равно кончишь, как тот парень в Уэйко[2]. Будешь славить Господа, раздавать патроны и отстреливать агентов АТО[3]. В последнее время оружие и религия что-то действуют мне на нервы.

— Ты в состоянии дать мне какие-нибудь сведения о ней — кроме размера ее лифчика? — спросил Ник.

Бобби Джей рассказал, что Хизер Холлуэй появилась на одной из пресс-конференций Общества — на той, где мистер Драм призвал к строительству новых тюрем. Призыв этот составлял часть наступательной стратегии Общества: вместо того чтобы молча изображать боксерскую грушу для либералов, желающих отнять у преступников оружие, Общество наскакивало на этих же либералов, освобождающих из-под стражи преступников, которые стреляют в людей. На пресс-конференции Хизер совершенно очаровала Драма, однако после написала статью, в которой хоть и высказалась более-менее против ограничений на продажу оружия — «Мун» газета консервативная, — но все же оспорила мнение Драма относительно того, что наличие в прошлом человека душевной болезни еще не повод запрещать ему покупку оружия. Так что Драм все-таки подозревает ее в либеральных симпатиях.

— Какова главная мысль ее статьи? — спросила Полли. — «Табачная империя наносит ответный удар»?

— Она сказала, что пишет серию статей о новом пуританизме. А может, «Мун» просто хочет получить рекламу курева.

— Будь осторожен, — сказал Бобби Джей. — Постарайся внушить себе, что даешь интервью старой карге с заячьей губой.

— Бобби, мне кажется, со смазливой журналисточкой я как-нибудь управлюсь.

— Это случается сплошь и рядом: они приходят, строят тебе глазки, закидывают ногу на ногу, и ты даже опомниться не успеваешь, как говоришь: «Вообще-то я не вправе рассказывать вам об этом» или «А не хотите взглянуть на наши секретные материалы?» Бойся Иезавели, диктофон приносящей.

---

[1] Возникшее в начале 70-х евангелическое движение, объединяющее преимущественно бывших хиппи и наркоманов. Последователи его живут коммунами и проповедуют на улицах.

[2] Город на востоке штата Техас, центр крупной баптистской общины. Под «тем парнем» подразумевается Дэвид Кореш, руководитель воинственной секты «Ветвь Давидова». В 1993 г. федеральные агенты штурмом брали укрепленную базу этой секты. База сгорела, в огне погибло около 80 человек, в том числе дети.

[3] Входящее в состав министерства финансов Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и оружия, сотрудники которого рассредоточены по всей стране.

— Бобби Джей, ты бы расстался на время со своей молельной командой. А то в тебе начинает проступать нечто странноватое.

— Я только говорю, что в большинстве своем мужички, столкнувшись со смазливой журналисточкой, слишком много болтают.

— Ладно, спасибо за совет.

— Спорим на сотню долларов — ты начнешь метать перед ней бисер в таких количествах, что его потом никаким пылесосом не соберешь. Вы как, госпожа Стайнем[1], поучаствовать не желаете?

— Я думаю, Ник справится.

— Спорю на сотню, что он самое малое один раз крупно проболтается.

— Принято, — согласился Ник.

— Я свидетель, — сказала Полли и добавила: — А черт! У меня в два тридцать совещание. «Прайм-тайм в живом эфире» готовит к следующему четвергу программу о синдроме пьяного зачатия.

— Ох, боюсь, поотрывают они вам головы.

— Я видел недавно по Си-эн-эн репортаж о женщине, которая в первые три месяца беременности выпивала каждый день по галлону водки. И знаешь, ребенок у нее родился какой-то чудной.

— Ты мне ничего не посоветуешь?

Ник задумался:

— Право, не знаю. Против детей-уродов особенно не попрешь. Мне-то повезло. От нашего товара они лысеют лишь перед самой смертью.

— Да, это утешает.

— Оспорь их данные. Потребуй, чтобы тебе показали истории болезни матерей. Плюс бабушек и прабабушек. Тверди одно: «Слушайте, при чем здесь наука? Это же просто смешно».

— Может, тебе стоит немного потискать этих детишек? — предложил Бобби Джей. — Помнишь, как миссис Буш тискала больного СПИДом младенца?

— Господи, Бобби, да не дадут они мне их тискать.

— Кто делает программу? Дональдсон или Сойер?

— Вроде бы Сойер. Они не особенно разговорчивы, но, поскольку мы имеем дело с ее режиссером, я почти уверена, что это она.

— Тяжелый случай.

— Почему?

— Потому что она-то как раз и будет их тискать. Слушай, если дело дойдет до этого, если ты увидишь, что она потянулась к кому-то из малышей, постарайся ее опередить.

— Не могу сказать, чтобы я с нетерпением ждала этой возможности.

— Учреди благотворительный фонд, — предложил Бобби Джей. — Фонд заботы о воскресных детях. ФОЗАВОД.

— Ага, так и вижу физиономии Эрни Мелча, Пека Гибсона и Джино Греначи, когда я объявляю им, что мне нужны деньги на матерей-пьяниц. Да еще признаюсь, что мы имеем прямое отношение к воскресным детям. Блестящая идея. Впрочем, прости. Я забыла, что разговариваю с человеком, ухитрившимся так ловко использовать знаменитую кровавую баню в церкви Карбюратор-сити.

— А что дурного в таком фонде? Он лишь покажет, сколько в вас сострадания и сердечного благородства.

— Сам-то ты учреждаешь фонды помощи застреленным? — ядовито поинтересовалась Полли. — Не учреждаешь, потому что они тебя по миру пустят.

— Не оружие убивает людей, Полли.

— Иди ты!

---

[1] Глория Стайнем (род. в 1934 г.) — американская феминистка, писательница, основавшая в 1972 г. журнал «Ms.» («Госпожа»).

— Да нет, он прав, — сказал Ник. — Людей убивают пули.

— Ладно, мне пора, — тяжело вздохнула Полли. — Господи, какой кошмар меня ожидает!

Ник проводил ее до «Альянса за умеренность». Прекрасный весенний день стоял в Вашингтоне (за прелесть вашингтонских весен природа мстит жутким вашингтонским же летом), на углу Род-Айленд и Семнадцатой цвела магнолия. Ник вдруг заметил, что на Полли белые чулки, в которых что-то серебристо поблескивало, словно ее длинные ноги, там, где они скрывались под плиссированной синей юбкой, опушил иней. Он поймал себя на том, что не может оторвать глаз от ее ног. Разговор насчет титек Хизер Холлуэй, воспоминания о Гэзел в отеле «Мэдисон», весенняя погода — все это повернуло мысли Ника в известную сторону. Белые чулки — господи, какая прелесть! — напомнили ему ту ночь десяти-, нет, двенадцатилетней давности, когда он впервые приехал в Вашингтон, летом, и они с Амандой, расправившись с двумя бутылками бодрящего холодного «Сансер», решили прогуляться до Мемориала Линкольна. Июльский вечер выдался парным, ситцевое в цветочек платье влажно липло к Аманде, и, ладно, насчет Хизер Холлуэй он не в курсе, но Аманде своего тела стыдиться не приходилось... гм!.. и на ней тоже были белые чулки, длинные, до самых бедер, из тех, что не требуют пояса, но позволяют без затруднений добраться до лежащей чуть выше страны грез, и, в общем, Ник... гм!... ну, чего уж там, Ник питал явную слабость к таким чулкам. Они обошли мемориал, выйдя туда, откуда открывается вид на Арлингтонское кладбище, и Аманда прислонилась к ребристой колонне, хихикая, потому что гранитные грани щекотали ей спину. Ник опустился на колени — не самая удобная на мраморе поза, но Ник тогда не о своих коленях думал — и приподнял цветастую ткань, медленно, медленно, осыпая поцелуями ее ноги, пока не достиг прохладных бедер и следом треугольника белых — снова белых! — шелковых трусиков и...

— Не хочешь немного выпить со мной вечером, после шоу Кинга? — спросил Ник.

Полли взглянула ему в лицо.

— Выпить?

— Студия расположена на углу Масс авеню и, как ее, Третьей, что ли. Мы можем зайти в «Иль Пеккаторе».

Ресторан этот недавно прославил сенатор Финистер, племянник убитого президента: официантка вошла с подносом в снятый им кабинет и обнаружила, что сенатор завалил на стол свою молодую помощницу. Происшествие попало в газеты, и с тех пор туристские автобусы останавливаются вплотную к выставленным на тротуар столикам «Иль Пеккаторе», и гиды орут в мегафоны: «Вот здесь произошел тот самый случай с сенатором Финистером», и туристы из Индианы щелкают фотоаппаратами, а несчастные посетители, которых угораздило усесться перекусить на свежем воздухе, давятся своим рокет-салатом и кальмарами, стараясь не чувствовать себя статистами в порнографическом шоу.

— Я...

— Ну, соглашайся.

— Нет, пожалуй, не стоит.

— Почему?

— У меня обед с Комитетом сознательных водителей.

— Тогда после обеда. Когда он закончится?

С секунду ему казалось, что Полли вот-вот согласится. Но она сказала:

— Я правда не смогу. Как-нибудь в другой раз.

8

Сэмми Наджиб, режиссер шоу Лэрри Кинга и сама по себе явление природы — шесть футов с хвостиком, дородная, добродушная, — встретила Ника в приемной и повела его в гримерную.

— Я в свое время курила как паровоз, — сказала она.

— Никогда не поздно начать заново. Кстати, кто у вас во второй части программы?

— Вам лучше об этом не знать, — сказала Сэмми.

Ник остановился.

— Случаем, не больной раком ребенок?

— Да нет. Вы не у Опры. Но примерно из той же оперы.

— Так кто?

— Поверьте, вы с ним не столкнетесь, обещаю. Я позаботилась об этом.

— *Кто?*

— Лорн Латч.

— Я должен выступить в одном шоу с Перекати-Полем? Вы спятили?

— Вы ни с кем выступать не должны. Две совершенно разные части программы. И это не подстроено, уверяю вас. Лэрри очень хотел вас заполучить, но после ему позвонили из Атланты и сказали, что нужно взять кого-то с другой, так сказать, стороны — для равновесия.

— Для равновесия, — пробормотал Ник.

— Все будет хорошо. Лэрри страшно понравилось ваше выступление у Опры. Он ваш поклонник. И он сам когда-то выкуривал по три пачки в день.

— Привет, — сказала гримерша.

Ник, все еще негодуя в душе, уселся перед зеркалом.

Господи, Перекати-Поле! Больше двадцати лет он был истинным символом не вылезающего из седла американского курильщика, в давние счастливые дни его словно бы из гранита высеченное, покрытое глубокими морщинами лицо можно было увидеть на задней обложке любого журнала, на рекламных щитах, на экранах телевизоров. А теперь он дышит сквозь проделанную в гортани дырку и с каждым вдохом и выдохом, коих, если верить Гомесу О'Нилу, возглавляющему разведслужбу Академии, ему, слава богу, осталось немного, мостит себе дорогу к Жемчужным Вратам, предупреждая всех и каждого о вреде курения. Как это ни смешно, но именно Ник уговорил руководство компании «Тотал Тобакко» не подавать на Лорна в суд за нарушение контракта, убедив ее директоров, что судебное преследование умирающего человека, имеющего троих детей и дюжину внуков, лишь повредит доброму имени табачной индустрии, тем более что хриплые призывы, с которыми Перекати-Поле обращался к американскому юношеству, сделали из него любимца средств массовой информации (во всяком случае, национальных, которым так и так запрещено рекламировать сигареты). «Может быть, — подумал Ник, — мне стоит сегодня выставить в свое оправдание эту трогательную подробность».

Сэмми слонялась поблизости, словно опасаясь, что он, даже не сняв нагрудника, удерет из гримерной по пожарной лестнице.

Лэрри Кинг встретил его очень радушно.

— Рад вас видеть. Спасибо, что пришли.

— Ну что вы, — выдавил Ник. Трапецеидальные мышцы его свело от напряжения. Ох, не избежать ему скорого свидания с доктором Витом. Собственно говоря, свидание с доктором Витом не помешало бы ему и сейчас.

— Знаете, я выкуривал по три пачки в день, — сообщил Лэрри. — И должен признаться, меня и сейчас тянет покурить. Мы с вами проведем сегодня отличное шоу. Масса звонков. Весьма эмоциональных.

— Насколько я понимаю, вторым у вас идет Лорн Латч, — сказал Ник.

Лэрри пожал плечами:

— Ничего не поделаешь. Но знаете, что я вам скажу?

— Что?

— Он очень приятный человек.

— Да, мне уже говорили.

— А кстати, вам известно, как называется эта дырка? Та, что в гортани. Стома. Слово, скорее всего, греческое, так?

— Несомненно. — Ник подключил свой наушник.

— Добрый вечер всем, кто нас видит. Мой первый гость сегодня — Ник Нейлор, общественный представитель табачного лобби в Вашингтоне. Добрый вечер, Ник.

— Добрый вечер, Лэрри.

— Пару дней назад вы выступали в шоу Опры и наделали шуму, не так ли?

— Похоже на то, Лэрри.

— А теперь министр здравоохранения вместе с Главным врачом требуют, насколько я понимаю, вашей отставки. Такое нечасто случается, верно?

— Ну, в том, что касается табака, этих двух дам вряд ли можно назвать людьми непредубежденными. Хотя мне казалось, что сообщение о готовности нашей индустрии потратить пять миллионов на широкую кампанию по борьбе с курением подростков могло бы их и порадовать. Но, по-видимому, верх взяли политические соображения. Очень жаль.

— Пять миллионов — это большие деньги.

— Немаленькие, Лэрри.

— Позвольте мне спросить вас кое о чем, Ник. Курение — занятие вредное, так? Я имею в виду...

— Нет, Лэрри, это не вполне верно.

— Я был заядлым курильщиком, перенес три сердечных приступа и операцию шунтирования сердца. И мой врач сказал, что выбор у меня невелик — либо бросить курить, либо умереть.

— Мне не хотелось бы обсуждать вашу историю болезни, Лэрри. Тем более что неизвестно, насколько распространены в семействе Кингов сердечные заболевания. Разумеется, я рад, что вы чувствуете себя лучше. Но если вы согласитесь немного отвлечься от частных случаев и перейти к научным данным, то факты таковы: девяносто шесть процентов заядлых курильщиков вообще не подвержены серьезным заболеваниям.

— Вам не кажется, что в это трудновато поверить?

— Ну, конечно, насморки, там, головные боли и прочие заурядные расстройства, к примеру, бурсит большого пальца стопы...

Бурсит?

— ...у них случаются, но настоящими, серьезными заболеваниями они не страдают.

— Откуда у вас такие сведения?

— Из Национального института здравоохранения, что в Бетесде, штат Мэриленд. — Пускай НИЗ завтра опровергнет его; завтра людей будет интересовать другое — Босния, повышение налогов, новый фильм Шерон Стоун, последний роман Пэтти Дэвис о том, какой стервой была ее мамочка. И Ник добавил до кучи: — И из Центра по контролю заболеваемости, Атланта, штат Джорджия.

— Это действительно новость, — Лэрри пожал плечами. Лэрри был человеком слишком вежливым, чтобы называть своих гостей бессовестными врунами. Наверное, потому он так и нравился Россу Перо[1]. Если Нику хоть немного везет, никто из сотрудников НИЗ и ЦКЗ его сейчас не видит.

— Разумеется, — сказал Ник, — и мадам Фуриозо, и Главный врач, а они обе, как и прежде, отказываются дискутировать со мной по этим вопросам, не хотят, чтобы это стало известным, потому что опасаются сокращения своих бюджетов. Печально, но правда.

— Очень интересно.

— Существует множество связанных с табаком фактов, — со вздохом сообщил Ник, — которые правительство предпочитает утаивать от народа. Ну, скажем...

Что «скажем»?

---

[1] Росс Генри Перо (род. в 1930 г.) — американский бизнесмен; выступая в 1992 г. в шоу Лэрри Кинга, он объявил о своем намерении баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата.

— ...скажем, тот неоспоримый научный факт, что табак отдаляет возможность развития болезни Паркинсона.

— То есть нужно только дождаться, когда нам стукнет шестьдесят пять, а там начинать дымить что есть мочи?

— Нет, Лэрри, мы никого курить не уговариваем. Наше дело — знакомить людей с научными фактами. Например, с только что опубликованным отчетом, показывающим, что табачный дым способствует восстановлению озона, уничтожаемого хлорофторуглеродами.

— Правда? — сказал Лэрри. — Что ж, может мне стоит снова начать курить? Внести, так сказать, личный вклад в стягивание озонной дыры. Хотя, пожалуй, я все же посоветуюсь сначала с врачом.

— Ну, у врачей свои заморочки. Мне хотелось бы еще привлечь ваше внимание к отчету, появившемуся на прошлой неделе. В нем говорится, что курящие канцелярские служащие в меньшей мере страдают от кистевого туннельного синдрома — это такое заболевание запястья, — потому что чаще прерывают работу. Существует много такого, о чем — открываем кавычки — медицинский истеблишмент — кавычки закрылись — не желает вас осведомлять.

— Давайте примем несколько звонков. Спокан, штат Вашингтон, вы в эфире.

— Алло?

— Вы звоните в шоу «Лэрри Кинг в живом эфире».

— О! Э-э... да, здравствуйте.

— У вас есть вопрос?

— Да. Я хотел спросить вашего гостя: чиста ли у него совесть?

— То есть вы не одобряете того, что он делает?

— Он преступник, Лэрри. Таких сажать надо. Если не хуже. Смертного приговора — вот чего он заслуживает.

— Какие-нибудь комментарии, Ник?

— Да, в общем-то, нет, Лэрри.

— Блу-Хилл, штат Мэн, вы в эфире.

— Да. Я курил много-много-много лет. А потом у меня появились эти, как их, опухоли.

О-хо-хо.

— И доктор сказал, это от курения, ну, я бросил, а опухоли никуда и не делись, я и подумываю: не закурить ли мне снова?

— Ага. А ваш вопрос?

— Врач, который со мной говорил, молодой такой парень, думаю, он сказал мне это, просто чтобы я бросил. По-моему, опухоли с курением никак не связаны.

— Хорошо. Милуоки, штат Висконсин, вы в эфире.

— Я курю и ничего, здоровехонек. А вот от чего действительно можно окочуриться, так это от воды, которая тут у нас из кранов течет. Я разок хлебнул, так, думал, помру.

— Спасибо. Что же, сегодня ни у кого нет вопросов? — Лэрри взглянул на сидящую в своей кабинке Сэмми, и та жестом показала, что несколько позвонивших уверяют, будто вопросы у них имеются.

— Ладно, хорошо бы все же услышать вопрос. Атланта, штат Джорджия... — у Ника екнуло под ложечкой, — ...вы в эфире.

— Спасибо, Лэрри. Я работаю в Центре по контролю заболеваемости и хочу отметить, что эта... личность... пытается создать абсолютно ложное впечатление. Девяносто шесть процентов курильщиков, может, и вправду никогда не страдают серьезными заболеваниями, но отсюда вовсе не следует, будто курение не опасно. Оно чрезвычайно опасно. В Соединенных Штатах это убийца номер один, даром, что защититься от него ничего не стоит. С начала сороковых и по настоящее время было проведено шестьдесят тысяч исследований, установивших связь между курением и разнообразными болезнями. А

заявление этого типа, что мы якобы подтверждаем безопасность курения, свидетельствует о полной его аморальности. Оно совершенно смехотворно.

— Ник?

Ник откашлялся:

— Если этот джентльмен желает поспорить со мной на *научные* темы, я готов. Наша позиция всегда была такова: предоставьте нам данные.

— Он нагло врет, Лэрри, только и всего. Все его россказни — просто куча дерьма.

— Ну что ж, — сказал Ник, — довольно трудно вести разумную дискуссию, когда тебя поносят последними словами. Впрочем, в наше время поношения — обычный удел курильщиков.

Вот, правильно, отодвинем эту еще дымящуюся кучу от себя подальше.

— Их унижают, мучают, их сторонятся — это еще если им повезет, в большинстве же своем они вынуждены сносить оскорбления. В самый разгар зимы их выпихивают курить на улицу, и они там трясутся от холода. Я хотел бы спросить у этого *джентльмена* из ЦКЗ, если он действительно оттуда, что он думает о недавней вспышке пневмонии?

— Какой еще вспышке? Не было никакой вспышки.

— Хо! И кто из нас врун? Вспышка была, Лэрри, вспышка этой страшной, губительной для жизни болезни, и она превосходно документирована медицинскими авторитетами, большое им спасибо. А чем она вызвана? Да тем, что курильщиков выставляли под открытое небо при минусовых температурах. Постарайтесь все-таки смотреть фактам в лицо, *сэр*, вы и вам подобные обратили в прокаженных пятую часть населения Соединенных Штатов. Это называется тиранией большинства — вот и давайте о ней поговорим.

— Сдаюсь, Лэрри, если я послушаю его еще минуту, я впаду в буйное помешательство.

— Весьма эмоционально, — сказал Лэрри. — Херндон, штат Виргиния.

— Да-а, — произнес мужской голос тоном, в котором ощущалась некоторая нервозность, — у меня вопрос к мистеру Нейлору. Я хотел бы узнать его мнение о никотиновых пластырях, которыми многие сейчас увлекаются.

— Хороший вопрос, — сказал Лэрри.

— Да, хороший. Честно говоря, сэр, нас в Академии табачных исследований несколько смущает их популярность.

— Почему? — спросил Лэрри. — Они снабжают организм никотином, как и сигареты, а вы ведь считаете, что сигареты не приносят вреда.

— Видите ли, — сказал Ник, — обычные сигареты вводят в организм относительно малые количества никотина, даже очень малые. Между тем как один-единственный из этих смертельно опасных пластырей...

— Минуточку, — перебил его Лэрри, — вы сказали: «смертельно опасных»?

— Ну разумеется. Люди по всей стране мрут от них. С этим, наверное, согласился бы даже грозный доктор, с которым мы только что разговаривали.

— Я читал, что у некоторых людей, продолжавших курить после того, как они стали пользоваться этими пластырями, случались сердечные приступы, — сказал Лэрри. — Но...

— Вот-вот. Сердечные приступы. Знаете, что я вам скажу, Лэрри, и вам, мистер... простите, не знаю вашего имени, мистер из Херндона, я бы эту липучку и близко к своей коже не поднес.

— Любопытно услышать это именно от вас, — произнес голос. — Буду с ними поосторожней. Послушайте, Лэрри, кто-нибудь раньше грозился убить одного из гостей вашего шоу?

— Нет, — сказал Лэрри, — хотя нам часто звонят очень сердитые люди.

— Ну так считайте, сегодня у вас удачный день, поскольку я как раз и звоню сообщить вам, что на будущей неделе мы собираемся погасить мистера Нейлора — за все беды и страдания, которые он породил на этом свете.

Наступила неловкая пауза.

— Погодите минуту, — произнес, наконец, Лэрри, — вы что же, угрожаете ему?

— Да, Лэрри. Приятно было побеседовать с вами. Хорошее у вас шоу, — послышался щелчок.

— Весьма эмоционально, — сказал Лэрри.

9

Короткая заметка в разделе «Надежный источник» последнего выпуска «Сан» была, озаглавлена: «ЧЕЛОВЕК, ПОЗВОНИВШИЙ В ШОУ КИНГА, УГРОЖАЕТ «ПОГАСИТЬ» ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТАБАЧНОГО ЛОББИ». Ник почувствовал обиду. Этот тип — явный псих, не знающий, куда девать свободное время, но чего добивается «Сан», приделывая каламбур к сообщению об угрозе убийства? В этом безумном, свихнувшемся мире?

Ник прямо из машины позвонил в «Сан», объяснил телефонистке, что у него имеется жалоба, которую он хотел бы довести до сведения заместителя главного редактора, и телефонистка переключила его на автоответчик.

— Вы звоните в отдел жалоб «Вашингтон сан». Если вы считаете, что вас неточно процитировали, нажмите единицу. Если ваш разговор с репортером не предназначался для печати, но вы тем не менее были упомянуты в статье, нажмите двойку. Если вы предоставили информацию на условиях полнейшей конфиденциальности, но были названы по имени, нажмите тройку. Если вас процитировали точно, но вы считаете, что репортер выпустил суть сказанного, нажмите четверку. Если вы являетесь конфиденциальным источником сведений, имеющим отношение к Белому дому, и звоните, желая предупредить журналиста, что президент разгневан утечкой информации и распорядился проверить все исходящие вызовы, зарегистрированные в учетной книге Белого дома, нажмите пятерку. Чтобы поговорить с редактором, нажмите шестерку.

Ник утомился и положил трубку. Телефон тут же затренькал. Это была Гэзел, встревоженная тем, что Дженнет носится по Академии, рассказывая всем, что пять или шесть крупных фармацевтических фирм, производящих никотиновые пластыри, грозят обратиться в суд, если Ник не выступит с заявлением, дезавуирующим сказанное им в шоу Кинга. Вот в чем прелесть автомобильного телефона: ты еще и до работы не добрался, а утро уже изгажено.

В коридорах встречные приветствовали его.

— Здóрово, Ник, так держать!

— Ты как, Ник, в порядке?

— Господи, Ник, кто этот тип?

Гэзел принесла ему чашку кофе, сообщив при этом, что его хочет видеть БР.

Когда он вошел в кабинет начальника, там уже сидела Дженнет. Она вскочила, подлетела к Нику и... обняла его.

— Слава богу! — сказала она.

— Ник, — собрав чело в три озабоченные складки, произнес БР, — с тобой все в порядке?

— Да. А в чем дело?

— Дело в том, — в голосе БР послышалось удивление, — что твоя жизнь в опасности.

Ник закурил «Кэмел». Приятно, что теперь он может курить в кабинете БР.

— Да брось. Мало ли придурков на свете.

— У меня на этот счет иное мнение. И у Капитана тоже.

Ник выдохнул дым.

— У Капитана?

— Он только что мне звонил. Капитан хочет, чтобы тебе обеспечили полную защиту, до тех пор пока... пока мы не будем точно знать, с кем имеем дело.

— Дурдом.

— Извини, Дженнет, — сказал БР, — ты не могла бы оставить нас вдвоем?

Дженнет вышла.

— Ник, наши с тобой отношения сложились не очень удачно, это моя вина, и я приношу тебе извинения. Я иногда веду себя довольно гнусно. Тут... тут все дело в среде, в которой я начинал, в торговых автоматах. Это жестокий мир. Меня временами заносит. Не обращай внимания. Я только недавно по-настоящему понял, какую ценность ты представляешь для нашей табачной команды. Так что, — БР улыбнулся, — моя забота о твоей безопасности вызвана не одними лишь теплыми чувствами. Мне просто-напросто не хочется, чтобы ты нас покинул. И уж тем более, стал жертвой какого-то психопата.

Ник был ошарашен.

— Ну, — выдавил он, — я тебе очень признателен, БР.

— Стало быть, договорились. Тебе выделят охрану.

— Постой-постой, на охрану я не согласен.

— Если хочешь, скажи это Капитану, Ник.

— Да я получаю дюжины, сотни угроз. У меня их целая папка набралась, так и называется: «Угрозы». Стоит на полке под литерой «У». Какой-то идиот написал, что собирается обмазать меня смолой и вывалять в перьях. Набрать одноразовых сигаретных мундштуков с фильтрами, вытопить из них целую бочку смолы, намазать меня ею, а после вывалять в перьях. Нельзя же к такой ерунде относиться серьезно.

— Тут другое дело. Живой эфир, национальное — да что там, международное телевидение. Если даже считать, что звонил какой-то псих, он мог заронить эту мысль еще в чью-то голову. Насколько я помню, есть такой термин — «имитационное убийство». Как бы там ни было, рисковать мы просто не вправе.

— Ты хочешь сказать, — спросил Ник, — что ко мне приставят *телохранителя?*

— Телохранителей, множественное число.

— Не было печали. Это совсем не в моем стиле.

— Тогда разговаривай с Капитаном сам, — сказал, протягивая Нику телефон, БР. — Кстати, в нашем городе телохранитель — это знак высокого положения.

— Черт подери, что же мне теперь — наркобарона изображать?

— Не подумай, что я хочу нажить капитал на безобразной ситуации, но, как бы это выразить? — короче говоря, обстоятельства — прискорбные обстоятельства — таковы, что старший вице-президент крупной деловой ассоциации вынужден обзаводиться охраной, чтобы его не прикончила горстка антитабачных фанатиков, и это здесь, в столице государства...

— А ты, похоже, все как следует обмозговал.

— Ник, может быть, это то самое дерьмо, из которого нам удастся слепить конфетку.

— Возможно, и все же...

— Значит, договорились. С Хизер Холлуэй из «Мун» ты сегодня завтракаешь?

— Да, — ответил Ник, дивясь осведомленности БР. Дженнет.

— Ну вот, она увидит твоих телохранителей и упомянет о них в статье. Нам это только на руку.

От БР Ник ушел в препоганом настроении. Из своего кабинета он позвонил Капитану и спросил, действительно ли это смехотворное распоряжение исходит от него. Да, так оно и было, причем об отмене его Капитан и слышать не желал.

— Будем считать, сынок, что это свидетельство того, как высоко мы тебя ценим. Рисковать мы не вправе. Я только что говорил по телефону со Скипом Биллингтоном и Лемом Татвейлером, так они вообще хотят усадить тебя в бронированный автомобиль.

Биллингтон и Татвейлер возглавляли, соответственно, «Блу Лиф Тобакко, Инк.» и «Тарком», самые крупные из фирм, входящих в табачную Большую шестерку, вследствие чего оба занимали кресла — очень просторные кресла — в совете директоров АТИ.

— Я думаю, — сказал Ник, — что мы переоцениваем этого психопата.

— Ты уж позволь нам об этом судить, ладно? Как там подвигается голливудский проект?

Ник замялся — правильный ответ был: никак. Капитан со свойственной ему проницательностью мгновенно понял это.

— Надеюсь, ты сумеешь заняться им как можно скорее. Вообще говоря, сейчас, когда ты стал мишенью для террористов... — по мнению Ника это было сказано слишком сильно, однако паранойя — штука заразная, так что и сам он начинал уже нервничать, — ...тебе, может, и стоит на несколько дней убраться из города, слетать туда и... они ведь все там прохлаждаются с утра до вечера у бассейнов со своими телефонами и очаровательными звездами, верно? Так что поездка может оказаться приятной, — Капитан хмыкнул. — С другой стороны, почему бы тебе не приехать *сюда* и не поруководить немного табачным бизнесом, а я смотаюсь в Голливуд и *сам* поваландаюсь у бассейнов с красивыми женщинами. Только не рассказывай об этом предложении миссис Бойкин, не то она мне в толчок крокодила запустит.

И продолжал, уже серьезным тоном:

— В общем, слушайся ребят из службы безопасности и особенно не высовывайся. Кстати, БР сообщил тебе о моем знаке признательности?

— Да, сэр, сообщил, — ответил Ник, спохватившись, что он так и не поблагодарил Капитана за чрезвычайно щедрое повышение жалованья. — Спасибо. Вы очень добры.

— Табак сам о себе заботится. Когда доберешься до бассейна, позвони мне, расскажи, какие там женщины. Мне нравится одна — как же ее?.. — блондиночка, помнишь фильм, где они наживались на феллахах, которые бросались со скалы, обвязав ноги резиновым жгутом...

— Фиона Фонтейн.

— Точно. *Отличный* экземпляр. Вот если ты ее закурить заставишь, это будет нечто.

Ник пошел к Карлтону, бывшему агенту ФБР, похожему на кого угодно, только не на агента — более всего на мороженщика с благодушной от глупости физиономией. Ко всему прочему Карлтон был коротышкой, тихим и щуплым. Вот только глаза его имели обыкновение все расширяться и расширяться, пока вы ему что-нибудь рассказывали, так что под конец разговора он взирал на вас, как на серийного убийцу с топором в руках.

— Я тебе честно скажу, Ники, — работники службы безопасности прибегали к уменьшительным именам, полагая, что таким образом они сразу оказываются с вами на короткой ноге, — по-моему, мы перебарщиваем.

— Ха, это ты мне рассказываешь? — сказал Ник.

— Однако сверху велели обеспечить твою безопасность, так что мы закрепим за тобой целую группу.

— Группу? Насчет группы речи не шло.

— Сверху сказали — группу. Это недешево стоит, можешь мне поверить. Кто-то там, наверху, шибко тебя любит.

Ник застонал, а Карлтон продолжал гнуть свое:

— Смотри на это дело так: ты сэкономишь целое состояние на одних только разъездах.

— Ну уж дудки, — сказал Ник. Компания предоставила в его распоряжение «БМВ», и Нику нравилось водить эту машину. — Водить я буду сам. Хотят ездить за мной, пусть ездят. Но за рулем буду сидеть я, причем один.

— Ники, Ники, Ники.

— Карлтон, не называй меня так больше, ладно?

— Послушай, — сказал Ник Майку, главному из трех охранников, — не могли бы вы хоть в ресторан за мной не тащиться? Мне нужно побеседовать с журналисткой, а если я вопрусь туда с вами со всеми, я буду чувствовать себя полным слизняком.

— Не могу, Ники. Приказ.

И Ник вошел в «Иль Пеккаторе», стараясь по возможности опередить троицу своих совершенно очевидных охранников. У каждого выползал из-под воротника и вползал в ухо идущий от рации проводок. Хотя с кем им было держать связь? Ник сильно подозревал, что ребятам просто-напросто хочется, чтобы их принимали за агентов Секретной службы.

Он оглядел ресторанный зал. Сенатор Финистер отсутствовал — после того прискорбного инцидента он по возможности избегал «Иль Пеккаторе». Зато присутствовал его племянник, сенатор Ортолан К. Финистер, завтракал с обозревателем «Сан» Алексом Бимом — несомненно объясняя, до чего ему не с руки баллотироваться в губернаторы штата Виргиния, «когда у него столько работы здесь, в Конгрессе» и так далее и тому подобное.

На месте была уже и Хизер Холлуэй — сидела за угловым столиком, просматривая подготовленные к интервью заметки.

Хм. Действительно очень мила, этакая помесь Морин О'Хара[1] с Бонни Райт[2], но без единого седого волоса. В очках. Ник считал, что очки делают женщину более эротичной. Аналитичка, к которой он таскался во время развода, поведала ему, что в этом его воззрении таится глубокий смысл, но какой — не сказала, велев Нику догадаться самому. Ник ответил ей, что, получая семьдесят пять долларов за час — за пятьдесят минут, если быть точным, — она могла бы, черт побери, быть поразговорчивей, однако аналитичка твердо стояла на своем. Фигура, да, пожалуй, насчет фигуры Бобби Джей был прав, фигура более чем привлекательная, округлая, но спортивная. Так, а что у нас под столом? Ух ты! Светлые, цвета слоновой кости чулки. Зеленый костюм с короткой юбкой, открытая шея, золотые серьги. Улыбается ему из-за очков. Ямочки на щеках. *Ямочки!*

— А это кто? — спросила Хизер после того, как Ник представился, и указала на Майка, Джеффа и Томми, его телохранителей.

— Не для печати?

— О нет, — она улыбнулась, — *для* печати. В том, что вы приятный собеседник, я не сомневаюсь, но у нас же не публичный завтрак.

Что ж, начало обнадеживающее. Ник объяснил, в чем дело, подчеркнув, что считает охрану ненужной.

— Я разговаривала со множеством людей, — сказала Хизер, — которые относятся к вам не... ну, то есть я не назвала бы их вашими страстными поклонниками.

— Никуда не денешься — табак, — Ник открыл меню. — Палтус «in flagrante»[3] — рекомендую.

— «In flagrante»?

— Названо в честь сенатора Финистера.

Хизер недоуменно смотрела на него.

— Ну, помните, его прервали в самом разгаре... здесь, в отдельном кабинете? Вы могли читать об этом в газетах.

А ты мог бы воздержаться от сексуально окрашенных шуточек сомнительного вкуса (и остроумия тоже) хотя бы в первую минуту знакомства. При рыжих ее волосах она вполне может оказаться католичкой.

— В общем, здесь все неплохо. Спагетти. Телячья отбивная а-ля Валдоста[4], очень хороша. А форель так просто великолепна. С кучей миндаля — если вы любите миндаль.

Хизер попросила принести ей салат и минеральную «Сан-Пеллегрино», отчего Ник почувствовал себя обманутым в лучших ожиданиях официантом. Сам он, оказавшись

---

[1] Морин О'Хара (род. в 1920 г.) — киноактриса, снимавшаяся в фильмах режиссера Дж. Форда.

[2] Бонни Райт (род. в 1949 г.) — певица, исполнительница блюзов, популярных песен и песен в стиле кантри.

[3] От юридической формулировки «in flagrante delicto» — «на месте преступления» *(лат.)*.

[4] Город в штате Джорджия.

пленником собственных рекомендаций, заказал форель, хотя форель с кучей миндаля была далеко не любимейшим его блюдом.

— Ну-с, — осведомился Ник, — и давно вы в мунитах[1] ходите? Я хотел сказать, давно ли вы в «Мун»?

Молодец! Две минуты — две глупости. Теперь добавь что-нибудь обворожительное вроде: «Груди у вас — просто блеск! Настоящие?»

— Год, — ответила Хизер. — Можно, я включу диктофон?

— Ради бога, — великодушно позволил Ник.

Она положила диктофон на стол между ними.

— Мне всегда кажется, что вот вернусь я в редакцию, а на ленте ничего нет, кроме статических помех.

— Это мне знакомо.

Духи. «Dioressense»? «Krizia»? «Fracas»? Похоже, «Fracas».

— Это, случаем, не «Fracas» от вас веет?

— Нет.

— О!

— В прошлом году, когда «Стоунс» выступали в Кап-центре, — включив диктофон, сказала она, — я брала интервью у Мика Джаггера. Вернулась к себе — на пленке одно шипение. Думала, меня выгонят. Пришлось восстанавливать все, что он говорил, по памяти. Выделяя курсивом.

— Ну, — сказал Ник, — он все равно ничего интересного сказать не способен.

По взгляду, брошенному на него Хизер, Ник понял, что, забрасывая грязью самую большую икону рок-н-ролла, ему навряд ли удастся стать в ее глазах более привлекательным. Правда, человек, занимающий пост общественного представителя вашингтонской деловой ассоциации, по определению наделен сногсшибательной сексуальной привлекательностью...

— То есть, — продолжал он, — я, вообще-то, и сам поклонник «Стоунс». Просто...

Проснись, Ник!

— Итак, — сказал он, — о чем, собственно, вы собираетесь писать?

Да, вот именно, давайте поговорим обо мне.

— О вас.

— Видимо, я должен чувствовать себя польщенным.

— Поначалу я собиралась написать о том, что я называю «новым пуританизмом».

— Да, этого добра у нас тут хватает. Оливок?

— Нет, спасибо. Я думала побеседовать с лоббистами непопулярных индустрий. Табак, оружие, крепкие напитки, асбест, китовый промысел, токсичные отходы, ну, вы знаете...

— Все те свиньи, что разоряют планету и губят человечество.

— Не обязательно, — покраснев, сказала Хизер. — Потом увидела вас в шоу Опры и подумала... в нем есть что-то интересное.

— То есть идея состоит в том, чтобы выяснить, как мне удается жить в мире с собой, — сказал Ник, вгрызаясь в обжигающий кусочек поджаренного хлеба.

— Нет, — улыбнулась она. — Я вовсе не уверена, что для вас это проблема. Во всяком случае, не больше, чем для...

— Геббельса?

— Я не о нем подумала, — осторожно сказала Хизер, — хотя аналогия интересная. Значит, вот кем вы себя считаете?

«Лоббист считает себя Геббельсом от торговли».

— Ничуть. Я считаю себя промежуточным звеном между двумя сегментами обще-

---

[1] Муниты — так называют членов секты Церковь объединения, основанной южнокорейским проповедником Муном.

ства, пытающимися как-то приспособиться один к другому. Пожалуй, меня можно назвать посредником.

— Или сводником?

— Виноват?

Хизер полистала страницы своей записной книжки. «Массовый убийца», «спекулянт», «сутенер», «кровосос», «детоубийца», «яппи-Мефистофель», ага, вот оно, «массовый сводник».

— Что там у вас?

— Интервью. Я брала их, готовясь к нашей встрече.

— И с кем вы разговаривали? С главой ассоциации «Легкие»?

— С ним пока нет.

— Честно говоря, не похоже, что у вас получится очень уж объективная статья.

— Вот вы и посоветуйте, с кем мне еще поговорить.

— Для начала, с пятьюдесятью пятью миллионами американских курильщиков. Или с табачными фермерами, которых третируют, как производителей кокаина, хотя единственное их преступление в том, что они производят совершенно законный продукт. У них, знаете ли, наверняка имеется свой взгляд на эту проблему.

— Я вас обидела. Простите. Я действительно собиралась побеседовать с фермером.

— У меня среди них много знакомых. Очень милые люди. Соль земли. Могу дать вам несколько телефонов.

— На самом-то деле меня больше всего интересует, почему вы избрали себе такое занятие. Чем вы руководствовались?

— Меня то и дело спрашивают об этом. И ожидают услышать в ответ: «Это испытание сил» или «Возможность доказать, что записанное в Конституции соответствует действительности», — Ник помолчал, задумавшись. — Вам хочется знать настоящую причину? — еще одна задумчивая пауза. — Это позволяет оплачивать закладную.

Судя по всему, его мужественное признание отозвалось в душе Хизер Холлуэй лишь легким разочарованием.

— Мне говорили, что вы, скорее всего, именно так и ответите.

— Да что вы?

— Вы притворяетесь яппи на Нюрнбергском процессе, верно?

— При чем тут яппи? Это термин восьмидесятых годов. А нынче у нас девяностые.

— Прошу прощения.

— И к тому же, — продолжал он, принимая обиженный вид, — получается, что вы меня в нацисты зачислили?

— Нет. Это вы почему-то черпаете аналогии из истории Третьего рейха.

— Ну, одно дело называть нацистом *себя*. Своего рода самоуничижение. Когда же тебя называет так кто-то другой, получается уже осуждение. Не очень-то это хорошо с вашей стороны.

— Приношу извинения. И все же оплата закладной как-то не годится в качестве жизненной цели.

— То есть совершенно. Хотя девяносто девять процентов всего, что делается в этом мире, дурного и хорошего, делается ради оплаты закладных. Если бы все просто снимали квартиры, мир был бы куда более приятным местом. Ну, и потом детей нужно учить. Вот она, главная сила зла в современном мире.

— Вы женаты?

— Разведен, — чуть поспешней, чем следовало, сообщил Ник.

— Дети?

— Сын. Но он уже почти взрослый.

— Сколько ему?

— Двенадцать.

— Он у вас, видимо, развит не по годам. И как он относится к вашей работе?

— Если честно, двенадцатилеток не очень-то интересует, откуда берутся деньги. Я мог бы податься в вивисекторы, но, пока я способен исправно снабжать его роликовыми коньками и снегокатами, ему это будет до лампочки. Конечно, я не ставлю знака равенства между вивисекцией и табачным делом. На самом деле, я очень сострадаю животным, которых используют в сомнительных научных экспериментах. Тем, которых мучают в НИЗ. Несчастным кроликам. Сердце разрывается, когда видишь, как они сидят по клеткам, выпуская клубы дыма.

— Дыма?

— Они там устроили такие машинки для курения. Преступники. Слушайте, если я начну выкуривать в день по семь тысяч сигарет, мне, скорее всего, поплошает. А я курю много.

— Но разве вам приятно, когда вас обливают грязью? Разве нет более легких способов оплачивать закладную и обучение ребенка?

— Если людям нравится воображать меня последним негодяем, между тем как я всего-навсего предоставляю им информацию о законном и, должен добавить, освященном веками промысле, — превосходно, нет проблем. Всегда готов к услугам.

Хизер полистала блокнот, заронив в душу Ника мрачные подозрения.

— Вы ведь работали репортером в ВРТК?

— Угу, — сказал Ник и щелкнул зажигалкой. — Вы не будете против, если я закурю?

Похоже, Хизер это позабавило.

— Да, пожалуйста. Эта тема вас не очень смущает?

— Нимало, — сказал Ник, выдыхая дым так, чтобы он не попал ей в лицо, хотя для этого ему пришлось задрать голову, будто бронзовому дельфину в фонтане.

— Я просмотрела тогдашние газетные сообщения, — мягко сказала она, — но, согласитесь, будет лучше, если вы сами мне все расскажете. Чтобы я ничего не напутала.

— Ну, если это и новость, то с бородой. Вы собираетесь построить на ней бóльшую часть вашей статьи?

— Нет. Не бóльшую. Итак, все произошло в Кемп-Лагроун...

— Угу, — Ник неторопливо загасил сигарету. Спасибо Господу, сотворившему сигареты, которые позволяют человеку собраться с мыслями или, по крайности, принять философический вид.

— Вы помните, президент Бродбент любил общаться с молодыми парнями — он-де сам когда-то служил в морской пехоте и все такое. Я сидел в нашем фургоне, прослушивая обмен радиосообщениями. Мы получили данные о частотах от одного... ну, в общем, от человека, имя которого вам, скорее всего, известно, поскольку вы так и так знаете всю эту историю, — Ник вздохнул. — Стало быть, частоты мы знали, вот я и слушал, что на них говорится, и вдруг сплошняком пошли сообщения о том, что Бродяга подавился костью и умер. А «Бродяга» — это было кодовое имя, которым Секретная служба обозначала президента Бродбента, причем я знал, что президент в эту самую минуту завтракает с курсантами, так что я, сами понимаете...

— Связали одно с другим?

— Угу. А после выяснилось, что речь шла о другом подавившемся Бродяге.

— Собаке начальника базы?

— Да. Короткошерстном немецком пойнтере. Шестилетнем короткошерстном немецком пойнтере, весившем шестьдесят семь фунтов. Это он подавился куриной костью.

— И?..

— Этот эпизод не способствовал моему продвижению по службе.

— Вы, наверное, ужасно себя чувствовали... мне очень жаль.

— Тут, знаете, с какой стороны посмотреть. Многим ли выпадал случай объявить народу: «Президент мертв»? Произнося эти слова, испытываешь очень сильные чувства. Даже если президент живехонек.

— Да, — сказала Хизер. — Могу себе представить.

— Помните, как Уолтер Кронкайт сказал: «Мы только что получили экстренное сообщение. Президент Кеннеди скончался в час дня по восточному поясному времени»? Хотя, что это я, вы были тогда еще слишком юны. Поразительный был момент. Меня всегда пробирала дрожь, стоило о нем вспомнить. Да и теперь пробирает, только теперь ее сразу сменяет рвотный позыв.

— И что случилось потом?

— Потом Уолтер Кронкайт стал самым уважаемым из известных истории журналистов. А я — общественным представителем сигаретной индустрии.

— Этот случай, полагаю, здорово вас подшиб.

— Ничуть. У меня на редкость толстая кожа. Из нее пальто можно сшить. Или соорудить очень удобный «Честерфилд». Диван, а не сигарету.

— После шоу Опры у меня осталось несколько иное впечатление, — сказала Хизер. — Вы своего оппонента только что на куски не разорвали.

— Оппонента? Ради бога. Этот «оппонент» просто козел. Существует тьма лицемеров, считающих, будто их следует канонизировать только за то, что они лезут куда их не просят, отбирая у людей пепельницы. И когда пепельниц больше не останется, думаете, они остановятся? Ничуть. Они начнут лепить бирки на фруктовое мороженое для детишек. «Предупреждаем: Главный врач постановил, что, употребляя фруктовое мороженое, вы можете отморозить язык».

— Кстати, насчет детишек, что вы могли бы сказать о пятимиллионной программе, объявленной вами у Опры? Не показывает ли она, что ваша индустрия испытывает чувство вины за свою продукцию?

— Нет, — ответил Ник. — Ничего подобного.

Похоже, Хизер ждала более развернутого ответа.

— Я думаю, эта программа свидетельствует о том, что у нас чрезвычайно развито чувство ответственности.

— Ой ли? Табачные компании проводят кампанию против курения подростков и одновременно тратят миллионы, чтобы подтолкнуть детей к курению. Разве это не ханжество? Возьмите хоть того же дурацкого верблюда, Старину Джо, с саксофоном и пенисом вместо носа. И вообще, давайте говорить начистоту.

Ник покачал головой:

— Господи, мы тратим пять миллионов на то, чтобы удержать детей от курения, и хоть бы кто-нибудь сказал нам спасибо.

— Спасибо? — Хизер рассмеялась.

— Мы исходим вовсе не из того, что курение опасно для здоровья. Но когда речь идет о детях, лучше не рисковать — они ведь наше будущее, верно?

— Лихо! — сказала Хизер.

— Лихо? — отозвался Ник. Восхищение, прозвучавшее в ее восклицании, сбило его с толку.

— Я... — Хизер покраснела, — у меня это вырвалось случайно.

— Но что это значит? — спросил Ник, подавляя желание взять ее за руку. — Пожалуйста, скажите.

— Мне как-то неудобно.

— Да не смущайтесь, говорите.

— Все это кажется мне... возбуждающим.

— Что именно?

— Полное отсутствие у вас моральных устоев, — Хизер действительно выглядела возбужденной. Глаза ее мечтательно смотрели на Ника из-за очков; она наклонилась к нему поближе: — Мне кажется, что ради выплаты закладной вы пойдете на все.

— Ну, в определенных границах.

— Меня воспитывали в католической вере. Возможно, поэтому порок кажется мне столь освежающим.

— Порок? — с нервным смешком переспросил он.

Хизер придвинулась еще ближе и принялась теребить двумя пальчиками шелковый галстук Ника.

— Впрочем, мне редко доводилось видеть его в столь привлекательной упаковке, — Она медленно подняла взгляд и уставилась Нику в глаза. — Ощущение просто болезненное, правда?

— Не знаю, — пожал плечами Ник, — не мне судить.

— Я даже ходила из-за этого к психиатрам. По их словам, все дело в моем отношении к религии, к авторитету церкви. Некоторые женщины заводятся от непристойных разговоров. А я — от общения с нравственными выродками.

— Вообще-то, я не считаю себя....

— Ох, — хрипловато сказала она, — бросьте вы это и расскажите подробнее о ваших планах пристрастить побольше детишек к курению.

— Вы ничего не перепутали?

— О нет, — сказала Хизер, обмакивая палец в свой «дзабайоне»[1] и неторопливо засовывая его в рот, — не думаю.

— Не для печати?

Грудь Хизер приподнялась.

— Как насчет... полнейшей... конфиденциальности?

— Договорились.

И Ник махнул рукой официанту.

10

Сверхсовременный торговец смертью:

НИК НЕЙЛОР, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТАБАЧНОЙ ИНДУСТРИИ

Злонамеренный яппи или сводник, обслуживающий 55 миллионов американских курильщиков?

ОН ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО «БОЛЕЕ ЧЕМ ГОРД» ПРОГРАММОЙ АТИ, НАПРАВЛЕННОЙ ПРОТИВ КУРЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ.

Хизер Холлуэй
Корреспондент «Мун»

Бобби Джей и Полли поджидали Ника за их всегдашним столом у Берта, близ поддельного пламени. На лице Бобби цвела самодовольная улыбка величиной с Башню Трампа[2]. Полли, похоже, еще не решила, как ей относиться к статье Хизер, занявшей в «Мун», в разделе «Стиль жизни», целую полосу, однако запоздавшего к обычному времени Ника она, пока тот усаживался, разглядывала с непривычным любопытством.

— У тебя усталый вид, — язвительно сообщила она.

— Тяжелое утро, — пожаловался Ник. — Совещание насчет нашей стратегии в случае запрета рекламы, сочинение меморандума по синдрому тошноты, радиодебаты с Крейгхедом. Представь только — зануды и сволочные скудоумцы используют теперь фразу «табак и другие наркотики» во всех своих публикациях. Так что, отныне мы ничем не отличаемся от торговцев героином. Или алкоголем, — прибавил он, чтобы поддеть Полли.

---

[1] Сладкий десерт.

[2] Огромный торговый центр, в 80-х годах построенный в Нью-Йорке финансистом и предпринимателем Дональдом Трампом (род. в 1946 г.).

Он заказал водку «негрони». Милое все-таки дело, эти ленчи «Отряда ТС». Можно пропустить рюмочку чего покрепче в разгар рабочего дня, и никто не сочтет тебя пристрастившимся к бутылке неудачником. Странно, но в Америке пятидесятых, на самом пике ее промышленной и имперской мощи, люди пили за завтраком двойные мартини. А теперь, в пору ее упадка, пьют шипучую воду. Что-то где-то пошло не так.

— А с ним что такое? — спросил Ник.

Бобби Джей сосредоточенно изучал статью Хизер, глаза его бегали по черным колонкам, словно выискивая нечто жизненно важное.

— Никак не пойму, выиграл я свои сто долларов или проиграл, — сказал Бобби. — «Торговец смертью», ну ты подумай. Толковая девушка.

— Неужели ты... — Полли уставилась на Ника с еле сдерживаемой яростью.

— Разумеется, нет. Кто я, по-твоему, такой?

— На этот счет, — сказала она, постукивая сигаретой по краю пепельницы, чтобы сбить столбик пепла, — у меня полной уверенности не имеется.

Бобби Джей прочитал вслух:

— «Мораль тут решительно ни при чем, — сказал Нейлор корреспонденту «Мун». — Табак представляет собой стопроцентно законный продукт, доставляющий удовольствие почти шестидесяти миллионам взрослых американцев, — точно такой же, как кофе, шоколад, жевательная резинка или любой другой освежитель дыхания».

— «Освежитель дыхания»? — переспросила Полли. — Это ново.

Ник подмигнул ей.

— Вроде как мятная карамель, нет?

Бобби Джей продолжал читать:

— «Даже враги Нейлора, а их у него немало, признают, что противник он опасный. «Он очень, очень изворотлив, — сказал Гордон Р. Крейгхед, глава Отдела по предотвращению злоупотреблений дурманящими веществами в Министерстве здравоохранения и социальных служб, являющегося основным противником табачного лобби на федеральном уровне, — и очень, очень умен, что делает его очень, очень опасным. Его индустрия убивает около полумиллиона американцев в год, а этот хорошо одетый, сладкоречивый, разъезжающий на «БМВ» Йозеф Геббельс ухитряется повернуть все дело так, будто мы выступаем против свободы слова».

— Насчет «БМВ» это он меня здорово уел, — ухмыльнулся Ник.

По счастью, в расписании доктора Вита имелся просвет, что позволило ему принять Ника сразу после завтрака. Несмотря на упоительные ночи с Хизер, в которые дело заходило гораздо дальше простого снятия напряжения, да и удовольствие он от них получал куда большее, чем от «прозака»[1], угрозы, услышанные им у Лэрри Кинга, плюс необходимость таскать за собой телохранителей изрядно его измотали.

Ник посещал доктора Вита уже около года. Обширная клиентура доктора состояла из людей, сильно выкладывающихся на работе. У Ника временами сводило шею, да так, что он не мог повернуть голову, а поскольку часть его работы в том и состояла, чтобы появляться на телевидении в качестве «говорящей головы», последняя должна была вертеться беспрепятственно. Ник последовательно испробовал нервно-мышечный массаж, йогу, иглоукалывание, аппарат электронной релаксации, испускавший блеющие звуки и мигавший красными огоньками, каковые, предположительно, убеждали ваш мозг, что вы расслаблены, а не напуганы до смерти; он испробовал валиум, хальцион, атаракс и иные новейшие успокоительные — от одних вроде и был какой-то прок, от других никакого. В конце концов общественная представительница Ассоциации сбережений и ссуд посоветовала ему повидаться с ее ДО, сиречь остеопатом, самым, заверила она Ника,

[1] Коммерческое название антидепрессанта флуоксетина, повышающего содержание серотонина в организме.

настоящим, дипломированным врачом. Ник отправился к нему, и доктор Вит, приятный молодой человек (Ник с некоторым огорчением стал замечать, что превосходит годами не только большинство полицейских, но и большинство врачей), ощупал его шею, пощелкал языком и провел быструю серию не очень сильных тычков, каждый из них сопровождался жутким треском разнообразных костей, но в результате Ник приобрел способность вертеть головой почти как девочка из фильма «Изгоняющий дьявола». Ник обратился в ярого приверженца МОМ, то есть метода остеопатических манипуляций, и даже время от времени бесплатно помогал профессиональному объединению остеопатов. Это он придумал для них удачную рекламную формулу: «ДО — доктора для народа».

Доктор Вит ощупал его трапециевидные мышцы, мышцы подзатылочную и грудино-ключично-сосковую. Ник уже разбирался в них так же хорошо, как в арлингтонских пригородах, устроенных в общем и целом посложнее человеческого тела.

— Ну и ну, — сказал доктор, разбитной, добродушный уроженец Среднего Запада, — будь это наша первая встреча, я, пожалуй, решил бы, что у вас началось трупное окоченение. Что это вы над собой творите?

Он провел уже привычную серию тычков, но результатом остался недоволен, вышел из кабинета и вернулся, толкая перед собой страшноватую машину на колесиках. Судя по виду этого устройства — все сплошь ремни и электроды, — иракская тайная полиция вполне могла урезонивать с его помощью людей, пишущих на стенах: «Саддам сука!» Доктор Вит смазал грудь Ника каким-то студнем, прикрепил к ней электроды и сказал:

— Будет немного жечь.

Ощущение было такое, словно тебя лупят по спине крокетными молотками. При каждом разряде лежавшего на столе Ника сгибало дугой, точно гальванизируемую лягушку на уроке биологии.

— С-сколько в-вольт?

— Уже дошли до тридцати трех. Впечатляет, правда? Выше четырех сотен я подниматься, пожалуй, не стану. Запах горящего мяса может отпугнуть других пациентов.

Доктор Вит питал склонность к черному юмору. Он подробно объяснил Нику, что постоянный ток, проходящий сейчас через его тело, предпочтительнее переменного, способного остановить сердце и вообще сварить человека заживо. По прошествии пятнадцати минут доктор отключил аппарат, повертел туда-сюда голову Ника и объявил, что все еще недоволен достигнутым.

— Вы не подумывали о том, чтобы подыскать для себя работу не столь напряженную? — спросил он, открывая шкафчик и извлекая из него шприц и пузырек с какой-то жидкостью. — К примеру, податься в авиадиспетчеры?

— И бросить на произвол судьбы пятьдесят пять миллионов уповающих на меня американцев? — отозвался Ник, осматривая свою грудь в поисках ожогов. — А это что?

— Это, — сказал, наполняя шприц, доктор Вит, — предназначено для особо запущенных случаев.

Он всадил иглу в плечо Ника у самой шеи. Ощущение не из приятных, но... — ооооооох! — какое блаженство разлилось вдруг по всем его напряженным сухожилиям. Чувство было такое, точно он вдруг вырос до небес.

— Ууф! — сказал Ник, которому казалось, будто он сидит в кружащем на месте маленьком вертолете. — Так что это?

— Новокаин. На нем пока и прервемся.

— А рецепт вы мне на него не выпишете?

— Не стоит. Я дам вам таблетки, называются «сома». Принимайте по четыре в день, за руль не садитесь, а через два дня приходите ко мне.

Катя по пятидесятому шоссе в сторону Вашингтона и прикидывая, как бы ему оторваться от охраны, Ник чувствовал себя лучше некуда. Он придумал новую игру. Про-

скочив мост Рузвельта, он резко свернул направо, к Рок-крик, потом налево, к Уайтхерсту, и взлетел по Фоксхолл к Св. Эвтаназию, где его ожидал преподобный отец Григс.

Телохранители, визжа покрышками, подлетели к школе, когда он уже направлялся к ее административному зданию, и, обливаясь потом, бегом устремились за ним.

— Привет, ребята.

Ребята выглядели как-то нерадостно.

— Ники, я тебя очень прошу, не делай этого, иначе одному из нас придется пересесть в твою машину.

— Рас-слабься, Майк. Всего-то кубик новокаина, а сколько удовольствия...

Преподобного пришлось ждать, он появился через несколько минут и явно испугался, обнаружив в своей тихой приемной скопище одинаково одетых крепышей.

— А-а, да, — придя в себя, сказал он. — Это, надо полагать, те джентльмены, о которых я сегодня читал в газете. Ужасная история.

Ник сказал «ребятам», что в кабинете преподобного покушения на него ожидать не приходится, и оставил их наедине с выпусками «Англиканского дайджеста» и «Современного учителя», а сам отправился выяснять, ради какого дела его сюда призвали.

— Большое вам спасибо за то, что пришли, — сказал Григс, подводя его к кожаному креслу. Кабинет, казалось, обставлялся еще в 1535 году: тюдоровский дуб от пола до потолка, узкие окна со средниками, вытертый персидский ковер и чуть приметный запах разливавшегося здесь в последние сто лет сухого хереса.

Для начала они поболтали немного о недавнем весьма спорном назначении женщины на пост викарного епископа. Бывший когда-то давно католиком, Ник смутно представлял себе иерархическую структуру англиканской церкви. Собственно говоря, он понятия не имел, что означают слова «викарный епископ», ему всегда казалось, будто это такой епископ, который кого-то победил. Но понемногу до него начало доходить, что речь идет просто-напросто о помощнике епископа. Поскольку все будущее Джоя зависело от его преподобия Григса, Ник изображал острый интерес к теме разговора, даже когда его преподобие таковой утратил и, откашлявшись, перешел, наконец, к сути дела.

— Как вам известно, мы каждый год проводим аукционы, собирая деньги на содержание наших стипендиатов. Вот я и подумал, может быть, ваша Ассоциация пожелает принять участие в таком аукционе? Из-за нынешнего спада все оказались стеснены в средствах. Даже самые, — он улыбнулся, — денежные из наших родителей.

Господи ты боже мой! И из-за *этого* Ник целую неделю корчился точно на угольях? Между тем как преподобный отец всего-навсего собирался поклянчить у него немного денег. «Сома» с новокаином привели Ника в благодушное состояние. Теплая, уютная мысль посетила его: в сущности говоря, с 1604 года ничего практически не изменилось. В тот год Яков I, король Англии, опубликовал (анонимно, поскольку писать памфлеты монархам не к лицу) «Осуждение табака». В памфлете сообщалось, что в 1584 году на остров Септед привезли двух индейцев из Виргинской колонии, дабы они продемонстрировали новомодный обычай, именуемый курением. Если судить по стандартам, установленным «Танцами с волками» и «Последним из могикан», политической корректностью Яков решительно не отличался.

«Какие доводы чести либо политики, — гневался Его королевское величество, — способны подвигнуть нас на то, чтобы мы подражали варварской и скотской повадке диких, безбожных, пребывающих в рабстве индейцев, особливо по части обыкновения столь низкого и зловонного?» Далее Его милость признавал, что поначалу курение использовалось в качестве средства для избавления его родственницы, Елизаветы I, от «оспин», погубивших ее внешность, но писал при этом, что ныне доктора считают оное мерзостным, отвратительным обыкновением, — представив своего рода отчет Главного врача за 300 лет до опубликованного в 1964-м отчета Лютера Терри.

Что до собственных его воззрений, сообщал Его милость, то курение кажется ему «обычаем, отвратным для взора, ненавистным для нюха, губительным для мозга и опас-

ным для легких, в особенности черным зловонным дымом своим, напоминающим всего более стигийский дым преисподней».

Однако уже к 1612 году Яков I передумал. К этому времени казначейство его трещало по швам, распираемое сборами за импорт табака, который ввозился из Виргинской колонии, расположенной в долине названной в его честь реки. Собственно, Его величество не соизволил сказать более ни единого слова относительно сего мерзостного обыкновения. Что, кстати, напоминает нынешнее поведение правительства США, которое то и дело вскрикивает, совсем как капитан Рено после перестрелки в кафе Рика[1]: «Это ужас, ужас!», между тем как его торговые представители наседают на другие правительства — в особенности на азиатские, — требуя, чтобы те не особенно усердствовали по части предупредительных наклеек и тарифов при ввозе в их страны американского зелья.

— Ничего, если я закурю?

На миг его преподобие остолбенел.

— Нет, конечно. Пожалуйста, да, разумеется.

Ник закурил «Кэмел», воздержавшись, впрочем, от того, чтобы выпустить дым плотным колечком, хотя из него получился бы превосходный нимб для головы его преподобия.

— А... пепельница?

— Конечно, конечно, минуточку, — пробормотал преподобный отец, беспомощно оглядывая свой кабинет. — Пепельница у нас наверняка где-нибудь имеется.

Однако пепельницы нигде видно не было, а сигарета Ника уже дымилась, точно запальный шнур. Ник, чтобы ускорить процесс, затянулся поглубже.

— Маргарет, — отчаянно воззвал в телефон его преподобие, — есть у нас где-нибудь пепельница? Любая, да.

И преподобный отец снова сел.

— Сейчас найдут.

Ник затянулся еще разок. Пепел опасно навис над персидским ковром. Дверь отворилась, Маргарет внесла треснувшее чайное блюдце с гербом школы Св. Эвтаназия.

— Все, что смогла найти, — произнесла она тоном, в котором смущение смешивалось с негодованием на то, что ей приходится играть роль пособницы при человеке, извергающем черный зловонный дым.

— Да, Маргарет, спасибо, — сказал его преподобие, чуть ли не вырвав из ее руки блюдце и вручив его Нику всего за миг до того, как пепел пал на школьный девиз: «Esto excellens inter se» — «Превосходить друг друга во всем».

— По преимуществу, — сообщил Ник, — мы спонсируем разного рода спортивные состязания. Однако полагаю, нам удастся что-нибудь придумать.

— Чудесно! — сказал его преподобие.

— Мне придется согласовать это с людьми из отдела общественных программ. Впрочем, мы с ними говорим на одном языке.

— Великолепно, — сказал его преподобие, ерзая в кресле времен королевы Анны. — Я вот подумал, будет ли необходимо э-э... промульгировать э-э... происхождение полученных средств?

— «Получено от Академии табачных исследований на выполнение наших программ», — Ник выдохнул дым. — Стандартная формулировка.

— Да, безусловно. Да. Я думал лишь о том, что, возможно, существует какая-то иная... корпоративная организация, которой мы могли бы выразить благодарность. Э-э... всемерную, разумеется.

— Хм, — произнес Ник. — Вообще-то, есть еще Совет по табачным исследованиям.

— Да, — разочарованно откликнулся его преподобие, — я так и полагал.

---

[1] Подразумевается эпизод из знаменитого фильма «Касабланка».

СТИ попал недавно в выпуски новостей в связи с процессом Бенавидеса. Суд установил, что табачные компании основали СТИ как «витринную организацию» в пятидесятые годы, когда американские курильщики обнаружили, что кашляют они все сильнее, а удовольствия получают все меньше. Идея состояла в том, чтобы убедить всех, будто табачные компании спят и видят, прости господи, как бы им досконально разобраться в «вопросах здоровья». В первом же докладе СТИ вина за распространение рака легких и эмфиземы взваливалась на глобальный прирост объемов цветочной пыльцы. Похоже, его преподобие все это знал.

— А каких-либо иных организаций не существует?

Ник сложил ладони крышей.

— Мы входим в состав Коалиции за здоровье.

— А! — Его преподобие хлопнул в ладоши. — Замечательно!

Григс проводил Ника до самой машины. И только рядом с ней Ник спросил:

— Кстати, как дела у Джоя?

— Джоя?

— У моего сына. Он учится у вас в седьмом классе.

— О! *Превосходно,* — сказал преподобный отец. — Очень умный паренек.

— Значит, все в порядке?

— Более чем. Ну что же, — он пожал протянутую Ником руку, — спасибо, что заглянули. Буду ждать новостей от... — он подмигнул, этот сукин сын в собачьем ошейнике так-таки взял да и подмигнул! — ...от Коалиции за здоровье.

11

Новокаин уже выветрился, но Ник, вылетая впереди своей охраны с автостоянки Св. Эвтаназия, по-прежнему пребывал в приподнятом настроении, а то, как он управился с его преподобием, подмешивало к этому настроению толику торжества. «Сома» уже кралась на кошачьих лапках по центральной нервной системе Ника и мурлыкала там или шипела, отгоняя дурные мысли. Он оторвался от Майка с ребятами, внезапно свернув с Массачусетс авеню налево — на красный свет, — чудом уклонился от летевшего навстречу фургона химчистки, едва не передавил целую компанию возвращавшихся из мечети мусульман и только тут вспомнил наконец, что доктор Вит не велел ему и за руль-то садиться, а не то что изображать Парнелли Джонса[1] в самой гуще городского движения.

Дженнет позвонила ему в машину сообщить, что он нужен ей на совещании по выработке реакции АТИ на посвященный пассивному курению отчет Агентства по охране окружающей среды, который будет опубликован на следующей неделе. И еще одна хорошая новость замаячила на горизонте табачников: Эрхард, их научный эксперт, подготовил доклад насчет того, что курение сдерживает развитие болезни Паркинсона.

— Буду через десять минут, — сказал Ник, уже испытывая усталость от перспективы участия в очередном совещании. Вся его жизнь — одно сплошное совещание. Интересно, в средние века люди тоже совещались с утра до вечера? А в Древнем Риме, в Греции? Не диво, что обе эти цивилизации погибли — видимо, упадок и визиготы в конце концов показались им предпочтительней все новых и новых совещаний.

— Я заскочу в «Кафе Олé», запасусь капучино, — Ник зевнул, ощущая во всем организме некую «сома»-тозность. — Тебе прихватить?

— О да, пожалуйста.

Он оставил машину в подземном гараже, с удовлетворением отметил отсутствие Майка, Джефа и Тома — тоже мне, телохранители — и поднялся наверх, в Атриум. Здесь находилось около дюжины заведений с названиями вроде «Пекинский гурман» (весьма посредственный интерьер и цыплята с глютамином), «Паста-Паста» (развесная торговля

---

[1] Парнелли Джонс — автогонщик, выигравший в 1963 г. автогонки «Индианаполис-500» — гонки класса «Формула-1» на 500 миль.

спагетти), «ПИЙ» (Просто Изумительный Йогурт) и «А ну-ка, бублики!». Вокруг фонтана располагались столики, за которыми можно было поесть. Хорошее, в общем, место для перекуса, особенно вашингтонским летом, когда мало кому хватает решимости вылезать на плавящийся тротуар.

Ник стоял у прилавка «Кафе Оле», дожидаясь двух своих двойных капучино, как вдруг ощутил уставленный ему в спину взгляд. Он обернулся, но никого не увидел — не считая какого-то бродяги. Ник, рожденный в 1952 году, по старинке называл их «бродягами» вместо «бомжей», но, разумеется, про себя, а не в лицо. Некоторое время назад он пытался протолкнуть программу бесплатной раздачи сигарет в приютах для бездомных, однако записные антитабачные горлопаны пронюхали о ней и надавили на Министерство здравоохранения, чтобы оно воспрепятствовало ее осуществлению, так что люди, более кого бы то ни было нуждающиеся в бесплатном куреве, такового не получили.

Ник знал большинство бродяг, попрошайничавших в Атриуме, пока их не шугала охрана, но этот был ему незнаком. Недурной образчик — крупный, нескладный, а уж грязен! Бродягу облекали останки дюжины, примерно, разных пальто. Волосы сальными прядями свисали на лицо, похоже раззнакомившееся с водой и мылом где-то в семидесятых. Бродяга приблизился.

— Щитвертаканинайжется? — глаза у него были неожиданно ясные, у большинства ему подобных они смахивали обычно на желтки протухших яиц.

Ник протянул бродяге доллар и спросил, не хочет ли он покурить.

— Жааблажаславитибябох.

Ник отдал ему всю початую пачку.

— Ашпищки?

Ник отдал ему и разовую зажигалку.

Принесли капучино. Ник направился к эскалатору, ведшему к холлу с лифтами. Бомж поплелся за ним. Ник вовсе не собирался завязывать с ним близкое знакомство, но, как бывший католик, так и не смог совершенно избавиться от мысли — хоть и считал ее глупостью, — что один из этих убогих вполне может оказаться Христом в штатском, пришедшим посмотреть, кто являет милосердие к ничтожнейшим из тварей Его и кого, стало быть, Он сможет в дальнейшем избавить от вечного пламени, в сравнении с которым и летний Вашингтон покажется Антарктидой.

— Как тебя зовут? — спросил Ник.

— Режжжарх.

— Ник. Ты откуда?

— Балмурр.

— Приятный город, — они уже поднимались по эскалатору. Ник сказал: — Ладно, удачи.

Что-то ткнуло его в середину спины, что-то, похожее на кончик зонта. Затем он услышал, как голос — определенно принадлежавший бродяге, но звучавший совсем иначе — произнес:

— Не оборачивайся. Не дергайся и не вякай. Это дуло девятимиллиметрового, не будешь делать, что́ тебе говорят и когда говорят, окажешься в морге с биркой на ноге раньше, чем остынет твой кофе.

В качестве вступительного слова это, несомненно, производило сильное впечатление. Эскалатор кончился. Их окружало множество людей, и Ника подмывало крикнуть: «На помощь!» — но этот голос… голос очень и очень не советовал ему так поступать.

— Видишь тот лимузин? — спросил бродяга. — Топай к нему, но медленно. Бежать не надо.

Ник и не побежал. Окна лимузина были непроницаемо черны. До него оставалось футов пятьдесят. Вот он, Ник, вот люди — и вот его среди бела дня похищают на глазах у сотен свидетелей. И — для чего?

Не дойдя до машины футов пяти, Ник притормозил. Пистолет впился в спину.

— Пошевеливайся.

Надо запомнить подробности. *Черный. Нет, темно-синий. «Кадиллак». Нет, «линкольн». Нет, «кадиллак».* Здорово ему это поможет. Лимузины в Вашингтоне так редки...

Распахнулась задняя дверца.

В сознании Ника замельтешили все истории о бейрутских заложниках, какие он когда-либо слышал. «В последний раз его видели четыре года назад — запихиваемым в багажник черного «седана». Его, по крайней мере, хоть в багажник не запихивают...

Ник ощутил боль в руках. Он так и держал два пластиковых стакана с кофе. Сердце колотилось. Кофеин ему не понадобится.

Резко повернувшись, он швырнул стаканчики в бродягу с пистолетом. Стаканчики ударились о грудь бродяги и отскочили. Но крышки на них удержались. Стаканчики шмякнулись на пол и лопнули, ошпарив Нику ступни пенистым капучино. Сколько раз за последние годы пластиковые крышки таких вот стаканчиков слетали в самое неподходящее время, обжигая ему руки, колени, портя обшивку сидений в машине, оставляя бурые пятна в паху светлых летних брюк — как правило, перед важной встречей. Но не сейчас, не в тот единственный в жизни раз, когда ему это действительно было нужно, — сейчас они держались, наглые, насмешливые пластиковые ублюдки.

Бродяга затолкал его на заднее сиденье. Ник успел еще приложиться головой о косяк дверцы. Бродяга дернул его на себя, и пока в зрительных нервах Ника пульсировали все звезды Млечного Пути, на голову ему сноровисто натянули черный шелковый мешок, а руки связали за спиной чем-то вроде ленты, какой стягивают мешки с мусором. Машина медленно тронулась, выруливая на улицу.

— Привет, Ник. Данятно наконец-то повидаться с тобой.

Странный акцент, среднеевропейский; вкрадчивый, елейный голос.

— В чем, собственно, дело? — спросил Ник.

— Как тебе там дышится, под мешком? Будет просто ужасно, если ты не сможешь дышать, — короткий смешок. Что-то знакомое в голосе, что-то...

— Куда мы едем? — спросил Ник.

— Какой невероятно нереалистичный вопрос, Ник. Ты полагаешь, что мы надовем тебе адрес?

Акцент. Точно — Питер Лорри, актер, игравший в «Касабланке» маленького, сального проходимца, как же его? Угарте. Но Лорри, насколько Ник помнил, давным-давно помер.

— Это все ради выкупа?

— Это все ради дакладной, Ник.

Смешок. Ник решил воздержаться от дальнейших попыток завязать дружескую беседу.

Примерно через полчаса машина остановилась, дверцы открылись, чьи-то руки выволокли его наружу, затем он услышал стук отворявшихся и захлопывавшихся дверей, приглушенные голоса, поднялся по лестнице, спустился в какую-то комнату, растворилась и захлопнулась еще одна дверь, его затолкали в кресло, привязали лодыжки к ножкам. Все это не обнадеживало. Мешок с головы не сняли. А вот это обнадеживало: значит, они не хотят показывать ему свои физиономии. Нику развязали руки, а затем началось то, что Нику ничуть не понравилось, — его стали раздевать.

— Простите. Что происходит?

— Не беспокойся, Ник, женщин д'десь нет. Можешь не стесняться.

Этот голос. Вкрадчивый, пугающий. Голос из фильмов с Питером Лорри, даром что «Касабланка» — одна из любимых его картин.

— Ах да, прости, ты, наверное, умираешь от желания покурить.

Это верно, сигарета ему сейчас не помешала бы.

— С другой стороны, если ты немного подождешь, то получишь столько никотина, сколько сможешь усвоить.

Смех. Отнюдь не внушающий розовых надежд — смех человека с серьезно расстроенной психикой. И все же надо постараться поддерживать разговор.

— Может быть, нам стоит обсудить происходящее? Людям обычно объясняют, ради чего их похитили. Иначе вроде бы получается бессмыслица.

— Ты днаешь, ради чего, Ник. Мы хотим, чтобы ты перестал убивать людей. Многих и многих людей. Больше полумиллиона в год. И это только в Соединенных Штатах.

— Нет никаких данных, которые подтверждали бы это, — сказал Ник.

— Ник! Это не пройдет. Ты не в шоу Опры Уинфри.

— Да ведь настоящая цифра и близко к полумиллиону не лежит. Даже антитабачные горлопаны не решаются называть больше 435 тысяч.

— Горлопаны. Очень данятно, Ник. Это ты так именуешь людей, которым хочется, чтобы табачные компании перестали совершать в погоне да прибылями человеческие жертвоприношения?

Ника уже раздели до трусов. Он услышал звук открываемых картонных коробок. Когда вам на голову надевают непроницаемый мешок, вы приобретаете восприимчивость к разного рода шумам. Послышался треск, с каким разрывается пластик.

Рука надавила Нику на грудь. Он подскочил в кресле, напрягая лодыжки и заново связанные запястья. Рука отстранилась, что-то оставив на груди, что-то липкое, льнущее, как бандаж.

Другая рука — или та же — прижалась к груди, чуть сместясь, и тоже что-то оставила. Так оно и продолжалось, пока ему не залепили всю грудь, а следом руки, спину и ноги, от трусов до лодыжек.

Настал черед лба и щек. Скоро оклеенным оказался каждый квадратный дюйм его тела. Поерзывая в кресле, он ощущал себя некой клейкой массой, слепленной из пластырей куклой.

— Послушайте, может, все-таки поговорим?

— Ты помнишь, Ник, как я пообещал у Лэрри Кинга тебя погасить?

Меня? Погасить? До Ника дошло наконец, что этот психопат облепил его с головы до ног никотиновыми пластырями. И стало быть, прямо сейчас огромное, может быть, смертельное количество никотина просачивается сквозь кожу в его кровь. Оно конечно, научных доказательств того, что никотин вреден, не существует...

Он произвел в уме вычисления. Сколько там никотина в одном пластыре — двадцать два миллиграмма? А в сигарете около одного, то есть каждый пластырь — это примерно пачка сигарет... а на него, похоже, налепили штук сорок... четыре *блока?* Даже по меркам табачной индустрии для одного дня многовато.

— Радреши я тебе кое-что почитаю, — сказал Питер Лорри. — Это ид листка, который прилагается к пластырям, по одному на коробку. Надывается «Побочное действие». Мой любимый рад'дел. Насчет опухолей в дащечных мешках хомяков и передних отделах желудков крыс Ф344 мне не очень интересно. Я даже понятия не имею, что это да крысы такие. Вообще, тут столько всего понаписано, прямо не днаю с чего начать. Давай я тебе главное дачитаю.

Ника начинало подташнивать. И пульс, похоже... конечно, он нервничает — как тут не нервничать? — но сердце бьется слишком уж быстро.

— Послушайте, я считаю, что некурящие имеют полное право дышать воздухом, не смешанным с табачным дымом. Наша индустрия трудится рука об руку с общественными и правительственными организациями, добиваясь того, чтобы...

— Ник... Ты просто слушай, ладно? Тут скадано «эритема». Днаешь, что это? Мне так пришлось в словаре посмотреть. Покраснение кожи, вот что, вроде как от химического отравления или когда на солнце обгоришь. Осмелюсь даметить, у тебя будет ну очень красная кожа, Ник. Может тебя даже в кино водьмут, на роль индейца. Хе-хе. Ой, прости, Ник, это была неудачная шутка.

— Моя индустрия получает в год сорок восемь миллиардов прибыли. Мне кажется,

для вас тут кроются очень интересные возможности. Думаю, никто из присутствующих здесь не откажется пораньше уйти на покой и скоротать остаток дней на Сен-Барте или еще где-нибудь.

— А вот это я и сам понял. «Боли в брюшной полости, сонливость» — это когда в сон клонит, верно? — «кожная сыпь, потливость. Боли в спине, дапор, диспепсия, тошнота, миалгия». Ну и словечки у них. А, вот хорошо: «головокружение, головная боль, бессонница».Чего-то я не понял, то у них сонливость, то бессонница. Ладно, выясним опытным путем. Днаешь, Ник, ты внесешь черт-те какой вклад в науку. Про тебя напишут в «Медицинском журнале Новой Англии». Ну-с, что еще? «Фарингит»? Это когда по горлу полоснут, что ли? «Синусит и... дисменорея». А вот что *это* такое, я и днать не хочу, уж больно страшно двучит. Ты мне про нее поподже расскажешь.

Жжет. Сильно жжет кожу.

— По-моему, для начала вам стоит потребовать пять миллионов. А после поднять цифру. Не хочу хвастаться, но на мне держится очень важная часть нашей стратегии в сфере средств массовой информации, так что...

— Да ведь мне деньги-то не нужны, Ник.

— Так что вам тогда нужно? Мне не терпится услышать.

Сердце. Ничего себе! Бу-бум, бу-бум.

— А что нужно каждому ид нас? Скромный достаток, любовь достойной женщины, не слишком большая дакладная, хорошо поджаренный бекон.

У Ника совсем пересохло во рту да еще появилось чувство, будто его завернули в фольгу. В голове бухало. Сердце дергалось, как отбойный молоток. И в желудке начало что-то такое завариваться… что долго там не задержится.

— Фуух.

— Кстати, ты видел статью в «Ланцете»? Насчет того непостижимого факта, что в ближайшие десять лет в индустриальном мире дагнется от курения 250 *миллионов* человек? Каждый пятый, Ник. Потрясающе, а? Впятеро больше, чем погибло в прошлой войне.

Бумбумбумбум.

— Агхрррр.

— Все население Соединенных Штатов.

— Я уволюсь. Пойду... работать... в ассоциацию... «Легкие»...

— Очень хорошо, Ник. Мальчики, вам не кажется, что Ник делает большие успехи?

— Ахрррр.

— Тебе вроде неможется, Ник?

— ...хррр...

Бумбумбумбум. Сердце колотилось о ребра с криком: «Гулять хочу!»

— Нет худа бед'добра, Ник. Готов поспорить, на курево тебя больше никогда не потянет.

—...бррлуп.

12

— Видал? — спросил патрульный полицейский у своего напарника, сидевшего рядом с ним в машине на авеню Конституции, неподалеку от Мемориала ветеранов Вьетнама.

— Для бега трусцой поздновато, — зевнул напарник.

— Давай-ка посмотрим.

Они вылезли из машины и двинулись в сторону парка Конституции, освещая фонарями объект своей любознательности. Мужчина, белый — хотя кожа у него страннова-тая, оттенок какой-то неживой и рыхлая, что ли, — шесть футов, 170 фунтов, шатен, сложение атлетическое. Спотыкаясь, бежит вдоль пруда. Наркоман, конечно.

— Сэр. СЭР. Пожалуйста, остановитесь и повернитесь к нам лицом.

— Ты видел его лицо?

— Да уж. Как у загнанного оленя. А что у него на теле?

— Повязки, вроде.

— Ты не слышал, из больницы никто не удирал?

— Сообщений вроде не было. А быстро бегает, сукин сын. Нет, ты только глянь.

— Кока?

— Не-а. Похоже на ангельскую пыль[1].

Они догнали его на маленьком островке посреди парка Конституции, том, где можно прогуляться по преамбуле к Декларации независимости, вырезанной в граните вместе с именами подписавших ее людей.

— Сэр?

— Отстань от меня! Ты мне даже в кино не нравился! Ненавижу «Касабланку»!

— О чем это он?

— Спокойнее, приятель. Мы не причиним тебе зла.

— Свяжите меня с Главным врачом! У меня для нее *сведения чрезвычайной важности!*

— Ладно, друг, поехали к Главному врачу.

— Об этом никто не должен знать, только она!

— Хорошо, приятель. Что это у тебя не шее?

— Плакат.

— «Казнен за преступления против человечины».

— Человечности.

— И что это значит?

— Понятия не имею, но для казненного он больно уж шустрый.

— О господи, отойдите в сторонку.

— Ничего, приятель. Вздохни поглубже. Сроду не видел, чтобы кто-нибудь так блевал.

— Явно чем-то накачался. Вызови-ка «скорую». А, черт, держись подальше, он опять за свое.

— Знаешь, на что они похожи — на эти штуки для курильщиков, на пластыри.

— Джо Ринкхауз их пробовал. Все равно курит.

— Спорим, он на себя столько не лепил. Эй, приятель, ты в порядке?

— В каком там порядке! Ты посмотри на него.

— Похоже, придется ему КПР[2] делать.

— Милости прошу.

— Ну вот еще. Нынче твоя очередь.

— Давай «скорую» подождем. Не нравится мне все это. Может, тут какое новое извращение?

— Интересная мысль.

— Готово.

— Что у нас есть?

— Имя неизвестно, сильно возбужден, рвота, резкое обезвоживание. Давление двести сорок на сто двадцать. Рвота, эритема. Пульс сто восемьдесят, стабильный. Похоже на ПЖТ[3].

— Сэр? Сэр, вы меня слышите? СЭР? Ладно, продолжайте нитраты. Верапамил, десять миллиграммов, в четыре приема. *И сегодня*, пожалуйста.

— Приходит в себя.

— Чем это он облеплен?

---

[1] Сленговое название фенциклидина — сильного галлюциногена.

[2] Кардиопульмональная реанимация — процедура первой помощи, используемая при остановке сердца для возобновления подачи кислорода в мозг; объединяет массаж сердца, искусственное дыхание и введение лекарств.

[3] Предсердная пароксизмальная тахикардия.

— Похоже на никотиновые пластыри.

— Новый способ самоубийства?

— Снимите их, и побыстрее. Этого хватит, чтобы лошадь угробить.

— Ух ты, беднягу ожидают неприятные ощущения.

— Беднягу ожидает могила. Сэр? СЭР? Как вас зовут?

— А, чтоб тебя! Дефибриллятор!

— Ладно, сейчас мы тебя прокатим на молнии. Поставь на максимум. Давайте электроды. Готово? Все отошли.

Вввввамп!

— Еще разок. Отошли.

Вввввамп!

— Отлично, отлично! Есть синусовый. Ставьте капельницу с лидокаином.

Ник очнулся под писк какого-то устройства и сразу ощутил головную боль, заставившую его пожалеть, что он еще жив. Во рту стоял вкус горячей смолы, смешанной с голубиным пометом. Руки, ноги и нос ледяные. Какие-то провода подведены к груди, трубки входят и выходят изо всех отверстий тела — кроме одного, и на том спасибо.

Нику только что снился удивительный сон. Он лежал на столе, подключенный к машине, работающей на постоянном токе, и тут доктор Вит внезапно спятил. Он врубил напряжение, которого хватило бы для питания всего вашингтонского метро, и при этом радостно кудахтал, что лучшего шанса попасть в «Медицинский журнал Новой Англии» Нику никогда не представится.

— О-ох, — простонал Ник, вспугнув медицинскую сестру, тут же побежавшую за врачом.

Появились и нависли над ним люди в белом. Они о чем-то негромко переговаривались. Голос позвал его:

— Мистер Нейлор?

— Угр.

Вроде бы кто-то произнес слово «морфий», затем по руке разлилось тепло, затем... затем явилось видение: роскошная рыжая дева, в очках, голая, верхом на лошади.

Лошадь-то откуда?

Вошли двое в одинаковых костюмах.

— Мистер Нейлор? Я специальный агент Монмани, ФБР. Это специальный агент Олман. Нам поручено ваше дело. Не могли бы вы рассказать, что случилось?

Сквозь наркотический туман Ник вгляделся в прибывшее подкрепление. Монмани высок, поджар, с внимательными, светлыми, волчьими глазами. Виски седеют. Хороший агент, опытный. Олман коренаст, сложением напоминает пожарный гидрант. Замечательно. Такой без труда превратит физиономию Питера Лорри в свиную отбивную. У него румяное, почти жизнерадостное лицо, придающее ему сходство с любимым учениками школьным учителем. Ник предпочел бы, чтобы он был похудощавее и понеприветливее, как Монмани, но ничего, сойдет, лишь бы оба действовали заодно и каждый день смазывали пистолеты. Он вдруг увидел, как Питер Лорри, стоя на коленях, взывает к их милосердию, а они всаживают ему прямо в грудь пулю за пулей из своих девятимиллиметровых.

Способная сделать честь любому цунами волна тошноты прокатилась через Ника. Он кое-как сфокусировал взгляд на Монмани, взиравшем на него без тени сочувствия. Да, настоящий убийца, вид у него такой, словно он чистит зубы не шелковой ниткой, как все, а фортепьянной струной.

Они начали задавать Нику вопросы. Много вопросов. Одни и те же, раз за разом. Ник рассказал им все, что знал: его похитил и пытал давно покойный киноактер венгерских кровей. Он рассказал и о том, как швырнул стаканчики в бродягу. На К-стрит кто-нибудь наверняка сможет это засвидетельствовать. Последнее, что он помнит? Ощуще-

ние, что сердце изо всех сил старается покинуть его тело — вместе со всем съеденным им за два предыдущих года. И кстати, до чего же он голоден! Гэзел принесла ему печеньиц с двойной прослойкой крема, но сестра, бросив на них один только взгляд, утащила пакетик из палаты с таким видом, точно он был набит токсичными отходами.

Агент Монмани заставил Ника повторять свой рассказ снова, и снова, и снова, пока Нику это не надоело настолько, что он испытал искушение добавить что-нибудь от себя. Агент же Олман просто стоял у койки, не без приятности кивал и жизнерадостно улыбался. Могли бы проявить немного сочувствия. Но им нужны были детали, детали и детали. Ник начинал злиться. Его так и подмывало спросить, чем они занимались во время последнего задания — утюжили танками Уэйко?

По счастью, явился доктор Вильямс, и агенты ушли. Стоило им выйти, как доктор принялся травить анекдоты про обыкновение Дж. Эдгара Гувера разгуливать по дому в красной балетной пачке. Доктор Вильямс был кардиологом, очень приятным человеком лет пятидесяти с лишком, носившим слуховой аппарат — следствие службы врачом на миноносце во время вьетнамской войны. Мысль о том, что ему всего-то в сорок лет понадобился кардиолог, встревожила Ника, но доктор Вильямс успокоил его, объяснив, четко и дружелюбно, что с ним произошло.

В общем-то, он еле выкрутился. Огромная доза никотина привела к развитию пароксизмальной тахикардии — это как если ведешь машину на шестидесяти милях в час, сказал доктор, и вдруг переключаешься на первую скорость. Сердцу пришлось заниматься работой, для которой оно не приспособлено, а именно — с безумной быстротой перекачивать кровь. Уже в реанимации тахикардия перешла в желудочковую фибрилляцию, при которой волокна сердечной мышцы слабеют, и тахикардия сердце вообще перестает качать кровь, лишая мозг кислорода. Пришлось воспользоваться дефибриллятором, то есть несколько микросекунд пропускать сквозь Ника здоровенный разряд, который затормозил собственную электрическую активность сердца и восстановил его жизненно важную функцию. Ник слушал, с трудом одолевая страшную слабость. В середине лекции ему пришло в голову, что большую часть времени, прошедшего между его последним посещением доктора Вита и приходом к нему *этого* доктора, он только и делал, что сидел на электрическом стуле. Как это ни смешно, сказал под конец доктор Вильямс, но курение, похоже, спасло ему жизнь. Не будь он курильщиком, такое количество никотина наверняка остановило бы его сердце гораздо раньше.

На следующее утро пришла медсестра — проверить все его проводки и трубочки, — пришла и обнаружила, что грудь Ника смазана нитроглицериновым желе, умаляющим токсичное действие никотина. Сестра побледнела, затем вдруг явно разозлилась и принялась стирать желе, бормоча: «Иисусе Христе!», что заставило Ника насторожиться. Поначалу она отказывалась объяснить ему, в чем дело. Но в конце концов сказала, что нитроглицериновое желе *всегда* наносят на руки и *никогда, никогда, никогда* на грудь. Почему? Потому что если ночью сердце опять остановится и доктора прибегут с тележкой и приложат к его груди электроды, прямо на нитроглицерин, то... сестра взмахнула руками, как бы говоря «бум!». Затем она вылетела из палаты, чтобы отыскать санитара, оставив Ника гадать, не безопаснее ли было б ему лежать дома в собственной постели.

Его навещала куча народу. Пришел со своей матерью Джой, которого восхитила техническая сторона истории о том, как санитар обратил отца в живую бомбу, и который засыпал Ника вопросами, где можно купить нитроглицериновое желе и дефибриллятор.

Пришли Бобби Джей и Полли — с цветами, корзинами фруктов, запретными чизбургерами и «Кровавыми Мэри», подарком от Берта. Еще они притащили электрокамин, стоявший в гриль-баре Берта — это чтобы Ник чувствовал себя как дома, очень трогательный поступок, хоть сестра и запретила камин включать. Полли даже прослезилась, увидев, какой он бледный, а местами — там, где никотин вызвал сильное сужение сосудов, отчего кровь перестала поступать в конечности, — еще и синий. Эротические мечтания Ника покамест не посещали, но он надеялся, очень надеялся, что к

моменту выписки по крайней мере в одной конечности кровоток будет в полном порядке.

Дважды, иногда трижды в день приходила Дженнет. Очень озабоченная, очень участливая. Нику стало казаться, что он в ней все же ошибся. В мире мужчин женщинам приходится туго, вот они и ожесточаются, но ведь это не значит, что они по природе своей мужеподобны и непременно рвутся к главенству. Дженнет принесла ему трюфели, и клубнику из гастронома на Саттон-плейс, и цветы, любопытные, между прочим, цветы, почему-то наведшие Ника на мысли далеко не приличные. Может она для него что-нибудь сделать? Заглянуть к нему на квартиру, посмотреть, все ли там в порядке? Забрать одежду из чистки? Проверить почту? Сводить Джоя на матч Малой лиги[1]?

Заявился БР, изобразил генерала Паттона. совершающего внеплановую инспекционную поездку, и умчался внушать главному врачу, что у него в палате 608 лежит Очень Важный Пациент и что он, БР, ну вот как бог свят, ожидает, что с Ником будут обходиться как с таковым, даже если начальнику придется лично подносить ему утку в четыре утра. После этого БР звонил Нику по пяти раз на дню, требуя доклада о состоянии его здоровья. Академия — да нет, вся табачная индустрия — разъярена происшедшим и уже потребовала от конгрессменов, питающихся из ее кормушки, чтобы члены Конгресса от табачных штатов все как один надавили на Белый дом, дабы тот надавил на генерального прокурора, дабы прокурор надавил на ФБР. (Чем, возможно, и объяснялась некоторая сухость агента Монмани.)

Регулярно звонил Капитан, этот сам докладывал, как подвигается его работа с конгрессменами. Он поговорил с сенатором Джорданом, этой шлюхой, захапавшей его «Гольфстрим», и объяснил, что́ от него требуется: сенатору надлежит лично позвонить президенту и «уведомить его», что он должен приказать ФБР «из штанов выскочить, а изловить этих сукиных детей». Иначе ему, сенатору, не видать больше «Г-5», как своих ушей.

Все это очень утешало. Ник был растроган. Табак сам о себе заботится.

Хизер, чтобы не нарваться на кого-нибудь из Академии, прокралась к нему по окончании отведенных для посещений часов. Они с Ником решили сохранять свои отношения в тайне, просто безопасности ради. Ему не хотелось, чтобы БР или кто-то другой пронюхал, что он спит с врагиней. Не то чтобы Хизер писала о них совсем уж нелестно, но на взгляд БР, *все* репортеры — враги.

Она села на край его койки, в легком летнем платье, причесанная, как идеальная американка конца прошлого века — локоны спадали на шею, — очень соблазнительная. Но Нику пока еще не хватало сил на возбуждавшие ее безнравственные разговоры, и он просто слушал рассказ Хизер о беседе с Атертоном Блэром, немного самодовольным, неизменно в галстуке-бабочке, выпускником одного из престижных университетов, заместителем главного редактора «Сан», почтенной вашингтонской газеты. Она хотела напечатать в «Сан» статью о недавно нанятом президентом новом имиджмейкере; у Хизер имелись сведения, что он некогда консультировал близкого родственника Эриха Хонеккера, прежнего диктатора Восточной Германии, построившего Берлинскую стену.

На следующий день позвонила Дженнет сообщить, что она «уломала» Кэти Коурик из программы «Тудей» провести с ним выездное интервью — прямо в палате. Как ни мила была Дженнет, Ник все же сомневался, что ей пришлось так уж сильно хлопотать насчет интервью. В конце концов, Ник стал одной из главных новостей, красующихся вверху первых газетных полос. Академия, надо полагать, *завалена* просьбами об интервью.

— Ты только не думай, что мы пытаемся нажиться на происшедшем, — сказала Дженнет, — но если ты в силах, то, по-моему, этой возможности упускать не стоит.

Тоже верно. Похищение Ника было, в своем роде, благословением свыше. Антита-

[1] Матч детских бейсбольных команд.

бачные организации из кожи вон лезли в попытках откреститься от «никотеррористов», как уже прозвала преступников желтая пресса, и что-то старательно лопотали о своем неприятии этого «отвратительного», «экстремистского», «омерзительного», «недопустимого» деяния. Даже Рон Гуди, на котором Ник отрабатывал у Опры прямой в челюсть, и тот, если верить приведенной «Ньюсуиком» цитате, заявил, что, каким бы ни было его личное мнение о Нике, последний определенно не заслуживает смерти за свои взгляды. Несомненно, эту свинью заставили так сказать, и, столь же несомненно, чувствовал он себя при этом хуже покойника.

— Спасибо, Брайан. Четыре дня назад Ник Нейлор, главный общественный представитель табачного лобби, был похищен неподалеку от своего офиса в Вашингтоне, округ Колумбия. Той же ночью его обнаружили с плакатом на шее, в котором говорилось, цитирую: «Казнен за преступления против человечности». Тело его было облеплено смертоносным количеством никотиновых пластырей, которые прописываются желающим бросить курить. Врачи из больницы университета Джорджа Вашингтона говорят, что, когда его доставили сюда, он был при смерти. Дело это, по-видимому свидетельствующее о том, что по меньшей мере один из участников антитабачного движения решил прибегнуть к тактике террора, сейчас расследуется ФБР. Сегодня мистер Нейлор, еще не покинувший своей койки в больнице университета Джорджа Вашингтона, присоединится к нам. С добрым утром.

— С добрым утром, Кэти.

— Я знаю, для вас это было тяжелым испытанием. Первое, о чем я хочу спросить: как вам удалось выжить? Говорят, вы были буквально облеплены пластырями.

— Пожалуй, я мог бы сказать, Кэти, что жизнь мне спасло курение.

— Как это?

— Я курю, разделяя это удовольствие с пятьюдесятью пятью миллионами других взрослых американцев, и потому смог выдержать огромную дозу никотина, хотя она меня едва не убила. Если бы полицейские обнаружили меня чуть позже, я почти наверняка не болтал бы с вами сегодня.

— К курению мы еще вернемся...

— С вашего разрешения, Кэти, все это лишь доказывает то, о чем мы давно уже говорим, а именно: «Люди, не связывайтесь с никотиновыми пластырями. Это убийцы».

— Но, разумеется, не в том случае, если вы правильно их используете.

— Кэти, из уважения к тем, кто нас сейчас видит, я не стану особенно задерживаться на том, что сделали со мной эти штуки. Тошнота, безудержная рвота, пароксизмальная тахикардия, прекращение подачи крови в мозг, онемение и холод во всех конечностях, страшный кожный зуд, нарушение зрения, невралгическая мигрень... на всем этом я задерживаться не стану и скажу только одно: если такое способна учинить пачка этих липучек, нам остается лишь воображать, какой вред может причинить нормальному, здоровому курильщику *всего одна* из них. Так вот, чтобы не тратить слов попусту: скажите пластырям «нет».

— Насколько нам известно, похитители прислали в «Вашингтон сан» записку.

— На этот счет мне сказать нечего, Кэти.

— Она опубликована в сегодняшнем номере.

— Да что вы?

— Номер у меня с собой. Хотите узнать, что в ней написано?

— Ну...

— Цитирую: «Ник Нейлор несет ответственность за смерть миллиардов...»

— «Миллиардов»? Наверное, «миллионов».

— Нет, тут сказано «миллиардов».

— Но это же чушь. Я работаю в Академии шесть лет, и если мы примем цифру 435 тысяч в год — тоже, кстати, совершенно нелепую, — я должен нести ответственность, в

кавычках, за два миллиона шестьсот тысяч. Так откуда эти господа взяли «миллиарды»? Кто я, по их мнению, Макдоналдс?

— Дальше читать?

— Да, конечно, непременно читайте, я весь внимание.

— «Его устранение должно послужить предупреждением табачным компаниям. Если они немедленно не прекратят производство сигарет, мы уничтожим и других».

— А скажите, записка, случаем, написана не на бланке Главного врача?

— Прошу прощения?

— Слог уж больно знакомый. Да нет, Кэти, я шучу, конечно. Юмор, знаете ли. Лучшее лекарство...

— У вас есть какие-нибудь соображения насчет того, кто это сделал?

— Нет, но если они нас слышат, а я уверен — они не меньшие ваши поклонники, чем я, значит, слышат, — я хотел бы сказать им: не прячьтесь, покажитесь, я не стану выдвигать против вас обвинения.

— *Не станете?*

— Нет, Кэти, я думаю, что люди, способные на такое, нуждаются прежде всего в помощи.

— Вы очень терпимый человек.

— Видите ли, Кэти, слово «терпимость» начинается, как и слово «табак», с буквы «т». Наша позиция всегда была такой: мы понимаем людей, резко настроенных против курения. И мы говорим: давайте работать вместе. Давайте вести диалог. У нас большая страна, в ней найдется место и для курящих и для некурящих.

Первым позвонил Капитан:

— Блестяще, сынок, *блестяще!*

За ним поспел БР:

— Не могу не отдать тебе должное, Ник, ты сбил нас с ног. Мы тут никак отдышаться не можем.

Следом Дженнет:

— Ник, я такого еще не видела.

Потом Полли, эта смеялась:

— Так что же все-таки произошло?

— Понятия не имею, — сказал Ник. — Надеюсь только на одно — что возили меня не в Мэриленд, а в Виргинию.

— Почему?

— А потому, — ответил Ник, — что в Виргинии все еще существует смертная казнь.

13

В день возвращения Ника на работу БР, собрав всех сотрудников Академии, произнес приветственную речь. Из нее следовало, что Нику удалось одурачить своих похитителей и сбежать. На самом деле Ник понятия не имел, как он оказался на Эспланаде, и очень сомневался, что успел кого-либо одурачить, поскольку дурачить людей, когда у тебя сердечный приступ плюс непрерывная рвота, дело довольно сложное. Сотрудники Академии и так-то вели себя с Ником как с героем, вернувшимся с войны, отчего он начал уже смущенно поеживаться. А тут еще БР затеял изображать Генриха V, обращающегося под Азенкуром к горстке счастливцев, братьев. Под конец он даже процитировал слова, сказанные Черчиллем в самый мрачный для Британии час: «Никогда не сдаваться, — сказал он. — Никогда. Никогда. Никогда!»

Сотрудники аплодировали. Некоторые прослезились. Что говорить, ничего подобного Ник в Академии табачных исследований еще не видел. Содеянное с ним привело к удивительному результату — к общему подъему духа. Как будто затянувшееся тягостное перемирие между Академией и враждебным миром наконец завершилось, вылившись

в открытые военные действия, и, видит бог, — воевать так воевать! Мы готовы. Люди, отродясь не переступавшие порога военной базы и уж тем более не глядевшие в дуло пистолета, произносили в коридорах слова вроде «обходной маневр» и «удар с фланга». Это действительно бодрило — честь мундира и все такое. Ник был тронут.

— Ник, — обратился к нему Гомес О'Нил, — вопрос.

Рослый, смуглый и рябой Гомес, с ручищами толщиною в тросы, на которых держится Бруклинский мост, возглавлял в Академии службу разведки, то есть отдел, отвечающий за сбор информации о частной жизни самых приметных антитабачных крикунов и сутяг. Прежде он работал в какой-то правительственной службе — в какой, оставалось неизвестным, поскольку Гомес не любил вопросов о своем прошлом. Отпуска он проводил в одиночных походах по таким симпатичным местам, как Баффинова Земля[1] и пустыня Гоби. БР, похоже, недолюбливал Гомеса, что, похоже, оставляло Гомеса равнодушным — уволить его было так же непросто, как Дж. Эдгара Гувера.

— Шмаляй, — вырвалось у Ника словечко, которым, беседуя с Гомесом, следовало пользоваться с осторожностью.

— Ты курить не бросил?

Послышались нервные смешки. По правде сказать, Ник уже больше недели не прикасался к сигаретам. У него как-то не возникало потребности ввести в свой организм еще немного никотина. Он даже подумывал, что, пожалуй, может теперь претендовать на пособие по нетрудоспособности.

Все смотрели на него с ожиданием. Подвести этих людей он не мог. Ныне он был не просто их общественным представителем, он был их героем.

— Закурить у кого-нибудь найдется? — спросил он.

Двадцать рук одновременно протянули ему по пачке. Ник выбрал «Кэмел», прикурил, набрал немного дыма в легкие и выдохнул его. Ничего, даже приятно, затянись еще разок и выпусти дым. Вокруг одобрительно заулыбались.

Тут перед глазами его поплыли яркие звездочки, вскоре заплясал уже целый Млечный Путь. Ника прошиб холодный пот, комната качнулась и — о нет, только не сейчас, не перед всеми сотрудниками...

— Ник? — окликнул его БР.

— Все в порядке, — неверным голосом ответил Ник и опустил сигарету в пепельницу. Ну и вкус же во рту. Бр-р.

— Ты сразу-то не налегай, — сказал БР.

— Может, для начала попробуешь с фильтром, — неуверенно предложил кто-то.

Ник стоял перед смущенно молчавшими коллегами, промаргиваясь, слегка пошатываясь.

— Слушай, Ник, — произнес наконец Джеф Тобиас, — ты уже видел данные по женщинам от восемнадцати до двадцати одного?

— Угу.

Отдам полцарства за мятный леденец...

— До двадцати процентов выросли.

— Замечательно, — пробормотал Ник.

БР добавил:

— Подождите, пока Ник начнет кампанию против курения. — Кто-то фыркнул. — Кстати, когда нам покажут плакаты?

— Сегодня после полудня у меня видеосвязь со Свеном, — сказал Ник, чувствуя, как у него холодеют пальцы. Может, позвонить доктору Виту? *«Вы курили?!»*

— Нам всем не терпится увидеть, что он для нас приготовил, — сказал БР. — Ну ладно, передаю слово Карлтону, он ознакомит нас с новыми процедурами обеспечения безопасности.

---

[1] Пятый по величине остров мира, лежащий к западу от Гренландии.

Карлтон начал с анекдота про двух парней в походе, на палатку которых напал медведь гризли, — один из них натянул кроссовки и начал их зашнуровывать. «На что тебе кроссовки? — спросил другой. — Гризли тебя все равно догонит». «Я не от гризли хочу оторваться, — ответил первый, — а от тебя». Когда имеешь дело с террористами, пояснил Карлтон (некоторые поежились), уцелеть можно, лишь заставив их заняться кем-то другим. Слушатели его обменялись смущенными взглядами: «О нас, о горстке счастливцев, братьев».

Явно воодушевленный — когда еще случится ему поговорить на любимую тему? — Карлтон остановился на важности нешаблонного поведения. Выходить из дому на работу следует в разное время, избирая разные маршруты и внимательно приглядываясь к окружающим, особенно к тем, что одеты в какую-нибудь форму. Он раздал фотокопии листовок, озаглавленных «Что делать, если Вас засунули в багажник автомобиля». Люди молча разглядывали фотографию здоровенного окровавленного мужика. *«Засунули... в багажник?»*

— Теперь насчет адских машинок.

Эта часть выступления Карлтона заняла целых пятнадцать минут. Карлтон потратил их на описание примерно трех дюжин различных бомб, включая и ту, которая крепится к дворникам ветрового стекла.

— Вы включаете дворники и — ба-бах! — получаете весь заряд прямо в физиономию.

Бетти О'Мейли побледнела. БР перебил Карлтона:

— Давай-ка теперь хорошие новости.

Карлтон открыл чемоданчик и раздал всем маленькие, черные, похожие на бипер приспособления. То были электронные маяки, посылающие сигналы тревоги, — такие используются на спасательных плотах. Если на вас напали, достаточно нажать две кнопки одновременно и все правительство США устремится вам на помощь. Затем он открыл другой чемоданчик и выдал каждому по баллончику с перечным газом. Газом полагалось прыскать в лицо всякого рода подозрительным типам. Но только если они начнут первыми. И только если вы уверены, что они хотят вас убить. В прочих же случаях, пусть даже вас засовывают в багажник, делайте в точности то, что вам говорят.

Вопросы есть? К этой минуте уже можно было бы услышать, как булавка падает на пол, даром что его покрывал ковер.

— Я что-то не понял, — спросил Чарли Нобл из юридического отдела, — мы что же, все на прицеле?

— Я не знаю ответа на этот вопрос, — сказал БР, — я просто не хочу рисковать. Карлтон принял необходимые меры для того, чтобы каждый из вас — каждый, без исключения, кроме, разумеется, Ника, — провел следующие выходные в тренировочном лагере в Западной Виргинии. Будете вместе с работниками правительственного аппарата осваивать навыки, необходимые водителю при наличии угрозы со стороны террористов.

Общий ропот.

— Вас всех обучат. Чему их обучат, Карлтон?

— Обнаружению мин в машине, слаломной езде, развороту прыжком и бутлегерскому развороту, технике тарана и обнаружения слежки.

— Мин? — переспросил Сид Берковиц из «Коалиции за здоровье». — Нам угрожают мины?

— Это всего лишь предосторожность. Уверяю вас, ФБР вот-вот схватит этих людей. Пока же мы договорились с 1800-м полицейским участком на К-стрит о том, что будем оставлять машины в их подземном гараже. Так что в наш гараж машин больше не ставьте.

На сей раз ропот заметно усилился. БР пришлось повысить голос, иначе бы его никто не услышал.

— Спокойно, спокойно. Повторяю, это предосторожность, не более. Никто нам минами не угрожал. Да и вообще, мы с вами занимаем верхний этаж, так что при взрыве в подвале разве что дыму наглотаемся.

Дженнет засмеялась. Но только Дженнет.

После совещания БР отвел Ника в сторонку. И вручил коробку пластырей «никостоп». Если бы БР передал ему из рук в руки свежую, еще парную какашку, это вряд ли произвело бы на Ника большее впечатление.

— Угадай, — сказал БР, — на сколько упали продажи этих «смертельных нашлепок» после твоего интервью «Тудей»? На сорок пять процентов!

Ник, содрогнувшись, вернул ему коробку. На сегодня хватит с него никотина.

— Неприятно, конечно, извлекать выгоду из этой гнусной истории, но, боже ты мой, ступив в дерьмо, розой пахнуть не станешь. Посмотри, какая пресса, — он передал Нику толстую папку, настоящий «богатырский бутерброд», из которого во все стороны торчали, словно листья салата и ломти ветчины, газетные и журнальные вырезки.

Большую их часть Ник уже видел. Его поминали во всех утренних шоу, по всем кабельным программам. Европейцы и азиаты, которые все еще дымили себе и горя не знали, говорили о Нике и не могли наговориться. Волнующее ощущение человека, который слышит параллельный перевод собственных слов, оказалось для Ника в новинку. Интервьюерша-француженка, обаятельная, прелестная женщина, не поленилась ознакомиться с физиологическими последствиями сужения сосудов и, основываясь на этом исследовании, спросила у Ника, не сказалось ли пережитое на его «романтических способностях»? Ник зарумянился, ответил «нет», pas du tout[1], но тем не менее облился холодным потом. Его показало даже словацкое телевидение — немалое достижение, поскольку «Агломерейтед Тобакко», компания, принадлежащая самому Капитану, осуществляла массированное вторжение в страны бывшего Восточного блока, наводняя их сигаретами, название которых переводилось как «горлодер». Жители этих стран, выросшие на сигаретах, напоминающих вкусом горящие ядерные отходы, отличались пристрастиями старомодными: им требовалось не меньше, а по возможности больше никотиновых смол. Рак легких сходил у них за знак качества.

— Дженнет сказала, что «Молодой современник» собирается сделать о тебе репортаж для рубрики «Одна неделя такого-то».

— Да, — сказал Ник, в очередной раз испытав раздражение при мысли об информационном канале Дженнет—БР, — но как раз с ними мне связываться не хочется.

— Япония для нас очень важна, там уже курят двое мужчин из трех в возрасте от шестнадцати до двадцати одного.

В Академии эту возрастную группу называли «первым этажом».

— Просто неохота, чтобы японские репортеры целую неделю торчали в моем кабинете. Да, собственно, и любые другие. Еще немного, и публика будет сыта мной по горло.

— Двое из трех, Ник. Миллионы и миллионы современных японских юношей. В их глазах ты герой. Это налагает определенную ответственность.

— Давай поговорим об этом после.

Спасибо и на том, что Ник обратился теперь в звезду размером с Кинг-Конга, которая может позволить себе фразу «Давай поговорим об этом после».

— Я сегодня разговаривал с Капитаном. Он надеется, что ты с этим справишься.

«Агломерейтед» вторгалась и в Японию тоже, благо торговый представитель США пригрозил повысить на 50 процентов тариф на импортный соевый соус, если Япония не откроет свои порты и легкие для американского курева.

— С ним я тоже поговорю после, — конечно, тут Ник малость переборщил, но все, что мог позволить себе БР, это скривиться и сказать: «Ладно, надеюсь, ты понимаешь, что делаешь».

Проклятая популярность уже начинала действовать Нику на нервы. Вон и Сэмми Наджиб позвонила сегодня утром и попросила — потребовала, — чтобы он снова выступил в шоу Лэрри Кинга. Они с Лэрри уверены, нутром чуют, что этот мерзавец позвонит еще раз, — разве Ник не понимает, какая роскошная получится передача?

---

[1] Ни в коей мере *(франц.)*.

— Да, кстати, — театральным тоном произнес БР, — на следующей неделе сюда приезжает Пенелопа Бент, и догадайся, с кем ей хочется повидаться?

Пенелопа, ныне леди Бент, подписала недавно с «Бонсакер интернэшнл» (прежней «Бонсакер тобакко») контракт, по которому ей выплачивалась семизначная сумма за ежегодные выступления перед советом директоров и собранием акционеров. В последнее время Большая табачная шестерка все чаще прибегала к услугам знаменитостей: ветеранов, переживших вьетнамский плен, бывших президентов престижных университетов. Шестерка пыталась даже подрядить мать Терезу — чтобы та поработала для нее зазывалой под прикрытием пресловутой свободы слова либо Конституции. Последним ее приобретением стала Пенелопа, занимавшая до недавнего времени пост премьер-министра Великобритании.

— Ну-ну? — отозвался Ник.

— Капитан позвонил мне сегодня утром. Все они по-прежнему благоговеют перед ней и ни слова поперек сказать не смеют. Видимо, она и впрямь обладает даром внушения. Как бы там ни было, Капитан считает, что ты мог бы воспользоваться этой возможностью, чтобы немного натаскать ее на случай, если ей станут задавать неприятные вопросы насчет наших с ней отношений. Ну, чтобы она пела на один голос с нами. Главное — подчеркнуть нашу разносторонность. «Агломерейтед» это не только табак, но и детское питание, замороженные продукты, смазочные вещества, воздушные фильтры, шары для боулинга. В общем, сам понимаешь.

— Понимаю, — сказал Ник, раздраженный тем, что его учат делать хорошую мину при плохой игре, — однако сомневаюсь, чтобы «титановая леди» нуждалась в моих наставлениях насчет обращения с прессой.

— Ей просто хочется познакомиться с тобой, Ник, — радостно сказал БР. — Я бы на твоем месте чувствовал себя польщенным.

— Ладно, я польщен.

— Может, она даст тебе пару советов насчет того, как обходиться с террористами. Помнишь, что она учинила с ИРА[1], после того как ее бульдоги подорвались на мине?

— Я вроде бы в Голливуд собирался?

— Мы пытаемся устроить тебе встречу с Джефом Мегаллом и его людьми. Это посложнее, чем добиться аудиенции у Господа Бога.

— С Джефом Мегаллом? — удивился Ник.

— С ним самым. Однако Капитан хочет, чтобы ты немного поболтался здесь — пусть пресса, пока она от тебя не устала, знает, где тебя искать. Честно говоря, если бы я предвидел, что твое похищение наделает столько шума, я бы тебя сам похитил. Да, и еще: когда будешь в Лос-Анджелесе...

— Да? — насторожился Ник.

— Это насчет твоего приятеля, Лорна Латча...

— Он мне не приятель, БР. Все, что я для него сделал, — это отговорил твоих людей судиться с ним. У Лэрри Кинга мне пришлось спрятаться в туалете, чтобы с ним не столкнуться.

— В последнее время он здорово нам досаждает, — сказал БР. — Ты читал, что он наговорил о нас на прошлой неделе? Нет, ты же еще в интенсивной терапии лежал. Твоя подружка Опра вытащила его на шоу вместе с этой дамочкой, награжденной «Серебряными дубовыми листьями». Видел бы ты, как они вякали через свои резонаторы. Дуэт для двух дуделок.

Ник поздравил себя с тем, что в *этом* шоу Опры ему участвовать не пришлось.

— Трогательное было зрелище. Ладно, она женщина, ее я могу простить. Но не его. У этого малого нет никакого чувства личной ответственности.

— Он умирает, БР. Самое для нас лучшее — оставить его в покое. Будь моя воля, я бы ему еще и денег дал, на расходы.

---

[1] Ирландская революционная армия.

— Не уверен, что я выбрал бы этот путь, — сказал БР, — однако Капитан придерживается в аккурат такого же мнения.

— Ну хорошо, — сказал Ник глядевшему на него с экрана видеотелефона Свену, — как у нас насчет безликости?

Свен ответил:

— Должен с самого начала подчеркнуть, что мы здесь все до единого пришли в ужас от задания соорудить неэффективную рекламу, которая вообще никак не подействует на людей.

У Ника вдруг возникло чувство, что их разговор прослушивается. Как будто он в самый разгар Уотергейтского дела сидит в Овальном кабинете и беседует с Никсоном.

— Я просто хочу объяснить, как мы себе представляли нашу роль, — продолжал Свен.

— Ладно, я понял: вам выпала роль терзаемого муками художника, — сказал Ник. — Что дальше?

Эти мне творческие натуры, ну чисто оранжерейные орхидеи. А еще из Миннеаполиса. Ник впервые побывал там полгода назад и чуть уши не обморозил.

— Нам вроде бы оставалось одно — взять за основу нечто вроде «КОЕ-КОМУ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ТЫ ЗАКУРИЛ. МЫ ЭТОГО НЕ ХОТИМ» и вообще не касаться темы здоровья, но попытаться сыграть на присущей подростку боязни оказаться марионеткой в руках взрослых. Однако тебе это не понравилось бы.

— Нет, потому что могло сработать.

— Вот-вот, и мы эту идею отставили. На наш взгляд, тут необходима резкость, нужно говорить с подростками властным тоном, который уже въелся им в кишки, пилить их — что-то вроде «шел бы ты в свою комнату» — и таким образом полностью выйти у них из доверия.

— А вот это мне нравится, — сказал Ник.

— Отлично, — откликнулся Свен. — В этом направлении мы и пошли.

Он подтянул плакат в поле зрения камеры. Только текст, и ничего больше. «Все, что родители говорят тебе про курение, — чистое золото».

— Хм, — произнес Ник.

— Знаешь, чем он мне нравится? — спросил Свен. — Он скучный.

— Это да, — согласился Ник.

— Скулы сводит. Любой мальчишка, взглянув на него, только и скажет: «Блевотина».

«Пожалуй, — подумал Ник, — Джой именно так бы и отреагировал».

— И при всем при том, — продолжал Свен, — он не имеет себе равных по подрывной силе.

— Не понял?

— Произнеси вслух последние три слова.

— «Курение — чистое золото».

— Безлик снаружи, зато берет человека изнутри. Троянская индейка.

— Да, — сказал Ник, — пожалуй, это я могу показать нашим деятелям.

Ник нетерпеливо ждал ленча с Полли и Бобби Джеем — все-таки час-другой нормальной жизни. Будучи обладателем докторской степени по отмыванию черного кобеля добела, он хорошо понимал, почему Капитан и БР норовят выдавить из курочки, пока она еще дышит, все золотые яйца до последнего, однако слава давалась ему все же недешево. Как говаривал Фред Аллен[1], знаменитость — это человек, который кладет первую половину жизни на то, чтобы прославиться, а вторую ходит в темных очках, чтобы к нему не приставали на улицах. По пути из Академии к Берту Ник обнаружил, что люди, мимо которых он проходит, пихают друг друга локтями, шепча: «Это он?» А стоя в ожидании

[1] Фред Аллен (1894—1956) — американский юморист.

зеленого света на углу К-стрит и Коннектикут авеню, услышал за спиной женский голос, пробормотавший: «И поделом тебе».

Ник круто обернулся, но женщина уже прошла мимо, а догонять ее, чтобы спросить, не ослышался ли он, что-то не захотелось. По спине его пробежал холодок. Он не считал себя размазней и тряпкой, ему приходилось слышать от целой толпы людей слова «массовый убийца», а то и похуже (иногда произносимые хором), но толпу эту, как правило, составляли горлопаны с плакатами или «профессиональные здравоохмурители», норовившие заткнуть Нику рот. Однако когда люди, совершенно тебе незнакомые, — среди бела дня, в Вашингтоне, на самом оживленном его перекрестке — подходят, чтобы выразить солидарность с теми, кто похитил тебя и пытал, это, видимо, означает, что где-то на жизненном пути ты ошибся поворотом.

Ник заскочил в универмаг «Троувер» и купил дешевые солнечные очки. Очки позволили ему пройти остаток Коннектикут и добраться до Род-Айленд авеню, не услышав больше ни одного пожелания скорой кончины.

Ощущение безопасности вернулось к нему лишь у Берта. Берт подошел и обнял его и вообще ужасно суетился; подходили и официанты, жали руку, уверяли, что он отлично выглядит. В последние дни он часто слышал: «Отлично выглядишь, Ник», несмотря на то, что потерял десять фунтов и кожа у него приобрела серый, рыбий какой-то оттенок.

Берт сказал, что едят они сегодня за счет заведения, и сам отвел Ника к привычному столу у поддельного камина, по кирпичам которого уютно скользили язычки поливинилового пламени.

Бобби Джей и Полли уже поджидали его. Оба встали, здороваясь, что совсем доконало Ника. Если издавна заведенный порядок когда-нибудь доставлял ему удовольствие, так именно здесь, а до сих пор ни один из членов «Отряда ТС» не вставал, приветствуя другого. Среди торговцев смертью царило равенство. Полли так даже обняла и поцеловала его. Ну на что это похоже? Ник уже устал от всеобщей участливости.

— Я в порядке, — сказал Ник, — ничего сверхъестественного со мной не произошло.

— Отлично выглядишь, — сказал Бобби Джей.

— Да, верно, — сказала Полли. — Просто здорово.

Ник смерил обоих взглядом.

— Вы что, работу сменили? Пишете тексты для поздравительных открыток? Выгляжу я дерьмово.

Бобби Джей и Полли переглянулись. Полли тронула Ника за локоть.

— Мы просто рады, что ты вернулся.

— Ну так и радуйтесь, а кудахтать надо мной не надо.

— Извини, — отдергивая руку, сказала Полли. — Не знала, что ты нынче не в настроении.

— БР только что передал мне пожелание Капитана, чтобы я всучил взятку умирающему от рака Перекати-Поле, дабы тот нас больше не поносил. Я вынужден соглашаться на каждое вшивое интервью. Завтра вечером я выступаю у Лэрри Кинга — и он и ФБР намерены использовать меня в качестве приманки для этого маньяка, Питера Лорри, — а только что какая-то баба на улице прошипела мне в спину, что похитили меня за дело. Так какого, к дьяволу, настроения ты от меня ожидаешь?

— Да, городок у нас непростой, — сказал Бобби Джей.

— Это ты *мне* рассказываешь? Ну-ка, вычисли моих телохранителей.

— Которых?

— А, не можешь? Вон та, в джинсах, и вторая, у которой сумка размером со спальник. Обе работали раньше в Секретной службе. Знаешь, что у нее в сумке? Обрез. Очень надеюсь, что эта сволочь попробует сцапать меня еще раз. Вы представляете, какую драную двойную дыру проделывает в человеке заряженный картечью обрез?

— Я, — сказал Бобби Джей, — представляю.

— Эта парочка хотя бы пытается слиться с толпой. Не то что прежние — в одинако-

вых костюмах и с проводами в ушах. «Внимание, все! Мы телохранители! Будьте добры, нападите на нашего подопечного!» Толку от них было как от козла молока.

— Мне казалось, ты сам пытался от них оторваться, — сказала Полли.

— Полли, — произнес Ник снисходительным тоном, подразумевающим, что вопросы безопасности — не женского ума дело, — *хорошие* телохранители не позволяют отрываться от себя людям, которых они, предположительно, охраняют.

Он вздохнул:

— Господи, вы только посмотрите, до чего я докатился! До телохранительниц.

— Судя по тому, как идут дела, — сказала Полли, — скоро они всем нам понадобятся. Ты заметил, какой шум подняла в этот уик-энд пресса вокруг пьяного зачатия?

— А что, очень трогательно получилось, — вставил Бобби Джей.

— Тебе не кажется, что «Сан» попросту опозорилась, отведя этим людям столько места? Я переговорила с Дином Джарделом из «Скотча и бурбона», а это две трети продажи спиртного в Вашингтоне, так он сказал, что на следующий месяц «Вашингтон сан» никакой рекламы от них не получит.

— Эх, — вздохнул Бобби Джей, — вот был бы у нас рычаг вроде этого... Да только оружие они рекламировать не желают. Даром что купить его в Вашингтоне проще простого.

— Послушать их, так мы подстрекаем беременных женщин пить горькую. Такую развели политическую корректность, что мне захотелось...

— Ну-ну?

— Я даже удивилась, что нынче утром никто не похитил *меня* по дороге на работу.

Ник слушал Полли, вспоминал встреченную на улице женщину, и в нем крепло подозрение, что у него того и гляди отнимут честно заслуженные им никотиновые нашивки за отвагу.

— Полли, — наконец сказал он, — вряд ли у тех, кто работает в индустрии спиртных напитков, есть резон бояться похищения.

Наступило натянутое молчание. «Спиртные напитки» прозвучали в его устах как «слабительная микстура» или «кошачий корм». Полли неторопливо закурила, затянулась и выпустила краем рта длинную струю дыма — подчеркнуто невозмутимо; глаза ее не отрывались от глаз Ника, нога постукивала по полу.

— Так мы теперь уже не такие нечестивцы, как ты?

— Постой, — сказал Ник, — я не имел в виду ни тебя, ни Бобби, просто табак, сравнительно со спиртным и оружием, ненавидят куда сильнее.

— Да ну? — отозвалась Полли. — Это ново.

— Ладно тебе, — сказал Ник. — Я каждый день сравниваю наши цифры с вашими. Курево уносит четыреста семьдесят пять тысяч жизней в год, это тысяча триста в день...

— Минутку-минутку, — сказала Полли. — Ты же сам кричишь на всех углах, что четыреста семьдесят пять тысяч — это дерь...

— Хорошо, пусть будет четыреста тридцать пять. Двенадцать сотен в день. Сколько людей ежегодно мрет от спиртного? От силы сто тысяч. Двести семьдесят с чем-то в день. Не будем мелочиться, возьмем двести семьдесят. Скорее всего, примерно столько же гибнет, поскользнувшись в ванной комнате на куске мыла. Так что я не понимаю, с чего бы террористам озлобляться настолько, чтобы похищать кого бы то ни было из работающих в алкогольной индустрии.

Бобби Джей сказал:

— Слушаю я, как ты считаешь потери в живой силе, — ну вылитый Макнамара[1]. Поостыньте, детки.

Ник повернулся к нему:

---

[1] Роберт Стрейндж Макнамара (род. в 1916 г.) — министр обороны в администрациях президентов Дж. Кеннеди и Л. Джонсона.

— Сколько людей каждый год погибает в США от огнестрельного оружия?

— Тридцать тысяч, — сказал Бобби Джей, — это если брать чохом.

— Восемьдесят человек в день, — фыркнул Ник, — меньше, чем на дорогах.

— На самом-то деле гораздо меньше, — мирно ответил Бобби Джей. — Пятьдесят пять процентов этой цифры дают самоубийства, еще процентов восемь убийства с целью самозащиты, так что на нас приходится чистыми одиннадцать тысяч сто.

— Тридцать человек в день, — сказал Ник. — Вообще говорить не о чем. Никакие террористы в вашу сторону и не посмотрят.

— Видел бы ты угрозы, которые я время от времени получаю по почте, — вспыхнула Полли. Ник не помнил ее такой сердитой со дня, когда ей пришлось разговаривать на телевидении с родителями детей, пострадавших в разбитом пьяным водителем школьном автобусе.

— Угрозы? Время от времени? — Ник саркастически усмехнулся. — Да вся моя почта состоит из одних угроз. Я теперь и бандеролей-то не распечатываю. Просто-напросто исхожу из того, что внутри бомба. Всю мою почту отправляют прямехонько в лаборатории ФБР. И там мужики в свинцовых костюмах вспарывают ее струей перегретого пара. Так что насчет почты ты со мной состязаться даже и не пытайся.

— Может, снимем боксерские перчатки и закажем что-нибудь? — сказал Бобби Джей. — Я есть хочу.

— Верно, — стиснув зубы, выдавил Ник. «Ждешь от них какого-никакого сочувствия... стоп, стоп, Полли и была полна сочувствия, пока я не вылез с поздравительными открытками». Снова во рту этот поганый вкус, точно окурок держишь под языком. Врачи говорят, что никотин будет выводиться из организма еще месяца три. Еда больше не доставляет ему удовольствия, а специи так и вовсе отдают «Драно»[1].

Ник заставил себя сказать:

— Я вовсе не утверждал, будто я нечестивее вас.

— Пустяки, — лаконично отозвалась Полли.

Чтобы не смотреть друг на друга, Полли и Ник уставились в меню.

Разговор пришлось вести Бобби Джею — собственно, это был монолог. Бобби сокрушался по поводу близящейся годовщины покушения на президента Финистера. Каждая из них сопровождалась оргией, как выразился Бобби, писем в газеты с призывами запретить продажу ручного оружия: все почему-то забывали, что Финистера застрелили из охотничьей винтовки с оптическим прицелом.

— Что же, у нас теперь и охотничьи ружья отнимут?

— Никогда, разве что вырвут их из наших охладевших, мертвых рук, — пробурчал Ник, остановившийся на спагетти в надежде, что хоть они не будут отзываться пятновыводителем.

А Бобби Джей уже рассказывал об упреждающей пропагандистской кампании, планируемой его Обществом по распространению в предвидении этой годовщины. Через своих людей в Конгрессе Общество пыталось также добиться от Белого дома разрешения на проведение «Недели распространения знаний о мерах безопасности при обращении со стрелковым оружием», на которую годовщина как раз бы и пришлась. Белый дом пока чинил им препоны, но Обществу именно благодаря этому удалось загнать его в угол: «Мы просили Белый дом, мы умоляли его поддержать в масштабах страны недельные мероприятия, которые позволят внушить людям более ответственное отношение к оружию, и чего мы добились? Ничего...» Кроме того, Стоктон Драм, которого программа «Лицо нации» обвинила недавно в геноциде по отношению к молодежи негритянских гетто, распорядился, чтобы каждый высокий чиновник Общества один час в неделю отрабатывал в общественных организациях, подвизающихся среди чернокожего юношества. Так что в следующий раз, когда какой-нибудь либеральный ханжа обвинит

---

[1] Марка содержащего едкий натр средства для очистки сточных труб.

Драма в массовых убийствах, тот сможет поотрывать ему яйца. Большинство подчиненных восприняло приказ начальства без особого энтузиазма, но кое-кто продемонстрировал и высокую гражданскую сознательность. Один, например, предложил создать в гетто бесплатные стрелковые курсы. Если эта шпана, говорил он, собирается превратить улицы в зону свободного огня, так уж лучше научить их стрелять пометче, чтобы они не убивали ни в чем не повинных прохожих. Бобби Джей это предложение отклонил.

— Самое грустное, — вздохнул он, прилаживая специальной конструкции нож к крюку на протезе (им уже принесли еду), — что идея-то неплохая.

Подали кофе глясе. За едой Полли молчала. Ника все пуще томило раскаяние за свое поведение. Пока он размышлял о том, как загладить содеянное, Бобби Джей упомянул о статье в сегодняшней «Вашингтон мун», и Полли с нарочитой небрежностью спросила:

— Ну, как там Шизер?

— Шизер?

— Хизер.

— Хорошо, — сказал Ник. — Вроде бы. Не знаю. Пытается получить работу в «Сан». Беседовала с Атертоном Блэром.

— С этой поганой задницей? Скорее всего, он-то и вытащил пьяное зачатие на первую полосу. Он ведь у нас трезвенник.

— Непьющий газетчик, — вздохнул Бобби Джей. — Дожили!

— Мало того, он состоит в АА[1].

— Неужто? — удивился Ник.

— По нашим сведениям. Таскается зачем-то в Рестон[2], а зачем — никто не знает.

— Интересно, — произнес Ник. — Надо будет сказать Хизер.

Полли нахмурилась:

— Это еще для чего?

— Не знаю. Вдруг да пригодится. Может, ей удастся всучить ему статью, восхваляющую АА, или еще что-нибудь.

— И лишний раз вывалять нас в грязи? Это конфиденциальная информация. Как и все, что говорится за нашим столом.

— Да ладно, что ты так дергаешься? Я просто...

— Вознамерился передать своей цыпочке конфиденциальную информацию.

Вмешался Бобби Джей.

— Не думаю, что кто-то из нас способен и на секунду предположить, будто сказанное за нашим столом может уйти дальше... ну хоть вот этой сахарницы.

— Правильно, — сказал Ник.

— Правильно, — сказала Полли.

А Ник мирно прибавил:

— Вообще-то, я последние несколько недель с ней почти не разговаривал. И без того было о чем подумать — восстановится ли когда-нибудь чувствительность пальцев или понадобится ли трансплантация печени.

— Если ты решил превратить ее в своего глашатая, выкинь все эти мысли из головы и приступай прямо к делу, — сказала Полли. И, посмотрев на часы, добавила, что ей пора. В город съехались калифорнийские виноделы — они надеются протолкнуть через Конгресс постановление о борьбе с филоксерой. Кроме того, у нее совещание с рекламной службой: необходимо что-то противопоставить опасному мнению насчет того, что только французские красные вина способны защитить человека от сердечных заболеваний.

Ник и Бобби Джей смотрели, как Полли уходит — на плече сумочка с торчащей наружу антенной сотового телефона, каблучки щелкают об пол. Юбка на Полли сегодня короче обычного, заметил Ник, соблазнительная такая, плиссированная юбочка.

---

[1] Международная общественная организация «Анонимные алкоголики».

[2] Пригород Вашингтона, расположенный в штате Виргиния.

— Что с ней происходит? — спросил Ник у Бобби Джея. — По-моему, она сегодня не в форме.

— Письмо от Гектора получила, — ответил Бобби Джей. — Он хочет начать все заново. Только ей придется перебраться в Лагос.

— Ишь, умник! — усмехнулся Ник. — Ладно, тогда вопрос снимается.

Вернувшись к себе, Ник только-только начал вникать в неотложные бумаги, как в кабинет его вошел и плотно прикрыл за собою дверь Гомес О'Нил.

— В чем дело?

— Не знаю, — хмуро ответил Гомес.

Ник растерялся:

— Это что, новая буддийская притча?

— Побереги спину, малыш, — сказал Гомес и вышел.

14

Ник позвонил Капитану. Его ожидала неприятная новость: секретарша Капитана сообщила, что тот в больнице. «Нет, ничего серьезного, — сказала секретарша, — мелкий ремонт». Вроде бы несколько поросячьих сердечных клапанов, пересаженных другим людям, начали барахлить, и Капитана решили обследовать на всякий случай. Голос у Капитана был больной.

— Алло? Нет, черт побери, не хочу я прочищать кишечник. Я вам уже четыре раза сказал, это не вашего ума дело. Алло? Ник, сынок! Благослови Господь мою душу, как приятно тебя услышать. Что со мной? Со мной все было отлично, пока меня не затащили в эту средневековую камеру ужасов. Знаешь, в чем главная беда нашего здравоохранения? В существовании больниц.

Ник услышал, как медсестра — судя по голосу, крупная немолодая негритянка, полагающая, что ей принадлежит вся полнота власти, — потребовала, чтобы Капитан отложил разговор, пока они не закончат дел поважнее. Капитан, как и всякий южанин, был перед нею бессилен. Ей же было решительно наплевать на то, что он — Капитан, титан индустрии, самый важный в Уинстон-Сейлеме человек.

— Я тебе сейчас перезвоню, — сказал Капитан. — Дай только управиться с этой бабой.

Перезвонил он минут через десять.

— Когда она получит новое назначение, в аду станет куда прохладней. — И Ник снова услышал голос сестры: «Пока вы не примете эту таблетку, я отсюда не уйду». — Да принял я уже вашу чертову таблетку. Я тебя видел вчера у Лэрри Кинга. Ты молодец, Ник. Превосходная работа. Жаль, что малый, который тебя похитил, так и не позвонил.

— Скорее всего, он догадался, что ФБР записывает звонки. Капитан, я потревожил вас по двум поводам — леди Бент и Лорн Латч.

— Да, — сказал Капитан, — пожирательница керосина и нематода.

Последнее обозначало червя, вредителя табачных растений. А первое содержало намек на то, что бывшая премьер-министр Британии получила в полное свое распоряжение Капитанов «Гольфстрим». Человек, владеющий реактивным самолетом, всегда нарасхват.

— БР говорит, вы хотите, чтобы я ее натаскал?

— Верно. Ты молодой, красивый, жертва похищения. Тебя она послушает. А меня слушать не станет, это могу точно сказать.

— Так, понял. Еще он сказал, будто вы хотите, чтобы я, когда поеду в Калифорнию по киношным делам, дал Латчу взятку. Мне эта идея не очень нравится.

— Это моя идея.

— По-моему, она может выйти нам боком.

— Всякий раз, включая телевизор, я вижу, как он каркает через это его переговорное устройство, объясняя очередному сентиментальному ведущему, что жить ему осталось два месяца и он хочет потратить каждую из своих последних минут на то, чтобы отвратить нашу молодежь от курения. Для человека, который и дышит-то с трудом, он слишком много говорит. Нам было бы куда легче, если б он просто загнулся в постели от курения, как те бедолаги, что с нами судились.

Некоторое время назад трое людей, заболевших раком легких и судившихся из-за этого с табачными кампаниями, ухитрились заснуть с зажженными сигаретами и задохнуться.

— Не думаю, что он причиняет нам такой уж серьезный ущерб, — сказал Ник. — Он просто спускает пар.

— Скажи это моему старшему вице-президенту по торговле. Три недели назад Латч выступал у Донахью — меня до сих пор мороз по коже дерет, стоит вспомнить, как ворковала эта парочка, — и продажа «Перекати-Поля» упала на шесть процентов. Шесть процентов, Ник!

— Когда он умрет, все восстановится.

— Я бы не стал на это рассчитывать. Латч — перебежчик очень высокого ранга. Эти горлопаны намерены превратить его в мученика, — Капитан понизил голос до шепота. — По сведениям Гомеса О'Нила, они собираются учредить фонд. Фонд Лорна Латча. Построят ранчо для детишек, больных... — он не смог заставить себя произнести это слово.

— Раком?

— Меня от одной мысли об этом страх берет.

— Именно потому нам и нужна антитабачная кампания, адресованная детям.

— Каждый раз, как я включаю телевизор и вижу человека, когда-то делавшего для нас рекламу, я думаю: а что, если и у него рак? Помнишь, как Дик Ван Дайк и Мэри Тайлер Мор рекламировали «Кент» в шестидесятых? Боже ты мой, а что, если и у нее рак? Представляешь? Любимица всей Америки хрипит в шоу Донахью... Я хочу, чтобы ты переговорил с ним, сынок. Тебя он послушает.

— С чего бы это? — спросил Ник.

— Латч знает, что, когда он поднял весь этот шум и мы надумали отодрать ему седельную мозоль, именно ты нас отговорил. А тут еще похищение. Ты вроде бы кровь пролил, пострадал. Он же ковбой, он с уважением относится к подобным вещам. Да и сноб к тому же — я ведь хорошо его знаю, — а поскольку ты у нас теперь вон какая звезда, он не устоит перед искушением познакомиться с тобой. Сделай это для меня, сынок.

Ник вздохнул:

— Хорошо, хотя, по правде сказать...

— Ну и прекрасно. Теперь торговаться нам с ним не с руки, поэтому первое же наше предложение должно быть достаточно впечатляющим. Где мои очки? Сперла-таки, чертова баба! А, вот они. Тут у меня справка Гомеса О'Нила... Так, в прошлом небольшие проблемы с выпивкой, пара драк в барах, ничего особенного, даже жену не бил. Пить бросил... вступил в АА. Никто теперь больше не пьет, верно? Только и делают, что пекутся о здоровье. Здоровье, здоровье, здоровье, трусцой, трусцой, трусцой. Раньше жизнь была куда веселее. Я в прошлом году ездил по делам в Калифорнию, так там приходишь на коктейль и ничего, кроме разговоров об уровне холестерина, не слышишь. Да, последнее, что мне интересно в человеке, — это какое у него соотношение хорошего и плохого холестерина... Трое детей. Судя по справке, особое преуспеяние им не грозит. Правда, есть еще пять внуков, подростки. Двадцать пять тысяч на пять... — Ник слушал, как Капитан бормочет, производя вычисления, — ...множим на четыре, получается пятьсот тысяч. Подкинем немного за его горести. Пусть будет миллион. Налоги мы платим сами, все по-честному, просто, мило и законно. А чек всегда можно выписать от имени Коалиции за здоровье... Хотя нет, ни к чему, чтобы какой-нибудь репортер пронюхал о погашенном нами чеке. Представляешь, какой поднимется шум? Обойдемся наличны-

ми. Да и в любом случае ничто не производит такого драматического эффекта, как толстая пачка прохладных, хрустящих банкнот. Когда я только еще пришел в наш бизнес и занимался торговлей, я набивал саквояж пяти- и десятидолларовыми бумажками и объезжал сельские магазинчики, расплачивался с их владельцами, выставлявшими в витринах наши сорта. Вот были времена! Да, стало быть, наличными, и деньги на бочку.

Ник сказал:

— Если позволите, я процитирую вам заголовок: «Умирающий Перекати-Поле отвергает плату за молчание, предложенную табачным лобби». Это из «Уолл-стрит джорнэл». Таблоидный вариант будет выглядеть примерно так: «Торговец смертью говорит Перекати-Полю: заткнись и сдохни!»

— Мы ему не взятку даем, — с достоинством произнес Капитан, — ничего подобного. Ангелы понесут тебя туда на своих крыльях, сынок. Это чистой воды благотворительность.

— Но, Капитан...

— Именно так! Жест, исполненный высокой гуманности. Человек направо и налево обзывает нас торговцами смертью, и чем мы ему отвечаем?

— Попыткой привлечения к суду за нарушение контракта.

— Это история давняя. Сейчас мы предлагаем помочь его внукам закончить университет, чтобы им не пришлось, как их родителям, работать на бензозаправках и в ночных магазинчиках. Да еще прикидываем сверху пятьсот тысяч, как бы говоря: «Никаких обид». Мы ему все равно что другую щеку подставляем. Я думаю, сам Христос сказал бы нам: «Ребята, вы поступили как порядочные люди». Сколько я помню, Иисус призывал нас возлюбить врагов наших. Но уж никак не делать этих сволочей богачами.

— Вы хотите сказать, — спросил Ник, — что отдаете ему деньги просто... просто так?

— Ну, а я тебе о чем толкую? Именно что просто так.

— И ему ничего не придется подписывать?

— Ничегошеньки.

— Никаких соглашений о молчании?

— Что с тобой, сынок? Родной язык перестал понимать? Конечно никаких. Хотя, с другой стороны, ты можешь сказать ему, что мы были бы благодарны, если б он сохранил наш жест втайне. Так сказать, семейное дело. И прибавь еще, что, обратись он к нам, а не к прессе, мы бы ему помогли. Табак сам о себе заботится.

— Ладно, — с облегчением сказал Ник, — тут я никаких сложностей не вижу.

Капитан, оказавшись на больничной койке наедине с мыслями о собственной смерти, решил, по-видимому, примириться с врагами своими.

— Насколько я понимаю, — сказал со смешком Капитан, — сукин сын проникнется к нам такой благодарностью, что поневоле заткнется. А если нам повезет по-настоящему, то он, увидев такие деньги, просто окочурится.

Гэзел позвонила по внутренней связи — пришли агенты ФБР.

Агент Олман, тот, что подружелюбней, пожал Нику руку. Агент Монмани, выглядевший так, словно он сию минуту отобедал гвоздями с толченым стеклом, просто кивнул.

— Вы их поймали? — спросил Ник.

— Кого? — ответил агент Монмани.

— Похитителей. Кого же еще?

Монмани молча смотрел на него. Что это с ним? Ник взглянул на Олмана, однако тот уже углубился в беглый, но доскональный осмотр Никова кабинета. Странные манеры у этих господ.

— Я, может быть, чего-то не понимаю? — спросил Ник.

— Расследование продолжается, — известил его Монмани.

— Хорошо, — сказал Ник, — чем могу быть полезен?

— Для чего? — спросил Монмани. Прелестно, еще один буддист-головорез.

— Вы хотели о чем-то со мной поговорить? — спросил Ник. — Или просто зашли проведать?

Агент Олман разглядывал плакат с доктором, удостоверяющим превосходные качества «Лаки страйк».

— Занятно, — хмыкнул он.

— Да, — сказал Ник. — В те времена работать нам было гораздо легче.

— Мой старик курил «Лаки».

— Вот как? — откликнулся Ник.

— Угу, — подтвердил Олман тоном, заставившим Ника заподозрить, что отец его долго и мучительно умирал от рака легких. Только антитабачного изувера ему и не хватало.

— Он, м-м, служил... — Ник запнулся, — в полиции?

— Нет, владел гаражом. Сейчас на покое, во Флориде.

Известие, что папа Олман благополучно пребывает среди живых, несколько успокоило Ника.

— Скорее всего, солнце доконает его раньше, чем сигареты, — сказал Олман.

— А, — произнес Ник.

— Кто-нибудь еще вашим служебным телефоном пользуется? — спросил агент Монмани.

— Моим телефоном? Да, конечно, то есть возможно.

— Конечно или возможно?

— Может быть. А что?

— Да так.

Ник и Монмани смотрели один на другого. Следующий вопрос задал Олман:

— Вы сами когда-нибудь раньше использовали никотиновые пластыри?

— Я? — отозвался Ник. Разговор принимал решительно неприятное направление. — Я получал удовольствие от курения. Хотел бы получать его и сейчас.

— Вы определенно прибегли к крайним мерам, чтобы бросить курить, — сказал Олман, вертя в руке солдатский кинжал времен первой мировой, используемый Ником вместо пресс-папье. — Жуткая штука.

— Виноват, — сказал Ник. — Вы сказали «прибегли»?

— Разве?

— Да, — твердо сказал Ник.

— Я так сказал? — спросил Олман у Монмани.

— Не расслышал, — ответил Монмани.

Ник набрал воздуху в грудь.

— Почему меня не покидает чувство, — спросил он, — что я подвергаюсь допросу?

— Да нет, я тут, знаете, прочел недавно в одном журнале статью насчет рака кожи, — сказал агент Олман. — От него такие рубцы остаются, ужас. В наше время никакая осторожность не лишняя.

— Да, — отрывисто подтвердил Ник. — Тут вы правы.

— Мистер Нейлор, — сказал агент Монмани, — а вы после этого случая здорово прославились.

— Вообще говоря, лоббиста похищают, пытают и без малого убивают далеко не каждый день, — ответил Ник. — Хотя многие, наверное, считают, что это должно случаться почаще.

— Я не то хотел сказать.

— А что вы хотели сказать, если быть точным?

— Вы изображаете из себя мученика. Героя.

— Агент Монмани, у вас какие-то проблемы с курением? — спросил Ник.

На волчьей физиономии Монмани обозначилось слабое подобие улыбки.

— После того как бросил, никаких, — ответил он.

— Знаете что? — сказал ему Ник. — Впервые с тех пор, как я взялся за эту работу,

обо мне пишут непредвзято. Теперь сравнение с Геббельсом появляется не раньше четвертого абзаца.

— Занятно, — повторил агент Олман.

Агент Монмани, похоже, ничего занятного в этом не нашел.

Все трое продолжали играть в гляделки. Ник не имел ни малейшего желания нарушать молчание первым.

— Вам недавно зарплату повысили, — сказал агент Монмани.

— Было дело, — согласился Ник.

— И весьма основательно. Вдвое.

— Более или менее, — сказал Ник.

— На мой взгляд, вы это заслужили, — заявил агент Олман, поднимаясь со стоящего под «доктором Лаки» дивана. — Похоже, то, что вы делаете, здорово увеличивает продажу сигарет.

— Спасибо, — ядовито поблагодарил Ник.

— Еще увидимся, — пообещал агент Олман.

15

Сгущавшаяся вокруг него напряженность, которую Ник ощущал теперь очень ясно, привела, как обычно, к сексуальному возбуждению. Он вышел на балкончик своего кабинета и глянул вниз, на фонтан. Стоял теплый весенний день, работавшие в здании женщины уже облачились в летние платья. Ник поймал себя на том, что следит за одной из них, прогуливающейся внизу, смакуя замороженный йогурт, — привлекательной рослой, пышной блондинкой в легком платьице без рукавов, в чулках, на высоких каблуках. Она долгими, ласковыми движениями языка слизывала торчащую из стаканчика верхушку лакомства. Даже с такой высоты Ник различил бретельки ее лифчика. Хизер пользовалась своими очень умело. Служивые вашингтонские дамы из тех, что щедро оделены природой, часто прибегали к одному трюку. Слишком облегающих свитеров или платьев с чрезмерным вырезом они не носили — выставлять свои достоинства напоказ полагалось здесь менее явными, но не менее губительными способами, — взамен они, фотографируясь, старались, чтобы какая-то часть бретельки выглянула из выреза платья, а после, увидав снимки, изображали смущение.

Глядя вниз, в атриум, Ник погрузился в мечты. Он пригасил свет, убрал из атриума людей, уплетающих йогурт и чизбургеры. Вокруг фонтана он расположил полный состав симфонического оркестра, состоящего из чрезвычайно соблазнительных женщин, прелести которых прикрывались одними лишь музыкальными инструментами. Виолончелисток Ник поместил в первом ряду. Да. Голым виолончелисткам определенно присущ свой, особенный шарм. Оркестр заиграл песенку о сигарильос из первого акта «Кармен», в котором девчонки, работающие на табачной фабрике, поют серенады своим ухажерам, молодым севильцам. Два года назад Академия финансировала постановку «Кармен» в Кеннеди-центре, и с тех пор Ник, принимая душ, все напевал эту песенку. C'est fumée, c'est fumée!

Взгляни, как струей дымок
улетает, улетает
и в небесах
легкой дымкой исчезает.

Мы вдыхаем аромат,
наслаждаясь, наслаждаясь
и веселясь,
от забот всех отрешаясь[1].

[1] Перевод А. Горчаковой.

Ну вот, сцена готова. Не хватает лишь pièce de résistance[1]. А именно — Хизер au naturel[2], полногрудой, розовой, похожей на купающихся красоток Ренуара, — чтобы она сидела с ним рядом на верхней чаше фонтана, попивая из высокого ледяного бокала шампанское («Veuve Clicquot»[3], полусухое).

Ник вернулся в кабинет и позвонил Хизер.

— Привет, — грудным голосом сказала она, — сейчас я не могу подойти к телефону. Оставьте сообщение, я перезвоню вам, как только смогу. Если хотите поговорить с телефонисткой, нажмите ноль.

Ник оставил сообщение, сводившееся к вопросу, не пообедает ли она с ним нынче вечером в «Иль Пеккаторе», и снова вышел на балкон, посмотреть, все ли еще vivant его tableau[4]. Увы. Оркестр сменили пчелы трудовые, кормящиеся замороженным йогуртом и чизбургерами.

Ник уселся за стол и с энтузиазмом человека, в знойный день заменяющего на пыльной дороге спустившую камеру, приступил к неотложной работе. Ему предстояло написать за конгрессмена Джада Джокинса (демократа от Кентукки) письмо в редакцию газеты, ставящее под сомнение недавнее исследование НИЗ, которое показало, что среди детей курящих матерей на 80 процентов больше больных астмой, чем среди отпрысков матерей некурящих. Ник вздохнул.

«Никто более моего, — писал он, — не уважает работу, которую проводит Национальный институт здравоохранения, и все же нельзя не признать прискорбным то обстоятельство, что в пору, когда перед нашей нацией встают по-настоящему тяжелые, связанные со здоровьем проблемы: СПИД, стремительно повышающийся уровень холестерина в крови, недавняя вспышка кори в моем родном штате, и это лишь несколько примеров из многих, — в эту самую пору НИЗ позволяет себе настолько увлечься соображениями политической корректности, что тратит свои бесценные ресурсы, засыпая американский народ фактами, которые ему и без того известны».

Это был один из самых заезженных приемов Ника — все то же старое дежа-вуду, — но, как правило, он срабатывал. Ник уже изливал на бумагу высоконравственный гнев и жалобы на отсутствие в противнике простого человеческого достоинства и честности, когда послышался стук в дверь и голос Дженнет спросил: «Не помешаю?».

Оторвав глаза от лицемерных словес, Ник увидел просунувшуюся в дверную щель голову Дженнет. Сегодня она казалась более раскованной, чем обычно. Всегдашний узел на затылке был распущен — Дженнет собрала свои льдисто-светлые волосы в заколотый пряжкой хвостик. Неизменный темно-синий костюм в стиле «отвали», облекавший ее столь плотно, что под ним явственно различалась каждая минута каждого политого потом часа, проведенного в клубе здоровья, украсился сегодня ярчайшим шелковым шарфиком от «Гермеса», не то от «Шанель», придавшим ей вид богатой дамы, отправившейся на поиски приключений. Что и говорить, Дженнет выглядела превосходно. Видимо, кто-то из регулярно опрашиваемых телезрителей посоветовал ей расслабиться и избавиться от всегдашней надменности. В конце концов, мы выпускаем женщину на экран, чтобы она заставила зрителей забыть о раке, сердечных заболеваниях и эмфиземе, а не леденила их половые инстинкты, грозясь кнутом и цепями.

— Привет, — сказала Дженнет. — Не помешала?

— Нет, — ответил Ник, — я всего лишь пишу письмо в газету.

Дженнет закрыла за собой дверь.

— Господи, — сказала она, — я бы, кажется, на убийство пошла, лишь бы перенять твою способность сочинять эти письма.

---

[1] Коронного блюда *(франц.)*.
[2] Здесь: в первозданной красе *(франц.)*.
[3] «Вдова Клико» *(франц.)*
[4] От tableau vivant — живая картина *(франц.)*.

— Да ну, — сказал Ник, — дело-то проще пареной репы.

— Я наизусть помню то, что ты написал за Джордана, когда Дюкмеджян запретил курение на калифорнийских авиалиниях. «Я питаю глубочайшее уважение к губернатору Дюкмеджяну. Но в данном случае меня заботит его уважение к Конституции». Октябрь восемьдесят седьмого, верно?

Ник порозовел.

— А что толку?

Дженнет села, перекрестив ноги ~~в чулочках~~ — сегодня, заметил Ник, особенно тонких. Подняв глаза повыше, он обнаружил, что взгляд, брошенный им на ее ножки, от Дженнет не ускользнул. Пришлось уставиться в свою писанину и нахмурить чело, как бы в поисках нужного слова.

— Так в чем дело? — официальным тоном спросил он, хотя оба уже отлично понимали, в чем оно, дело.

— У меня появилась идея, которая очень мне нравится.

— Да? — произнес Ник, по-прежнему глядя в лист бумаги.

— Журнал для курильщиков.

— Хм, — сказал, распрямляясь, Ник и поднял на нее взгляд, стараясь не позволять ему сползать ниже талии Дженнет. — Одна-две компании уже пробовали это проделать. Ограниченный круг подписчиков, с лотков не продается...

— Вот тут-то, — сказала Дженнет, — они, по-моему, и промазали. Как раз нужно, чтобы он продавался с лотков. Открыто. Ты посмотри, что на них лежит. Там есть журналы для всех — только не для курильщиков.

— И как бы ты его назвала?

— «Затянись!», — сказала Дженнет, — с восклицательным знаком в виде сигареты и комочка пепла под ней. Журнал должен быть динамичным, напористым и смачным.

— Смачным?

— Ну, сексуальным, — пояснила Дженнет. — Пряным.

— «Затянись!», — повторил Ник. — Давай подробности.

— У нас пятьдесят пять миллионов потребителей, которых, словно в наказание, гонят курить на улицу. Думаешь, им не захочется иметь собственный журнал? Да мы получим больше подписчиков, чем «ТВ-гид»[1]. Журнал, посвященный стилю жизни курильщика. Женщины с избыточным весом, представители меньшинств, работяги, люди депрессивного склада, алкоголики...

— Ярые индивидуалисты, — сказал Ник. — Независимые умы. Люди, склонные к риску. Самое что ни на есть американское качество. Я иногда думаю, что наши потребители — последние настоящие американцы.

— Вымирающие быстрее всех прочих.

— Документальные очерки об американском Западе, быстрые, сексуальные, спортивные машины, знаешь, эти «сгустки мышц»[2]...

— Прыжки на растяжках.

— О да!

— Списки ресторанов, в которых разрешают курить. По-настоящему полезный журнал.

— Но сексуальный.

— Смачный. Вроде «Спортс иллюстрейтед» — девочки в купальниках, но только с сигаретами в руках. Курение лишилось былой сексапильности.

— И притом содержательный.

---

[1] Еженедельный журнал объемом в 100—150 страниц, публикующий программы телевидения, обзорные статьи, рекламу, письма читателей и т.д. Второй по тиражу журнал Америки — больше 14 млн. экземпляров.

[2] Дорогой двухдверный спортивный автомобиль с очень мощным двигателем и усиленной подвеской. Разработан в начале 60-х.

— Более чем. Интервью с курящими знаменитостями...

— А такие есть?

— Кастро.

— Он бросил. Кстати, я не уверен, что карибские коммунисты вообще сохранили какую-либо сексапильность. Никсон! Никсон курит. Об этом мало кто знает.

— По-твоему, Никсон сексапилен?

— Ну Клинтон. Сигары.

— Он никогда их не зажигает.

— Ладно, кого-нибудь откопаем.

По внутреннему телефону позвонила Гэзел. Судя по голосу, ее что-то сильно забавляло.

— Ник, тут два джентльмена из «Современника»...

— Из «Молодого современника», — поправил на заднем плане несомненно японский голос.

— Извините. К тебе.

Ник выкатил глаза.

— Идея БР.

— Значит, попозже, — сказала Дженнет.

— Когда попозже? — спросил Ник.

— Сильно попозже. Вообще-то меня уже тошнит от нашей конторы, но я правда хочу обсудить все это с тобой.

— А не хочешь хлопнуть со мной по стаканчику — сильно попозже? Или перекусить сильно-сильно попозже?

— Отлично. БР просил, чтобы я заскочила на заседание «Здорового сердца — 2000». Отметиться.

— Ну да. Пуленепробиваемый жилет не забудь.

— Можешь мне поверить, я там не задержусь. В восемь?

— Отлично. Ты как насчет молодых крабов?

— Обожаю.

Хизер позвонила в разгар беседы с репортером и фотографом из «Молодого современника», которые, судя по их вопросам («Кого вы считаете воистину героическими курильщиками современной Америки?»), всей душой стояли за правое дело. С другой стороны, японцы замечательно терпимы во всем, что относится к курению: они даже разрешили рекламу сигарет в *детских* телевизионных программах. Может, попросить начальство о переводе в Токио?..

— Сегодня я не смогу с тобой пообедать, — сказала Хизер; голос у нее был деловитый, на заднем плане слышались обычные для газетного офиса звуки. Ну и слава богу. Ник вдруг сообразил, что пригласил на обед двух женщин сразу.

— Пустяки. Кстати, на следующей неделе мы начинаем кампанию против курения среди подростков, и я подумал, вдруг «Мун» захочет получить эксклюзивное интервью?

— Ник, я тебе уже говорила, я рекламой не занимаюсь.

— Послушай, мы совершаем экономическое самоубийство. По-твоему, это не новость?

— Для Опры, может быть.

— Что с тобой, ты боишься, что этот долдон из «Сан» заподозрит тебя в симпатиях к табачникам?

— Ну, это вряд ли.

— Ладно, — сказал Ник, — только не вини меня, если на пресс-конференции произойдет что-нибудь интересное.

— Например? Вы объявите, что курение приводит к раку?

— Можешь смеяться, — сказал Ник, — но мы только что получили результаты исследования, показывающего, что курение сдерживает развитие болезни Паркинсона.

— И где оно опубликовано? В «Альманахе табачного фермера»?

— Половина моей работы, — положив трубку, сказал Ник «молодым современникам», — состоит в том, чтобы поддерживать добрые отношения с газетчиками. Какой прок от информации, если источником ее не являемся мы? Правильно?

Метрдотель «Иль Пеккаторе» провел Ника в ту же угловую кабинку, в которой он впервые завтракал с Хизер. Почему-то это внушило Нику надежду, что Хизер здесь нынче не объявится, — а впрочем, какого черта, объявится так объявится, разве он не может пообедать с сотрудницей?

Телохранительницы с неизменными сумками на липучке уселись поблизости, готовые превратить «Иль Пеккаторе» в скотобойню, если сюда вдруг нагрянет Питер Лорри со своей бандой терминаторов. Сегодня это были две чрезвычайно неразговорчивые дамы со стальными глазами, способные, предположительно, одолеть любого мужика. И все-таки — женщины-телохранители? Ник пожаловался Карлтону, но тот лишь ухмыльнулся и сказал: «Ники, можешь мне поверить, даже Годзилла дважды подумал бы, прежде чем отодрать этих малышек. Всякий, кто хотя бы заденет тебя плечом, тут же обратится в донора главных жизненных органов. То есть если у него такие останутся».

Дженнет пришла, ужасно извиняясь, в восемь минут девятого и преподнесла Нику большую дорожную сумку с эмблемой «Здоровое сердце 2000».

— Двойной «Дьюар», — сказала она официанту, закурила «Перекати-Поле», затянулась и выпустила дым. — Господи, я уж и не чаяла выбраться оттуда живой. Кардиологи пошли на нас стеной.

Ее передернуло.

— Я на их коктейли больше не хожу, — сказал Ник. — Отсиживаю свое на заседаниях, завтракаю с ними, но когда они начинают дуть шардонне и водку — увольте. Тут эти ребята становятся взрывоопасными.

— Там был Фаркли Крел, — сказала Дженнет.

Крел был серым кардиналом сенатора Ортолана К. Финистера, его главным помощником, речеписцем и пресс-секретарем.

— И что же, он выплеснул свой стакан тебе в лицо или просто тебя игнорировал?

— Нет, он был очень учтив. Я подошла, протянула руку — он ее не пожал — и объяснила ему, что мы ждем не дождемся возможности проработать с ним вопрос о пассивном курении.

— Смелый поступок.

— А что мне оставалось? БР сказал — отметиться, я и отметилась... Крел посмотрел на меня так, словно я надушилась горчичным газом, и заявил: «Не сомневаюсь, что *очень* скоро нам придется прорабатывать множество вопросов».

— Так-так. И что это значит?

— Понятия не имею, однако я решила, что стоит позвонить БР и все ему рассказать. Потому и задержалась. БР велел Гомесу разобраться. Так вот, у Финистера есть служанка из Гватемалы, Розария. Работает на их семью еще с того времени, когда Ромул был президентом. И даже раньше, чуть ли не с девонского периода. В общем, она курит. И знаешь что?

— Лучше не говори.

— Вот именно. Врачи дают ей шесть месяцев, самое большее.

Ник вздохнул.

— Ну хоть бы одну хорошую новость услышать. Спасибо и на том, что Полли с Бобби Джеем по временам сообщают что-нибудь приятное. То «60 минут» выпустят передачу о том, что красное вино предотвращает сердечные приступы, то какой-нибудь парень найдет достойное применение пистолету — серийного убийцу пристрелит, к примеру.

Он сокрушенно покачал головой.

— Откуда Гомес узнал про служанку?

— Гомес? Ты шутишь? Гомес знает все. По-моему, он до сих пор работает на ЦРУ. Но что касается Финистера, тут у меня дурные предчувствия. На следующий год его ожидают перевыборы, а шансы у него хлипкие, вот ему и требуется какая ни на есть победа, и желательно легкая...

Ник помешал пальцем водку в своем стакане.

— Ладно, — склонившись к нему, сказала Дженнет, — давай поговорим о чем-нибудь другом.

Принесли крабов, хрупких, нежных, хрустящих, чуть припорошенных имбирем, политых соусом из икры лобстеров. В карту вин Ник заглядывать не стал, просто спросил у официанта, нет ли у них тридцативосьмидолларового «Сансера», отлично зная, что оно есть, ибо проверил это еще до прихода Дженнет. Метрдотель, играя положенную роль, разворковался по поводу отличного выбора Ника. Вино оказалось нежным, но ударяющим в голову, сухим, но крепким, пикантным, но приятным, густым, но не слишком — в общем, таким, каким и следует быть вину ценой в тридцать восемь долларов.

— А ты хорошо разбираешься в винах, — сказала Дженнет, склоняясь к нему еще ближе.

— Не попросить ли еще бутылку?

— Непременно. А то ведь никто теперь не пьет. Никто не пьет, никто не курит...

Забравшись в машину, Ник сосредоточился на попытках не вывалиться из своей полосы и молился лишь о том, чтобы не нарваться на дорожных патрульных с анализаторами дыхания. Концентрация алкоголя в его крови выражалась к этому времени трехзначным числом.

— Выпьем по рюмочке на ночь, — сказала Дженнет.

— Хочешь, заедем в «Жокейский клуб»[1]?

— Там слишком людно, — сказала Дженнет. — Как насчет твоей конуры? Она ведь на Дюпон-серкл?

— Точно.

Дженнет коснулась его переключавшей скорость руки.

— Ну так вперед, — вкрадчиво сказала она.

— О-ох, — произнесла она.

— А-ах, — произнес он.

— У-ух, — произнесла она.

— О-оо, — произнес он.

— Я хотела этого с той минуты, как увидела тебя, — сказала она.

— У-мм, — ответил он. — У-рр.

— Хочешь, я тебя свяжу?

— М-м? Угу.

— Веревка найдется?

— Угу.

— Бельевая?

— Угу.

— А резиновый жгут?

— Угу.

— А лента для мусорных мешков?

Ник сел.

— Нет. Может, зажжем хоть какой-то свет?

Дженнет настояла на полной темноте. Послышался звук растягиваемой резинки.

---

[1] Фешенебельный ресторан в Вашингтоне, славится блюдами из рыбы, которая у берегов США не водится и закупается во Франции.

— Ты что делаешь? — спросил он.

— Резиновые перчатки надеваю.

— Перчатки? Зачем перчатки?

— Люблю перчатки. Они такие сексуальные, — она прикусила мочку его уха.

— У-мм...

— Вот, — сказала она, вручая ему в темноте какую-то коробочку.

— Что это?

— Презервативы, — простонала она. — Самого большого размера.

— О-о-о.

Ник начал вскрывать коробку. Это не те ли, что светятся в темноте? Потому она и захотела выключить свет?

— Ты не против? А то я так легко попадаюсь.

— Нет, — сказал Ник, — конечно нет.

Он разодрал картон.

— Ну вот, — сказала Дженнет, — дальше я сама.

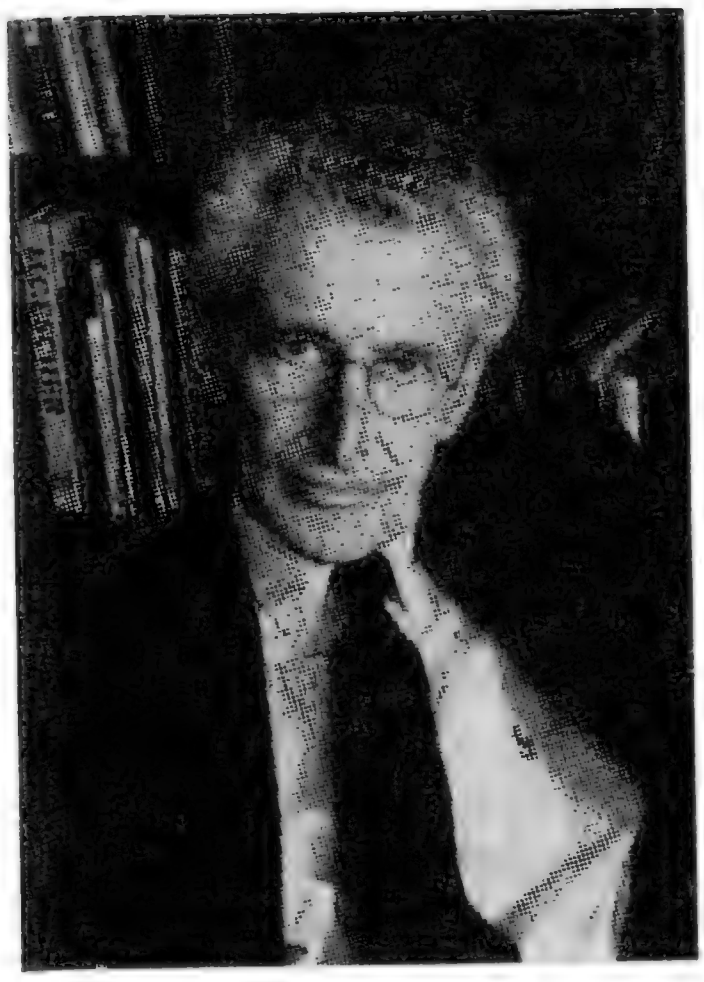
— Связывать меня ты ими не станешь?

— Дурачок, — сказала она.

— О-ох, — произнес он.

— А-ах, — произнесла она.

(Окончание следует)



ХАРРИ МУЛИШ

Симметрия

РАССКАЗ

Перевод с нидерландского С. БЕЛОКРИНИЦКОЙ

I

Вполне могло быть, что однажды ранней весной (когда в Париже была провозглашена Коммуна) в Праге вдоль статуй святых на Карловом мосту мела снежная вьюга. Под мостом по Влтаве плыли льдины, над мостом луна и звезды скрывались за серыми тучами, а вокруг лежал старый город алхимиков, который еще не скоро станет городом коммунистов: кривые улочки и вросшие в землю дома переплелись словно корни большого дерева. И я вижу своего дедушку девятнадцатилетним студентом в комнатушке в самом центре города, у подножия Градчан.

Высокая кафельная печь пышет жаром. Стоя перед зеркалом, молодой человек завязывает черный галстук. В зеркале отражается бледное, гладко выбритое лицо — тонкие губы, чуть раскосые глаза, темные, мягкие, прямые и длинные волосы. За его спиной – стол, заваленный книгами и бумагами; «Основания политической экономии» Менгера[1], только что вышедшие в свет, открыты. («Капитала» Маркса, первая часть которого издана уже несколько лет назад, нигде не видно.) Дедушка застегивает жилет на все пуговицы и к верхней прикрепляет серебряную цепочку часов. В такую погоду он бы предпочел остаться дома, но не хочет, чтобы пропадал билет. (Впоследствии дедушка станет директором банка.)

О лекции он узнал из объявления, вывешенного в вестибюле Карлова университета:

В Немецком офицерском клубе
Проф. д-р ЭРНСТ МАХ
читает лекцию
о симметрии
Начало в 20 часов

Приятели утверждали, что Мах — гений как в области естественных наук, так и в философии. Семь лет назад, когда ему было двадцать шесть, он уже получил должность профессора. Подобные разговоры завистливых приятелей дедушку не волновали. Лично он к научной карьере совсем не стремился. Он просто хотел найти хорошую работу, иметь красивый дом, славную жену и троих послушных ребятишек. Но он был не прочь воочию увидеть гения — такого ему еще не доводилось.

---

[1] Карл Менгер (1840—1921) — австрийский экономист. Русский перевод указанной работы вышел в 1903 г. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

© 1977, 1981 Harry Mulisch, Amsterdam
© С. Белокриницкая. Перевод, 1999

Сгорбившись, сунув одну руку в карман пальто, а другой придерживая шляпу, дедушка шагает по Карлову мосту, направляясь в Немецкий офицерский клуб. Пока он шел между домами, было не так уж холодно, но здесь, над рекой, холод пронизывает до костей. Вправе ли я утверждать, что я, его внук, уже существую как непроросшее семя, глубоко под черным зимним пальто, которое на груди и плечах быстро побелело от снега? Во всяком случае, никто не может запретить мне предположить это. Под высокими дедушкиными ботинками скрипит снег, снежный вихрь превращает свет газовых фонарей в волшебное марево. Черные статуи тоже с одной стороны побелели. Дедушка слышит, как льдины бьются об опоры моста. Одинокая фигурка между двух берегов, идет он, заключенный в XIX веке, нос у него покраснел от холода.

Через низкие ворота он выходит на площадь в форме трапеции. Здесь снег вдруг начинает падать отвесно, мягко; перед клубом лежит озерцо желтого света. Из улиц и переулков прибывают люди, пешком и в экипажах, в пушистой тишине, лошади с каждым выдохом извергают из ноздрей клубы пара, словно желая походить на машины, которые скоро вытеснят их из жизни. Цилиндры, тросточки, юбки с бантами. Дедушку мало интересует окружающее, но эта картина — из тех, что много лет спустя внезапно оживают в памяти, возможно, на смертном одре: ярко освещенное здание, и люди, и чистый снег, и все как бы говорит: до чего же хороша была жизнь, больше так никогда не будет. Возможно, тогда дедушка спросит себя, когда же он был, этот зимний вечер; но лекция Маха исчезнет из его памяти. (Дедушка скончался в 1915 году; задним числом возникает вопрос, в чем же был смысл его жизни: солидный банк, красивый дом, славная жена и трое послушных ребятишек – раз сейчас этого все равно нет.)

Симметрия — не из тех предметов, над какими мой дед привык ломать голову. В его занятиях она не встречается, разве что симметрия между активами слева и пассивами справа на странице баланса, да и это скорее забота бухгалтеров. В противоположность Парижу (где сейчас народу раздают оружие) в Праге вообще нет никакой симметрии: здесь все асимметрично, криво, как, например, Карлов мост, извилистый, горбатый, весь в ямах и выбоинах. Здесь царит не Декарт с его культом разума, а рабби Лёв, сотворивший Голема. И видимо, именно поэтому зал полон и в нем очень душно. Хоть послушать об этой диковине — симметрии! Ах, как интересно, ничуть не менее, чем то, есть ли жизнь на Луне.

II

Научно-популярная лекция, которую молодой профессор читал в тот вечер в Праге, была впоследствии издана, и потому мы знаем, что он действительно начал с рассуждения о Луне.

— Один древний философ, — заговорил он, после того как решительным движением руки подавил бурю аплодисментов, — сказал однажды, что те, кто иссушает свой ум, размышляя о строении Луны, уподобляются людям, обсуждающим государственное устройство и политические проблемы страны, о которой они не знают ничего, кроме названия. Нет, надо устремить взгляд внутрь, познать самого себя и определить свои нравственные принципы, только это может дать какой–то результат. Если бы этот философ восстал из гроба и оказался среди нас, дамы и господа, он был бы изумлен, увидев, насколько он ошибался.

У лектора были прямые, зачесанные назад волосы и большая борода — правда, не такая окладистая, как у профессоров постарше, из коих некоторые сидели в зале, но все же достаточно густая, чтобы вместе с усами закрывать губы. Над усами — узкий острый нос, если глядеть сбоку, ни дать ни взять прямоугольный треугольник с гипотенузой, увенчанной очками в стальной оправе. Вот, значит, как выглядит гений! Помимо кафедры и классной доски, на сцене стояло большое зеркало на подставке: разумеется, сейчас оно будет использовано для наглядных опытов; еще там было фортепьяно, очевидно не убранное со вчерашнего вечера, когда здесь, возможно, давал концерт Лист или праздновалась свадьба.

Вытащив из рукава своего сюртука одну манжету и поглядывая на нее, Мах продолжал:

— Теперь мы больше знаем о Луне, чем о самих себе. De mécanique céleste [1] уже описана, но mécanique sociale[2] и mécanique morale[3] еще ожидают своего изучения. Вернувшись из путешествия во Вселенную — путешествия, от которого их отговаривал упомянутый философ, — люди стали мудрее. Поняв свое скромное место в бесконечной Вселенной, они обратили критический взгляд на собственное маленькое кичливое *я*. Парадоксально, но факт: только основательно позанимавшись Луной, мы заинтересовались психологией.

В связи с этим он сейчас скажет несколько слов по поводу того, что одни вещи нам приятны, а другие нет.

Мой дед положил ногу на ногу и приготовился слушать. Порой он искоса поглядывал на зеркало, установленное на сцене: в нем отражалось лицо хорошенькой девушки, сидевшей в первом ряду. Сбоку ее высокую прическу украшал красный цветок; она восторженно смотрела на тридцатитрехлетнего гения, и в дедушкиной душе все же шевельнулось нечто вроде зависти.

— Повторение. Симметрия. В зеркале правая рука становится левой, правое ухо левым, но в нашем организме левая рука никогда не сможет заменить правую или левое ухо – правое, несмотря на тождество формы. Зеркальное отражение предмета никогда не может встать на место самого предмета. Часы, отраженные в зеркале, уже не показывают времени. — Тут Мах поднял указательный палец и сделал многозначительную паузу. У дедушки возникло странное ощущение, что время пошло вспять. Поэтому он пропустил мимо ушей несколько фраз, но быстро поймал нить рассуждений, когда ученый сказал, что наше тело, подобно готическому собору, обладает вертикальной симметрией: воображаемое зеркало проходит через нас сверху вниз. Пейзаж на берегу озера и его отражение в воде, напротив, симметричны по горизонтали. Почему же вертикальные симметрии сразу бросаются в глаза, тогда как горизонтальных мы обычно не замечаем? Окинув зал вопрошающим взглядом, Мах подошел к доске и написал на ней четыре буквы:

d b
q p

— Маленькие дети, — сказал он, — постоянно путают буквы d и b, а также q и p; но они никогда не путают d и q или b и p. — Тут по залу прошел одобрительный гул, производимый мамашами и учителями начальной школы. Мах улыбнулся и объяснил: все дело в том, что пары d-b и q-p симметричны вертикально, и для ребенка ощущаются как одно целое, а между горизонтально симметричными парами d-q и b-p он не видит никакой связи.

Дедушка заметил, что некоторые из слушателей послюнили кончики химических карандашей и ищут в карманах бумагу, чтобы записать эту мысль. Мах тоже увидел это и, дабы они не торопились, привел еще один пример. Две одинаковые фарфоровые статуэтки, изображающие девушек с красным цветком в волосах, можно сколько угодно менять местами, сходство между ними сохранится, но если положить одну плашмя, ее лицо сразу станет совсем другим, и это мы наблюдали еще детьми, верно? Мой дед вспомнил о девушке в первом ряду. Он увидел в зеркале, как она зарделась, и его зависть к власти лектора возросла еще больше.

— Так в чем же причина всего этого? А в том, что и наши глаза образуют вертикально симметричную систему. Они не одинаковые. Стоит поменять их местами – при помо-

---

[1] Небесная механика (*франц.*).
[2] Социальная механика (*франц.*).
[3] Нравственная механика (*франц.*).

щи простого призматического аппарата, — и мы сразу окажемся в совершенно другом мире. — Он наклонился и вынул из футляра, стоявшего возле кафедры, странного вида деревянный бинокль.— Здесь, — сказал он, поднимая бинокль кверху, — все шиворот-навыворот, все вверх тормашками, близкое становится далеким, а далекое — близким. Кому интересно, может подойти и посмотреть.

Студент, сидевший впереди моего дедушки, наклонился к своему соседу и прошептал:

— Такую штуковину хорошо бы изобрести для времени.

— В каком смысле?

— Чтобы самое далекое прошлое приближалось к сегодняшнему дню. Вот это было бы дело!

Дедушка шикнул.

Мах говорил отчетливо и медленно. Высказав мысль, сложную для восприятия, — например, что прямая линия может быть как горизонтально, так и вертикально симметрична самой себе, — он ненадолго умолкал и обводил слушателей плутовским взглядом, как фокусник, который опять вытащил из-за воротника бубнового туза. Иногда он вдруг быстро произносил нечто совершенно непонятное, вроде: «То, что первая и вторая производные кривой сразу видны, а более высокие нет, происходит, разумеется, потому, что первая определяет угол наклона касательной к оси координат, вторая же — отклонение кривой от касательной». В таких случаях он всегда смотрел в одно и то же место в передних рядах, где мой дед разглядел кивающий плешивый затылок.

Внезапно Мах воскликнул:

— Посмотрите на фортепьяно в зеркале!

Возглас был громким, как команда, – те, кто задремал, резко встрепенулись. (Возможно, в этот миг в далеком Симбирске маленький Владимир Ильич — ему не исполнилось еще и года — заплакал, уронив плюшевого мишку, с которым он всегда спал. Впоследствии он напишет: «Философия естествоиспытателя Маха относится к естествознанию, как поцелуй христианина Иуды относился к Христу»[1].) Мах спустился с кафедры, передвинул зеркало — теперь оно оказалось напротив фортепьяно: девушка вдруг исчезла, и стала видна клавиатура.

— Такого фортепьяно, — сказал Мах, показывая на отражение инструмента в зеркале, — никогда еще не делали. Низкие ноты расположены с правой стороны, высокие – слева. Если сыграть на нем минорную гамму, вы услышите мажорную, и наоборот. Я думаю, многие видели пианиста, дающего концерт в зеркальном зале, но спрашивал ли себя кто-нибудь, что играет пианист в зеркалах? — Он вопросительно оглядел зал. — Ведь звук не отражается в зеркале, он проходит сквозь него, а то, что играет отражение пианиста, остается в зазеркалье, и никто этого не слышит. — Последнее замечание в напечатанном тексте отсутствует, в тот вечер он сделал его экспромтом. — Нечего и говорить, что такое фортепьяно обошлось бы слишком дорого, да оно и не нужно: поставить опыт можно по-другому.Сейчас, — сказал Мах, — я вам сначала сыграю, глядя в зеркало, а потом сыграю то, что я там увидел.

Повернувшись к зеркалу, он сыграл по памяти с десяток тактов «Für Elise» [2], а затем сымитировал то, что как бы играло его отражение. В зале раздался смех; музыка была на редкость, на редкость занятная.

— «Von Elise»[3], — воскликнул студент, сидевший впереди моего деда, и хохот в зале стал еще громче, люди заражались смехом друг от друга и повторяли остроту студента.

Мах тоже смеялся, поглаживая бороду, реплика молодого человека как будто пришлась ему по вкусу. Что-то беззащитное появилось в интеллигентном, но вполне заурядном лице позитивиста. Потом он снял с фортепьяно ноты «Für Elise» и показал их публике, что вызвало новый взрыв смеха. Но теперь веселились исключительно потому, что в зале уже установилось смешливое настроение: ничего забавного тут не было, и к тому

---

[1] *В. И. Ленин*. Соч., третье изд., М.-Л., 1928, т. XIII, стр. 284.

[2] «К Элизе» (*нем.*) – пьеса Людвига ван Бетховена.

[3] «От Элизы» (*нем.*).

же это служило началом нового эксперимента. Оказалось, что сверху на фортепьяно лежит еще одно плоское зеркало. Мах установил ноты над ним.

— А сейчас, — сказал Мах, снова решительным жестом потребовав тишины, — я сыграю с нотного листа, который вижу в зеркале.

Вытягивая шею, чтобы разглядеть отраженные в зеркале ноты, он заиграл, и все услышали ту же самую странную музыку будущего, которую прежде якобы играло отражение Маха. Да, действительно, на редкость, на редкость, на редкость занятно.

III

Дедушка уже не сидел нога на ногу: он завороженно слушал. Но хотя профессор еще продолжает свои удивительные опыты, я покину его, а также господина с лысеющим затылком, студента, который, возможно, тоже был гением, и девушку с красным цветком в высокой прическе (которая, возможно, станет моей бабушкой, и тогда мой дедушка запомнит этот вечер на всю жизнь). Мы никогда больше их не увидим. Все это останется незавершенным — хотя на самом деле давно завершено и забыто. И я оставляю их всех там, в Немецком офицерском клубе, в далеком 1871 году.

Когда я сам позапрошлый раз был в Праге, в пятницу 27 декабря 1968 года (мой отец к тому времени тоже умер), в моем распоряжении было всего несколько часов. Я был проездом на Кубу — законную наследницу Парижской коммуны – и в ожидании самолета решил прогуляться по городу. Было пасмурно и холодно. Дни между Рождеством и Новым годом – это своего рода ничейная территория, где никто не знает, чем заняться. В сером тумане прохожие торопливо двигались по сумрачным извилистым улицам, крупные снежинки опускались на убогие рождественские елки, кое-где все-таки стоявшие вдоль тротуаров. Красные звезды с золотым серпом и молотом излучали грозную силу со стен общественных зданий. В светлой летней одежде, рассчитанной на тропики, откуда я собирался вернуться как раз к весне, защищенный только своим неизменным голландским зонтиком, я переходил Карлов мост. Чехи в громоздких пальто и больших меховых шапках порой смотрели на меня так, как будто уже примирились с непостижимостью мира. Дома, в Амстердаме, я в последние дни следил за полетом «Аполлона-8», в котором люди впервые, преодолев силу притяжения Земли, облетели вокруг Луны. Взглянув на часы, я, к своему изумлению, убедился, что ровно через три минуты спускаемый аппарат войдет в плотные слои атмосферы над Тихим океаном. Я решил пережить знаменательное мгновение, стоя здесь, на мосту.

У статуи святого Непомука, которого как раз на этом месте сбросили в воду — а сейчас на его голове наросла снежная шапка, — я остановился и стал ждать. Я дрожал от холода — я ведь был все равно что голый, — но не боялся простуды. Падая во Влтаву, крупные снежинки таяли и становились частью реки. Под тучами, на Земле, тихо лежал вокруг город, украшенный колокольнями церквей, на холме — безучастный Град с обнесенным каменной стеной собором.

Через три минуты я двинулся дальше, зная, что сейчас на другом краю Земли, там, где в разгаре лето, спускаемый аппарат вошел в атмосферу над голубым океаном, словно чиркнула головка спички вдоль коробка, со скоростью 33 М[1].

■

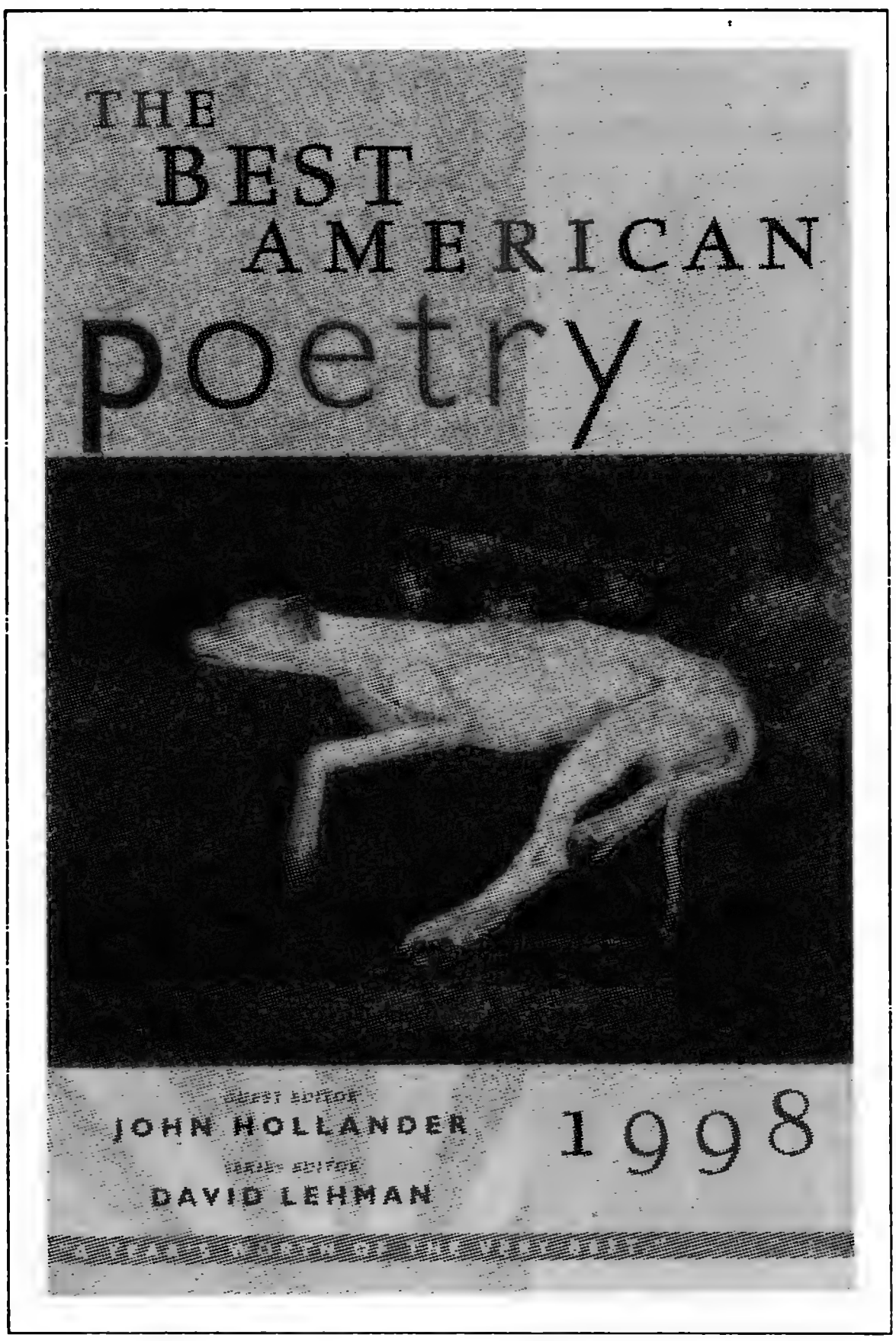
[1] М (число Маха) — безразмерная характеристика течения сжимаемого газа, равная отношению скорости течения V к скорости звука *a* в той же точке потока.

Из книги «Лучшие американские стихи 1998 года»

Перевод с английского и вступление Г. КРУЖКОВА

Ежегодник, который я сейчас держу в руках, одиннадцатый по счету. Издатель серии Дэвид Леман начал выпускать сборники лучших стихов, опубликованных за год в периодике, в 1988 году. В книге триста страниц, семьдесят пять поэтов и такое же количество стихотворений и поэм — представительный срез современной поэзии Соединенных Штатов.

Возможно, это прозвучит диссонансом к тому, что надеется услышать читатель, но американская поэзия, по ряду признаков, переживает сейчас не лучшие свои времена. Разумеется, это не означает, что в Америке больше нет ни достойных стихов, ни поэтов. И все же тревожных тенденций, по-моему, достаточно, чтобы говорить о серьезном и затяжном кризисе.



Причин тому несколько. Во-первых, эмоциональное оскудение стиха. Эта болезнь, поразившая поэзию нашего века, возведена в норму американской академической критикой. Бог весть, откуда взялся сей недуг. Некоторые считают его травматическим следствием информационного взрыва, за которым человек не способен поспеть, и в результате его чувствительность к миру как бы притупляется; он судорожно пытается уследить за мелькающим калейдоскопом знаков на экране дисплея, не пытаясь даже проникнуть в глубину вещей, в значения этих знаков.

В качестве второй причины кризиса можно назвать пресловутую «политическую корректность», этот американский извод мировой демократической идеи. Считается, что никакой человек не лучше другого и — следовательно! — каждый может писать стихи, выражать в них свои чувства и требовать равного с другими права на внимание.

Третья причина — центропупизм. Сознание, что ты живешь в лучшей на свете стране, само по себе ущербно для воображения, но, когда к этому прибавляется самодовольная уверенность, что и время наше — самое лучшее, провинциализм души возводится в квадрат. «Наши теории самые лучшие, потому что они новые. Живая собака лучше дохлого льва. В мире есть реальные проблемы. Все эти допотопные шекспиры и китсы заедают, отнимают у нас жизненное пространство, которого и так мало». Так создается антикультурная установка: создается везде, где современный травмированный интеллектуал борется за выживание. Не обошла она и священную область поэзии.

Все это лучше видно со стороны, чем изнутри. Но и изнутри американской поэзии (а также неразрывно с ней связанной университетской критики) нарастает некое сопротивление господствующим тенденциям — так сказать «культурный резистанс». Это особенно заметно в нынешнем томе ежегодника, составленном видным поэтом и критиком Джоном Холландером, — заметно в его вступительной статье, в резкой сатире Энтони Хекта, в ностальгически проникновенных стихах Дерека Уолкотта о старой Европе.

© 1998 by David Lehman
© Г. Кружков. Перевод, вступление, комментарии, 1999

Вступительная статья Джона Холландера во многом оборонительная. От кого или от чего защищается критик? Во-первых, от требований «отражать жизнь», соответствовать каким-то возведенным в закон моральным, политическим или общественным установкам. Во-вторых, от навязываемой искусству концепции «разнообразия» («diversity»), когда при раздаче любых похвал и наград стараются прежде всего не обидеть никаких «угнетенных меньшинств».

Холландеру приходится защищать даже право поэта писать в рифму! «В конце пятидесятых, — пишет критик, — масса третьестепенных поэтов организовала крестовый поход, продолжавшийся несколько десятилетий, под лозунгом, что все, кроме свободного стиха, есть «формализм», ретроградство и даже в каком-то смысле *антиамериканизм*». А в самое недавнее время появилась некая школа «новых формалистов», вывернувших старый сюжет наизнанку и ополчившихся уже против верлибристов. Разумеется, эта «борьба борьбы с борьбой» не имеет никакого отношения к искусству. Метод, которым поэт организует язык, настолько интимное дело, что устанавливать здесь правила почти неприлично.

Выбрать для перевода несколько стихотворений из большой книги оказалось непросто. В частности, потому, что составитель антологии не ограничивал себя размером включаемых произведений, а журнальная площадь весьма и весьма ограниченна. Из-за этого пришлось отказаться от замечательного, но длинного стихотворения Дерека Уолкотта «Символы» и, разумеется, от всех поэм. Вообще средний объем стихов в сборнике ближе к ста строкам (теоретический идеал Эдгара По), чем к двадцати — тридцати (русский стандарт). Я выбирал не поэтов, а стихи; но так уж вышло, что выбрались поэты известные. Двое из них (Уилбер и Хект) относятся к поколению двадцатых годов, которое, несмотря на понесенные в последние годы потери (Джеймс Меррилл, Аллен Гинзберг), доныне является ведущим в американской поэзии. Между прочим, однажды в интервью И. Бродского спросили, стал ли бы он поэтом, если бы родился в Америке. «Я думаю, что да, — ответил Бродский, — и даже знаю, кем бы стал. Я стал бы Энтони Хектом, или Ричардом Уилбером, или отчасти похожим на одного из них и отчасти на другого. Или на обоих сразу».

РИЧАРД УИЛБЕР родился в Нью-Йорке в 1921 году. Награжден высшими поэтическими отличиями США, в том числе званием поэта-лауреата. Тонкий лирик, виртуозный мастер поэтической формы. В комментариях к своему стихотворению (составитель обратился ко всем участникам антологии с просьбой прокомментировать свои стихи) Уилбер пишет: «Это стихотворение посвящено моей жене; его очень удачно, ко дню св. Валентина, опубликовали в «Нью-Йоркере»... Самым трудным для меня было соблюсти верный тон — сказать то, что я хотел сказать, с безусловным сочувствием ко всем влюбленным и без тени самодовольства».

* * *

Лифт громыхнет дверьми — и оборвется́я
Куда-то вниз; немного погодя
Она возникнет там, в струях дождя,
Махнет ему рукой со дна колодца
И, взяв такси, вольется в плотный ряд
Машин, лавиной мчащих на закат.

Как много разных у любви разлук!
Бывает страсть, как танец, мимолетна;
Бывает — все решив бесповоротно,
Глядят в глаза друг другу, как во мглу
Беды последней; а у этих юных,
Стоящих на лугу средь пятен лунных,

В зрачках лишь блики падающих звезд;
А эти, на причале, грузом горя
И багажа придавленные, — моря
Потребно им три тыщи вязких верст,
Чтоб перетерся волнами и тьмою
Бурливый след, бегущий за кормою.

Любовь моя, мы лишены таких
Блюд горько-сладких, бездн неодолимых,
Где страсть и жизнь сгорают в бледных дымах,
Не знаем их пронзительной тоски,
Затерянности в ледяном пространстве;
Но есть и в нашем долгом постоянстве

Своя, притом особая, цена:
Естественная выдержанность чувства,
И аромат, и тайный хмель искусства —
Вельможность вещи, что сотворена,
Как скрипка или запах роз чудесный,
Витраж оконный или свод небесный.

МАРК СТРЭНД родился в Канаде в 1934 году. Как большинство американских поэтов, он преподает в университете (в Балтиморе). Был поэтом-лауреатом, получал самые престижные премии. Стрэнд пишет свободным стихом, который сразу узнается благодаря особому изгибу мысли и настроения, а оно у Стрэнда всегда подвижно, почти ребячески капризно, и все же подразумевает при этом некую нешуточную экзистенциальную драму. О своей «Перспективе» он пишет: «Я посвятил стихотворение Дереку Уолкотту, потому что 1) он тоже мне когда-то посвятил стихотворение, 2) что-то в моих стихах напомнило мне его стихотворение, описывающее сцену из фильма, происходящую на балконе. И еще — когда я писал это стихотворение, мне представлялся какой-то карибский остров, тропические пальмы, океанская ширь».

Перспектива

Дереку Уолкотту

Место то самое. Белые стулья, сияющие столы.
Посетитель оцепенело глядит в этот матовый блеск.
Ветер врывается раз за разом, продувая кафе
Насквозь. «Место что надо», — проскальзывает в уме.
Он всегда признавал роль погоды в ритуале разлук,
Рассчитывая так, чтобы горе — даже самое сокровенное —
Прочитывалось издалека. Длинная гряда облаков
Нависла над морем, за край которого медленно опускается
Бесцветное, тусклое солнце — смягченный вариант
Притчи, что рассказывают лишь раз, и всегда слишком поздно.
Официант приносит бокал, он поднимает его и глядит

Сквозь вино на угасающий свет — один краткий миг.
Красный блик падает на рубашку. Небо все больше темнеет,
Ветер стихает, и даль проясняется. Лиловый простор
Кажется, в этих легчайших сумерках, более чем
Причиной, чтобы покориться и ждать, чем-то вроде
Счастья, и кажется, что это счастье — навек.

ЭНТОНИ ХЕКТ родился в 1923 г. До недавнего времени преподавал в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Получил Пулицеровскую, Боллингеновскую и другие важные премии, но, кажется, не был (единственный из этой тройки) поэтом-лауреатом. Кроме сборников стихов, издает литературоведческие труды, в частности, книгу об Одене («Тайный закон», 1992). О стихотворении «Rara Avis in Terris» он сообщает, что написал его на Новый год жене; в нем также сказалось ощущение, что свирепость внешней и внутренней политики, тяга к силовым решениям «достигли наконец и спокойных коридоров академии, где я так долго был счастлив среди своих студентов и коллег. Но вдруг, как бы внезапно, литература, которую я любил и преподавал, свелась к изучению каких-то социальных язв, гендерных, сексуально-ориентационных, реакционно-расовых и других базисных проблем, вскрыть которые можно лишь с помощью специальных методов, не только имеющих косвенное отношение к литературе, но и откровенно ей враждебных. Философы, давным-давно объявившие о смерти Бога, провозгласили недавно и смерть автора, таким образом оставшись полными и единовластными хозяевами факультетов английской литературы. Я счел за благо уйти на пенсию».

Rara Avis in Terris[1]

Елене

Ястребы в небе господствуют. Оглянись:
Тенью их крыльев зловещих исхлестана высь;
Вороны, кречеты, коршуны злые и прочий
Сброд,
до потрохов оголтело охочий...
Это какой-то джихад или крестовый поход.
Взмыли — и с карканьем, с клекотом в диком полете
Мчатся, оставив поляну в крови и в помете.

Это облезлые грифы с ракетой в когтях,
Рея над миром на жутких своих скоростях,
Копчики старые с истерическим писком
Миру грозят
на языке кровопийском
И, расфуфыря свой натестероненный зад,
Нам демонстрируют стиснутый лапою атом
И боевую окраску фруктовым салатом.

[1] Редкая птица на земле *(лат.)*.

В академических рощах — картина все та ж:
Взор ледяной, острый коготь и варварский раж
Все изничтожить, что в мире известно и чтимо:
Разницы нет —
слава греков, величие Рима,
Песни Кэмпиона, баллады, Толстой, Архимед...
Для культуролога, критика и стиховеда
Заповедь первая — деконструируй соседа.

Впрочем, и это не худшее; есть батальон
Фурий отъявленных, яростных дев и матрон,
Страшных мужчинам, с клювами остро-стальными;
Алчно глядят,
нет ли в поле поживы под ними,
И, углядев, утоляют свой бешеный глад
Падалью «белых самцов европейских» — добычей
Наинужнейшей для их вакханалии птичьей.

Где же, ты скажешь, подружки-пичужки мои? —
Робкие символы верной и нежной любви,
Голуби-неразлучники и попугаи,
Стайки щеглов,
лебедей белоснежные стаи,
Все, кого кормит с руки своей Бог-птицелов,
Все, что от века богине Венере желанны,
Чтимой у галлов под именем Птичьей Дианы.

Вот они, милая, в мраморном воздухе тут —
Видишь? — свой полог атласный и шелковый ткут:
Птахи, вспорхнувшие с палубы зыбкой Ковчега,
Что наугад
рыщет в волнах без дна и без брега;
Вот они, с веткой оливы над нами парят, —
Символизируя этой бессмертной листвою
Нашу любовь, что уже четверть века со мною.

■

РАДЕК КНАПП

Франек

РАССКАЗ

Перевод с немецкого Е. СОКОЛОВОЙ

Чтобы получился сборник, нужно написать достаточно много хороших рассказов. Дебютанту это не всегда удается. Но бывают и исключения. Эта книга приобрела особый блеск благодаря жемчужинам, щедро разбросанным по ее страницам. Большой сюрприз для тех, кому еще дорога настоящая литература.
Ищите и обрящете.

Станислав Лем
Краков, 3 мая 1994

1

Прежде, когда все еще было не так, как теперь, когда люди еще были бедны и потому с охотой собирались вместе и беседовали, были у моего дедушки два соседа.

Слева, в доме с крышей из черного рубероида, жил со своей женой Антоний Мушек. Был он сапожником и в прежние времена трудился на польскую армию: двадцать лет шил солдатские сапоги. Выйдя на пенсию, оказался не в силах бросить любимое занятие: по-прежнему делал обувь, теперь — для жителей нашего городка. Хоть и был он единственным сапожником в округе, все же изо всех сил старался угодить горожанам. Только как он ни потел, как ни стремился угнаться за модой, все его модели непостижимым образом походили на сапоги, какие польские офицеры носили лет тридцать тому назад.

Справа от нас жил пан Коса, торговец стеклом. Закоренелый холостяк, в отличие от сапожника. У него имелись телега и кобыла по имени Шарабайка. Каждое утро Коса запрягал свою Шарабайку и разъезжал по улицам. Скупал у стариков ненужные склянки, чтобы после продать их не без выгоды для себя на ближайшую стекольную фабрику.

И хотя вот уже двадцать лет сапожник Мушек и торговец стеклом Коса жили, можно сказать, по соседству, они терпеть не могли друг друга. Впрочем, случайно столкнувшись на улице или в очереди за продуктами, они вполне дружелюбно обменивались приветствиями. Но, едва оказавшись дома, вдали от посторонних взглядов, оба во весь дух мчались к забору и принимались осыпать друг друга проклятиями.

Каждый вечер в одно и то же время они выскакивали из своих домов и неслись к забору, будто весь день ждали этого мгновения. Мои дедушка с бабушкой — их сад стал чем-то вроде нейтральной полосы между врагами — порой с ужасом представляли себе, что могло бы случиться, если бы тех двоих ничто не разделяло, будь они и вправду соседями. Самые страшные стычки происходили летом, когда вечера долги и во время ужина

© Franz Deuticke Verlagsgesellschaft m.b.H., 1995
© Е. Соколова. Перевод, 1999

еще светло как днем. Мушек и Коса стояли каждый у своего забора, будто боксеры у каната, вцепившись в ограду, и старались побольнее задеть друг друга.

— Вот увидите, пан Коса! — кричал сапожник, когда наступал его черед. — Однажды утром проснетесь, а все ваши склянки — из пластмассы! Все-все, что прежде было стеклянным, теперь из пластмассы. И увидеть стекло можно будет только в музее.

Несмотря на вражду, они вот уже двадцать лет обращались друг к другу вежливо, на «вы». Коса прижимался лицом к забору и кричал в ответ:

— Ну уж нет, сперва все станут ходить на прогулку в кедах!

— В кедах?! Даже и не смешно — так низко пасть невозможно.

— И в транспорте станут ездить в кедах. Но это еще не все!

— Не все?.. — Мушек даже икнул от напряжения.

— На работу все тоже будут ходить в кедах!

— На работу?! — не без издевки переспросил Мушек, который явно не верил ни единому слову своего противника.

— Да-да! Именно! На работу! — повторил Коса и умолк.

Оба зловеще захохотали. Ведь несмотря на сильную взаимную неприязнь, и сапожник и торговец стеклом отлично понимали, что малость преувеличивают.

А дедушка с бабушкой все это время сидели в своем саду перед домом и поглядывали то влево, то вправо, в зависимости от того, кто кричал. Словесная битва грохотала над их головами до темноты, ведь оба участника, разумеется, позабыли, что то же самое они уже выкрикивали вчера, не помнили они и который теперь час. Никто не взялся бы предсказывать, сколько еще времени могло это продолжаться, если бы из кухонного окна не раздавался вдруг зычный голос пани Мушек:

— Антоний! Ты идешь наконец?! Еда на столе!..

Точно так матери звали моих товарищей, когда те допоздна играли в футбол, позабыв, что давным-давно пора домой. На сапожника это действовало безотказно. Едва заслышав голос супруги, он поворачивался и спешил в дом.

Но прежде чем скрыться из виду, останавливался на пороге и напоследок грозил сопернику кулаком: они, мол, еще не закончили, нет, завтра или когда-нибудь потом они наконец разберутся друг с другом.

2

Когда не знают правды, что-нибудь обязательно да выдумают. Грешат этим и жители нашего городка. Никто не знал, почему же, собственно, так не любят друг друга Мушек и Коса, — пришлось причину придумать.

Как-то пронесся слух, что всему виной холостяцкая жизнь Косы. Если бы он был женат, пани Коса, выглянув в форточку, хоть раз бы да позвала его ужинать. И Мушек был бы лишен последнего слова. А так бедного пана Косу одолевает зависть к врагу, который не только живет под крышей из черного рубероида, но и имеет свою собственную жену. Что бы там ни было на самом деле, думали все именно так и охотно делились этим друг с другом. Хотя трудно представить себе более далекое от истины объяснение.

Коса и вправду был холост. Но не потому, что не любил женщин. Напротив, он их очень даже любил: всех без исключения девушек, да и вообще женский пол. Может, еще посильнее, чем тот же сапожник Мушек, который вот уже двадцать лет делил кров с законной супругой. Просто ничуть не меньше Коса любил свободу.

Завидев на улице девушку, с которой едва был знаком, Коса тут же спрыгивал с телеги, предоставив ее в полное распоряжение Шарабайки. Кланялся девушке, справлялся о ее здоровье. Если та была в хорошем настроении, пан Коса тут же приободрялся и целовал ей ручку. Брошенная телега катилась тем временем дальше, а хозяин не сводил с прелестницы глаз, осыпая ее комплиментами, расхваливая новую прическу и восхищаясь совершенной формой ногтей. Но стоило девушке проявить к нему интерес, улыбнуться или заговорить о планах на вечер, его охватывала тревога. Пан Коса

переминался с ноги на ногу, краснел, бледнел, и если ничего другого ему в голову не приходило, указывал пальцем на катившую прочь телегу. Поспешно кланялся и, пробормотав себе под нос извинения, мчался за ней. Девушка удивленно смотрела ему вслед, собиралась еще о чем-то спросить, но Коса бежал как бешеный и скоро был уже так далеко, что ей пришлось бы кричать. Девушка наконец опускала глаза и шла восвояси. Странным образом, ей всегда нужно было совсем не в ту сторону, куда умчался торговец стеклом. Случавшиеся поблизости люди, наблюдавшие эту сценку, смеясь, утешали девушку: не стоит, мол, слишком на него сердиться — пан Коса на все свидания ходит с телегой.

Как-то раз мне самому довелось наблюдать, сколь рьяно торговец стеклом готов отстаивать свою свободу. Мой путь в школу лежал мимо его дома, и однажды я стал свидетелем весьма необычной сцены. Через окно мне было видно, что пан Коса как раз собирается бриться. Вот он вытаскивает из брюк кожаный ремень, закрепляет его на дверной ручке. Потом натягивает и точит о него бритву. Брюки его тем временем сползают до самых щиколоток. Вместо того чтобы их подтянуть, он принимается намыливать лицо, то и дело с довольным видом поглядывая в зеркало. Но что-то, очевидно, не дает ему покоя. Он подтягивает штаны и с намыленным лицом принимается расхаживать по дому. Заглядывает во все комнаты, даже в уборную и в чулан. Везде непременно есть небольшое зеркало на стене, и в каждое Коса заглядывает, бормоча при этом: «Доброе утро». Похоже, за все тридцать лет холостяцкой жизни ему так и не довелось прочувствовать, что такое одиночество. С самого утра дом густо населен всевозможными Косами, которые не дают скучать настоящему, поднимают ему настроение. Убедившись, что все они на месте, пан Коса возвращается в ванную, где его ждет бритва, и с чувством глубокого удовлетворения включает радио.

Радио поет по-английски, из моего укрытия это отчетливо слышно. Пан Коса уже много лет слушает не только песни, но и новости исключительно на этом языке. И вовсе не потому, что хорошо его знает — по правде говоря, он не понимает ни слова, — просто его дом — единственный во всей округе, где принимаются английские радиоволны.

Коса берет бритву и осторожно скоблит подбородок. Пена уже высохла, но соседа это, кажется, совершенно не беспокоит. Все энергичнее водит он бритвой от горла к ушам, напевая при этом себе под нос.

Так вот, пока пан Коса был целиком погружен в созерцание своего отражения, его кобыла, привлеченная звуками радио, просунула голову в окно. Стойло Шарабайки, кое-как пристроенный к дому деревянный сарай, — всего в нескольких шагах. Едва заслышав по радио музыку, лошадь придвинулась ближе, протиснула голову в окно и принялась с интересом рассматривать все, что лежало на подоконнике. И когда, глядя в зеркало, Коса вдруг заметил рядом со своей физиономией лошадиную морду, случилось непоправимое. Лезвие дернулось в его руке, и вот в следующий миг он уже внимательно рассматривает порез на подбородке, осторожно ощупывает его. Две капли крови ползут по большому пальцу, и наш сосед, которого, очевидно, пугает вид собственной крови, становится бледным как мел.

Он поворачивается к Шарабайке, тычет испачканным в крови пальцем ей прямо в нос.

— Смотри, что ты натворила, — жалуется он, — я чуть было не перерезал себе горло. — Пан Коса купил эту лошадь маленьким жеребенком и давно привык разговаривать с ней как с человеком. Вернувшись к зеркалу, он продолжает выговаривать Шарабайке. — Когда-нибудь меня найдут мертвым в ванной, — предрекает он, — придут люди и, указав пальцем на мой хладный труп, спросят: «Подумать только! Кто ж это перерезал горло старому Косе? Ведь у него не было врагов, и вот он здесь, в луже крови... Он любил свободу, любил женщин. И что же? Да ничего. Через пару лет никто о нем и не вспомнит». Они снесут этот дом, через сад проложат дорогу. И знаешь, кто будет в этом виноват? — Коса вновь повернулся к Шарабайке. — Ты! Ты одна способна свести меня в могилу до срока. Но нет, меня не запугаешь, без боя не сдамся!

Пан Коса грозит ей пальцем. Впрочем, эта демонстрация силы и независимости все

же не вполне его удовлетворяет. Он включает радио на полную громкость и опять поворачивается к зеркалу.

Шарабайка вытягивает шею и цепляет губами носок, который сушится на подоконнике. Глубоко погруженный в мысли о свободе, пан Коса вновь берет бритву и поет на ломаном английском:

— Mona Lisa, Mona Lisa! You have a wonderful smile...

Лошадь срыгивает и тянет с сушилки второй носок. Голова ее уже наполовину скрылась в ванной. С улицы виден только массивный круп. Хвост пребывает в постоянном движении, будто маятник.

В то утро кобыла сжевала еще фуфайку и двое кальсон. Казалось, пан Коса позабыл обо всем на свете. Он все пел и пел. Когда мне все-таки пришлось покинуть свой наблюдательный пост, чтобы не опоздать в школу, он еще пел. Сильный голос вырывался из раскрытого окна и разносился по улице до самого магазина, где уже выстроилась очередь за булочками и молоком. Пробегая мимо, я успел заметить, как люди в очереди с беспокойством озираются по сторонам и спрашивают друг друга, что бы это могло означать. Они ломали себе головы, пока не вышел пан Вацек, хозяин лавки, и не разъяснил, что это поет пан Коса, и никто иной. Тот самый пан Коса, который любит свободу и женский пол, — ведь он один у нас может принимать английские радиоволны.

3

Не могу припомнить, чтобы я хоть раз слышал, как поет сапожник Мушек. Он точно не пел, когда брился, он и говорил-то очень немного. Если хотел что-то сказать, был предельно краток. Почти все время Мушек проводил в каморке рядом с кухней — там он устроил себе мастерскую. Порой у него, единственного в округе сапожника, бывало так много заказов, что приходилось засиживаться допоздна. Внутри, за дверью каморки стрекотала машинка «Зингер», которой уже перевалило за шестьдесят, — впрочем, работала она лучше, чем нынешние польские швейные машины.

Мастерская сапожника выглядела как много лет назад. На стене висели старые колодки, чугунный штатив. Пахло бутапреном, особой смесью муки и спирта, которой клеили кожу. Было так темно, что даже днем можно было работать лишь при искусственном освещении. Но Мушеку это не мешало. Его нисколько не смущало ни то, что за день он успевает сшить только одну пару обуви, ни то, что этим портит себе глаза.

Смущало его лишь, что то ли в Катовице, то ли во Вроцлаве построили, как говорят, еще одну обувную фабрику. И в ее светлых цехах с энтузиазмом трудятся юные работницы, выдавая по тысяче пар ботинок ежедневно. Вместо бутапрена там пахнет химическим клеем, а директор фабрики, в знак того, что старые времена ушли безвозвратно, держит под стеклом у себя в кабинете треногу, какой Мушек до сих пор пользуется.

Каждый раз, когда я приносил Мушеку ботинок со сломанным каблуком или дырявой подошвой, я с удивлением отмечал про себя, как просто превратить его мастерскую в музей. Пришлось бы разве что добавить несколько ламп, чтобы посетители могли получше все рассмотреть. Мушек, наверное, тоже так думал. Назло новому времени он и теперь делал почти такие же туфли, как научился давным-давно, еще будучи подмастерьем в фирме «Вольский и сыновья» в Познани. Очевидно, устаревшие каблуки и непрактичные кожаные подошвы — таков был его вызов новому времени, и он с нетерпением ждал, когда же это самое новое время со всеми своими огромными обувными фабриками, на которых с усердием трудятся молодые рабочие, наконец-то потерпит крах.

По какой-то неведомой причине технический прогресс и в самом деле обошел наш городок стороной. Конечно, до нас доходили слухи о демонстрациях в Варшаве, о произнесенных там вдохновенных речах. Не раз видели мы по телевизору, как известные имена, написанные большими буквами на транспарантах, колышутся поверх зонтов.

Это были великие имена, где-то далеко они изменили мир. В нас же они пробуждали лишь растерянность. Мы не могли представить себя в том мире и торопились переключиться на другую программу в надежде наткнуться на бразильский сериал.

Дом Мушека замыкал длинный ряд домов, сразу за ним начинался лес. Летом этот лес, который тянулся до самого Рацибора, вселял в сапожника тревогу, напоминая ему, что в мире помимо усердия и порядка существуют анархия и лень.

Страх нарастал, когда созревали вишни. Ему казалось, что однажды утром из этого леса вынырнет Франек, его брат. Франек Мушек, совершенно на него не похожий. Он был на пару лет старше сапожника, что, впрочем, не мешало ему разгуливать повсюду в шортах. На голове у Франека в любую погоду красовалась соломенная шляпа. Он не умел ни читать, ни писать, и этого сапожник Мушек стыдился сильнее всего, хотя вообще-то стыдиться следовало его брату.

Тем летом опасения Мушека были не напрасны. Однажды пронесся слух, что после двадцатилетних скитаний домой вернулся Франек. Решил навестить брата.

В то утро, когда Коса включил радио на полную громкость, сапожник Мушек был еще в постели. Ворочался с боку на бок и пытался натянуть на уши подушку. Но английские песенки легко находили лазейку, пробирались под подушку и не оставляли выбора; пришлось встать. Мушек как раз шел в ванную, когда раздался звонок — кто-то топтался возле калитки. Мушек развернулся, прошел на кухню, где готовила завтрак его супруга, раздвинул гардины и выглянул в окно. Некоторое время молча смотрел в сад, потом уронил занавеску и попятился. У калитки стоял его братец Франек собственной персоной. В шортах, как и двадцать лет назад. На голове — все та же соломенная шляпа, а на ногах — лопнувшие от сырости кеды.

Мушек пятился, пока не наткнулся спиной на кухонный шкаф — ему нужно было на что-нибудь опереться.

— Только не это... — пролепетал он, — Франек.

Пани Мушек — она резала лук — раздвинула кухонным ножом гардины.

— Хм… так вот, значит, как он выглядит, твой брат… — проговорила она, растягивая каждое слово. — Я представляла его иначе... постарше, что ли.

— Он никогда в жизни не работал, — объяснил Мушек и опять осторожно выглянул в окно. — Похож на Хиндрека, того бездельника, который в прошлом году попал под поезд, — пробормотал он.

— Хиндрек выпал из окна своей квартиры. В стельку пьяный, — возразила пани Мушек, не сводя глаз с Франека.

— Пятьдесят четыре года, а он все в шортах. Право, это ничуть не лучше, чем напиться и вывалиться из окна.

— Антоний, чем тебя так раздражают шорты? Сейчас лето.

Мушек взглянул на жену, будто хотел что-то сказать. Но промолчал, только почесал в затылке.

— Что же делать? — спросил он. — Он все звонит и звонит.

И в самом деле, Франек, этот «урод» в семье, по-прежнему жал на кнопку звонка. Вместо того чтобы пойти к дверям, Мушек отступил еще на шаг в глубь кухни.

— Отойди. Он же тебя увидит! — замахал он руками на жену.

Пани Мушек не могла скрыть изумления.

— Что? Ты не пустишь на порог родного брата!? Единственного на целом свете?

Мушек совсем растерялся.

— Что ты такое говоришь! Просто я еще не одет. Он добирался к нам двадцать лет. Еще две минуты ничего не изменят.

Но пани Мушек не сдавалась:

— Ты стыдишься его, признайся! Стыдишься, что он не умеет читать. Так он и правда неграмотный?

— Ну, может, неграмотный, а может, и грамотный. Откуда мне знать? — ощетинился Мушек.

— Тебя раздражает, что он ходит в шортах.

— Если его впустить, застрянет на целый год. А ведь он курит, дымит как паровоз, — продымит всю кухню.

— Будет курить в туалете.

— Что?! — вознегодовал Мушек. — Не верю своим ушам! Он еще даже не вошел, а ему уже разрешается курить в туалете! А вот если мне хочется выкурить сигаретку, одну-единственную, меня тут же гонят в сад, даже зимой!

Франек потерял терпение и вновь напомнил о себе громким звонком. Мушеки умолкли и выглянули в окно. Братец стоял у калитки с сигаретой в руке — закурил, пока супруги спорили, — и кричал:

— Антоний! Антоний! Я вижу тебя! Ты ничуть не изменился... Даже пижама все та же, на ней котята скачут за бабочкой!..

Пани Мушек обернулась и посмотрела на мужа. Сапожник, которому до сих пор стыдиться за себя не приходилось — он не стыдился даже своих бурных словесных баталий с Косой, — вдруг покраснел как помидор. Пани Мушек оглядела супруга с головы до ног.

— Чего уставилась? — с нарастающим беспокойством спросил Мушек. — Ты сама купила мне эту пижаму.

Пани Мушек прикусила губу, чтобы не рассмеяться.

— Но ведь это ты выбрал ее, Антоний.

— Нет, я хотел с машинками.

— С машинками? — переспросила пани Мушек.

Мушек понял, что и так уже наговорил лишнего и, если не хочет выглядеть в глазах жены полным идиотом, лучше все-таки пойти открыть калитку.

Он развернулся, подошел к полке — над ней на гвоздиках висели ключи, — взял самый большой и пробормотал:

— Пойду открою, пока его не услышали. Переоденусь потом... Ты не представляешь, что нас ждет.

Пани Мушек кивнула. Раздвинула гардины и махнула Франеку рукой, как бы говоря, что брат уже спешит к нему.

Мушек пригладил волосы и вышел на свежий воздух. Было ясное, теплое утро. Дойдя до калитки, он попытался улыбнуться.

— Франек?!. — пробормотал он смущенно. — Ты, в самом деле ты? Боже, какой сюрприз! Выглядишь, как двадцать лет назад... Прости, что заставил ждать, все из-за жены... Ей показалось, что это один тип... Господи... и вправду ты...

4

Для своего возраста Франек имел на удивление юный и цветущий вид. На его загорелом лице морщин не было вовсе, а когда он снял соломенную шляпу, на свет явилась густая, давно не чесанная шевелюра иссиня-черного цвета.

Он походил на актера из очень у нас популярного детективного сериала. В каждой серии этому актеру приходится прыгать в бассейн и, в очередной раз его переплыв, застенчиво улыбаться.

Точно такая улыбка появлялась на лице у Франека, когда он что-то рассказывал. Прежде чем стать бродягой, «уродом» в своей семье, один раз он все же устроился на работу. Вот об этой-то своей работе любил он рассказывать, причем со всеми подробностями. Два месяца, когда он состоял на службе, превращались в два года, а заработанные им пять тысяч злотых — в пятьдесят пять.

Ему тогда было восемнадцать лет, работал он садовником у некоего нотариуса в богатом районе Варшавы. У того был большой дом и огромный сад. Работы было много, и по вечерам Франек просто валился с ног от усталости. Летом, когда на деревьях созрели плоды, в сад со всей округи слетелись птицы, и их громкие крики действовали хозяину на нервы. Раз в неделю нотариус вытаскивал из платяного шкафа ружье, специально для этого купленное, потихоньку открывал окно, сквозь прицел выглядывал в сад и палил без разбора в каждого замеченного поблизости дрозда или воробья.

Пока продолжалась охота, Франек отсиживался в укрытии и вновь выходил в сад

лишь после того, как нотариус делал ему знак рукой. Складывал подстреленных птиц в ящик и подыскивал подходящее место для могилки.

И вот пока Франек копал где-то в саду яму, нотариус возвращался к себе в кабинет, запихивал винтовку в платяной шкаф, клялся и божился, что больше этого не повторится. Потом задергивал шторы, садился за письменный стол, за которым обыкновенно составлял прошения и торговые договоры, и писал стихотворение. Едва закончив, присоединял исписанный листок к другим таким же — нотариус собирался опубликовать все свои стихи к пятидесятилетнему юбилею.

Однажды Франек появился на службе ни свет ни заря. Встал на целых полчаса раньше обычного, отправился на работу и там, с длинной толстой палкой в руках, бегал среди фруктовых деревьев, пока не прогнал из сада всех птиц.

Тщетно отныне выставлял нотариус в окно свою двустволку — в саду больше не было птиц, которые могли бы его рассердить, и значит, ни одной он не мог подстрелить. Нотариус удивился, потом что-то заподозрил. Однажды утром он заметил, как Франек разгоняет сорок, рассевшихся прямо под окном. Он пришел в бешенство, помчался прямиком к платяному шкафу, достал ружье. Высунулся из окна, да так, что еще немного, и вывалился бы в сад, и взял на мушку садовника. Только Франек, который давно уже опасался, что однажды его самого подстрелят, как дрозда, опередил хозяина: перемахнув через забор, мигом оказался в соседнем саду и исчез навсегда.

Тогда-то и появилось у Франека предубеждение против постоянной работы, и решил он сперва побродить немного по свету.

Собрал рюкзак, сел в поезд без билета и покинул Варшаву. С тех пор он исколесил всю страну. Безделье вылепило из него то, чего не смогла бы никакая работа, — он стал почти приличным человеком. Настолько, что пани Мушек, да и сам сапожник, глядя на него, не переставали удивляться.

Франек сидел за столом и уплетал омлет, который поставила перед ним невестка. Пока он ел, сапожник стоял, прислонившись к кухонному шкафу, и время от времени что-то говорил.

— Мы поселим тебя в комнате под крышей, ты не против?

— Угу... — промычал Франек, глотая очередной кусочек омлета.

— Если у тебя нет пижамы, скажи, — я дам тебе одну из моих.

— Угу...

— Кровать удобная. Ты знаешь. В прошлый раз ты спал на ней.

Франек все съел и отодвинул тарелку.

— Я бы всю жизнь мог питаться только омлетом.

— Еще? — предложила пани Мушек. Франек вопросительно взглянул на брата и кивнул.

— Через пять минут будет готово, — обрадовалась хозяйка, поставив сковороду на огонь.

Франек осмотрелся по сторонам.

— Стены недавно покрашены, — отметил он. — Сам красил, Антоний?

— Сам. Никто мне не помогал.

Франек покраснел. Нагнулся к рюкзаку и что-то вытащил.

— Я принес тебе подарок, — сказал он, протягивая брату какой-то предмет.

— Что это?

— Открытка, — объяснил Франек. — Я нашел ее в Вене на тротуаре. Она надписана, даже почтовая марка есть.

Мушек с недоумением посмотрел на брата.

— Ты был в Вене?

— Три года назад. Целых две недели. Ночевал в парке возле пруда, там еще утки плавали.

— Так у тебя же паспорта нет.

— Я ехал в Краков. На поезде. Зайцем. Спрятался и уснул. Проснулся, когда было

уже совсем светло. Выглянул в окно, а все надписи — по-немецки. Тут я понял, что попал в Австрию, и очень обрадовался: я ведь давно хотел увидеть могилу императора Франца Иосифа.

Мушек перевернул открытку.

— И что же это такое?

Франек заглянул ему через плечо.

— Собор. В самом центре. Называется собор Святого Стефана. — Палец Франека сместился вправо. — А вот это — чертово колесо. Дальше, справа — дворец...

Мушек выдвинул ящик кухонного стола и бросил туда открытку.

— Вена еще красивее, чем на этой открытке, — заверил его Франек, — красивее, чем Варшава, чем Краков... на улицах полно людей, которые только тем и заняты, что прогуливаются взад-вперед, разглядывают витрины. Когда становится скучно, покупают мороженое и очень медленно его едят. Кажется, им совершенно некуда спешить, Антоний. Наверное, они вообще не работают, ведь многие даже днем сидят в кафе или разъезжают туда-сюда на трамвае. Но все равно у каждого есть должность. Повсюду только и слышно: «Добрый день, господин доктор!.. До свидания, госпожа доктор! Как поживаете, господин инженер? Спасибо, хорошо, господин советник». А однажды я зашел в кафе, где даже кассиршу звали Роза Магистр... Должно быть, люди там очень счастливы...

Франек искоса глянул на плиту, где жарился омлет.

— Да-да... Жизнь была бы куда интереснее, а люди гораздо веселее, если бы их звали не просто Новак или Килинский, как у нас...

Мушек глубоко вздохнул и посмотрел на жену: поняла она наконец, во что они вляпались? Пани Мушек внимательно слушала Франека.

— Но красивее всего в Вене банки. Так-то, Антоний.

— Консервные, что ли? — не сдержался Мушек.

— Да нет же, банки. Где деньги держат, — пояснил Франек. Мушек устремил к потолку полные отчаянья глаза.

— Ну да. Некоторые из них очень стары и похожи на музеи, другие вполне современны. За толстыми стеклами в окошечках сидят красивые девушки с красными лакированными ногтями и золотыми кольцами на пальцах. Все мужчины в костюмах, держатся очень приветливо. Даже если клиент грубит, они лишь улыбаются и кивают. Должно быть, они прочитали кучу умных книг, и все эти деньги, пачки красивых новых банкнот, которые здесь складывают в высокие стопки, — для них просто мусор, который совершенно их не интересует. Нормальный человек при виде таких стопок теряет покой, а служащие банка проводят возле них целые дни, не удостаивая ни единым взглядом. И пересказывают друг другу модные шутки.

— Да ты хоть знаешь, какие там ходят деньги, в Австрии? — в отчаянье вскричал Мушек.

— А то! Однажды я даже видел вблизи открытый сейф!

— Ну уж это ты брось.

— Я как раз осматривал изнутри один филиал. В центре. Вдруг туда врывается мужчина и что-то кричит. Зал, впрочем, был так велик, что сперва на него никто и внимания-то не обратил. Тут он как взревет, тогда уж на него стали смотреть. Думают, помешался. А он направил на них пистолет — и до всех сразу дошло, что он абсолютно нормальный, только хочет взять себе часть денег из сейфа. Клиенты побледнели, а вот служащие были совершенно спокойны. Потому, наверное, что это не их деньги в сейфе лежат.

Тем временем грабитель расчищает путь к сейфу, машет во все стороны пистолетом. На меня внимания не обращает — ведь я иностранец. А я тем временем усаживаюсь в кожаное кресло у стены и наблюдаю, что дальше будет. Грабитель требует позвать директора — у того ключ от сейфа. Директор, видный мужчина в золотых очках, выступает вперед. В руке у него крошечный ключик. Этим ключом отпирают сейф. Набитый пачками денег. В зале царит мертвая тишина. Как у нас во время мессы, когда после слов «Это плоть твоя, а это кровь твоя, Иисусе» святой отец преклоняет колена и закрывает

глаза. Грабитель достает из сумки черный пластиковый пакет и бросает в него деньги. И чем больше денег из сейфа перекочевывает в мешок, тем тише становится в зале. Наконец тишина становится прямо-таки торжественной — что уместно лишь в самых серьезных случаях: ведь за три минуты на глазах у сотен зрителей бедняк превратился в богатого человека.

Все это время я тихонько сижу в углу, и вдруг мне приходит в голову, что грабитель может увидеть в моем поведении неуважение к происходящему и взбеситься. Я в ужасе. Хочу незаметно подняться и, не привлекая внимания, присоединиться к остальным, но от страха не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Предвидя, чем это может кончиться, тихонько кляну все на свете.

Со мной всегда ведь одно и то же, Антоний. Когда по-настоящему страшно, на меня вдруг наваливается смертельная усталость и я мгновенно засыпаю как убитый. И вот я у всех на глазах начинаю зевать во весь рот. Не в силах бороться со сном. Успел только заметить отсветы на потолке и захрапел, как локомотив.

Понятия не имею, сколько все это продолжалось. Во всяком случае, когда приехала полиция, я еще спал. Они подумали, что у меня инфаркт. Вызвали «скорую». Врач дал мне нюхательной соли, и я очухался. Он был ужасно похож на кельнера Янека из моей любимой пивной в Варшаве, этот врач. Рассудок мой, видно, слегка помутился, и, едва открыв глаза, я спросил его: «Эй, старый пень, что там у вас сегодня пожрать?» Они тут же решили, что я здоров, и я пошел своей дорогой. На следующий день в газете про меня написали, у него, мол, стальные нервы.

Франек снова принялся рыться в рюкзаке. На свет явилось его белье и три пары шортов, завернутые в газету.

— Там была даже моя фотография, — пробормотал он, — могу поклясться, что брал ее с собой...

Мушек вытянул шею и заглянул Франеку через плечо.

— Зачем ты таскаешь с собой эти газеты? — удивился он.

— Чтобы читать, — Франек вздохнул. — Похоже, потерял по дороге.

— Ты же не умеешь!

— Умею. С тех самых пор, как мне стукнуло восемь, — возразил Франек и рассеянно посмотрел в сторону плиты: пани Мушек перекладывала омлет со сковороды в тарелку. Она открыла баночку малинового конфитюра и смазала омлет. Франек переводил взгляд с омлета на конфитюр и обратно. Пани Мушек закрыла банку и вернула ее на полку. Взяла тарелку, подошла к столу и поставила ее перед Франеком.

— Твой омлет, — сказала она и села против него. С тонкой улыбкой на губах сапожник переводил глаза с жены на брата.

— На обед будет куриный суп. Любишь куриный суп? — спросила пани Мушек.

— Больше всего на свете, — признался Франек, отрезая большой кусок омлета.

Пани Мушек молчала, с любопытством наблюдая, как он ест. И лишь после того, как Франек съел все до последней крошки, собралась с духом и негромко спросила:

— Скажи, Франек... можешь не отвечать, если не хочешь. Скажи... правда, что некоторые женщины в Вене покрывают лаком ногти на ногах?

5

Через три недели его уже знали повсюду. Каждое утро по просьбе пани Мушек Франек ходил в лавку на углу за продуктами. Так как читать он не умел, все, что нужно было купить, невестка рисовала ему карандашом на бумаге. Если нужны были булочки, рисовалась маленькая булочка, если дома кончился чай, рядом появлялась прямоугольная пачка, какие есть только в нашей лавке. Франек вставал в очередь у входа и болтал со всеми, с кем хоть как-то был знаком. Рассказывал, где побывал, как из-за богатого нотариуса сделался «уродом» в семье, не обходил вниманием и Вену. С ним никогда не бывало скучно — всякий раз Франек рассказывал свои истории немного иначе. То что-то

выбросит, то приукрасит — порой настолько, что получается совершенно другая история. Ближе к концу он всегда лез в сумку, чтобы показать фотографию, где он дрыхнет в банке после налета, но вместо этого на свет появлялся то носовой платок, то список продуктов, нарисованный пани Мушек.

Люди корчились от смеха, похлопывали его по плечу — и так, мол, верим.

Впрочем, это было только начало. Франек вытаскивал привезенные из странствий газеты и тряс ими над головой.

— Брат говорит, я неграмотный! — громко, чтоб было слышно в самом конце очереди, кричал Франек. — Тогда что же это? — Он взмахивал газетами и с торжеством оглядывал всех вокруг. Некоторые зрители зажимали рот ладонью, еле сдерживая смех. — Что это? — настаивал Франек. — Может... огурец?

— Нет! — хором выкрикивала очередь, включая и тех, кто уже вошел в лавку.

— Зонтик?..

— Нет! — еще громче надрывалась очередь.

— Тогда... что это? — вопрошал Франек, внимательно рассматривая газету.

— Журнал! — кричали ему. В эту игру возле лавки мои земляки играли вот уже две недели и знали, как следует отвечать.

— Неверно! — ревел Франек, делая вид, что страшно сердится. — Вы что, не можете отличить от журнала ежедневную газету? Боже, в какие времена мы живем! Ну уж нет! Читать я вам не стану.

— Не сердитесь, пан Франек. Почитайте немножко. В последний раз... — упрашивали его зрители, подмигивая друг другу.

— Так я ж неграмотный. Разве могу я что-нибудь прочесть? — отбивался Франек.

— Простите вашего брата. Что он понимает? Прочтите статеечку, ну хоть одну... — умоляли зрители, испытывая при этом ни с чем не сравнимую радость. Они чувствовали себя актерами, и им не терпелось доиграть роль до конца.

Франек разворачивал газету, листал ее. Искал, что бы такое прочесть.

— Вот тут, на пятой странице, коротенькая заметка. Пожалуй, я мог бы вам ее прочитать.

Все умолкали. Некоторые, не в силах сдержать возбуждение, подталкивали соседа локтем в бок. Франек начинал:

— «Вчера в Люблине был задержан пятидесятипятилетний вагоновожатый. Вечером в часы пик он похитил трамвай шестнадцатого маршрута...»

— Пан Франек, вы держите газету вверх ногами... — выкрикивали из очереди.

Франек переворачивал газету и продолжал:

— «Целый час он ездил по городу, не обращая внимания на просьбы запертых в вагоне пассажиров. Лишь после того, как власти приняли решение перекрыть движение в городе, украденный трамвай удалось остановить».

Франек перевернул страницу, словно перед ним была книга.

— «В результате долгих переговоров с невменяемым вагоновожатым полиции удалось добиться освобождения перепуганных пассажиров. Пока стороны договаривались, общественный транспорт в Люблине стоял. Лишь поздно вечером угонщика уговорили покинуть трамвай. Он объяснил свой поступок тем, что всегда мечтал хоть раз вернуться с работы домой на любимом трамвае».

В очереди громко захохотали.

Франек торжествовал:

— Ну и фрукт, верно? Хорошо еще, что он не был пилотом!

Люди рыдали от смеха. Даже хозяин лавки, пан Вацек, вышел на улицу поглядеть, что происходит.

— Почитайте еще... еще что-нибудь, пан Франек... — наперебой кричали зрители, смахивая слезы. Франек тут же посерьезнел и принялся листать газету. На предпоследней странице задержался и объявил:

— Про авиакатастрофу. Пойдет?..

— Авиакатастрофа... — выдохнули слушатели, будто ничего смешнее им слышать еще не приходилось.

Франек обвел всех взглядом, очередь замерла. Хозяин лавки, пан Вацек, стоял, прислонившись к дверному косяку, в ожидании, что за этим последует. Франек начал читать:

— «В прошлый понедельник на борту пассажирского лайнера, выполнявшего рейс Краков — Берлин, произошел несчастный случай, стоивший жизни двум пассажирам...»

— Но этой газете уже три года... — крикнул кто-то.

Пропустив замечание мимо ушей, Франек продолжал:

— «По не установленным до сих пор причинам через четверть часа после взлета открылась дверь запасного выхода. Прежде чем экипаж успел принять необходимые меры, двоих пассажиров вытянуло за борт...»

Слушатели разразились хохотом.

— «Как выяснилось, в результате инцидента пострадали некий богатый бизнесмен и сапожник из Варшавы, всю жизнь копивший на это путешествие. Когда они поняли, что произошло, бедняги разговорились. Сидя в самолете, они не чувствовали друг к другу особой симпатии, теперь же стали гораздо общительнее. Они падали, оставаясь на таком же расстоянии друг от друга, как прежде в самолете, и могли достаточно хорошо слышать друг друга, если старались говорить погромче. Под влиянием шока оба продолжали вести себя так, будто все еще находились в самолете. Бизнесмен рассказывал сапожнику о своей семье и о добермане, показал ему фотографию своей виллы. Когда ветер вырвал фотографию у него из рук, пришел черед сапожника, и тот поведал о своем домике с крышей из черного рубероида.

Через пять минут полета, когда земля внизу была уже хорошо видна, оба замолчали. Они вывалились из самолета как раз во время обеда, поэтому у каждого в руках оказалась бутылочка вина. Они чокнулись и выпили. Выброшенные бутылочки взмыли вверх, мужчины переглянулись: волосы у них стояли дыбом, они почти синхронно взмахивали руками. Внезапно заметили, что очень друг на друга похожи, и удивились, как это не пришло им в голову раньше. Они назвались. Фамилии были одинаковые. Удивительное совпадение! Оказалось, что это родные братья, которые не виделись с детства и ничего друг о друге не знали.

На радостях они обнялись и поклялись отныне никогда не разлучаться. Внизу они увидели озеро. Растерянно переглянулись и через несколько мгновений рухнули в воду. Больше никто их не видел...» — с чувством глубокого удовлетворения закончил Франек и сложил газету.

— Они оказались братьями! — радовались слушатели.

— ...Падая, еще успели бутылочку распить... Потом это озеро... — гудела очередь.

— Их до сих пор не нашли, — добавил Франек.

Пан Вацек, хозяин лавки, который видел эту сцену впервые и не знал еще, что это просто комедия, аж покраснел от удовольствия. Он отступил в сторону, освобождая проход, и повернулся к Франеку:

— Входите-входите, пан Франтишек, прошу... Мне еще не приходилось слышать столь интересной статьи... Здесь вас обслужат без очереди... У вас, конечно же, мало времени и вообще...

Франек с удивлением посмотрел на хозяина и обвел взглядом остальных, выжидая, как отреагируют в очереди. Никто ничего не сказал, зрители изо всех сил старались сдержать смех, догадываясь, что за этим последует.

— Входите же... Входите, — манил его пан Вацек. Франек сунул газету в карман брюк, показывая, что сегодня читать больше не намерен, и последовал за хозяином.

— Чего изволите? — осведомился Вацек, заступив за прилавок. Снаружи люди облепили окна лавки, чтобы ничего не пропустить. Франек выложил свой список.

— Восемь булочек, пачку чаю и килограмм помидоров, — выпалил он. — Вот, прочтите сами.

Он протянул листок хозяину. Вацек уставился на художества пани Мушек.

— Могу повторить, — сказал Франек. — Восемь булочек, пачку чаю и килограмм помидоров. Или вы читаете не лучше меня, пан Вацек? — прибавил он с тревогой.

— Сию минуту, — пробормотал сбитый с толку Вацек. В третий раз за утро в очереди смеялись до слез.

Вечером Франеку досталось. Шагая по кухне из угла в угол, сапожник Мушек осыпал брата упреками. А тот, понурив голову, сидел за столом и слушал.

— Ты выставляешь нас на посмешище! — причитал сапожник. — Не успел приехать, а на тебя уже пальцем показывают.

— Я здесь целых три недели, — тихо возразил Франек.

Мушек остановился и уставился на брата:

— Ну как ты не понимаешь? Ты же неграмотный!

Франек кивнул.

Пани Мушек внесла еду и поставила на стол.

— Сегодня у нас тушеный окорок, — возвестила она. — Любишь окорок, Франек?

Франек посмотрел на тарелку. Казалось, при виде еды он тут же позабыл все, что говорил брат.

— Больше всего на свете! — обрадовался он.

Сапожник глубоко вздохнул:

— С завтрашнего дня будешь мне помогать в саду. Работа — лучшее средство от этого твоего чтения.

— Угу... — кивнул Франек. Его рот был занят едой.

Но еще в тот же вечер сапожнику Мушеку довелось услышать, как Франек, который читать не умеет и уже никогда не научится, в своей комнате себе самому громко читает историю о пропавших без вести братьях, которые вывалились из самолета.

6

В то лето, когда объявился брат сапожника Мушека, в нашем лесу было на удивление много птиц. Непонятно, откуда они взялись. Воробьи, скворцы, певчие и черные дрозды — вся эта огромная птичья стая рано по утрам взмывала в воздух и отправлялась на поиски корма. Чаще всего путь их лежал в наши сады, где росли подсолнечники и зрели сладкие груши.

Сад сапожника Мушека был ближайшим к лесу, и большая часть птиц собиралась там. Чтобы они не склевали в его саду все подчистую, нужно было немедленно соорудить пугало.

На это потребовалось два дня. Мушек сшил его на своем «Зингере» из русской шинели и старой подушки. Франек помогал ему. С раскрытой газетой в руках он сидел рядом на скамейке и читал брату вслух. Особого впечатления на сапожника Мушека все эти статьи по-прежнему не производили, но некоторые все же нравились и ему. Их-то и должен был Франек дважды в день читать вслух.

В первый раз — ранним утром, когда Мушек только вставлял нить в иглу своей машинки. И еще раз — около полудня, когда ему уже хотелось выбросить к чертовой матери все, что было уже сделано.

Особенно сапожник любил одну статейку. Речь там шла о знахарке, которая лечила людей травами, но точнехонько в свой семидесятый день рожденья попала под комбайн.

Как обычно собирая травы на пшеничном поле, она вдруг задремала. Тут как раз подошел комбайн и в две секунды всосал ее. Вывалившись с другой стороны машины, она имела уже форму куба, как прессованная солома.

Трудно сказать, почему Мушеку нравилась именно эта история, но каждый раз, когда Франек добирался до места, где знахарку одолевает дремота, Мушек разражался хохотом, в точности как люди из очереди, и смеялся до слез. Франек, которому до сих пор не приходилось видеть, чтоб брат его так смеялся, принимался ковырять в носу и еще старательнее приукрашивал свой рассказ:

«...Мало того что старуха крепко спала, она была к тому же туговата на левое ухо... — читал он, — комбайн же надвигался на нее слева. Комбайнер в это самое время жевал бутерброд и не слишком внимательно смотрел вперед. Вдруг внутри машины раздался странный треск. Водитель подумал, что в механизм затянуло толстую ветку. Когда же из трубы вывалился куб, обвязанный колыхавшимся на ветру фартуком, бутерброд выпал у бедняги изо рта, и он стал белым как мел...»

— Вчера комбайн надвигался справа, — с неудовольствием отметил Мушек, не отрываясь от работы.

— Слева, справа... Какая разница? Было слишком поздно. «Самое худшее произошло, — продолжал Франек. — Похороны были торжественны и печальны. Ведь старуху все знали. В прошлом ей довелось избавить от язвы желудка нескольких обитателей политического Олимпа. Некоторые даже пришли на похороны. Торжественная речь председателя Счетной палаты — в свое время у него был гастрит — продолжалась час. Ближе к концу своей речи он вытащил из кармана носовой платок, который в дни юности будто бы получил в подарок от покойной. Поднял над головой, чтобы все могли его видеть, и громко прочел изречение, вышитое на нем собственноручно усопшей: «В лес иди, человек, и проживешь ты целый век». Участники похорон, разумеется, засмеялись. Такое иногда случается во время великих событий», — закончил Франек и сложил газету.

Склонившись над швейной машинкой, сапожник продолжал трудиться. Через два дня пугало было готово. Мушек установил его позади дома, чтобы птицы не объедали фруктовые деревья.

Но птицы в то лето вели себя очень странно. Еще через два дня они уже точно знали, что пугало не представляет для них никакой опасности. Теперь по утрам огромной стаей слетались они в сад сапожника. Словно какая-то таинственная сила влекла их сюда. Мушек был в отчаянье. Не верил своим глазам: каждый божий день в один и тот же час стая птиц снова и снова прилетала в его сад.

— Откуда такая туча птиц? Что, у Косы, например, плодовые деревья хуже, чем у меня?! — Сапожник только качал головой и беспомощно оглядывался. Если взгляд его при этом падал на Франека, тот пожимал плечами и уходил в дом.

Вообще во время этой птичьей чумы Франек тоже вел себя как-то странно. Стал запираться в комнате. Выходил из дома только по вечерам. Старался не привлекать к себе внимания и держаться от птиц как можно дальше.

Но как-то раз после обеда Франек все-таки присел на скамейке в саду. Он был погружен в себя и не сразу заметил, какая тишина воцарилась с его появлением. Где же птицы, которые в этот час обычно чирикают на деревьях? Франек размышлял об этом, когда в кронах деревьев вдруг поднялся невообразимый гвалт. Воробьи, скворцы, певчие и черные дрозды со всех сторон летели прямо к нему. Франек замер от удивления, а птицы расселись у его ног, образовав широкий круг. Казалось, они совсем его не боятся. Несколько старых воробьев подобрались к нему так близко, что он запросто мог схватить их.

Франек почесал в затылке.

— Чего уставились? Ничего вы от меня не получите! Мой брат подсчитал, что за день вы сжираете три килограмма груш. Вам что, больше нечем заняться, кроме как дни напролет набивать себе брюхо?

Птицы с любопытством разглядывали его. Похоже, его речь не произвела на них впечатления.

И тут произошло нечто странное. Франек украдкой огляделся по сторонам, будто боялся, что его увидят.

— Валите прочь к черту, — скороговоркой зашептал он, — вы соображаете, что будет, если кто-нибудь меня тут с вами увидит? Как вы меня нашли? — Это тоже не возымело действия, и он перешел к угрозам: — Если сейчас же не уберетесь, я позову брата. Он спит и видит, как бы с вами разделаться.

Птицы продолжали смотреть на Франека, словно его угрозы не были им в новинку.

— Хватит с меня, — объявил он, — я вас предупредил. — Повернулся в сторону дома и крикнул: — Антоний! Антоний!.. Куда ты подевался?

В открытом окне появилась голова Мушека. Сапожник смотрел в ту сторону, откуда слышался голос брата.

— Здесь я! Здесь! — крикнул Франек, взмахнув рукой. — Я вас предупредил, — шепотом сказал он птицам. — Только погляди, что делается! — заорал он, указывая на птиц у своих ног.

Мушек от удивления открыл рот. Высунулся из окна почти по пояс: еще немного, и свалился бы в сад.

— Что там делают эти твари?! — разволновался он. — Что ты им даешь?

— Да ничего я им не даю!

— Гони их! А не то принесу метлу!

Франек замахал руками и заорал во все горло:

— Кыш, паразиты! Кыш! Катитесь к черту!

Птицы не двинулись с места. Франек повернулся к брату и только развел руками:

— Видишь? Ничего не могу поделать. Они меня не боятся.

Мушек посмотрел на брата, потом на птиц, потом снова на брата.

— Сидят как приклеенные. Почему они не улетают?! Это же ненормально.

— Ненормально, — согласился Франек. Тон его свидетельствовал, что с этим явлением он сталкивается не впервые.

— Надо заманить их в ловушку, — размышлял сапожник Мушек.

Франек покачал головой:

— Вряд ли поможет.

— Ты-то почем знаешь, поможет или нет? — спросил Мушек, совершенно сбитый с толку. Франек сунул руки в карманы. Потом снова вытащил их. Взглянул на брата и произнес:

— Они здесь из-за меня.

— Вот как? — усмехнулся Мушек.

— Ну да. Повсюду таскаются за мной. Где бы я ни был, они меня находят. На этот раз прошло недели две, прежде чем они меня разыскали. Теперь уже не отстанут. Упрямые. Летят за мной, даже когда я в туалет иду.

— Они у тебя что, дрессированные?

— Нет. Просто я спас им жизнь. Еще когда работал у нотариуса, того, с ружьем. С тех пор они повсюду за мной таскаются… Ничего не могу поделать.

— Но ведь это было тридцать лет назад! — вскричал Мушек. — Птицы столько не живут!

— Не скажи! Они живут столько же, сколько люди, — он указал пальцем на двух воробьев, примостившихся у его ботинка. — Я их различаю. Знаю их всех. Эти вот те же, что были там. Конечно, они успели вывести целую кучу птенцов, поэтому их так много. Младшие подражают старикам. Думают, я у них что-то вроде дядюшки, бог его знает...

— Дядюшка? Ну-ну.

— Не веришь? Смотри.

Франек поднялся на ноги и зашагал по дорожке. Дошел до калитки, обошел вокруг дома и вернулся к скамейке. Птицы не отставали ни на шаг и, когда он снова уселся, сгрудились у его ног.

— Видел? — спросил не без гордости. — Теперь-то уж они меня не отпустят.

— И фрукты жрать не будут?

— А я почем знаю?

Сапожник Мушек задумался. Потом сказал:

— Никому не рассказывай, Франек. Даже моей жене. А то через пару дней об этом будет болтать весь город. Им вовсе не обязательно знать, что ты с птицами... — он сделал рукой неопределенный жест, — в дружбе.

— Это они со мной в дружбе! — воскликнул Франек. — Они мне осточертели!

— Ладно, отстань, у меня голова болит, — для убедительности Мушек схватился за голову, — а ты еще этих дармоедов мне на шею повесил! Они сожрали у меня добрую половину плодов, а самое лучшее в мире пугало для них что твой клоун! И все из-за тебя. Сам заварил кашу, сам теперь и расхлебывай.

— Что же мне делать? — встревожился Франек.

— Работать будешь.

— Работать?!

— Ну да. Птиц пасти.

— Да это же не я их пасу. Это они меня пасут!

Мушек махнул рукой:

— Какая разница-то? Пока ты сидишь здесь, на скамейке, мои деревья в безопасности. Ясно?

— Угу...

— Я куплю целую кучу газет, чтобы ты не скучал.

— Спасибо.

— Завтра же и начнем, — сказал Мушек. Потом вынес из дома кусачки и уселся разбирать пугало. Отмахнулся от Франека, желая показать, что слышать ничего не хочет, и вообще ужасно расстроен полным неуважением к своему пугалу, и теперь, в наказание, Франеку самому придется выполнять роль такового. Потом удалился с драгоценным чучелом под мышкой.

Франек оглядел птиц у своих ног и прошептал:

— Так бы вас всех и передушил. По одной.

7

Новость о необыкновенном влиянии Франека на пернатых облетела наш городок быстрее молнии. Люди приходили издалека, чтоб только увидеть, как он сидит на скамейке в окружении нескольких сотен птиц.

Это было настолько странное зрелище, что у забора постоянно толпились люди с раскрытыми от удивления ртами. И качали головами. Вдоволь насмотревшись, окликали Франека: что, мол, все это значит. Но он только прикладывал к уху ладонь, кричите, мол, гро́мче — ведь из-за птичьего гомона нельзя было разобрать ни слова. А если кричали громче, из дома выскакивал сапожник Мушек с недошитым ботинком в руке и бежал прямиком к забору, выкрикивая на ходу:

— Подите к черту! Это вам не цирк!

Зеваки отступали на пару шагов. Ребятишки, напротив, протискивались вперед и спрашивали его:

— Пан Мушек, а что это Франек там делает?

Мушек наклонялся вперед, чтоб сквозь прутья забора разглядеть дерзкого мальчишку.

— Сам, что ли, не видишь, негодник?

— Не-а.

— Работает.

Зеваки хихикали. Мушек замахивался ботинком, и толпа рассасывалась так же быстро, как перед тем собралась.

Если сапожника не было дома, Франека охраняла невестка. Приносила из чулана метлу и размахивала ею над забором, стараясь достать кого-нибудь из любопытных. Но ее всерьез не принимали. Люди со смехом отскакивали, и те, кого она задевала, смеялись громче всех.

Однажды она заехала почтальону Мотылю по голове — стоя слишком близко к забору, тот зазевался. Он упал как подкошенный. Из огромной сумки на землю посыпались сотни писем в белоснежных конвертах. Пани Мушек перепугалась до смерти — решила, что убила единственного нашего почтальона. Но пан Мотыль тут же открыл глаза, покачиваясь, поднялся на ноги и принялся осыпать ошарашенную сапожницу комплиментами:

— Брависсимо, мадам! Брависсимо! Я это заслужил... Именно это... Вот бы моя жена хоть чуть-чуть походила на вас! — бормотал он, ползая на четвереньках и подбирая письма.

Но кое-что изменилось. Франек работал, и отношение пани Мушек к деверю стало иным. Вместо того чтобы хвалить его: наконец-то, мол, стал похож на брата, сапожница к нему придиралась. То ей вдруг не понравится, как Франек за столом держит вилку и нож; то, как он поет в ванной, то его привычка вывешивать кеды на шнурках за окно. Что бы Франек ни делал, как бы ни старался ей угодить — смягчить невестку не удавалось.

Как-то раз они вдвоем сидели в кухне. Было еще лето, хоть август уже кончался и дни стали заметно короче. Косые лучи вечернего солнца падали прямо на стол, за которым они сидели. Мушек ушел к клиенту: снимать мерку для новых ботинок. Пани Мушек и Франек пили вишневый сок. В доме еще с обеда ощущался запах жареной курицы. Сапожница сидела на стуле и смотрела в окно. Оба молчали.

Пани Мушек не произнесла ни слова, не удостоила деверя ни единым взглядом, но Франек твердо знал, что опять провинился, что-то сделал не так. Он был убежден, что на самом деле невестка смотрит на него. И чем демонстративнее она отворачивалась, тем крепче становилось в нем чувство вины, хотя он и понятия не имел, в чем эта вина состоит. Наконец он не выдержал и прервал молчание.

— Ты сама забила курицу? — спросил он.

— Нет, — ответила она не шелохнувшись.

— Тебе что-нибудь рассказать? — предложил он.

— Нет, спасибо.

— Могу почитать вслух... только принесу газету, она наверху.

— Сиди.

Пани Мушек смерила Франека взглядом, который более походил на острый кинжал. Глаза ее с укором задержались на его лице, оглядели шею, рубашку и даже брюки. Он позабыл все, что хотел сказать.

— Как случилось, что ты в жизни ничего не достиг? У других работа, постоянный доход. Дом, дети... А у тебя? Пачка старых газет в рюкзаке. Как ты так можешь? Просто не понимаю.

— У меня есть еще шорты и кеды.

— Не смешно. Ведь тебе уж за пятьдесят, пусть ты и выглядишь моложе. В твоем возрасте люди выходят на пенсию и наслаждаются покоем в собственном саду.

— Так и я целыми днями наслаждаюсь покоем в саду.

— Есть разница. Ты не на пенсии.

— Но ведь если меня не знать, просто идти мимо, как определишь, на пенсии я или нет?

— Здесь тебя знают все. Каждый, глядя на тебя, думает: «А вот и дурачок Франек». Ты вообще в курсе, что о тебе говорят?

— Меня все любят.

— Потому только, что ты в гостях. Вот поживешь с годик, поймешь, что они думают на самом деле.

— Через пару недель я уйду. Осенью.

Пани Мушек потерла лоб, будто ей стало нехорошо.

— Ну, не будем больше об этом.

— Что с тобой? — с беспокойством спросил Франек. — Принести порошок?

— Сиди. Когда ты в последний раз стригся?

Франек пощупал свою прическу.

— Точно не знаю... С полгода назад, наверное...

С кислой улыбкой сапожница спросила:

— Длинноваты, ты не находишь?

— Угу...

— Через час вернется Антоний, у меня будет куча дел. А сейчас я могла бы сходить за ножницами и остричь тебе волосы. Что скажешь?

— Не знаю. Ты серьезно? — спросил Франек, пятерней приглаживая волосы.

Пани Мушек энергично поднялась и принялась убирать со стола.

— Когда еще у тебя будет такая возможность! — сказала она и скрылась в ванной. Франеку показалось, что невестка будет недовольна, если он откажется. А ведь он и так уже доставил ей массу хлопот и на этот раз возражать поостерегся. Он услышал, как невестка моет руки, выдвигает ящик и тут же задвигает его. В следующее мгновение она уже снова стояла на кухне с ножницами и полотенцем в руках.

Она указала на его стул и попросила:

— Отодвинь подальше, чтоб волосы не падали на стол… еще... так… нет, еще чуть-чуть.

Франек исполнял ее приказы, как солдат.

Пани Мушек обвязала вокруг его шеи полотенце.

— Что ты на меня так смотришь, — сказала она, — это недолго.

Франек только кивнул, в тот же миг прядь его волос упала на пол.

— Раньше я всегда сама стригла Антония, — продолжала она. — По воскресеньям. После завтрака. Потом он доставал из шкафа лучший костюм и мы отправлялись гулять. Иногда шли в церковь, слушали проповедь. На самом-то деле Антоний просто хотел подразнить священника. Мы садились в первом ряду. Антоний снимал шляпу, чтобы все видели его новую прическу. Святому отцу это действовало на нервы — он-то был лысым. Он скрежетал зубами, да так, что даже в последнем ряду было слышно.

Пани Мушек вздохнула:

— Так-то вот... А теперь он и сам облысел.

— Расскажи, как вы познакомились? — попросил Франек.

— Это было двадцать с лишним лет назад. Я тогда работала в кондитерской лавке на Хмельной. Теперь там химчистка. Когда я шла с работы, моя одежда пахла шоколадом. Люди оборачивались и смотрели мне вслед. Однажды Антоний пригласил меня в кино. Он работал неподалеку в обувной мастерской. Мы пошли в кино сразу после работы. Через пятнадцать минут во всем зале уже пахло шоколадом. Люди смотрели на нас и улыбались. Антоний понял, что запах от меня, и посмотрел так, как никто никогда на меня не смотрел, — пани Мушек хихикнула. — Фильма я совершенно не помню.

— Да-да, — кивнул Франек, — в детстве Антоний был охоч до сладкого.

Пани Мушек наклонилась к нему, и нос Франека уткнулся в ее блузку.

— Слышишь запах? — В ее шутливой интонации прозвучало странное любопытство.

— Через двадцать лет? — удивился Франек.

— Неужели нет? — Пани Мушек наклонилась еще ниже. Нос Франека очутился между двумя холмами, приподнимавшими блузку.

— Я слышу только запах курицы, которую мы ели на обед, — признался Франек и, чтобы не обидеть невестку, добавил: — Слышу, как бьется твое сердце… Колотится, будто молоток.

Пани Мушек покраснела.

— У меня аритмия. Это, между прочим, серьезно.

— Наверное, нужно сходить к врачу? — попытался Франек выйти из положения.

— К врачу? — воскликнула пани Мушек. — Да что он понимает в женских болезнях? Посчитай лучше, как часто оно стучит.

— Сердце?

— Что же еще?

Франек глубоко вдохнул и принялся считать:

— Один, два, три...

— Торопишься, давай помедленнее...

— ...четыре... пять... шесть...

— Да ты считать не умеешь, — поддела она его.

Франек почувствовал, что покрывается потом.

— Неправда! Я умею считать до тысячи.

— Так давай считай.

— Нет, ты права. Я не умею считать до тысячи.

— Вот ты сказал, что осенью уйдешь. Почему ты не хочешь остаться с нами?

— Не хочу, и все.

— А если Антоний будет против? Ты нужен ему. Кто будет пасти птиц?

— Все равно уйду. И птицы со мной.

— Франек! — потребовала пани Мушек. — Посмотри на меня.

Франек поднял голову. Глаза их встретились. Больше всего хотелось ему опустить голову. Но сапожница всем телом давила ему на шею, отрезав путь к отступлению. Его подбородок оказался вдруг зажатым между могучими грудями невестки — проявилось ее редкое умение использовать их как тиски. Франек ощутил слабость. Ситуация выходила из-под контроля. О подобных вещах Франек имел весьма смутное представление.

— Я тоже имею право высказаться. В конце концов я жена твоего брата.

Она протянула руку и потрепала его по щеке. Франек с ужасом покосился на эту руку, будто перед ним была ядовитая змея.

— Сидишь, будто аршин проглотил, — посетовала невестка. — Если останешься, я всегда буду стричь тебя. С длинными волосами ты похож на женщину.

Мысль, что невестка всегда будет стричь ему волосы, привела Франека в ужас. И хотя ее прикосновения отнюдь не были ему неприятны, сам факт, что он полностью обездвижен, ничего хорошего не сулил. К тому же два холма у него под подбородком, похоже, вовсе не собирались сдавать с таким трудом занятые позиции.

Ужас его нарастал. Франек сделал попытку высвободиться — напрасно; воздуха стало еще меньше. Но в ту самую секунду, когда страх сделался невыносимым, его одолела странная усталость. Такая же, как в Вене во время ограбления банка, которая уберегла его тогда от неприятностей. У него больше не было сил сидеть с открытыми глазами. Ему удалось лишь слегка улыбнуться.

— Вот видишь, — обрадовалась пани Мушек, — а я уж было подумала, что ты боишься меня.

— Чтоб я боялся... — прошептал Франек.

— Я и говорю. Глупо бояться женщины! Женщина не способна причинить зло. Зло в наш мир приносят мужчины. Если правильно вести себя с женщиной, рай на земле тебе обеспечен. Любое твое желание будет угадываться прежде, чем ты его выскажешь.

Пани Мушек просто сама поражалась: надо же, какие умные слова она говорит! Она обращалась к стене, будто бы именно там находились воображаемые слушатели.

— Во-первых, женщины никогда не начинали войн. Они не способны на хладнокровное убийство. Насилие столь же чуждо им, как и управление автомобилем. Женщина всегда готова помочь и пойти на жертву. И вот вместо благодарности ее поднимают на смех...

Тут глаза Франека окончательно закрылись. Нос еще глубже уткнулся в грудь невестки.

Пани Мушек вдохновенно продолжала свою речь:

— Конечно, у женщин тоже есть недостатки. Действительно, они ищут удобной, спокойной жизни. И порой второпях выбирают не того мужчину. Мы верим: если мужчина что-то обещает, все так и будет. Соглашаемся на посредственность. Но такой ли это серьезный недостаток, Франек? Женщина хочет счастья. Как же ей быть?

Сапожница посмотрела вниз, на Франека.

— Что бы ты посоветовал?

Франек ничего не ответил. Его дыхание было ровным. Лицо неподвижным. Пани Мушек умолкла. Наклонилась к деверю и прислушалась: никаких признаков жизни. Она встревожилась.

— Франек? С тобой все в порядке? — спросила она. — Франек! Отвечай!.. Господи, я его задушила!

В эту секунду раздался громкий храп, который все объяснил: Франек просто-напросто спит. Она легонько похлопала его по щекам.

— Проснись! — крикнула с возмущением. — Сию же минуту проснись!

Но ничто на свете не могло сейчас его разбудить. То ли пани Мушек этого не знала, то ли просто не могла с этим смириться, но она крепко обхватила голову деверя и принялась довольно сильно ее трясти. Было похоже, что она хочет оторвать ему голову.

— Будешь ты отвечать или нет? — кричала в ярости. — Ты меня не слушал! Тебя совершенно не интересует, что я говорю! Никто еще так меня не унижал! Ты делаешь из меня... — она затравленно огляделась по сторонам, — идиотку!

Выкрикнув все это, пани Мушек немного успокоилась. Кажется, поняла наконец, что все усилия тщетны.

— Не понимаю, — пробормотала она, — как можно уснуть, когда тебя стригут? Трудно было подождать, пока я закончу?

Вместо ответа, Франек вновь испустил громкий храп. Это оказалось последней каплей. Пани Мушек схватила ножницы и вцепилась в его прекрасные волосы. Время от времени она делала шаг назад и с довольным видом оглядывала свое творение. Храп, ставший теперь ритмичным, будто удваивал ее энергию. Через десять минут все было кончено. Она отложила ножницы и залюбовалась необычным зрелищем: вместо того чтобы, как обещала, модно постричь Франека, она обкорнала его наголо. Пани Мушек повернула его голову влево, потом вправо, лицо ее при этом выражало умиротворение. Насытившись созерцанием, она прошла в ванную. Убрала ножницы в ящик. Бросила полотенце в корзину с грязным бельем.

Потом остановилась перед зеркалом и вперилась взглядом в свое отражение.

— Тебе не следовало так поступать, — проговорила она. Но другая ее половина, считавшая, что «это послужит ему уроком», в конце концов одержала верх.

Франек проспал полчаса. Проснулся, только когда домой вернулся брат. То, чего так и не смогла добиться невестка, произошло само, едва в замке шевельнулся ключ: сапожник Мушек отпирал входную дверь. Когда тот появился на кухне, Франек уже полностью пришел в себя, правда, о своем несчастье он еще не догадывался.

Пани Мушек готовила ужин. Казалось, она вообще не замечает Франека. Сапожник прицепился было к брату.

— Расселся тут посреди кухни... — проворчал он, присмотрелся чуть повнимательнее, и взгляд его упал на голову Франека. — Что случилось с его волосами? — удивился Мушек.

— Понятия не имею. — Пани Мушек пожала плечами. Франек посмотрел на брата снизу вверх и провел ладонью по голове.

— Где мои волосы? — шепотом спросил он.

— Чего ты на меня-то уставился! — огрызнулся сапожник. Франек перевел взгляд на его жену.

— Где мои волосы? — повторил он. Голос его дрожал.

Пани Мушек не спеша обернулась и смерила его долгим многозначительным взглядом.

— В помойном ведре.

Сапожник смотрел то на жену, то на брата. Чтобы не расхохотаться, нужно было что-нибудь сказать. Он похлопал брата по плечу:

— Не так уж и плохо, Франек. Могло быть гораздо хуже.

Выдвинул ящик кухонного стола и откуда-то из-под катушек и обрезков кожи вытащил зеркальце.

— Держи. Теперь, глядя в зеркало, будешь вспоминать свою невестку.

— Очень смешно. — Пани Мушек слабо улыбнулась мужу.

Дрожащими руками Франек взял зеркало и поднес к лицу.

— Совсем неплохо, — нахваливал Мушек его новую прическу. — Теперь ты мне даже чем-то напоминаешь Рудольфо Валентино.

Мушек обернулся к жене.

— Не правда ли, радость моя? Помнишь, ты все твердила, что я похож на Грегори Пека?

Сапожница всплеснула руками и закатила глаза.

— Боже! За что мне такое счастье! Грегори Пек и Рудольфо Валентино, оба в моем доме!

Мушек удивился.

— Что это с ней сегодня, Франек?

Тот все еще был в шоке. Не отводил глаз от зеркала.

— Ну как? Нравится? — спросил его Мушек.

— Не знаю... — пробормотал Франек. По крайней мере, к нему вернулся дар речи.

— Через пару месяцев будет как прежде. — Мушек осторожно вынул зеркало из его рук. — Потом хоть целый час собой любуйся. А сейчас пора ужинать.

Франек робко взглянул на брата.

— Антоний? — тихо спросил он.

— Что?

— А кто такой Рудольфо Валентино?

Сапожник на секунду задумался.

— Спроси лучше невестку, она тебе расскажет, — улыбнулся он.

8

Осенью все стало меняться. Сперва изменилась погода. Зарядили дожди. Фруктовые деревья в саду то и дело роняли листья. Из окна уже видно было улицу. Дома словно отпрянули друг от друга. Стало как-то просторнее. Лавка на углу как будто отодвинулась. Люди выходили за покупками в длинных пальто, выглядели более торжественными и печальными.

Но сильнее всего переменился Франек. Едва началась осень, он отказался от обычных своих прогулок. В лавку на углу он теперь и вовсе не заходил. По непонятным причинам стал вдруг сторониться людей. Почти все время сидел в саду. Покидал свой пост, лишь когда ему было нужно что-то в доме. Вдобавок временами он стал проявлять необыкновенное упрямство, чего прежде за ним не водилось. Все делал не так, как раньше. В хорошую погоду забивался в комнату и часами оттуда не вылезал.

Едва начинался дождь, выходил в сад и усаживался на скамейку. Его не заботило, что одежда промокла насквозь, а газеты, лежавшие рядом на скамейке, превратились в кашу и их теперь невозможно читать. Никто не мог понять, почему он так себя ведет. Проходя мимо забора, люди качали головой, но никто с ним не заговаривал. Только птицы хранили ему верность. По-прежнему сопровождали его повсюду.

В дождь, когда он сидел в саду, птицы усаживались полукругом у его ног и чего-то ждали. Если он оставался в комнате, копошились на подоконнике. Франек выглядел теперь заметно хуже. Был бледен, порой дрожал. Птицы изрядно похудели. У некоторых недоставало перьев в хвосте.

Когда Франек сидел так в саду под дождем, пани Мушек выходила из дома с зонтиком в руках и говорила ему:

— Иди в дом.

— Дождь скоро кончится, — с улыбкой отвечал Франек. Указывал пальцем на самые темные тучи и говорил: — Видишь, вон там просвет.

Пани Мушек качала головой, придерживая над ним зонтик. Но, перестав чувствовать капли дождя, Франек тут же вскакивал и пересаживался на другой конец скамейки.

— Будешь продолжать в том же духе, заработаешь воспаление легких.

— Ну и пусть.

— От него можно умереть.

— Ну и пусть.

Упрямые нотки в его голосе крепли день ото дня. Мушеки вновь принялись гадать, что же все-таки привело Франека к ним. До сих пор они склонялись к мысли, что тот просто соскучился, теперь уже не были в этом уверены. Впрочем, вскоре все прояснилось.

Пришел сентябрь, стало холодно. Распорядок дня Франека между тем изменился: несколько дней подряд он не выходил из комнаты. Трудно сказать, что он делал. Лежал на кровати и смотрел в потолок? Или что-то замышлял и собирался вскоре приступить к осуществлению задуманного? По вечерам, уже лежа в постели, Мушеки слышали из его комнаты весьма странные звуки: будто по полу волокут что-то невероятно тяжелое. Весом никак не меньше ста килограммов. И так две недели. Наконец Мушек потерял терпение и решил поговорить с братом.

— Франек, что с тобой? Почему ты больше не выходишь из дома? Все спрашивают о тебе, — сказал он, входя в комнату брата.

— Просто им скучно. Вот и все.

— Да нет же, тебя все любят. Тревожатся о тебе. И мы тоже, я и твоя невестка.

Франек улыбнулся. Мушеку эта улыбка не понравилась.

— Недолго осталось.

— Что ты имеешь в виду?

— Скоро я вас покину.

— Опять уходишь? Ты проделал весь этот путь, пришел к нам на каких-то два месяца?

— Да.

Мушек покачал головой:

— Не понимаю я этого.

— Да я и не собирался здесь оставаться... Просто зашел, чтоб с тобой проститься.

— Проститься? Чего это тебе вздумалось прощаться?

Казалось, Франек колеблется.

— Ну, не только с тобой, Антоний. Хотел в последний раз взглянуть на дом. На эти места. Я ведь здесь вырос. Здесь умерла мама. Помнишь?

— Ну конечно... О чем ты? К чему ты клонишь? Что значит — в последний раз увидеть эти места?..

Франек подошел к шкафу и вытащил рюкзак. Рюкзак был доверху набит и весил столько, что его можно было разве что волочить по полу. Мушеку пришло в голову, что, наверное, это и есть источник странных звуков, которые они с женой слышат по вечерам.

— Так ты уже собрался?

Франек подтащил рюкзак к окну, там было светлее, и развязал.

— На это ушла целая неделя, — не без гордости сказал он.

Мушек подошел поближе и заглянул внутрь.

— Тут камни! — вскрикнул он с удивлением.

— Антоний, я все продумал.

— Что ты продумал?

Франек опустил глаза. Потом тихо сказал:

— Самоубийство.

— Самоубийство?!

— Ну да. Я решил утопиться в пруду возле станции, — признался Франек. — Один раз я уже пытался, неподалеку от Рацибора, но у меня не получилось уйти под воду. Я все время всплывал. Вылез на берег в такой ярости, как никогда в жизни. Сидел, смотрел по сторонам и вдруг понял, что ничего у меня не выходит не только потому, что нет подходящего груза. Просто это не то место. Человек должен кончать с собой там, где он вырос. Вот я и пришел к вам. И так уже два месяца потратил впустую.

— Жить со мной для тебя — просто потеря времени?

— Не сердись, Антоний. Завтра я наконец уйду, надену рюкзак и отправлюсь прямиком на дно.

— Ты что, правда пытался утопиться? В озере возле Рацибора? — Мушек не верил своим ушам.

— Да. Там потрясающе красивое кладбище.

— Но почему?

Франек ответил не сразу. Он смотрел в пол.

— Может, мне просто интересно?

Совершенно сбитый с толку Мушек уставился на брата.

— Какой интерес в том, чтобы умереть?!

Франек пожал плечами.

— Иногда мне снится сон, Антоний. Вернее, это даже не совсем сон. Я вроде уже не сплю, просто продолжаю грезить с открытыми глазами: вот иду я по берегу нашего пруда, останавливаюсь. Вокруг никого. Делаю глубокий вдох и ныряю. Вода смыкается над моей головой словно стеклянный купол. Как в кино. В это мгновение, ты не поверишь, у меня будто целая вечность впереди. Тишина такая, что я даже слышу собственный голос, хотя рот мой закрыт. Наверное, я похож на того воробышка, который свалился в горшок с медом и утонул, помнишь? Я тоже медленно иду ко дну. Только во сне мне никак не удается до него добраться, потому и интересно, что дальше будет.

— Франек? Это шутка, да? Как твои газетные статьи?..

Франек не слышал вопроса.

— Только вот птицы могут мне помешать, — пожаловался он. — Они выдадут меня своим гомоном. Представь, идет кто-нибудь мимо и вдруг слышит птичий гвалт. Он тут же поймет, что дело нечисто, и у меня ничего не выйдет.

— Так ты поэтому приехал сюда? — спросил Мушек. — Чего же ты ждал целых два месяца? Не хотел пропустить лето?

Франек посмотрел брату в глаза.

— Взгляни на меня, Антоний. Кто я такой? Идиот недоразвитый, вот и все, — проговорил он. — Я много раз слышал, что меня так называют. Люди прекрасно знают, что я все вру и выдумываю. Всю жизнь я врал! Ты вот веришь, что я был в Вене?! На самом-то деле я всегда хотел говорить правду, но почему-то мне это никогда не удавалось.

— Сделаешь то, о чем говоришь, действительно будешь идиотом.

— Сделаю, Антоний, — с угрозой в голосе произнес Франек.

— Не сделаешь. В последний момент передумаешь. Да, ты вполне способен натворить дел, но себя убивать не станешь.

Франек открыл было рот, чтобы что-то сказать, но брат сердито продолжал:

— И уж конечно, не в этом пруду.

— А все-таки я утоплюсь. — В голосе Франека зазвучали упрямые нотки, и это встревожило Мушека. Он понял: именно упрямство придает Франеку сил. Лучше всего было теперь изобразить равнодушие. Мушек встал и медленно пошел к двери. По пути споткнулся о рюкзак.

— Ты не находишь, что рюкзак слишком тяжел? До пруда почти четыре километра. Как ты потащишь такую тяжесть?

— Я достаточно силен.

С этим трудно было спорить: Франек и вправду был сложен как атлет.

— Значит, тебя не переубедить?

— Нет.

— Ясно. Тогда, если ты не против, я пойду спать. — Мушек открыл дверь, но задержался на пороге. — Надеюсь, ты сдержишь обещание и, перед тем как уйти, придешь проститься со мной и с моей женой.

— Конечно. Затем я сюда и приехал, — сказал Франек, которого спокойствие брата слегка задело.

— Да, вот еще что. Если ты покончишь с собой завтра, волосы так и не успеют отрасти, и ты навсегда останешься лысым. Спокойной ночи, Франек.

Франек поджал губы, но не произнес ни слова. Мушек развернулся и вышел из ком-

наты. Франек остался один на один со своим стокилограммовым рюкзаком. Около полуночи Мушек все же тихонько встал, поднялся по лестнице, прислушался у двери брата. Франек спал. Храп был слышен даже снаружи. Сапожник Мушек вытащил из кармана ключ и дважды повернул его в замке. Теперь его брат был заперт в комнате.

— Не верю, что ты способен на самоубийство, — бормотал сапожник, потихоньку спускаясь по лестнице. — Но осторожность прежде всего.

9

Франек не сдержал слова. Нарушил обещание проститься с братом. Встал рано утром, когда Мушеки еще спали, вылез в окно и пошел к пруду.

Часа через два войдя в его комнату, сапожник обнаружил, что она пуста. Едва ли беднягу еще можно было догнать — до пруда было не больше часа ходьбы. Мушек понял: спасти Франека может только чудо. И что же? Чудо случилось. Сапожник Мушек отправился просить о помощи своего заклятого врага.

Коса был настолько ошеломлен приходом соседа, что не смог вымолвить ни слова. Когда Мушек сообщил ему о безумном намерении брата, Коса, которому Франек нравился, молча пошел запрягать Шарабайку. Через четверть часа телега уже двигалась в сторону пруда, а враги рядышком сидели на козлах.

До пруда было четыре километра. Дорога заняла полчаса. Въехав в лес, Коса не выдержал и прервал молчание:

— Вы вообще-то знаете, что такая вот лошадь может везти двадцать человек? В Германии даже есть лошади, которые сильнее трактора. Там устраивают специальные соревнования: лошадь против машины. Почти всегда побеждают машины, но однажды верх одержала лошадь одного мясника из Аахена. Какой-то тракторный завод выкупил ее за тысячу марок.

Мушек посмотрел на Шарабайку. Она шла не слишком-то быстро.

— А вы никогда не думали продать ее? — спросил он.

— Кто ж ее купит. Она слишком стара. Я-то с удовольствием обменял бы ее на трактор.

— На трактор? А привязанность? — спросил Мушек.

— А кто сказал, что я не смогу полюбить трактор? У машины столько плюсов: не спит, есть не просит.

— Но ей нужен бензин.

— Овес тоже не дешев.

— Машина может сломаться.

— Ерунда, если есть запчасти.

Мушек умолк, посмотрел на дорогу. Он был рад, что едет к пруду не один. К тому же до сих пор ему не приходилось так мило беседовать с Косой.

Только вот мысли его все время возвращались к Франеку. Самоубийство брата казалось не более вероятным, чем снег в августе. И все же он сказал:

— Надеюсь, мы поспеем вовремя.

— Не думаю, что он это сделает, пан Мушек, — сказал Коса.

— Почему?

— Каждый из нас хоть раз думал об этом. Разве у вас не бывало таких мыслей?

— Да, но...

— Но в конце концов никто этого не делает, — продолжал Коса, — если бы все и вправду кончали с собой, на земле бы уже никого не осталось. Так ведь?

Мушек кивнул.

Коса продолжал:

— Чуть постареешь, и хочется вернуть юность. А у тебя, как назло, выпадают волосы, появляются морщины, портятся зубы. Если бы не старость, самоубийств бы вообще не было. А так время от времени эти мысли приходят в голову каждому... Но в конце концов мы живем до семидесяти, да еще и радуемся этому.

— Франек не такой.

— Ерунда. В этом все мы одинаковы.

Коса умолк. Пруд был уже виден. Чуть дальше проступили очертания железнодорожного вокзала. От него как раз отходил поезд. Грохот был слышен издалека, от самого городка. Коса подхлестнул кобылу. Оставшуюся часть пути они проехали молча. У пруда Коса остановил телегу. Они слезли и спустились к воде. Пруд больше походил на большую лужу. Казался совершенно заброшенным. Берега его поросли тростником. Было слышно, как квакают лягушки.

— Здесь тихо, — произнес Коса оглядываясь. Ничто не указывало на недавнего посетителя. Мужчины осмотрелись. Их внимание привлек небольшой предмет в центре пруда, который медленно скользил по воде по направлению к ним. Был похож на большой круглый увядший лист.

— Что это? — полюбопытствовал Коса.

— Не знаю.

Мушек встал на колени у самой воды и вытянул вперед руку. Ветер гнал странный предмет прямо на него. Он выждал, протянул руку и схватил его. Потом выпрямился, перевернул находку.

— Что это такое, пан Мушек?

— Шляпа моего брата.

В воде соломенная шляпа расползлась. Трудно сказать, сколько времени она плавала. Может быть, час, может, немного меньше. Мушек сел на траву и огляделся.

— В последний раз я был здесь тридцать пять лет назад, — сказал он.

По его тону Коса понял, что сапожник опасается самого худшего.

— Вместе с ним. Вода тогда еще была чистая... можно было купаться. Неподалеку жила девочка, которая очень нравилась Франеку. Она часто ходила с нами сюда. Однажды она заплыла на середину пруда и ей свело ногу. Все произошло очень быстро. Утонула у нас на глазах. Когда ее вытащили, она была как живая, будто ничего не случилось. На щеках играл румянец, казалось, она дышит. Такие вещи не забываются. С тех пор он и ведет себя как ребенок. Так и не повзрослел...

— Если бы он и вправду утопился, мы нашли бы не только шляпу, — задумчиво сказал Коса.

— Вы не видели его рюкзака. В нем килограммов сто, и он мог утащить с собой на дно все, что угодно. Кроме разве что шляпы.

— Ну и что. Шляпа не доказательство. Думаю, кое-кто нам поможет. Если здесь и вправду что-то случилось, этого не могли не заметить...

Мушек поднял голову:

— Кто?

Коса указал в сторону вокзала.

— Начальница станции пани Майова. Должна же была она хоть что-нибудь заметить. Оттуда пруд хорошо виден.

Мушек посмотрел в сторону станции: до вокзала не больше двухсот метров.

— Не могу поверить, что с ним что-то случилось, — сказал он.

Оба соседа поднялись и пошли. Они торопились. Мысль, что они, возможно, опоздали, обоим казалась невыносимой.

10

Начальница станции пани Майова уже десять лет была вдовой. Жила в маленькой служебной квартирке внутри станционного здания. После смерти мужа взяла на себя его обязанности и вот теперь была начальницей станции. Черная форма с золотыми пуговицами одновременно служила ей траурным одеянием. И хотя муж умер уже давно, она говорила о нем постоянно. Называла его паном Маем.

Коса и Мушек нашли пани Майову в служебной квартире. Она лежала на диване и

глядела в потолок. На столе стояла бутылка из-под вишневого ликера. В руке был недопитый стакан. Неверным движением она указала им на стулья вокруг стола.

— Располагайтесь, господа, — сказала пани Майова. — Диван мне нужен самой. Хотите выпить? — указала на пустую бутылку. — Лучший ликер в наших местах. Эта бутылка стояла у меня целый год. А вот сегодня я открыла ее.

— Спасибо, не стоит, — отказался Мушек.

— Ну нет, так нет, — проговорила начальница станции. Закрыла глаза и замурлыкала что-то себе под нос.

Коса и Мушек переглянулись.

— Мы потревожили вас, чтобы кое о чем спросить, — сказал Коса.

Пани Майова открыла глаза. Хоть и с большим трудом, но ей все же удалось направить взгляд на Косу.

— Мой сосед, сапожник Мушек, опасается, что с его братом могло случиться несчастье. Мы нашли в пруду его шляпу. Вы не заметили здесь сегодня ничего необычного?

Пани Майова расстегнула верхнюю пуговицу форменного платья.

— А как выглядит его брат?

— Стриженный наголо, в шортах и с рюкзаком, примерно мой ровесник, — вмешался сапожник Мушек.

— Такого бы я приметила за версту.

Пани Майова пошарила рукой под кроватью и с неожиданной ловкостью выудила еще одну бутылку ликера. Довольно быстро справилась с пробкой и приступила к наполнению бокала. Половина жидкости вылилась на ковер.

— Не подозревал, что вы любите выпить, — удивился Коса.

— Я католичка, — сказала начальница станции. — А в Библии нигде не сказано, что пропустить изредка стаканчик-другой такой уж большой грех. Да и чего вы хотите? Я вам разве не предлагала?

Она обиженно посмотрела на стену, где висел портрет ее мужа.

— Немного ликера никому не повредит. В конце концов ведь не каждый день видишь чудо.

— Чудо?

Пани Майова кивнула:

— Ну да, самое настоящее. В жизни не видела ничего подобного.

Она повернулась на другой бок. При этом бутылка выскользнула у нее из рук и, если бы не молниеносная реакция Мушека, непременно бы разбилась.

Пани Майова подняла глаза:

— Раз уж вы все равно здесь, подлейте мне еще.

Мушек до краев наполнил ее бокал.

— Выпейте же, — она указала на полку позади себя, — фужеры вон там.

— Сперва расскажите, что вас так поразило, — попросил Коса.

— Пожалуйста... Полчаса назад от станции отошел скорый поезд на Люблин. Впрочем, ведь это вообще единственный поезд, который здесь останавливается. Из-за него-то я сегодня и надела форму. Так вот, подав, как положено, сигнал к отправлению, я села под большие часы и стала ждать, пока он пройдет...

Видимо, происшествие действительно произвело на пани Майову сильное впечатление, она даже протрезвела.

— Вдруг слышу какой-то странный шум. В воздухе. Похоже на журчание. — Пани Майова по-детски улыбнулась. — Мне показалось, что прилетели ангелы и сейчас заберут меня прямиком к пану Маю. Смотрю вверх. Небо самое обыкновенное, голубое. И тут откуда ни возьмись появляется огромная стая птиц. И воробьи, и дрозды, и сороки — кого там только не было. Правда, вид у них несколько полинялый, худые страшно. Ну, летят они вслед за поездом. И вместо того чтобы повернуть к лесу, вдруг зависают над почтовым вагоном. Там еще сбоку вентиляционное отверстие, окон-то нет. И знаете, что потом? Одна за другой птицы протискиваются в это отверстие. Над перроном опять тиши-

на. Я сперва думала, мне почудилось. Но нет, на сон вроде не похоже. Значит, птицы действительно забрались в почтовый вагон, да там и остались.

Пани Майова покачала головой.

— В жизни не видела ничего подобного. Какого черта дроздам и воробьям понадобилось в Люблине? Можете мне объяснить?

Мушек и Коса переглянулись и облегченно вздохнули. Значит, Франек жив. Он не покончил с собой. Бросил в пруд шляпу, чтобы их провести. Может, хотел заодно обмануть и птиц, да только они его разыскали. И теперь они все вместе в почтовом вагоне едут в Люблин, разумеется зайцами. А вся эта история про самоубийство — просто очередная выдумка.

В тот момент Мушек готов был поклясться: на следующее лето Франек опять объявится у них и выдумает новую историю. Но до лета еще почти год. Он почувствовал, как отступает напряжение последних часов, и усмехнулся в ответ на улыбку Косы.

И лишь начальница станции по-прежнему выглядела встревоженной.

— Надеюсь, меня не сочтут виноватой. Ведь птицы изгадят всю почту. Она снова схватила бутылку с ликером и до краев наполнила свой стакан. — Что за времена! — пожаловалась она. — Разве могли мы раньше даже предположить, что птицы станут путешествовать поездом? Крылья-то им зачем?!

— И что же будет, когда поезд придет в Люблин? — поинтересовался Мушек.

— Ясно что. К этому времени они как раз загадят все что можно, и благополучно выберутся из вагона. Мне почему-то кажется, они не в первый раз путешествуют подобным образом.

— И никто этого не замечает?

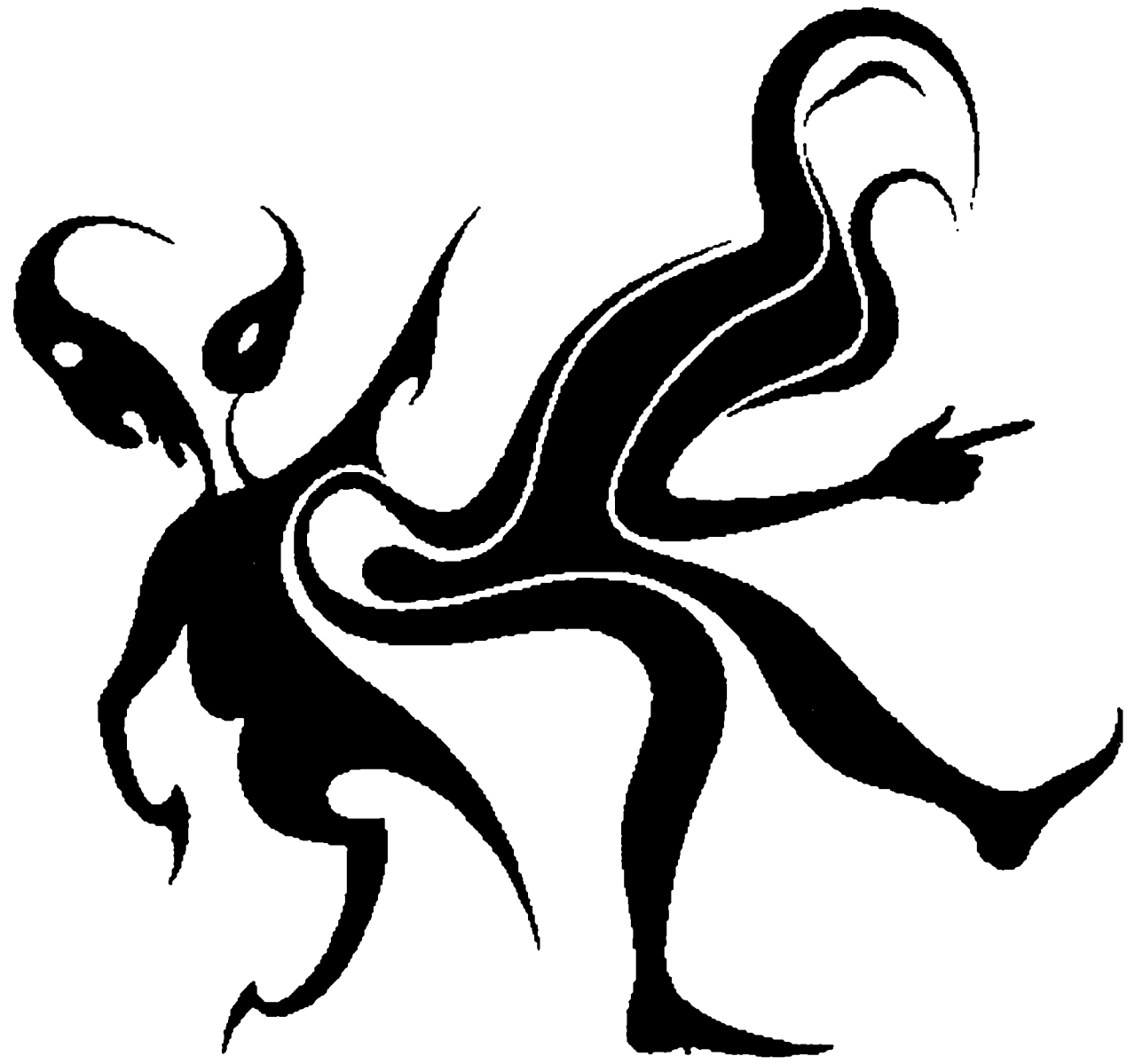
Пани Майова немного подумала. Потом выпрямилась и с улыбкой сказала:

— Никто. И знаете почему? Кто такое увидит, не поверит своим глазам!

■

ЛИТературный ГИД

ЖИЗНЬ КАК РОМАН-2



Первый выпуск — в №3, 1999

ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ

Три жизни Габриеле Д'Аннунцио

1

Вот как описывал самого себя (слегка прикрывшись для приличия масками героев) итальянский поэт, прозаик и драматург Габриеле Д'Аннунцио (1863—1938):

Достигнув осуществления в своей личности тесного слияния искусства и жизни, он открыл на дне своей души источник неиссякаемой гармонии. Он достиг способности беспрерывно поддерживать в своем уме таинственное состояние, рождающее произведение красоты, и мгновенно преображать в идеальные образы мимолетные впечатления своей богатой жизни.

Обладая необычайным даром слова, он умел мгновенно передавать самые неуловимые оттенки ощущений с такой рельефностью и точностью, что иногда только что выраженные им мысли, теряя свою субъективность благодаря удивительному свойству стиля, казались уже не принадлежащими ему... Все слушавшие его в первый раз испытывали двойственное впечатление — восторга и отвращения... («Пламя»).

Яркая и незаурядная фигура Д'Аннунцио в конце прошлого и начале нынешнего века сияла звездой первой величины на интеллектуальном небосклоне Европы. Его романами зачитывалась культурная элита (в том числе и русская), пьесы его не сходили с театральных подмостков, и трудно найти писателя той эпохи, на которого эстетика и поэтика Д'Аннунцио не оказали влияния.

В период между двумя мировыми войнами значение Д'Аннунцио начинает убывать (хотя остается еще достаточно сильным для того, чтобы итальянские футуристы, с трудом скрывая раздражение, озаглавили один из своих манифестов «Боги умирают, а Д'Аннунцио все еще жив»), а после падения фашизма почти и сходит на нет.

Однако в последнее время об *Il Poeta* (именно так, с большой буквы и с определенным артиклем именовали его в расцвете славы — честь, которую до того оказывали в итальянской культуре исключительно Данте) снова пишутся статьи и монографии. И дело здесь не столько в художественных достоинствах его творчества, которое во многом принадлежит своему времени, сколько в человеческой его судьбе, в прожитой поэтом активной и насыщенной жизни неугомонного новатора, донжуана, скандалиста, солдата и авантюриста. В этой жизни отразилась суматошная эпоха, породившая век, с которым мы вот-вот навсегда расстанемся.

Не будет преувеличением сказать даже, что это была не одна, а целых три жизни — так богаты событиями были прожитые поэтом долгие семьдесят пять лет.

2

Отец Габриеле Д'Аннунцио происходил из богатой и родовитой семьи Рапаньетта-Д'Аннунцио, которая жила в одном из самых провинциальных уголков тогдашней Италии — городе Пескара в Абруццах. Древний этот город, основанный еще в античности, за свою историю не раз переходил из рук в руки. Каждая смена власти сопровождалась кровопролитием, поскольку абруццезцы отличались упрямым и своевольным характером и воинственным нравом. Крестьяне и моряки, они были набожны и суеверны, памятливы на родовую месть, для которой бурная история края давала немало поводов. Волны различных культур, прокатившиеся по этой земле, оставили на ней обильный слой преданий и легенд, в которых языческое причудливо смешалось с христианским, латинское — с германским.

Но ко времени рождения Д'Аннунцио все эти бури были далеко позади и город мирно спал на задворках только что объединившейся Италии. Прошлое сохранилось только в устном фольклоре да давало о себе знать внезапными вспышками вражды между родами и общинами — такими, как древнее соперничество Песка-

© И. Кормильцев, 1999

ры и стоявшего на другом берегу реки Кастелламаре. В дни церковных праздников горожане со статуей своего святого покровителя направлялись к мосту через реку, где их уже поджидали жители города-соперника с палками и камнями в руках.

(Интересно, что именно Д'Аннунцио почти спустя полвека одержал окончательную победу над кастелламарцами, упросив Муссолини упразднить ненавистный город и сделать его районом родной Пескары.)

В этом заповеднике средневековья, каким была тогда — а в некоторой степени осталась и по сей день — Южная Италия, и появился на свет поэт.

Позже, создавая себе романтизированную биографию в духе то ли Светониевой «Жизни двенадцати цезарей», то ли новелл о знаменитых авантюристах Возрождения, Д'Аннунцио утверждал, что событие это произошло на борту бригантины «Ирена» во время шторма. Но на самом деле
появился на свет он при вполне прозаичных обстоятельствах — на суше, в родительском доме.

Социальные барьеры для южных людей не менее существенны, чем для северных, но на юге они часто не имеют столь зримого выражения. Поэтому детство Д'Аннунцио было детством обычного средиземноморского мальчика — ярким, вольным, богатым впечатлениями от общения с самыми разномастными представителями рода человеческого. Родственники и друзья семьи — люди, как правило, не бедные и знатные — не исчерпывали круг знакомств юного Габриеле. Никто не препятствовал ему водиться и с уличным людом — старым нищим Паскио, бывшим моряком и даже пиратом, или живописным городским сумасшедшим по прозвищу Цинциннат. Было еще много других, не менее причудливых персонажей, которые русскому читателю не могут не напомнить босяков молодого Горького (большого, кстати, поклонника таланта Д'Аннунцио). От них мальчик набрался историй и россказней, богатого запаса которых ему хватило на всю писательскую жизнь.

Дома свирепый и жадный до чувственных удовольствий отец («Он ел как Полифем и спал как Полифем», — уже на склоне лет вспоминал о нем знаменитый сын) и тихая, заботливая мать с лицом святой дополняли это собрание типов, которые так и просятся на маньеристское полотно, где все кажется преувеличенным и гротескным — жесты, позы, чувства.

С ранних лет пристрастие к риторике и театральности вошло в плоть и кровь Габриеле и определило его будущий литературный стиль. И стиль жизни тоже. Забегая вперед, надо сказать, что именно эти качества делают произведения Д'Аннунцио (особенно драматические) такими тяжелыми для современного читателя, тем более неитальянца. Невероятные страсти героев, неправдоподобный накал эмоций кажутся порой бредом, родившимся в декадентской опиумокурильне. Но если попытаться войти в мир чрезвычайно впечатлительного ребенка, погрузить себя в атмосферу увиденного его глазами барочного храма, где Христос натуралистично корчится в муках, а святые застыли в позах, напоминающих не столько классический балет, сколько современный брейк-данс, и плачут кровавыми слезами, весь этот нечеловеческий, почти смехотворный трагизм становится понятным. То, что для парижской богемы позднее казалось манящей экзотикой, для Д'Аннунцио было просто воспоминаниями детства.

В десять лет Габриеле впервые испытал чувство, которое позже назвал «spasimo dell'orrore» (нечто вроде «сладкого трепета ужаса»). Способностью испытывать именно такой «spasimo» он чрезвычайно гордился всю жизнь, всячески ее культивировал и развивал. Случилось это так: мальчик полез на крышу своего дома, чтобы снять с нее ласточкино гнездо, но упал и сильно повредил себе руку. Вид хлынувшей из раны крови вызвал у подростка сильнейшее сладострастное возбуждение. Впрочем, дело было, очевидно, во врожденной психической аномалии, а

несчастный случай просто разбудил дремавший рефлекс. С педантичностью, достойной де Сада или Захер-Мазоха, Д'Аннунцио запечатлевал это свое пристрастие на страницах многих книг. Отрубленные руки, стигматы, кровавые раны кочуют из одного романа в другой, из пьесы в пьесу с навязчивым постоянством. Как и образ мученичества святого Себастьяна, с которым писатель впоследствии начал себя отождествлять. Это и неудивительно: по воспоминаниям многочисленных подруг поэта, «игра в святого Себастьяна» была излюбленным эротическим развлечением Д'Аннунцио. Где бы Габриеле ни жил, там всегда имелись специально предназначенные для этой цели колонна или столб. Но это было гораздо позднее, а пока одиннадцатилетнего Д'Аннунцио отдают в привилегированный колледж Чиконьини.

Какие бы бури ни бушевали в душе мальчика, держать себя в руках он умел. Учителя и соученики вспоминали его как сдержанного, весьма способного ученика, неизменно заканчивавшего класс с отличными отметками, но при этом — юного денди, самого элегантного среди мальчиков, тратившего на духи, перчатки и шарфы почти все присылаемые из дома деньги.

В четырнадцать лет тем не менее успеваемость, а вместе с ней и дисциплина пошатнулись: как это обычно бывает — под воздействием первой влюбленности и проснувшегося интереса к поэзии. Первую любовь звали Клеменца Кокколини: Д'Аннунцио познакомился с ней во Флоренции на каникулах, в семье друзей отца. Вскоре произошла знаменательная история, впоследствии пересказанная взрослым писателем в литературной форме. Юная парочка отправилась в Этрусский музей, где в пустом зале надолго задержалась перед бронзовой статуей химеры.

С юношеской бравадой Д'Аннунцио засунул руку в страшную пасть чудовища и поцарапался (вполне возможно, нарочно) об острые клыки фантастической твари. Возбужденный видом собственной крови, Габриеле набросился на бедную девушку и больно укусил ее в губы. Восторг, испытанный им при этом, стал основой для будущей жизненной программы: никогда больше он ни в чем не откажет себе, будет потворствовать своим инстинктам, какими бы низменными они ни казались.

(Впрочем, несмотря на все эти романтические концепции, девственность он теряет на следующий год самым заурядным для католического мальчика образом: старший приятель заводит его в паскудный флорентийский бордель.)

Пыл ранних любовных переживаний, обильное чтение античных авторов и современных итальянских поэтов приносят поэтические плоды: в шестнадцать лет Д'Аннунцио завершает первый сборник стихотворений и при финансовой поддержке отца издает его тиражом в пятьсот экземпляров. Переполненный гордостью, дебютант дарит и рассылает книжечку всем своим знакомым, в том числе и ректору колледжа.

Здесь его ждет, впрочем, горькое разочарование. Дело в том, что сквозь общие места и патетические штампы позднего итальянского романтизма в духе Кардуччи слишком явно проглядывает необузданный темперамент. Все эти «эфирные перси, на которых проходит вся ночь» и «варварская похоть поцелуев» настораживают педагогов. Собирается административный совет, и дело идет к исключению, но юный талантливый шалопай, в общем-то, симпатичен всем и посему отделывается строгим предупреждением. Резонанс за стенами учебного заведения, однако, вскоре залечивает раны его честолюбия: во всех литературных обозрениях пишут о новом таланте — большинство критиков восхваляют его, хотя кое-кто, понятно, и поругивает.

Д'Аннунцио полон планов: стихи пишутся легко. Не проходит и года, как у него уже готова большая поэтическая книга — «Новая песнь». Она издается как вполне серьезный труд в авторитетном издательстве, но честолюбивому Д'Аннунцио мало уже существующего внимания публики. Он затевает рекламный трюк вполне в духе современной поп-звезды: в день появления книги в продаже одна флорентийская газета получает телеграмму от неизвестного лица. В ней рассказывается о трагической гибели юного поэта во время катания на лошади. Книга мгновенно раскупается, в то время как автор книги и телеграммы (это, конечно же, сам Д'Аннунцио) жив и здоров. Он даже не удосужился предупредить о мистификации родителей, которые сразу поверили в известие.

Так или иначе, внезапно свалившаяся слава и первый в череде многих и многих скандал, а также многочисленные любовные увлечения не мешают Габриеле

окончить с отличием колледж и поступить в Римский университет на отделение литературы и филологии.

(Что касается увлечений: с самого начала вполне в духе романтической поэзии Д'Аннунцио заводит привычку давать всем объектам своей страсти вымышленные имена; выбор имени при этом подчиняется строгой и сложной системе. Некоторые имена давались дважды или трижды — разным особам, в зависимости от сложной игры ассоциаций и правил классификации, размахом своим напоминающей какую-нибудь систему Линнея. В старости Д'Аннунцио отведет под архивы и картотеку собственных любовных приключений — несколько тысяч досье — целую комнату на своей вилле «Витториале».)

К 1881 году Рим был столицей Италии всего только десять лет: сонный во времена папского государства, город превратился в котел, переполненный политиканами, аферистами, предпринимателями и артистической богемой. В этот котел, где кипели страсти, и окунулся юный «дикарь из Абруцц», как его окрестили в литературной среде. Д'Аннунцио быстро сходится со столичной элитой, триумфально переиздает все свои написанные к тому времени поэтические книги, а также первый сборник рассказов и с удовольствием отдается журналистике. Он пишет сразу для нескольких изданий, в основном для разделов светской хроники, в духе скандальном, провокационном, на грани фола, с цинизмом и нахальным юмором, которые нашему современному читателю напомнили бы нечто из московской бульварной прессы новейшего времени. Пишутся и стихи: в римский период Д'Аннунцио перестает сдерживать свою тягу к претенциозно эротическим темам. Содержание очень часто носит откровенно автобиографический характер, поэтому публикация почти каждой его новой элегии или канцоны заканчивается небольшим скандалом, а иногда — и дуэлью.

В Риме Д'Аннунцио, освободившись от опеки родителей и учителей, наконец получает возможность создать собственный стиль жизни, которому не изменяет на протяжении последующих тридцати лет: сонм порхающих вокруг прелестных созданий, квартиры, заставленные цветами, античными статуями и безделушками, заваленные чудовищными собраниями гобеленов и кружев, пропахшие куреньями и дорогими сортами табака, простыни, пропитанные ароматическими эссенциями, — помесь быта индийского махараджи и фантазий провинциального эстета. Об этом красноречиво говорит опись имущества, составленная как-то раз кредиторами: «Арфа в замшевом чехле, клыки дикого кабана, позолоченная статуэтка Антиноя, алтарные дверцы, два японских фонарика, шкура белого оленя, двадцать два ковра, коллекция старинного оружия, расшитая бисером ширма...» — полный список составил бы пару страниц.

Позже приходит увлечение лошадьми и охотничьими собаками. И долги, бесконечно раскручивающаяся спираль долгов; деньги необходимы, чтобы субсидировать всю эту роскошь, поскольку литературные и журналистские заработки не в состоянии и на десять процентов прикрыть постоянно разрастающуюся финансовую брешь.

Конечно, приходится соблюдать и внешние условности: 28 июля 1883 года в возрасте двадцати лет Д'Аннунцио женится на молодой аристократке Марии ди Галлезе, в браке с которой он формально и прожил всю жизнь. Свадьба играется после бурного романа с бегством девушки от родителей, но Габриеле вскоре теряет интерес к Марии, получившей в его классификации сразу три поэтических имени — Йелла, Марайя и Мариоска. Лет через пять после свадьбы отношения с ди Галлезе полностью прекращаются, но она остается его законной супругой. Впрочем, за недолгую совместную жизнь Габриеле и Мария успевают произвести на свет троих детей.

Необузданный юный эстет вновь погружается в коловращение столичной жизни. Откровенное распутство поэта вскоре дает повод для едкого фельетона, напечатанного неким Карло Маньико в провинциальной газете «Абруцци». К несчастью, это именно та газета, которую читают родители Габриеле и его жена. Разозленный поэт вызывает коллегу по цеху на дуэль и терпит поражение. Д'Аннунцио ранен в голову. Вызванный врач обильно обработал рану модным тогда антисептиком — перхлоратом железа. Эскулап перестарался: от воздействия химиката Д'Аннунцио в двадцать три года становится совершенно лысым. В результате медицинской ошибки

и создается образ поэта — такой, каким мы его видим на многочисленных портретах и фотографиях: маленький лысый мужчина с огромным носом и рыбьими глазами навыкат, глазами маньяка или гения.

В 1889 году, ко дню выхода первого романа Д'Аннунцио «Наслаждение», жизнь его выглядит вполне сложившейся, хотя и не во всем уютной: события в этой жизни повторяются с удивительным однообразием — за одним романтическим приключением следует другое, не менее романтическое (сперва художница Барбара Леони, затем неаполитанская аристократка графиня Гравина Ангуисола — от нее у Д'Аннунцио было еще двое детей в дополнение к трем законным, — затем великая итальянская актриса Элеонора Дузе). Каждое увлечение кончается трагическим разрывом. Потребность Д'Аннунцио в роскоши становится все больше и больше, долги же достигают астрономической величины.

И на фоне всех этих жизненных коллизий пишутся книги — одна за другой. Книги, которые составили европейскую славу Д'Аннунцио: «Пескарские рассказы», «Джованни Эпископо», «Невинный», «Непобедимое» и еще многие другие, роман «Триумф смерти».

Проза и стихи пользуются неизменным успехом, пьесы чаще проваливаются. Впрочем, стилистически Д'Аннунцио неоднороден: если драмы его вполне попадают в русло исканий европейского декаданса рубежа веков, то проза, за редкими исключениями, близка к натурализму.

С начала 1890-х годов благодаря переводам начинается шумная популярность Д'Аннунцио во Франции, не без помощи верной подруги Элеоноры Дузе. Актриса энергично «продвигает» на европейской сцене зрелые пьесы Д'Аннунцио, такие, как «Мертвый город» и «Дочь Йорио», написанные Габриеле «под нее», хотя реакция публики и критиков весьма неоднозначна. К этому времени Д'Аннунцио большую часть времени проводит между Венецией и флорентийской виллой «Капончина», где «д'аннунцианский стиль» достигает своего наивысшего выражения во всем: в убранстве, в распорядке жизни, во вьющейся кругом свите слуг и поклонников. В этот период начинают возникать характерные легенды о Д'Аннунцио: Йорро[1] утверждал, что поэт пьет вино из черепа девственницы и носит туфли из человеческой кожи. Маринетти рассказывал, что каждое утро Д'Аннунцио купается в морском прибое нагой, верхом на коне, а на берегу его поджидает Дузе с пурпурной мантией в руках, чтобы накинуть ее на плечи Габриеле после купания. Тогда же впервые прозвучало словечко «д'аннунцианизмы» в приложении к подобным декадентским вывертам.

«Не отказывай себе ни в чем, потворствуй всем своим инстинктам». Это напоминает прозвучавшее полвека спустя из уст Алистера Кроули «Делай что хочешь — один закон». Но «сверхчеловеческое Я» Д'Аннунцио не заглядывало слишком глубоко в темные бездны; страсти его были, невзирая на громкие ницшеанские декларации, достаточно старомодны: женщины, роскошь и тщеславие южанина. Он мог претендовать на звание нового Петрарки или итальянского Вагнера (в смысле значения личности — музыки Д'Аннунцио не писал, хотя отлично играл на скрипке, трубе и фортепьяно), но напоминал больше всего пародию на просвещенного сеньора эпохи Ренессанса. «В сущности, он был человек простой, хотя и с опасными странностями, но вовсе не полубог, как считали его поклонницы», — подводил итог своим впечатлениям от общения с поэтом Ромен Роллан.

Честолюбие подвигло Д'Аннунцио в 1897 году баллотироваться в парламент от избирательной коллегии города Ортоны. Кандидат выступил с более чем эзотерической программой «политики красоты». «У нас больше нет времени для спокойного сна в тени лавров и миртов. Интеллектуалы, объединив свои силы, должны, исполнившись воинственного духа, выступить на стороне рассудка против варварских орд», — обращался поэт к избирателям.

Тем не менее он был избран. Став депутатом, «политик красоты», естественно, заседаниями откровенно манкировал. Чаще в это время его видели на собачьих бегах, которые стали еще одной его маниакальной страстью.

Начало нового века Д'Аннунцио встречал почти сорокалетним мужчиной. Жиз-

---

[1] Йорро (наст. имя Джулио Пиччини; 1849—1915) — классик итальянской журналистики, литературный и театральный критик.

ненные обстоятельства его при этом были достаточно печальны: На новых выборах 1900 года депутат от Ортоны потерпел сокрушительное поражение, долгая любовная связь с Дузе закончилась (хотя более трагически для актрисы, чем для Габриеле; последняя стала, по словам одного биографа, «печальной и молчаливой жертвой его безмерного эгоизма»), долговая пропасть углубилась до двух миллионов тогдашних лир (поясним современному читателю: сумму эту можно было приравнять к стоимости пяти тонн серебра), а само имя Д'Аннунцио приобрело в Италии крайне одиозный оттенок. Этому способствовало многое: и скандальный образ жизни поэта, и путаные политические высказывания, колебавшиеся в диапазоне от ультраправых до почти анархических, и становившийся все более манерным и «прециозным» язык его произведений.

И хотя многое из написанного им продолжало пользоваться популярностью, в том числе и из написанного совсем недавно (в особенности драма «Франческа да Римини», которая стала почти обязательной в репертуаре всех известных драматических театров начала века), внутреннее состояние Д'Аннунцио было неустойчивым. Длительные периоды эмоциональной депрессии и неуверенности в себе стали для него обычными в этот период жизни.

В 1908 году преследуемый кредиторами Д'Аннунцио пошел, в сущности, на мошенничество: некто Джованни Дель Гуццо, итальянский эмигрант, ставший миллионером в Аргентине, предложил организовать для поэта турне по Латинской Америке, в ходе которого Д'Аннунцио выступил бы с публичными лекциями. Под залог будущих прибылей Дель Гуццо взялся урегулировать проблему с долгами поэта. Гонорар предполагался огромный. Аванс Д'Аннунцио взял, но в Латинскую Америку не поехал. Сказав Дель Гуццо, что сперва должен подлечить зубы в Париже, Габриеле отправился во Францию. Вместо недели, обещанной Дель Гуццо, он провел там без малого семь лет.

Явление Д'Аннунцио в Париж было триумфальным. Во Франции он пользовался неизменной популярностью с начала 90-х годов, и популярность эта не была омрачена теми мелкими дрязгами и пересудами, которые окружали его фигуру на родине. Оставив бедного Дель Гуццо разбираться с латиноамериканским турне и ордой возмущенных кредиторов, Габриеле в компании с новой спутницей жизни, русской по происхождению, Наталией Кросс-Голубевой, окунулся в космополитическую жизнь довоенного Парижа. Интерес к писателю, помимо литературной славы и репутации изысканного сердцееда, подогревался также тем, что Д'Аннунцио в то время стал активным проповедником двух новомодных увлечений: авиации и кинематографа.

Авиация с самого своего зарождения привлекала Габриеле: еще до отъезда во Францию он завязал знакомство с итальянскими авиаторами и не раз совершал полеты вместе с ними. Героем своего последнего написанного в Италии романа «Быть может — да, быть может — нет» он также сделал авиатора, наверное, первым из крупных литераторов обратив внимание на эту новую профессию. Интерес к технике будущего объективно сближал Д'Аннунцио с младшими, чем он, на целое поколение футуристами, хотя Габриеле и не был с ними непосредственно знаком.

(В этом же романе Д'Аннунцио впервые использовал изобретенное им чисто итальянское слово для летательного аппарата «velivolo» — в противоположность интернациональному «аэроплан». Интересно, что в этом он подобен другому поэту — Велимиру Хлебникову, который привнес в русский язык слово «самолет».)

Кинематограф был еще одной неофитской страстью поэта: первый свой контракт на написание сценария Габриеле заключает в 1910 году; как кинодраматург он оказывается фактически пионером среди именитых литераторов того времени. И хотя контракты он редко выполнял (не только в области кино; заключать договоры с издателями на мифические или еще не написанные произведения и, в особенности, получать авансы по этим договорам было для Д'Аннунцио делом привычным), ряд фильмов по его сценариям все же был поставлен, и в первую очередь невероятная для своего времени шестичасовая (!) киноэпопея «Кабирия». В этом псевдоисторическом фильме из жизни Древнего Рима все было задумано и исполнено с типично д'аннунциевским размахом: битвы гладиаторов, египетские пирамиды, «настоящее» извержение Этны... Можно сказать, что голливудские послевоенные колоссы — все эти «Спартаки» и «Бен-Гуры» — просто шли по тропе, за полвека до этого проложенной итальянским гигантоманом.

Такой вот, модный и прогрессивный, писатель стремительно прокладывал себе путь в парижском свете, щедро раздавая направо и налево интервью и обещания и, как уж было заведено, не задумываясь занимая деньги. Особенно сблизился он с кругом Иды Рубинштейн, которая познакомила его, в частности, с Клодом Дебюсси и Бакстом. Плодом этого знакомства стала самая известная работа Д'Аннунцио парижского периода — драма «Мученичество св. Себастьяна». Она была поставлена в 1911 году — с музыкой Дебюсси, декорациями Бакста и Идой Рубинштейн в главной роли. Последнее — женщина, играющая святого Себастьяна, да еще еврейка и лесбиянка — стоило Д'Аннунцио отношений с Ватиканом. 8 мая 1911 года декретом Священной конгрегации он был отлучен от церкви, а католикам было воспрещено чтение его произведений и посещение постановок его пьес. Конфликт со Святым престолом удалось загладить только спустя двадцать пять лет, уже перед самой смертью Габриеле.

В Париже Д'Аннунцио не изменял ни одной из своих привычек: Голубева вскоре была отправлена в отставку, и жертвою его всепожирающей сексуальности пала сначала, несмотря на свои лесбийские пристрастия, Ида Рубинштейн, а затем и ее подруга, американская художница Ромен Брукс. К тому времени Д'Аннунцио уже окончательно покончил с приличиями: многочисленные любовницы проживали вместе с ним в самых причудливых комбинациях, образуя некое подобие гарема.

В отношениях с женщинами Д'Аннунцио был крайне эгоистичен и далеко не всегда бескорыстен, что не помешало ему остаться в памяти современниц великим любовником. Дело, очевидно, было, как всегда приходится признавать в подобных необъяснимых случаях, в магии. Молодая Айседора Дункан вспоминала о поэте: «Этот лысый, невзрачный карлик в разговоре с женщиной преображался, прежде всего в глазах собеседницы. Он казался ей почти что Аполлоном, потому что умел легко и ненавязчиво дать каждой женщине ощущение того, что она является центром вселенной».

Но, несмотря на все это — на всемирную славу и на любовь прекрасного пола, — любой беспристрастный наблюдатель сказал бы, что жизнь Д'Аннунцио в целом прожита, а карьера — завершена. Казалось бы, что можно было добавить к сделанному и прожитому? В предвоенном 1913 году Габриеле исполнилось пятьдесят лет, писал он все меньше и меньше, и основное уже было написано. Для большинства людей требуется какое-то чрезвычайное событие, чтобы в этом возрасте придать своей жизни новое направление. Для Д'Аннунцио таким событием оказалась война. Она оборвала затянувшуюся первую часть романа жизни и начала новую — с чистого листа.

3

Италия должна была вступить в войну на стороне Тройственного союза, однако этого не произошло — помешали общественные настроения.

Движение за разрыв соглашений и продолжение борьбы с австрийской империей, за возвращение Италии всех территорий с итальянским населением существовало уже давно. Ирредентисты («несгибаемые») требовали присоединения к Италии Верхнего Тироля, Венеции-Джулии и всего Адриатического побережья будущей Югославии. В этой борьбе были свои жертвы и свои мученики: в частности, казненный в Триесте Гульемо Обердан, бывший соученик Д'Аннунцио по университету.

Воспитанный в консервативной провинциальной среде, Д'Аннунцио всегда был настроен националистически, но ничуть не больше и не меньше, чем большинство современных ему итальянских интеллектуалов. Время от времени в связи с какими-нибудь событиями он разражался монархо-патриотической одой, иногда высказывался на политические темы, однако говорить о какой-то жесткой позиции поэта в довоенное время не приходится. Даже в период своего депутатства Д'Аннунцио оставался политическим путаником — ничего другого от модного поэта никто, впрочем, и не ждал.

Самым, пожалуй, ангажированным произведением Габриеле (и предвестником будущей борьбы) стала написанная в 1908 году. трагедия «Корабль». Этот бра-

вурный опус, посвященный восхвалению былого величия Венецианской республики, уже содержит все характерные для будущего Д'Аннунцио-политика темы: господство над всей Адриатикой, желание увидеть Италию сильной морской державой. Постановка была осуществлена с уже хорошо знакомой нам помпой, рукопись шедевра — торжественно преподнесена городским властям Венеции. Д'Аннунцио восседал в цилиндре и рединготе в гондоле, принадлежавшей потомку знаменитой семьи дожей Фоскари, Пьеро; манускрипт, врученный синдику, был завернут в красное полотнище с золотым изображением льва святого Марка; синдик вручил Д'Аннунцио ключи от города. В общем, спектакль вышел еще грандиознее, чем постановка пьесы. Тем не менее это был только эпизод в жизни Д'Аннунцио, впрочем, весьма знаменательный в свете будущих событий.

Г. Д'Аннунцио, 1915 г.

Оказавшись во Франции в начале войны, писатель занимает откровенно проантантовскую позицию. Он посещает фронт, пишет военные корреспонденции для итальянской прессы и американского концерна Хёрста. Ирредентисты и сторонники Антанты в Италии начинают присматриваться к Д'Аннунцио — им нужна крупная фигура, способная стать знаменем их движения. Однако Габриеле долго колеблется, обдумывает ситуацию, да, впрочем, и боится оторваться от привычной жизни во Франции, в небольшом поместье, где он окружен своими наложницами, лошадьми и гончими псами.

Только в 1915 году, когда общественное мнение в Италии полностью созревает для вступления в войну на стороне Антанты, он решается: 3 мая Д'Аннунцио отбывает в Италию. На границе его встречают участники добровольческих итальянских бригад, сражавшихся во Франции и Бельгии под руководством внука Гарибальди — Пеппино. По мере того как поезд движется в сторону Генуи, кортеж становится все более пышным и представительным — к нему присоединяется ряд высших военных чинов, мэры Рима и Неаполя, оппозиционные сенаторы.

В Геную Д'Аннунцио прибывает уже как триумфатор. На площади Кварто, перед огромным количеством народа он произносит знаменательную речь. Король первоначально также собирался присутствовать, но, ознакомившись с текстом речи, передумал. На самом деле решение давно принято: уже подписан секретный Лондонский пакт, по которому Италия отрекается от всех военных обязательств по отношению к бывшим союзникам, однако Виктор Эммануил III считает неразумным раньше времени афишировать уже состоявшееся предательство. Д'Аннунцио, правда, не чинят никаких препятствий, и он проводит собрание с огромным успехом.

Не все положительно воспринимают политический дебют поэта: не только германофилы и сторонники нейтралитета, но и многие поклонники поэта считают его поведение низкопробным фарсом.

Однако что до этого Д'Аннунцио?.. Он купается в лучах всенародной славы, произносит одну речь за другой и с удовольствием примеряет на себя тогу национального трибуна (что, впрочем, не мешает ему в своем обычном стиле оставить в наследство муниципалитету Генуи неоплаченный счет за шикарный номер в гостинице и услуги двух проституток).

Явившись в Рим, Д'Аннунцио вновь разражается серией воинственных речей с балкона дома, у которого постоянно дежурят толпы солдат и столичной молодежи.

Как раз в это время он впервые использует приветственный жест легионеров Древнего Рима — тот самый, который позднее возьмет на вооружение Муссолини.

23 мая 1915 года при общем ликовании Италия объявляет войну Австрии. Д'Аннунцио сразу же направляется в действующую армию, в Венецию. В скромном чине капитана, однако с негласными и неписаными привилегиями, которые обеспечены ему благодаря популярности и известности, и, конечно же, определенной дисциплинарной вольности, присущей армиям латинских наций, где герой-капрал зачастую имеет больше власти, чем генерал.

Воюет Д'Аннунцио лихо, хотя, по нашим понятиям, достаточно странно. После боевых экспедиций он возвращается в свой уютный маленький дворец на Большом канале, куда из Франции им было выписано все необходимое для жизни гения: наложницы, борзые, персидские ковры и аррасские гобелены. Быт его был устроеннее, чем быт воевавшего на том же фронте Хемингуэя. Но в бою Габриеле оказывался действительно смельчаком и азартно рисковал собой. Несмотря на свои пятьдесят два года, он записывается сначала во флот, где участвует в вылазках торпедных катеров, а к концу лета переходит в авиацию. Он летает на Триест, на Пулу, на Сплит, сбрасывает бомбы и прокламации, видит гибель боевых товарищей, при неудачной посадке повреждает себе зрительный нерв и слепнет на один глаз. С этих пор канонический образ поэта дополняется наглазной повязкой.

И все это время Д'Аннунцио пишет, но уже не художественные произведения, а доклады об улучшении положения дел в военной авиации, надгробные речи, репортажи о воздушных боях, секретные записки с проектами безумных военных экспедиций. Впрочем, особое положение Д'Аннунцио и его неподконтрольность делают его чем-то вроде полевого командира современных герилий; некоторые свои идеи он воплощает, не спросившись у начальства. Как ни странно, с успехом, причем отдельные операции навсегда входят в историю войн.

Так, в августе 1918 года он совершает боевой вылет на Вену, ставший первым в истории воздушным налетом на столицу государства-противника и, по существу, рождением дальней бомбардировочной авиации.

(По горячим следам он готовит и налет на Берлин, но тут уж командование жестко блокирует эту выходку в духе камикадзе: из-за нехватки горючего эскадрилья после налета должна была бы приземлиться на вражеской территории.)

Напомним, что на Рождество предыдущего, 1917 года Д'Аннунцио организует и проводит дерзкую ночную вылазку торпедных катеров при поддержке авиации (прожектора на катерах должны были служить навигационными ориентирами для пилотов) на австрийскую военно-морскую базу в Далмации, форт Буккари. И хотя военный эффект от этой акции был равен нулю (боевые корабли на рейде отсутствовали, пришлось ограничиться разбрасыванием бутылок с оскорбительными посланиями в адрес австрияков), театральный эффект превысил всякие ожидания.

Война завершилась 3 ноября 1918 года. Д'Аннунцио закончил ее в звании подполковника, героем в глазах солдат и большинства соотечественников. Прославленный в новом качестве, Д'Аннунцио тем не менее далек от удовлетворенности: мир не обещает ему ничего интересного. «Чувствую зловоние мирной жизни», — пишет поэт в день заключения перемирия.

Г. Д'Аннунцио в Фиуме

Нерастраченный воинственный пыл, однако, недолго остается невостребованным.

В результате сложных политических интриг союзники решают поступить с Италией так, как обычно поступают с бедными родственниками, то есть оставить без обещанного куска пирога. В накаленной обстановке разоренной войной страны это вызывает массовое недовольство, особенно среди вернувшейся с фронтов молодежи. Демобилизованные двадцатилетние, которые умеют только воевать, становятся, так же как в России и Германии, опасной и легковозбудимой революционной силой, способной оказывать давление на власть. Их влияние так велико, что сложившаяся система солдатской демократии даже получает особое название «trincerocrazia» — «власть окопов». Костяк этой жадно прислушивающейся к речам вождей молодежи составляют так называемые *«ардити»*, «пылкие» — ветераны элитных формирований вооруженных сил: гвардии, кавалерии, авиации и флота. Они ищут себе подходящего лидера. Основных претендентов на эту роль двое: молодой и энергичный Бенито Муссолини и наш герой.

Вокруг Д'Аннунцио завязывается борьба с целью перетянуть его на свою сторону. Участвует в ней и партия власти: правительство предлагает поэту звание маршала авиации и пост вице-премьера. Осторожный, когда это необходимо, Габриеле выжидает, присматривается к ситуации. По мере того как становится все более и более ясно, что на версальских переговорах Италию собираются элементарно надуть, в областях с итальянским населением начинаются восстания ирредентистов. 30 октября 1918 года в городе Фиуме (современная хорватская Риека), где восемьдесят процентов населения составляли тогда итальянцы, восстание кончается захватом власти. Восставшие провозглашают республику — с намерением впоследствии присоединиться к Италии. Город для поддержания порядка оккупируют союзники: французы и итальянцы.

Д'Аннунцио пытается определить свою политическую линию. С одной стороны, он начинает прощупывать почву для сближения с Муссолини, который в ту же осень окончательно порывает с социалистами и создает фашистское движение, объединившее значительную часть ветеранов войны. С другой — пытается склонить Пьетро Бадольо[1] к высадке подчиненных тому войск в Далмации, чтобы пересмотреть результаты войны силовыми методами. Бадольо вынужден осадить слишком строп-

[1] Пьетро Бадольо (1871—1956) — итальянский государственный и военный деятель. В 1919—1921 гг. был начальником Генштаба.

тивого подполковника; он приказывает Д'Аннунцио не совать нос куда не следует. В ответ Габриеле подает в отставку, чтобы покончить с двусмысленностью своего положения и обеспечить себе carte blanche.

7 апреля 1919 года делегация Фиуме предлагает «герою моря и неба» занять пост руководителя государства. Габриеле колеблется, ограничиваясь публикациями в газетах пылких памфлетов и произнесением патетических речей на сходках *ардити*.

Но ситуация продолжает накаляться, подталкивая колеблющегося героя к выбору. 10 июня в итальянской и международной прессе распространяются слухи о существовании заговора под руководством Д'Аннунцио, Муссолини и кузена короля герцога Д'Аосты с целью свержения правительства. Дело пахнет арестом. Загнанный в угол Д'Аннунцио обращается к Виктору Эммануилу III с просьбой о личной аудиенции. Король принимает поэта, выслушивает его заверения в лояльности, но, когда дело доходит до империалистических прожектов Д'Аннунцио, остается непреклонен: «Конституция определяет минимум прав народа и максимум моих прав».

Д'Аннунцио не остается ничего, кроме как пойти ва-банк. Он печатает на страницах еженедельника «Идеа национале» пламенный манифест под названием «Не подчинюсь!» и собирает своих сторонников на площади Капитолия. Выйдя перед ними, он разворачивает знамя, которым был покрыт гроб его боевого товарища Рандаччо, и в течение нескольких часов целует складки знамени, перечисляя при этом названия далматинских городов. Ни полиция, ни войска не решаются помешать сборищу.

Между тем в Версале американский президент Вудро Вильсон вносит предложение: большая часть Далмации должна отойти к новорожденному Королевству сербов, хорватов и словенцев. В Фиуме вспыхивают кровопролитные столкновения между итальянскими частями, поддерживающими ирредентистов, и французами, вставшими на сторону югославян.

Медлить дольше нельзя: представители Фиуме являются в Венецию, куда возвращается из Рима Д'Аннунцио. Они хотят забрать его с собой. В последнем пароксизме. нерешительности поэт пытается притвориться больным, но это не помогает. И вот рано утром 11 сентября начинается «поход на Фиуме». Впереди едет Д'Аннунцио в открытом «фиате», засыпанном лепестками роз, за ним следуют пятнадцать грузовиков с *ардити*. По дороге к колонне присоединяются группы солдат, карабинеров и беженцев из Далмации. В километре от границы их пытается остановить командующий экспедиционным корпусом в Фиуме генерал Патталуга. Д'Аннунцио скидывает шинель и демонстрирует генералу грудь, покрытую боевыми орденами: «Если вы сможете прострелить *это*, то стреляйте». Патталуга со своими солдатами переходит под командование Д'Аннунцио.

В 11.45 12 сентября 1919 года легионеры без единого выстрела входят в город: их встречают колокольным звоном, приветственным ревом сирен и орудийным салютом со стоящих на рейде военных кораблей. Начинается полуторагодовая история одного из самых странных государств, существовавших в XX веке, — Регентства Фиуме.

Утомленный путешествием, Д'Аннунцио пытается отоспаться в гостинице, но его будят и сообщают, что он назначен губернатором и военным комендантом города.

(«Comendante» впоследствии станет чем-то вроде почетного звания Д'Аннунцио, все будут обращаться к нему до самой смерти именно так.)

«Кто? Я?» — удивленно переспрашивает Д'Аннунцио, но его уже тащат на балкон, откуда он говорит собравшимся горожанам: «Итальянцы Фиуме! В этом недобром и безумном мире наш город сегодня — единственный островок свободы. Этот чудесный остров плывет в океане и сияет немеркнущим светом, в то время как все континенты Земли погружены во тьму торгашества и конкуренции. Мы — это горстка просвещенных людей, мистических творцов, которые призваны посеять в мире семена новой силы, что прорастет всходами отчаянных дерзаний и яростных озарений».

Народ в восторге, однако одних красивых слов мало: надо заниматься государственным и военным строительством. Дело, впрочем, облегчает то обстоятельство, что в Фиуме начинают стекаться силы: *ардити* со всех концов страны, дезертировавшие солдаты и матросы. Правительственные войска, подчиняясь приказам пре-

В Буккари, 1918 г.

мьера Нитти[1], занимают позиции вокруг города, но бездействуют, поскольку их симпатии всецело на стороне Д'Аннунцио.

14 сентября адмирал Казануова приказывает боевым кораблям покинуть фиумский порт — капитаны отказываются и переходят на сторону республики. Триумфатор пишет хвастливое письмо Муссолини, который так и не решился присоединиться к «походу на Фиуме»: «Я в равной степени потрясен Вами и итальянским народом... Вы хнычете, в то время как мы боремся... Где Ваши фашисты, Ваши волонтеры, Ваши футуристы? Проснитесь! Проснитесь и устыдитесь... Проколите дырку в Вашем брюхе и спустите жир. Иначе это сделаю я, когда моя власть станет абсолютной». Муссолини не остается ничего другого, кроме как поддержать Д'Аннунцио деньгами и отрядом бойцов, но с этого момента он надолго затаил жгучую зависть к преуспевшему сопернику, смешанную с восхищением. Это чувство еще даст о себе знать позже.

Между тем народ надо было кормить. Д'Аннунцио принимает решение вполне

[1] Франческо Саверин Нитти (1868—1953) — глава правительства Италии в 1919—1920 гг.

в духе средневекового кондотьера (каковым он, в сущности, и был): боевые корабли Фиуме отправляются бороздить Адриатику, захватывая все повстречавшиеся по пути торговые суда. Так корсарство становится основным источником снабжения «республики красоты» провиантом и товарами первой необходимости. В пиратское государство начинают стекаться самые удивительные персонажи: поэты, контрабандисты, воры, аферисты, кафешантанные певицы, безумные изобретатели и просто отбросы общества. Всех привлекает аромат абсолютной свободы и беззакония: на улицах Фиуме каждую ночь до утра шумит сюрреалистический карнавал. Хлеба все равно не хватает — для поддержания боевого духа и работоспособности гражданам вместо хлеба щедро раздают кокаин. Сам Д'Аннунцио почти не спит: он пишет декларации и приказы, обращается к толпе с речами несколько раз на дню (и даже по ночам). В этот период он и сам привыкает к кокаину, который останется его пагубной страстью вплоть до самых последних дней жизни.

Д'Аннунцио пишет первый проект конституции. В стихах. Испуганные соратники призывают его не горячиться. Конституцию в прозе пишет премьер вольного города, социалист Де Амбрис, но Габриеле все же добавляет в нее от себя немало курьезных пунктов. В частности, обязательное музыкальное образование для детей, без которого гражданство Фиуме не предоставляется. Также вводится государственный культ муз с сооружением соответствующих храмов.

Революция в Италии заставляет себя ждать. Муссолини, понимающий, что нельзя отдать победу в руки конкурента, удерживает свои отряды от активных действий. Д'Аннунцио, которого неудержимо несет на поле боя, решает заняться пока альтернативной военной кампанией: он пытается сговориться с хорватскими сепаратистами, чтобы отправиться в поход на Загреб с целью «сбросить ненавистное сербское иго». Попутно он не забывает и об искусстве: в Фиуме в качестве министра культуры приглашается знаменитый Артуро Тосканини. Маэстро соглашается, и теперь, кроме кокаина и речей, публику услаждают еще и симфоническими концертами на городской площади.

На должность министра иностранных дел Д'Аннунцио назначает бельгийского поэта-анархиста Леона Кохницкого. Первым делом министр-анархист обращается с предложением создать Лигу угнетенных Земли. Предложение рассчитано в первую очередь на поддержку Советской России, но Совнарком отвечает крайне осторожной сочувственной телеграммой: кремлевские комиссары чуют, что флибустьерская фиумская вольница больше напоминает контрреволюционный мятеж, чем советскую власть. На предложение откликаются лишь некоторые, не менее экзотические, чем сам Фиуме, формирования: каталонские сепаратисты, вожди крестьянского восстания в Мексике и, зачем-то, египетский хедив.

Тем временем голод и разброд в городе нарастают: несмотря на ряд успешных пиратских рейдов, нехватка многих вещей очень ощущается, особенно после того, как правительственные войска наконец переходят к активной блокаде города. Но, вопреки всему, Д'Аннунцио держится.

В первую очередь потому, что никто его не трогает. Ведь он удобен всем: итальянскому правительству — в качестве жупела для торга с союзниками, союзникам — как противовес требованиям югославян и предлог для пребывания их частей в Далмации, Муссолини — как болячка, отвлекающая силы правительства от его собственного, планомерно подготавливаемого государственного переворота.

Фантазии Д'Аннунцио и его мистико-поэтические эксперименты все больше и больше отдаляют от него поднявших изначально восстание отцов города. Их целью было всего лишь войти в состав Итальянского королевства на правах провинциального города. Поднятый Д'Аннунцио над городом государственный стяг с созвездием Большой Медведицы на пурпурном фоне, окольцованном змеёй Уроборос, кусающей собственный хвост, вызывает у них ужас. Окружившие поэта авантюристы (министр финансов имеет три судимости за кражи) им ненавистны. Обывательская мораль их содрогается при виде вереницы дам всех сословий и наций, проходящих через спальню команданте, словно машины на фордовском конвейере. В среде ирредентистов созревает решение устранить Д'Аннунцио под предлогом того, что он пытается присвоить себе диктаторские полномочия.

Д'Аннунцио, не знающий о том, что творится у него за спиной, продолжает свою буффонаду: 22 сентября он встречает прибывшего в Фиуме изобретателя радио-

телеграфа Гульельмо Маркони. Поприветствовав очередной речью «мага пространства» и «покорителя космических энергий», он обращается при помощи мощной радиостанции, установленной на борту маркониевского судна «Электра», с речью «ко всем народам мира». Народы мира остаются вполне равнодушны.

Заговорщики медлят, опасаясь верных Д'Аннунцио легионеров, но 12 ноября необходимость в заговоре отпадает сама по себе. Италия подписывает в Рапалло соглашения, по которым почти вся Далмация, включая Фиуме, отходит к Королевству сербов, хорватов и словенцев. Теперь Фиуме обречен — с Д'Аннунцио нет больше никаких резонов считаться. Коварный Муссолини первым перекидывается на сторону победителей: руки у правительства развязаны. Начинается агония, шикарная агония под звуки оркестра, играющего на городской площади. Кольцо войск, окружающее город, начинает сжиматься, рейд блокируют правительственные крейсеры.

26 декабря 1920 года Д'Аннунцио подаёт в отставку. 2 января нового, 1921 года после короткой и почти бескровной перестрелки Д'Аннунцио сдает город под гарантии личной безопасности и помилования всех участников фиумской эпопеи. Через пару недель все на том же «фиате», но уже без лепестков роз, в сопровождении шофера и адъютанта он покидает город. Одно из первых в мире государств под руководством поэта заканчивает свое существование.

4

В «Витториале», 1921 г.

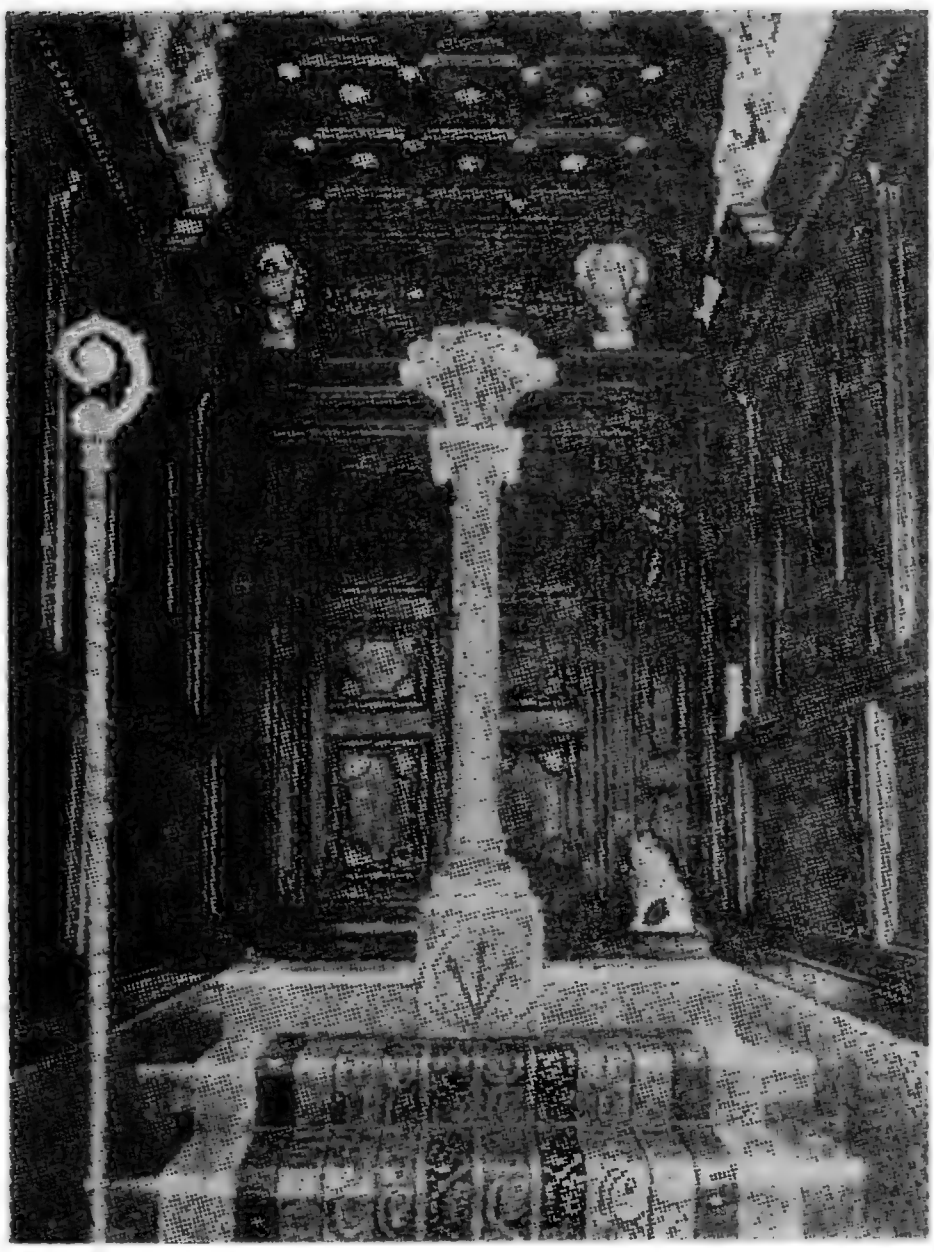
Д'Аннунцио возвращается в Венецию. Он внутренне надломлен и отчетливо ощущает, что его звездный час миновал. Никто не обращает на него внимания. Никто, впрочем, и не преследует. В глазах всей нации, не исключая и правящие круги, он все равно остается героем. Национальное пристрастие итальянцев к «bella figura» оказывается важнее, чем идейные разногласия, к тому же идеи, которыми руководствовался Д'Аннунцио в фиумский период, настолько пестры, что любой мог найти в них что-нибудь приемлемое для себя: и коммунист, и фашист, и анархист, и монархист.

Д'Аннунцио погружается в меланхолическую депрессию. Он отвергает любые предложения, связанные с общественной деятельностью. Все, что ему теперь нужно, — это «приют на берегу моря или озера, далекий от железных дорог, где, укрывшись от верных легионеров и слишком преданных друзей», он сможет в покое окончить свои литературные труды. 30 января 1921 года поэт приобретает на берегу озера Гарда виллу, реквизированную у немецких хозяев, дальних родственников Рихарда Вагнера.

Команданте дает вилле величавое название «Vittoriale degli Italiani» — что-то вроде «Храма победы итальянского народа». Но суждено ей стать не столько храмом, сколько прижизненным мавзолеем для самого Д'Аннунцио.

Начинается осень патриарха: печальная буффонада протянувшейся пятнадцать лет старости.

Тем временем Муссолини стремительно продвигался к власти. Он всегда испытывал перед Д'Аннунцио пиетет с примесью страха — слишком многим он обязан старшему наставнику. Позы, риторика, идеи — все это в той или иной степени усвоено не без влияния Д'Аннунцио. Муссолини принимает решение, достойное Макиавелли, — не отказывать поэту ни в чем, подыгрывать присущей ему мании величия и таким об-



«Витториале»

разом постепенно «удушить его бархатной подушкой». Ведь выступать открыто против Д'Аннунцио небезопасно: десятки тысяч *ардити* и фиумских легионеров по-прежнему считают его своим вождем и готовы идти за ним в огонь и воду.

Сам Д'Аннунцио смотрит на Муссолини сверху вниз, считая его старательным, но посредственным подражателем, а фашизм — плебейской пародией на свои идеи, что не мешает ему льстить более молодому вождю так же неумеренно, как тот льстит ему.

Но действовать Д'Аннунцио уже не хочет или не может, и, когда Муссолини посещает «Витториале» с тайным визитом, желая узнать отношение коменданте к готовящемуся фашистскому перевороту, Д'Аннунцио встает в надмирную позу обитателя башни из слоновой кости. Муссолини это более чем устраивает. Обеспечив нейтралитет *ардити* фашисты могут чувствовать себя хозяевами страны.

30 октября 1922 года Муссолини сосредоточивает в своих руках всю полноту власти. Он благодарен Д'Аннунцио за невмешательство и выражает свою благодарность с размахом: государство выкупает «Витториале» и берет на себя все расходы по его содержанию. Указом дуче создается национальный институт для издания полного собрания сочинений Д'Аннунцио, государство приобретает у поэта все архивы, его осыпают целым ливнем новых наград, избирают академиком.

Д'Аннунцио с увлечением втягивается в эту игру. Он решает создать в «Витториале» нечто вроде прижизненного дома-музея. В саду вокруг виллы на постаменты водружаются реликвии: уже известный читателю открытый «фиат» и торпедный катер, участвовавший в нападении на Буккари. Муссолини присылает Д'Аннунцио огромные глыбы, вырезанные из «исторических вершин» — гор, находящихся на территориях, присоединенных к Италии в результате войны. Эти каменюги также находят свое место в саду, окружающем «Витториале». Д'Аннунцио без конца принимает у себя прибывающие с визитами вежливости делегации политиков, писателей и легионеров, проводит по парку и вилле, демонстрируя мемориал в честь своего собственного героического прошлого. Для самых почетных гостей комданте лично производит салют из носового орудия торпедного катера.

Слишком поздно он начинает понимать хитрый замысел «друга Бенито». Со всех сторон Д'Аннунцио окружен соглядатаями: личный секретарь, водитель, пилот гидросамолета, охрана — сплошь агенты фашистской службы безопасности. Любая безобидная прихоть Д'Аннунцио, любая его просьба — оказать протекцию старым друзьям или наградить кого-нибудь орденом — незамедлительно удовлетворяются. Но на все его попытки вмешаться в политику дуче отвечает вежливыми письмами — и делает все по-своему. Вскоре уже и руководство движением легионеров ускользает из рук Д'Аннунцио; в большинстве своем *ардити* вливаются в ряды фашистских организаций.

Каждодневная переписка между поэтом и диктатором продолжается почти пять лет: Д'Аннунцио наставляет, угрожает, требует, торгуется; Муссолини улещивает, подкупает, восторгается. К 1927 году неизбежная капитуляция фактически совершается: Д'Аннунцио теряет последние рычаги власти и становится почетным пленником режима.

(В СССР разыгралась в чем-то подобная драма: тою же «бархатной подушкой» в особняке у Никитских ворот Сталин душит Максима Горького. Интересно, учился ли он у Муссолини, или просто все несостоявшиеся поэты отлично знают, как заманить в ловушку поэтов состоявшихся?)

Д'Аннунцио признает поражение: в его письмах уже не встретишь просьб о назначениях министров или указаний, как вести внешнюю политику, — все больше жалкие старческие просьбы о новой медальке к юбилею или сетования на недостатки в работе местной администрации. Начинается деградация — физическая и психическая, — ускоренная неумеренным потреблением кокаина и эфира. Временами Д'Аннунцио снова пробует писать, однако, за исключением пары автобиографических произведений, из-под его пера выходят одни только неоконченные фрагменты.

В последние годы жизни он практически не покидает «Витториале», не принимает посетителей, полностью погрузившись в атмосферу грез и воспоминаний, перечитывая дневники, письма и записные книжки. Болезни все чаще и чаще преследуют его, и вечером 19 сентября 1938 года смерть наконец настигает семидесятипятилетнего поэта.

Впрочем, в одном Д'Аннунцио, несмотря на свои болезни и печали, остается верен себе до конца: последняя дама покинула его спальню за четыре часа до того, как перестало биться его сердце.

ЭПИЛОГ В ВОЛЬНОМ СТИЛЕ

Чем закончить рассказ об этой удивительной жизни? Можно погрузиться в рассуждения о посмертной судьбе наследия Д'Аннунцио, о том, как драматически поменялось отношение к нему после крушения фашизма, о той почти культовой роли, которую стала играть (и играет до сих пор) его фигура в экстремально ориентированных кругах: политических и артистических. Можно углубиться в психологию культуры, в разговор о том, как биографическая легенда порою укрупняет значение автора (напомним еще раз: сейчас непросто сопереживать восторгам современных Д'Аннунцио читателей). Можно, сделав шаг в сторону, полюбоваться кармическими играми истории, проанализировав то, как развивались отношения между Муссолини и Гитлером, — одержавший победу над Д'Аннунцио диктатор сам оказался в шкуре своей жертвы, повстречав более сильного и лишенного поэтических сантиментов «нежного вампира».

Но нам хотелось бы закончить разговор на легкомысленной ноте и сделать несколько полезных для всех выводов из повести чужой жизни:

1) Никогда не говорите: «Мне уже слишком поздно начинать...»

Д'Аннунцио, ставший авиатором в пятьдесят два года, вызывает большее уважение, чем Гайдар, командовавший полком в шестнадцать.

Первому, в отличие от второго, было что терять.

2) Лучший способ написать много книг — придумывать названия и брать под них авансы у издателей. Если не стесняться и действовать с размахом, то можно стать даже классиком.

3) Тщательно проверяйте всех тех, кто хвалит вас и называет учителем. Среди них может оказаться не только ваш Иуда, но и ваш Муссолини.

Второе намного опаснее.

4) Управлять народом ничуть не тяжелее, чем развлекать читателя. И не легче — и в том и в другом случае вам рано или поздно придется смириться с потерей популярности.

Д'Аннунцио был противоречивой личностью во всех смыслах: как писатель, как политический деятель, как гражданин и как частное лицо, поэтому суждения о нем не могут не быть противоречивыми. Некоторые вещи (в частности, изобретение символики и риторики фашизма) ему и сейчас тяжеловато простить.

Однако все же не будем слишком пристрастны к Габриеле Д'Аннунцио. В конце концов, ему удалось прожить насыщенно и увлекательно целых три жизни.

Многим не удается прожить так и одну.

ГАБРИЕЛЕ Д'АННУНЦИО

Речь, произнесенная с балкона Капитолия 17 мая 1915 года

Публикуемая речь — одна из многих, произнесенных Д'Аннунцио после его возвращения в Италию в 1915 году, незадолго до вступления страны в войну на стороне Антанты. Секретный Лондонский договор, аннулировавший обязательства Италии в отношении Тройственного союза, уже заключен. Король Виктор Эммануил III и правящий кабинет Саландры боятся реакции парламентского большинства, возглавляемого Джованни Джолитти. Получив вотум недоверия, кабинет 16 августа подает в отставку. В Риме и Милане вспыхивают народные волнения, сторонники войны проводят бурные манифестации. Д'Аннунцио принимает самое активно́е участие в этих событиях.

Римляне! Вчера вы явили миру возвышенное зрелище! Огромное и стройное ваше шествие было подобно шествиям наших древних предков, когда они, собравшись у храма Юпитера Величайшего и водрузив на колесницы священные истуканы, направлялись вслед за ними к Капитолийскому холму. Вы освятили своей процессией улицы, по которым прошли, и каждая из них имеет отныне право именоваться Священной дорогой — Via Sacra[1]. Ведь и вы следовали за воссиявшим над незримой колесницей прекраснейшим образом нашей Великой Матери.

Благословенны матери Рима, которых я видел вчера в процессии: торжественно несли они на руках, словно подношение богам, детей своих. Благословенны матери, на чьем челе читалась неколебимая отвага, чьи лица озарял свет спокойной готовности на жертву, знак посвящения в любовь, которая выше материнской!

Да, это было воистину возвышенное зрелище! И дух наш должен ждать сигнала к бою, стража наша еще не подошла к концу! Мы не дадим ни обольстить себя, ни застигнуть врасплох. Ибо, говорю я вам, вражеская банда еще не сложила оружие.

Впрочем, нет нужды в словах, когда вопиют даже камни, когда народ Рима уже готов вывернуть булыжники из мостовых, по которым стучат копыта коней; тех коней, что должны были мчаться в атаку по дорогам Истрии, но вместо этого униженно охраняют логовища зловредных тварей, дома изменников, потеющих от страха, и пот их сочится сквозь неправедно нажитый жир!

Так давайте же крикнем: «Слава нашей армии!» Вот великий лозунг дня!

Среди моря подлостей, совершаемых джолиттианской[2] сволочью, одна подлость вызывает особое омерзение: это злонамеренное очернение нашей армии, сил нашей национальной обороны. Вплоть до вчерашнего дня можно было безнаказанно сеять недоверие, подозрение, пренебрежение к нашим солдатам — нашим смелым, честным, благородным, неукротимым солдатам, цвету итальянского народа; можно было злоумышлять против тех, кому предначертано стать героями грядущего дня.

С каким тяжелым сердцем бойцы повернули штыки против народа, который хотел только одного — отомстить за свою армию!

Но явим же братское сочувствие к их великой печали, явим сострадание к их незаслуженному унижению — не станем множить их испытания. Дождемся наступления утра, сохраняя наш боевой пыл.

---

[1] Священная дорога — осевая улица форума в римском городе, по которой обыкновенно проходили религиозные и триумфальные шествия. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Джованни Джолитти (1842—1928) — итальянский политик, пять раз занимавший кресло премьер-министра. Четвертый кабинет Джолитти, проводивший в начале первой мировой войны политику нейтралитета, пал в конце 1914-го, однако сторонники Джолитти сохраняли большинство в парламенте.

© И. Кормильцев. Перевод, 1999

Позавчера, когда я выходил от еще не сложившего свои полномочия премьер-министра[1] (он, к нашему счастью, остался на своем посту во имя общественного спасения и к позору всех тех, кто думал только о спасении собственной шкуры), сколько надежды, сколько душевной отваги прочел я в глазах юных солдат, стоявших в карауле!

Юный, еще безбородый офицер, благородный и дерзкий, такой, каким, вероятно, был Гофредо Мамели[2], подошел ко мне и, не промолвив ни слова, вручил два цветка — красный и белый, а еще — зеленую ветку[3].

Никогда не доводилось мне видеть более изящного, более возвышенно простого жеста. Сердце колыхнулось у меня в груди от радости и благодарности. И я сохраняю этот букет как величайшую драгоценность. Я сохраняю его для себя и для вас, во имя поэзии и во имя итальянского народа. Зеленый, белый и красный! Трехцветное сияние нашей весны!

Поднимем же выше наши знамена, пусть вьются по ветру, а мы громко крикнем:

«Да здравствует армия!»

«Да здравствует армия великой Италии!»

«Да здравствует наша освободительная армия!»

В этот самый час пятьдесят пять лет тому назад бойцы гарибальдийской «Тысячи» выступили в поход из Калатафими, освобожденной и навеки прославленной той кровью, что была ими пролита, той кровью, что и доныне кипит подобно крови первомучеников; опьяненные мыслью о прекрасной смерти, они двинулись на Палермо.

Приказ, зачитанный перед маршем гарибальдийским бригадам, гласил: «Солдаты итальянской свободы, с вами для меня нет ничего невозможного».

О мои восхитительные товарищи, каждый честный гражданин должен сегодня стать солдатом итальянской свободы. Ради вас и с вами мы победили. С вами и ради вас мы сокрушили предателей.

Слушайте, слушайте! Предательство их изобличено и доказано. Нам известны их бесславные имена. Настал час возмездия.

Не дайте обольстить себя, не дайте обмануть себя, не дайте разжалобить! Ведь этому сброду неведомы угрызения совести, раскаяние и стыд. Кто может отучить от кормушки с помоями скотину, которая привыкла возиться в ней и кормиться от нее?

20 мая, когда торжественно соберется представительная ассамблея нашей нации, мы не потерпим бесстыжего присутствия в ее рядах тех, кто в течение долгих месяцев торговался с врагом о судьбах Италии. Нельзя позволить, чтобы паяцы, прикрывшись трехцветным знаменем, позорили священное имя своими нечистыми глотками.

Составляйте проскрипционные списки, составляйте их, забыв о жалости. Таково ваше право, более того — таков ваш гражданский долг. Кто спас Италию в эти дни всеобщего помрачения, если не вы, если не сплочение народа, если не высокие порывы народной души?

Помните об этом. Только бегство избавит их от нашей кары.

И если они побегут, что ж, попутного ветра! Это единственное снисхождение, которое они могут ждать от нас.

Разве еще нынче утром кое-кто не пытался подштопать паутину, которой жирный германский паук дерзнул оплести благоухающие розовые кусты на нашей вилле? А теперь вилла эта будет возвращена нам!

Мы ни на мгновение не поверили, что кабинет министров, сформированный по указке господина Бюлова[4], может быть утвержден или хотя бы поддержан нашим королем.

Ибо в случае его утверждения нашу отчизну ждали бы дни еще более мрачные, чем те, что последовали за перемирием, заключенным Саласко[5].

---

[1] Имеется в виду Антонио Саландра (1853—1931).

[2] Гофредо Мамели (1827—1849) — соратник Гарибальди, герой миланского восстания 1848 года, поэт, автор слов итальянского гимна.

[3] Красный, белый и зеленый — цвета итальянского флага.

[4] Бернхардт Бюлов (1849—1929) — немецкий дипломат, посол Германии в Италии (1914—1915).

[5] Карло Карнеро ди Саласко (1799—1860) — генерал, командующий пьемонтской армией во время первой итальянской революции 1848 года. Сепаратное перемирие, заключенное Саласко с Австрией, стало одной из важнейших причин поражения патриотических сил.

Король Италии благородным сердцем своим вновь внял призыву Камилло Кавура[1]: «Пробил решительный час для савойской монархии!»

Да, он пробил, пробил вот в этом самом небе, о римляне, в небе, что нависает над вашим Пантеоном, в небе, которое, о римляне, мы видим над вечным Капитолием.

Открой для нашей доблести двери грядущих владений...

Так пел итальянский поэт, застигнутый смертью в то время, когда вершил на морях свой царский жребий. Ныне так восклицает уже не одинокий поэт, но целый народ, прозревший и готовый ко всему.

Римляне, итальянцы, развернем наши знамена, будем тверды, и пусть не покинут нас вера и надежда!

Здесь собирались римские плебеи, дабы узаконить своим одобрением каждый новый шаг по расширению границ Империи; здесь консулы призывали сограждан к оружию и приводили солдат к присяге; отсюда пускались в путь магистры, чтобы принять на себя командование войском и управление провинциями; здесь Германик возложил на алтарь в храме Веры трофеи победы над германцами; здесь Октавиан объявил о подчинении Риму всех территорий Средиземноморья; и теперь здесь же мы предлагаем свои жизни в дар Родине, приносим эту добровольную жертву, исполняем пророчества, возглашая:

«Да здравствует наша война!»
«Да здравствует Рим! Да здравствует Италия!»
«Да здравствует наша армия!»
«Да здравствует военно-морской флот!»
«Да здравствует король!»
«Честь и победа!»

(На каждый призыв народ, заполнивший площадь, улицы, лестницы, единодушно отзывается громкими криками. Оратор берет в руки прислоненную к ограде балкона шпагу Нино Биксио[2], показывает ее толпе и извлекает из ножен.)

Это шпага Нино Биксио, второго из «Тысячи», но всегда первого среди бойцов. Это великая шпага, которую его наследник приносит в дар Капитолию, римлянам. Это необоримый залог победы.

Ведь мы словно видим его воочию — этого железного легионера, верхом, у ворот Сан-Панкрацио. Вот он хватает за шиворот вражеского капитана и тащит его за собой в гущу своего войска, громко требуя, чтобы враги сложили оружие. Он один берет в плен триста человек! Орлиное племя, душа, выкованная по образцу и подобию наших Горациев[3], бесстрашный лигурийский корсар, привычный к абордажам и рукопашным! Он родился героем, как другие рождаются князьями; образец для всех солдат Италии.

И я дерзну за вас за всех поцеловать выбитые на лезвии этой шпаги имена наших побед.

(Снова от рева толпы вихрится воздух, окрашенный яркими красками заката. Клич «Война! Война!» заглушает все.)

Бейте в набат! Сегодня Капитолий ваш, как в те далекие времена восемь веков назад, когда народ стал его хозяином и избрал здесь свой парламент. О римляне, вы и есть истинный парламент, ибо сегодня здесь вы сами начали войну, сами объявили ее!

(Возбуждение нарастает. Нескольким отважным гражданам удается проникнуть на колокольню, и они начинают бить в набат. Народ под колокольный звон продолжает выкрикивать призывы к войне.)

Перевод с итальянского И. КОРМИЛЬЦЕВА

---

[1] Камилло Бенсо Кавур (1810—1861) — первый премьер-министр объединенной Италии (1860—1861).

[2] Джироламо Нино Биксио (1821—1873) — герой Рисорджименто, соратник Гарибальди, командир батальона во время похода «Тысячи».

[3] Имеются в виду три юноши-близнеца из древнеримского рода Горациев, победившие в единоборстве трех близнецов Куриациев из Альба Лонги.

Ноктюрн

ФРАГМЕНТ КНИГИ

Мои глаза завязаны.

Я лежу в кровати на спине, с неподвижным туловищем, с головой, закинутой назад, немного ниже уровня ног.

Слегка приподнимаю колени, чтобы дать наклон дощечке, лежащей на них.

Пишу на узкой полоске бумаги, в одну строчку.

Между пальцами скользит карандаш. Большой и средний пальцы правой руки, упираясь в края полоски, продвигают ее после каждого написанного слова.

Правым мизинцем касаюсь нижнего края бумажной полоски и пользуюсь им, чтобы сохранить направление и писать прямо.

Локти крепко прижаты к бокам. Стараюсь придать движению рук величайшую легкость, чтобы игра их не переходила выше кисти руки, чтобы ни малейшее сотрясение не передавалось забинтованной голове.

Во всем своем положении ощущаю неподвижность египетского писца, изваянного из базальта.

В комнате нет никакого света. Пишу в темноте. Вывожу свои знаки в ночи, которая плотно прилегает к моему телу, словно доска, прибитая к нему гвоздями.

Постигаю новое искусство.

Когда суровый приговор врача поверг меня во мрак и определил мне в этой темноте то узкое пространство, которое тело мое будет занимать в могиле, когда вихрь действия остыл вокруг чела, когда призраки сражения сразу исчезли по ту сторону темного порога, когда сделалась тишина во мне и вокруг меня, когда я покинул свою плоть и обрел свой дух, из первой же смутной тревоги родилась потребность выразить, обозначить... И почти немедленно я стал обдумывать искусный способ обойти суровость режима, не нарушая предписаний врача.

Мне была запрещена речь и, в особенности, всякое начертание речи; и в то же время я никак не мог преодолеть своего давнего отвращения к диктованию и тайную стыдливость художника, который не терпит посредника или свидетеля между материалом и тем, кто его обрабатывает. Опыт убеждал не приступать к письму с закрытыми глазами. Трудность заключается не в первой строчке, а во второй и в следующих.

Тогда пришел мне на память тот способ, которым Сивиллы писали свои краткие изречения на листах, рассеянных ветром судьбы.

И я улыбнулся улыбкой, которую никто не видел во мраке, когда я услыхал, как Сиренетта[1] нарезает для меня бумагу лентами, лежа на ковре в соседней комнате, при свете низкой лампы.

Ее подбородок, наверное, освещен так же, как, бывало, отблеском горячего песка, когда мы лежали рядом на пизанском прибрежии, в счастливые дни.

Бумага ритмично шелестит, и в моем воображении воскресает шум прибоя, ударяющего о подножия тамарисков и можжевельника, иссушенных либеччо[2].

Под повязкой, в глубине моего раненого глаза загорается пламя, подобное летнему полудню в Бокки д'Арно.

Вижу песок, на который ложатся складки от ветра и рябь от волн. Могу сосчитать его зерна, запустить в него руку, наполнить им ладони, пропустить его сквозь пальцы.

Пламя растет, зной распаляется. Песок блестит перед моими глазами, как слюда и кварц. Он ослепляет меня; меня охватывает головокружение и ужас, как в Ливийской пустыне в то утро, когда я ехал один, верхом, к могилам Сахары. Веки не защищают меня, ни в чем нет

---

[1] Рената, дочь Д'Аннунцио.
[2] Юго-западный ветер.

мне защиты. Страшное пылание внутри головы, от него нет спасения. Желтое превращается в красное, равнина заколыхалась, поверхность ее становится шероховатой, острой.

Как рука творца лепит фигуры из мягкой глины, так таинственное дуновение поднимает из слепящей равнины контуры человеческих и звериных форм.

Вот пламя затвердело и высекается резцом, как камень.

Передо мной твердая стена из раскаленных скал, покрытых изваяниями людей и чудовищ. Время от времени она колышется, как огромный парус, и призраки шевелятся. Затем все исчезает, увлекаемое красным вихрем, как ворох палаток в пустыне.

Край оторванной сетчатки пылает, сворачиваясь, как Дантов папирус, и черный пепел уничтожает понемногу начертанные на нем слова.

Читаю: «Почему ты дважды обманул меня?»

Соленый пот проникает мне в рот, смешанный со слезами из-под зажатых век.

Я чувствую жажду. Прошу глоток воды.

Сиделка отказывает: мне запрещено пить.

«Ты будешь утолять жажду потом твоим и твоими слезами».

Простыня облегает мое тело, как сочащееся солью тело утопленника, которого вытащили на берег и положили на песке, пока не придет кто-нибудь, кто опознает его, закроет ему мутные глаза и поднимет плач над его молчанием.

Когда Сиренетта своей осторожной походкой подходит к моему изголовью и приносит мне первую пачку одинаковых полосок, я тихонько поднимаю руки, которые все время покоились вдоль бедер. Замечаю в них новую чувствительность, что-то необъятное приливает к кончикам пальцев, похожее на потоки света.

Кругом полный мрак. Я на дне подземелья.

Лежу в своем деревянном раскрашенном ящике, узком и облегающем мое тело, как футляр.

Остальным мертвецам родные принесли плоды и лепешки. Мне, писцу, милосердая приносит орудие моего ремесла.

Если бы я приподнялся, голова моя, верно, ударилась бы о крышку, на которой снаружи нарисован мой белый образ с большими и ясными глазами, обращенными ко всей красоте и всему ужасу жизни.

Моя голова остается неподвижной, стесненная повязками. Начиная от бедер и до затылка какая-то ленивая истома делает меня неподвижным, как будто действительно надо мной уже совершена операция бальзамирования.

Тотчас же руки мои находят нужные жесты, с тем безошибочным инстинктом, какой скрыт в крыльях летучих мышей, когда они касаются шероховатых поверхностей темных пещер.

Беру полоску, ощупываю ее, измеряю. Узнаю качество бумаги по легкому звуку ее.

Это не та обычная бумага, которую изготовляли для меня ручной работой, лист за листом, мастера Фабриана, метя ее водяными знаками моей печати, что теперь кажется мне страшной, как вечные муки. Она гладкая, немного жесткая и режет на краях и на углах. Она похожа на несвернутый свиток, подобный тем несвернутым свиткам, которые художники помещали на своих картинах. В моих руках словно священный предмет. Испытываю мистическое чувство, прикасаясь к нему руками. Какое-то девственное чувство воскрешает во мне тайну письма, тайну начертанного знака. Слышу, как между моими дрожащими пальцами шелестит свиток. Кажется, будто моя тревога раздувает горящий уголь в глубинах моего глаза. Пламя и искры уносятся в вихре моей души.

Чувствую на своих коленях руку милосердой. Слегка приподнимаюсь, чтобы принять дощечку. Для меня, в моем мраке, — это дощечка священных обетов. Бумага лежит на ней. Зажимаю карандаш между большим, вторым и третьим пальцами. На третьем пальце еще сохранился след от утреннего труда. Nulla dies sine linea.[1] И я дрожу перед этой первой строчкой, которую должен провести в темноте.

---

[1] Ни дня без строчки *(лат.)*.

О искусство, искусство, какие страстные искания посвятил я тебе, с какой напряженностью ловил твои веления!

О ненасытная любовь к слову, начертанному для веков! Мистическое опьянение, из самой моей плоти и самой моей крови создавшее слово!

Огонь вдохновения, неожиданно сливавший древнее и новое в единый неведомый сплав!

Рука взвешивала материю. Материя получала цвет, форму, тембр. Перо было что кисть, что резец, что смычок музыканта. Уже владеть им было великой радостью.

Гордый и смиренный дух трепетал при виде плотной пачки чистой бумаги, которая должна быть превращена в живую книгу.

Качество масла для светильника выбиралось как для жертвоприношения суровому богу.

И в часы счастливого творчества жесткий стул превращался в подножие для моления, скрипевшее под напором согбенного туловища.

А ныне тело мое лежит в ящике, распростертое и стесненное. Вчера мой дух бился, как огромный, попавший в западню орел.

Сегодня он собран, внимателен и мудр. Но сердце бьется неровно. Ощупываю бумагу. Рука судорожно сжимает карандаш, почти до боли. <...>

Ангел или демон ночи раздувает пожар в моем погибшем глазу? Бесчисленные искры рассыпаются по ветру.

Моя голова запрокинута, отброшена, подвешена в пустоте.

Не чувствую больше подушки, не чувствую постели.

Слышу смутный гул, слышу шум полетов, грохот сражения. Жалостливая, твердая рука оттолкнула меня, отстранила меня;

голова моя прободена, она висит над пустотой, с борта аэроплана, который весь дрожит.

Надо мной тень от правого крыла; меня осеняет воздушная звезда винта.

Уже не огонь пылает, а брызжет кровь. То не искры, а уже капли. Героический пилот возвращает на родину принесенного в жертву поэта.

О слава безмерная!

Какая божественная или человеческая рука когда-либо бросала на бразды земли более величавые семена? Неистощенная кровь проливается в боевом вихре, как зерно развевается ветром.

Каждая капля разбивается на мириады, подобно пыли водопада, из которой образуется радуга, она не течет, но летит, не падает, но возносится.

С этим божественным кропилом может ли сравниться голова Орфея, плывущего с лирой по волнам?

Новый миф более прекрасен.

Вижу свой лик, преображенный в грядущих великих веках.

Душа не отлетает еще, она прильнет к ране, как пламя к факелу, когда оно отрывается в бурю и снова сливается, гаснет и вспыхивает, соединенное с ним лишь невидимой связью, которая своей жаждой пылания побеждает бурю.

Долгое страдание, превратившееся внезапно в ликование, долгая немощь, претворенная в достижение высшей чистоты, — душа созерцает этот чудесный лик, который есть подлинное ее отражение, лик, который она так пламенно желала обрести и не могла.

Она давно знала, что смерть есть победа, но не видела, что эта победа столь велика.

Бессмертная, она ныне сияет в смерти, и ветер последнего полета ее не сокрушит.

Плоть отягощала, ныне восхищает ее.

Буйная кровь была источником смятения, а стала орудием чуда.

Жизнь была ей пределом и стала ей свободой.

Душа несома телом, как порывом к творческой красоте.

Никогда чело святого или мученика на плахе не было столь прекрасно, как эта голова на хрупком краю утренней бездны.

Никогда раненый орел так гордо не обагрял воздуха кровью, ударяя крылами.

Эта кровь будет сиять в вечности, как божественный Млечный Путь вечно белеет в ночи.

Но вот земля — вот цель.

Последняя капля источилась среди гула полета.

На невредимых крыльях герой-пилот возвращает на родину бескровное тело принесенного в жертву поэта.

Весть поражает как молния и кажется далекой, как воспоминание о древнем подвиге.

Все берега Италии трепещут, как и ее знамена.

Слава преклоняет колени и целует прах. <...>

Дни проходят, часы летят один за другим, и каждый день без рассвета, и каждый час без перемены вновь застает меня пригвожденным.

Я не хочу ждать выздоровления. Достаточно того, чтобы закрылись и зарубцевались мои раны. Хочу опять встать на ноги, хочу воспрянуть.

Мои товарищи зовут меня, мои соратники ожидают меня. Там, внизу, на боевой линии, наверху, в воздушных битвах, каждый день кажется, что высшая точка героизма уже достигнута, а назавтра безвестный герой еще превосходит ее.

Я встану не иначе как с волей превзойти их.

Чувствую, что, когда встану на ноги, буду сражаться лучше.

К каким ухищрениям, к какой изворотливости, к каким хитростям животного я буду прибегать, чтобы восполнить недостаток зрения! Если Бог мне поможет, враг всегда будет у меня слева или спереди.

Как мой дикий Малатестино, я буду говорить: «Я вижу и одним».

Рвение будет прежнее, но смелость будет умудрена опытом, обострена терпением.

Нет ныне меры ни в чем. Храбрости человека нет меры. Героизму нет предела.

На вершине лирической мощи стоит поэт-герой.

Пиндар порвал свои струны, разбил свою лиру, потому что знал, сколь прекраснее воевать и дерзать.

Опытность действует на меня лирически. Моя поэзия вдохновляется моим мужеством и не только в течение войны, но — если вспомню великие часы моей истекшей жизни — и среди мира, в былое время, во времена священных ожиданий, когда я выковывал свои крылья и свое оружие.

Я никогда не был так полон музыкой, как в перерывах боев. Вспоминаю возвращение с воздушного набега на Канал с Эрманно Бельтрамо, полет по небу Горицы, под куполом двуцветных взрывов, вынужденный спуск с трех на две с половиной тысячи метров, опьяняющий, как подъем, насмешливые взгляды в сторону неприятеля, не меняющего прицела, пренебрежение к боли в правой полузамерзшей руке, музыкальный порыв в контрасте с ослабевшим звуком мотора, безумную жажду песни.

— Лирическое воспламенение, остывшие радиаторы, — сказал я, спрыгнув с лодочки-кабины на траву в Кампоформидо.

Я был голоден.

Мне не удалось овладеть собой иначе, как дав себе обещание победить все препятствия, чтобы вернуть моей воле крылья, которые были ей присущи.

Против меня были предсказания науки и опасения любви. Объявляю с гордостью и благодарностью перед лицом дочерей, сестер и матерей сражавшихся, что в борьбе неустрашимой моей союзницей было дитя моей крови. Она знала мою жизненную потребность и знала, что опасность, которую я носил в себе, была реальнее, чем та, навстречу которой я шел.

Она восстала против запретов и сумела с улыбкой встретить изумление других.

О день Паренцо, сентябрьский день, попеременно то пасмурный, то ясный, каким знаком отмечу я тебя на священных дощечках своих обетов?

Я вел вторую группу морских боевых аэропланов. Луиджи Болонья, который снова

был моим пилотом, знал мои намерения и мужественно содействовал им без колебаний. Край аппарата справа был нарочно оставлен свободным. Я поставил между ног ящик с четырьмя ручными гранатами и прикрепил к альтиметру предваритель внезапной слепоты.

Начиная с двух тысяч метров, я стал не прекращая следить за состоянием своего зрения, давать сигнальные знаки для объединения группы, следовавшей за моим голубым огоньком.

На высоте трех тысяч метров я, одноглазый, видел. На высоте трех тысяч двухсот — видел. На высоте трех тысяч четырехсот — все еще видел.

Пилот ежеминутно оборачивался ко мне, вопрошая взглядом. Ответным знаком я сообщал ему результаты моих наблюдений. Незабвенный диалог боевой дружбы на той высоте, где не может жить ничто мелочное или робкое.

Передовая группа в тумане отбилась в сторону Ровиньо. Я прибыл первым к площадке неприятельской батареи. Луиджи Болонья спустился до тысячи шестисот метров, смелым и изящным маневром пройдя между зонами прицела. Несмотря на резкое изменение давления, я все еще видел. Я вынул шипы из моих бомб и попытался заставить замолчать неприятеля и свою судьбу. В то время я еще не обрел первобытного боевого клича моего племени, сменившего медные поножи на шерстяные; но моя поднятая рука могла бы сорвать звезду с небесного свода — такую сверхчеловеческую силу придавала ей радость.

Когда мы спустились на канал Сант-Андреа и причалили, мне показалось, что мои юные товарищи, ожидавшие меня, подняв меня на свои плечи, вознесли меня на вершину молодости и своих крыльев.

Я возродился.

Дата моего возрождения 13 сентября 1916 года. И я был вторично крещен в море желчи.

Перевод с итальянского С. ГЕРЬЕ
под редакцией А. СМИРНОВА

■

М. АННИНСКАЯ

Творивший легенды

Французы очень любят создавать мифы и легенды и нисколько этого не скрывают. «Самые свободные люди в мире, — пишет о них один современный французский критик, — но дышать они могут только под сенью статуи, и даже не обязательно конной».

У нас в России легенды если не создаются, то официально признаются, как правило, посмертно. Возможно, потому, что материала для них в избытке. Мы топчем его, как сорную траву. Французы же — нация небольшая и к своему культурному наследию относятся бережно.

Ничего удивительного, что Виан, человек умный, талантливый и чрезвычайно общительный, быстро оброс легендами. Он всю жизнь дразнил судьбу, сочинял небылицы и делал все не так, как другие. Он и внешне был подходящим объектом для мифотворчества: высокий, красивый и бледный, с больным сердцем, обещавшим безвременную кончину. И имя носил не вполне «французское» — то ли русское, то ли армянское... Так что одна из легенд касалась его якобы русского происхождения — хотя в действительности фамилия Виан корнями уходит в Италию. А вот об имени «Борис» стоит рассказать отдельно. С этого и начнем.

Будущий скандальный творец мифов появился на свет 10 марта 1920 года в городке Виль-д'Авре, что приютился между Парижем и Версалем. Его отец, Поль Виан, жил на доход с капитала, был человеком образованным и талантливым, знал несколько языков, переводил, писал стихи. Кроме того, он был мастером на все руки: в юности, следуя примеру своего родителя, лил бронзу; занимался спортом, с пятнадцати лет водил машину и даже имел собственный самолет.

Мать Бориса, урожденная Ивонна Вольдемар-Равене (собственные дети будут называть ее «матушка Пуш») была восемью годами старше своего супруга и происходила из богатой эльзасской семьи, владевшей нефтяными скважинами в Баку и промышленными предприятиями во Франции. Она получила блестящее музыкальное образование, играла на фортепьяно и арфе, страстно любила оперу и четверых своих детей нарекла звучными именами: Ален, Лелио и Нинон; Борис получил свое имя в честь «Бориса Годунова», ее самой любимой оперы.

Детство у Бориса сложилось вполне счастливо. Большое семейство жило в двухэтажной вилле, окруженной пышным садом, где дети могли играть с друзьями с утра до позднего вечера. Учителя и парикмахер приходили на дом. Родители тоже занимались детьми — каждый по-своему. Мать пыталась привить малышам любовь к классической музыке и устраивала домашние концерты. Отец учил их мастерить и играл с ними в детские игры. Еще были чернокожий шофер, гонявший с мальчиками в футбол, и итальянец Пиппо Баррицоне — необыкновенный персонаж, почти член семьи: он служил садовником, метрдотелем, слыл специалистом по разделке мяса и, кроме того, участвовал в домашних концертах в качестве певца и гитариста. На лето семейство выезжало в Нормандию, к морю, где их ждала загородная вилла с пляжем и экзотическим садом.

Райская жизнь длилась до 1929 года. Грянул мировой экономический кризис. Вианы разорились. Семейство перебралось в домик привратника, особняк пришлось сдать, прислугу — распустить. Поль Виан вынужден был подыскать себе работу. Он перепробовал многое: переводы, рекламу гомеопатических средств... Кое-как удавалось сводить концы с концами.

Меж тем дети подросли и стали посещать лицей. Видимо, матушке Пуш нелегко было решиться на этот шаг, потому что ее главной заботой было удерживать своих чад дома. Больше всего, конечно, досталось Борису из-за его слабого здоровья: в два года он переболел ангиной, осложнившейся ревматизмом, а перенесенный в пятнадцать лет тиф привел к аортальной недостаточности.

Учился он легко. Сначала ездил в лицей в Севре, затем в Версале и, наконец,

---

© М. Аннинская. 1999

в Париже. В пятнадцать лет сдал экзамены на степень бакалавра по латыни и греческому, в семнадцать — по философии и математике. Из живых языков учил английский и немецкий. Много читал.

В 1939-м Борис поступил в Эколь сантраль — Высшую центральную инженерную школу. Началась вторая мировая. Школа эвакуировалась в Ангулем, к юго-западу от Парижа, и Борис надолго покинул родительский дом. Матери он исправно писал, в письмах шутил и дурачился, стараясь унять ее тревогу.

К весне 1940-го ситуация ухудшилась. Захватив Фландрию, немцы шли на Париж; Бельгия капитулировала, французская армия была разбита. Эколь сантраль закрылась, не дотянув до конца учебного года. Вианы тоже вынуждены были бросить дом; предупредив Бориса, они погрузились в старый «паккард» и через Ангулем отправились в Капбретон, курортный городок на берегу Бискайского залива. Это было в начале июня. А 14 июня немцы вступили в Париж.

Поль Виан с детьми

На берегу моря в это время царило безмятежное лето. Семейство Вианов сняло в Капбретоне виллу. Молодежь купалась и читала, упрямо радуясь жизни. Здесь Борис познакомился с братом и сестрой Леглиз — Клодом и Мишель. Девушке в то лето исполнилось двадцать, она была ровесницей Бориса — невысокая пухленькая блондинка, которую все находили прелестной.

Вместе с Леглизами в компании появился еще один человек — их троюродный брат Жак Лустало. Он вошел в жизнь Бориса как живая легенда и впоследствии стал одним из ключевых персонажей многих его произведений. Лустало получил прозвище Майор. Вот кто творил мифы одним своим существованием! «Блаженный Майор, недавно из Индии», — представлялся он при знакомстве. Майору было всего пятнадцать, но ростом он ничуть не уступал Борису и выглядел вполне взрослым. Внук депутата и сын мэра, Жак Лустало был тем не менее полностью предоставлен себе. Отца он ненавидел за то, что тот бросил мать, и старался с ним не встречаться. Этот эрудированный, хваткий и эксцентричный юноша, великолепный танцор и пламенный любитель джаза, смотрел на мир единственным (левым) глазом, рассказывая душераздирающую историю о неудавшемся самоубийстве (в действительности Жак потерял глаз в десять лет при более прозаических обстоятельствах), так что один глаз у Майора был стеклянным, и с ним он любил проделывать всякие фокусы: бросал в рюмку, глотал, терял, предъявлял в качестве пропуска... К реальному миру Майор был демонстративно равнодушен — не учился и не работал, жил в своих фантазиях, сочинял небылицы, разговаривал с вещами, молчаливо и безнадежно обожал свою кузину Мишель. Еще он любил гулять по крышам. С вечеринок он редко уходил через дверь — обычно прыгал в окно. Один такой уход станет для него последним — это случится в январе 1948-го. Майору будет двадцать три года. Никто так и не узнает, был то несчастный случай или самоубийство.

В августе 1940-го, проведя два месяца на море, Вианы смогли вернуться домой. Уже было подписано перемирие с Германией, и повсюду хозяйничали немцы. Впрочем, присутствие оккупантов ощущалось лишь в Париже, а в Сен-Клу и Вильд'Авре немцев почти не было. Эколь сантраль тоже вернулась в Париж, и Борис готовился к новому учебному году.

В сентябре Мишель пригласили в «Ле Фовет» (так называлось имение Вианов) на традиционный «свинг-ти» — в 40-е годы молодежные вечеринки именуются уже на американский манер. С этого «свинг-ти» и начинается романтическая история Бориса и Мишель.

Мишель Леглиз происходила из семьи, совсем не похожей на семейство Виа-

нов. Родители ее в молодости были педагогами, что наложило неизгладимый отпечаток на стиль воспитания и взаимоотношений между близкими. С детьми были предельно строги, каждый их шаг контролировали. Мишель вспоминает, как отец в бинокль следил за ней из окна, когда на перемене она гуляла во дворе лицея. Девушка прекрасно знала английский, а также немецкий и итальянский. Но экзамены на степень бакалавра так и не сдала. В свои двадцать лет она мечтала о независимости, любви и литературе.

В феврале 1941-го один из поклонников Мишель сделал ей предложение. Мишель ему отказала. Разразился семейный скандал, и мать пригрозила сослать ее в Бордо к теткам, если она немедленно не выйдет замуж — не за этого юношу, так хотя бы за своего нового друга из Эколь сантраль. Мишель пожаловалась Борису. «Ну что ж, в таком случае поженимся!» — решил Виан. 12 июня 1941 года состоялась помолвка, а 5 июля — свадьба с гражданской церемонией и венчанием. Биографы отмечают, что невеста опоздала к венцу, так как долго не могла справиться с накладными ресницами; ногти на руках и ногах ей все же удалось покрасить в белый цвет, что было с восторгом воспринято молодежью. Обе мамаши, однако, остались недовольны новобрачной: юбка у нее была до неприличия короткой — едва прикрывала колени.

А месяц спустя молодая чета уже ждала потомства.

Поселились они в доме родителей. Борис продолжал учиться, а Мишель вернулась к своему излюбленному занятию — писала статьи о кино. Правда, печатались они за подписью главного редактора одного парижского журнала.

Времена были трудные, голодные, но французы есть французы. Молодежь веселилась бесшабашней, чем прежде. Вечеринки в танцевальном зале (его построил своими руками Поль Виан) следовали одна за другой. Медленные танцы сменялись быстрыми ритмами, партнеры демонстрировали чудеса гибкости и ловкости. Эти отчаянные увеселения с юношеским юмором описаны Вианом в «Сколопендре и планктоне»:

Его имя было Александр, прозвище — Коко. Ее — Жаклин, прозвище — тоже Коко. Коко хватал партнершу за левую лодыжку, ловко раскручивал в воздухе и приземлял ее на левое колено, затем переносил левую ногу через голову Коко, быстро опускал, и партнерша, уже стоя, тыкалась лицом в спину Коко. Потом внезапно он резко опрокидывался, делал мостик и, просунув голову между ляжек девицы, быстро вставал, приподнимая ее над полом — девица летела головой вперед между его ног, в результате чего он возвращался в прежнее положение: спиной к подружке. Поворачиваясь к девице, он издавал пронзительное «Йе!», махал указательным пальцем, делал три шага назад, четыре вперед, одиннадцать в сторону, шесть кружась, два на брюхе, и все начиналось сызнова[1].

Сам Борис вел себя весьма спокойно на этих праздниках, зато слыл непревзойденным организатором.

Танцевальный зал «Фовет» начал пользоваться в округе небывалой славой. Там прочно укоренился новый молодежный стиль — «зазу». «Зазу» — это не мода, это стиль жизни и отношения к реальности, особая эстетика, презрительное игнорирование нищеты, оккупации, политики нового правительства. Вполне естественно, этот стиль вызывал непонимание и раздражение: официальные круги видели в нем упадочничество, вредное для французской молодежи; простое население ненавидело его за инаковость. JPF, Народный союз французской молодежи (их еще называли «синими рубашками») открыто призывал бить длинноволосых, предварительно обрив их наголо.

Внешние признаки «зазу» были описаны в журнале «Иллюстрасьон» за март 1942-го:

Мужчины носят свободный пиджак, полы которого болтаются где-то у середины бедра, узкие штаны гармошкой и грубые нечищенные башмаки; галстук — холщовый или из толстой шерсти. Мало того, что они уже отличаются от остальных парижан, так они еще мажут голову салатным маслом (за неимением других жиров), и их длинные патлы свиса-

[1] Перевод В. Каспарова.

ют на мятый воротник, заколотый спереди английской булавкой. Эту униформу обычно дополняет куртка, почти никогда не снимаемая и чаще всего мокрая — так как только под дождем они чувствуют себя в своей тарелке. Подчиняясь какому-то им одним ведомому ритуалу, они с наслаждением шлепают по лужам, заляпывая грязью штаны и подставляя под ливень длинные жирные пряди своих дремучих шевелюр. Что касается женщин, то под кожаными куртками или пальто они носят свитера с высоким воротом, очень короткие плиссированные юбки, чулки в резиночку и башмаки без каблука на толстенной тяжелой подошве; вдобавок они вооружены огромными зонтами, закрытыми в любую погоду.

Насколько этой парижской молодежной моде следовали в «Фовет», можно судить по тексту «Сколопендра»:

На парне была курчавая шевелюра и лазурного цвета костюм, причем пиджак ниспадал до икр. Три разреза сзади, семь складок, два перекрывавших друг друга хлястика и одна-единственная пуговица. Из-под пиджака едва выглядывали узкие брюки, и из них, как из необычных ножен, непристойно выступали икры. Воротник прикрывал уши до самого верха, однако небольшие разрезы с обеих сторон позволяли ушам ходить тюда-сюда. Галстук состоял из единственной хитроумно завязанной шелковой нитки, а из верхнего кармана вылезал оранжево-синий платок.<...> Горчичные носки утопали в бежевых замшевых ботинках с уймой самых различных дырочек. Стильный парень, ничего не скажешь. На девице тоже был пиджак, из-под которого как минимум на миллиметр торчала широкая плиссированная юбка из маврикийского тарлатана. <...> Не столь эксцентричного вида, как ее напарник, — ярко-красная блузка, шелковые темно-коричневые чулки, светло-желтые из свиной кожи туфли на низком каблуке, девять позолоченных браслетов на левом запястье, кольцо в носу — она не так бросалась в глаза.

Название «зазу» было изобретено негодующим журналистом и, как это обычно бывает, прижилось. Оно образовано от ликующего крика, коим эти молодые «дегенераты», «бандиты» или «ультрасвинги» (именно так их еще величали в прессе) приветствовали друг друга при встрече.

Кроме вечеринок практиковались и более невинные развлечения. Так, еще в 1941-м Борис учредил в Виль-д'Авре любительское общество авиамоделирования. Члены общества увлеченно конструировали и испытывали авиамодели. Обязанности строго регламентировались; существовала, например, должность испытателя; были еще «эконом», «возвратники», «флюгероносцы». Все, что происходило, мгновенно превращалось в миф и впоследствии фиксировалось Борисом в одном из текстов (в данном случае — в романе «Осень в Пекине»).

На фоне вышеописанных развлечений в жизни Виана происходили следующие знаменательные события:

март 1942-го — знакомство с Клодом Абади, руководителем самодеятельного джаз-банда;

12 апреля 1942-го — рождение сына Патрика;

июль 1942-го — окончание Эколь сантраль и устройство на работу в AFNOR, Ассоциацию по нормализации (организация с этим загадочным названием занималась совершенствованием формы и стандартизацией разнообразных бытовых предметов).

Клод Абади окончил Высшую политехническую школу. В своем оркестре он играл на кларнете, причем весьма недурно — в том же 1942-м на конкурсе джазистов-любителей его оркестр завоевал кубок Hot-Club de France. Абади пригласил братьев Виан в свой оркестр. Музыканты выступали в парижских кафе, и это приносило дополнительный заработок. В 1943-м оркестр некоторое время даже назывался «Абади-Виан». Постепенно он начал завоевывать популярность, хотя о его профессиональном уровне можно было спорить. Играли музыканты в новоорлеанском стиле, вдохновляясь примером Дюка Эллингтона. Сам Борис подражал Биксу Бейдербеку — знаменитому американскому джазисту, игравшему на рояле и корнете и умершему в двадцативосьмилетнем возрасте от воспаления легких (кстати, родился он тоже 10 марта). Имитируя манеру Бикса, Виан играл краешком губ, в лирическом стиле, твердо стоя на чуть расставленных ногах. Среди джазистов все это важно. Один из друзей Бориса, Клод Леон, так выражал свое восхищение:

Оркестр Клода Абади

В истории джаза было мало трубачей, которые бы играли так же: не копируя Бикса, а вдохновляясь его примером. Борис перенял у Бикса сладострастный, романтический стиль, сильно отличавшийся от жесткого стиля трубачей новой эпохи.

Клод Леон стал новым легендарным персонажем в жизни Бориса. Он тоже был джазистом-любителем, которого Абади взял в свой оркестр. В начале войны еврей Клод Леон попал в концлагерь. Как он оттуда выбрался живым, история умалчивает, во всяком случае, он вернулся в Париж, участвовал в Сопротивлении, жил под чужим именем и работал в химической лаборатории Сорбонны. Что он там делал? Разумеется, взрывчатку. Он выносил ее в спичечных коробках. К Абади Леон смог вернуться только в 1944-м, после Освобождения. Тогда-то они с Борисом и познакомились. На одной из репетиций Виан попросил ударника Клода Леона играть погромче. Тот изумился — он к такому не привык. У них было много общего: оба — талантливые технари (тут необходимо «лирическое» отступление: на счету Виана несколько хитроумных, официально запатентованных изобретений, в том числе колесо с внутренней амортизацией), живут по соседству, сходятся во вкусах... За Клодом Леоном закрепилось прозвище Доди (вариант — Додди). Под этим именем, а то и под своим собственным, он войдет в книги Виана.

В 1943-м Виан еще не стал самостоятельной величиной; он делает первые шаги — и в литературе, и в джазе. В 1943—1944 годах оркестр Абади принимает участие в нескольких турнирах джазистов-любителей Франции, но пальма первенства достается не им. Зато в 1945-м их ждет грандиозный успех: на международном турнире в Брюсселе оркестр завоевывает четыре кубка и главный приз. На следующий год в Париже, на IX конкурсе джазистов, оркестр Абади получает наконец Гран-при! За ними закрепляется слава самого старого любительского оркестра: по этому случаю музыканты приклеивают себе длинные белые бороды.

В юности Борис не мечтал стать писателем. Стихи, правда, он сочинял лет с двадцати, но в семье, где любимой игрой было буриме, никто не воспринимал сти-

хосложение всерьез. Работая в AFNOR, Борис составил сборник, который назвал «Сто сонетов». Он включает туда сто двенадцать стихотворений и десять виртуозных сонетов-баллад, написанных в 1940—1944 годах. Сохранившийся рукописный вариант сборника украшен цветными иллюстрациями Петера Нья (он же Клод Леглиз).

Мишель и Борис Вианы, Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр

В 1942-м Борис пишет для болеющей Мишель «Волшебную сказку для не вполне взрослых», затем «Разборки по-андейски». Мишель быстро все перепечатывает, и тексты становятся достоянием многочисленных друзей. Войдя во вкус, Виан сочиняет «Сколопендр и так далее», позднее озаглавленный «Сколопендр и планктон». Скучая в своей конторе, составляет «Стандартизированный перечень ругательств среднего француза».

Одним из первых слушателей «Сколопендра» стал Жан Ростан. (Этот известный французский биолог, сын драматурга Эдмона Ростана, жил в своем имении по соседству с «Фовет» и охотно позволял своим детям дружить с молодыми Вианами). Он настолько благосклонно отнесся к виановскому юмору, что передал рукопись уже очень известному Раймону Кено, своему другу. Мастер пародии, вербальных игр и черного юмора сразу полюбил и книжку, и ее автора и предложил «Сколопендра» к публикации в издательстве «Галлимар», где служил литературным консультантом.

В ноябре 1944-го случилось несчастье. В имение Вианов забрались ночные грабители. Услышав шум, на лестницу вышел отец. Прогремел выстрел. Поль Виан был убит наповал. Счастливая жизнь его семейства кончилась. Вилла пошла с молотка. Борис и Мишель перебрались на улицу Фобур-Пуассоньер, в квартиру родителей Мишель, и делили ее с сильно пьющим Клодом Леглизом, а в дальнейшем — с парализованной мадам Леглиз. Перед тем как навсегда покинуть «Фовет», Борис заперся в танцевальном зале, который в далекие счастливые времена построил его отец, и долго играл там один на трубе.

Когда человеку в реальном мире плохо, он сочиняет себе другой мир. Не потому ли Борис все больше и охотней пишет? Из-под его пера появляются первые новеллы. Публиковать их Виан не стремится. Мишель их перепечатывает. Кено, возможно, читает. Во всяком случае, с его подачи Виан заключает с «Галлимаром» договор на сборник рассказов «Часики с подвохом». Но эта затея так ничем и не кончится.

В феврале 1946-го Виан перешел наконец из ненавистного AFNOR в Государственное управление бумажной промышленности, куда устроил его Клод Леон. Но и там Борису не сиделось спокойно: он все время что-то писал и с загадочным видом прятал. Даже Мишель была не в курсе. Через пару месяцев выяснилось, что Виан сочинил новый роман. Это была ныне знаменитая «Пена дней». Мишель рыдала, перепечатывая текст. А Борис надеялся получить за него премию «Плеяды» от издательства «Галлимар». Но судьба оказалась благосклонной к другому автору — премию присудили поэту Жану Грожану. Виан, разумеется, отвел потом душу и насочинял про своих обидчиков таких легенд, что теперь они скорее известны как его персонажи, нежели как поэты и литераторы.

В марте 1946-го Кено представил Виана Симоне де Бовуар. Знаменательная встреча произошла в баре гостиницы «Пон руаяль». Поначалу Симона держала себя настороженно и недоверчиво; она отметила, что Виан с удовольствием слушает самого себя и любит шокировать окружающих парадоксальными утверждениями, к тому же бравирует своей аполитичностью. Впрочем, ко второй встрече, когда она прочла «Сколопендра» и наслушалась о «Пене дней», лед растаял. Вскоре на «торто-пирожной вечеринке» у Бориса и Мишель новые друзья проговорили на кухне всю ночь напролет. Потом в Париж из Соединенных Штатов вернулся

Сартр, и Симона с гордостью «подарила» ему очаровательную пару: талантливого молодого писателя-джазиста и его прелестную, молчаливую жену, пишущую о кино. Правда, к Мишель Симона долго еще присматривалась, находя ее скучной и пресной. Сартр же оценил ее иначе. Мишель и в самом деле говорила мало — ее забивал Борис,— зато обладала редким талантом слушать.

Виан был в самом расцвете своих творческих сил; он много знал, великолепно рассказывал, мог часами говорить о джазе и Америке, которую изучил по книгам. Он со всеми держался дружески-сердечно, но независимо, был уверен в себе и уже заявлял: «Я не рассуждаю о литературе, я ее делаю».

Журнал «Тан модерн», провозвестник экзистенциалистской мысли, распахнул перед Вианом свои страницы. Сартр даже специально открыл новую рубрику: «Хроники лжеца». Главной задачей хроникера было развлекать читателя и, не говоря ни слова правды, прозрачно намекать на реальные события — то, что Борису лучше всего удавалось. «Лжец» острил по поводу несуществующих фильмов, подтрунивал над популярностью кинозвезд и знаменитостей, сочинял невесть что про Америку. За год с небольшим Виан написал для «Тан модерн» пять хроник и одну статью (правда, опубликовано было не все); кроме того, на страницах журнала увидели свет отдельные главы «Пены дней» и новелла «Мурашки», полюбившаяся Сартру своей антивоенной идеей и кровавым юмором.

День Бориса начинался обычно с присутствия в Управлении бумажной промышленности, где украдкой от начальства и Клода Леона, который сидел напротив, он писал «Осень в Пекине»[1]. Вечера после восьмичасового рабочего дня были сплошь заняты выступлениями в ресторанах и кафе — теперь уже в самом популярном квартале Парижа, Сен-Жермен-де-Пре. Дома Виан постоянно что-то мастерил, по ночам (когда не мог спать из-за сердечных приступов) писал статьи для журналов, переводил. Нередко ему помогала Мишель. Борис торопился все успеть. «Каторжник — не тот, кто работает по принуждению, а кто не делает того, что обязан делать», — записано в его дневнике. С окружающими он тем не менее оставался весел и приветлив, не умел отказывать, когда о чем-то просили. Говорят, у него была особая манера дружить: каждый был уверен, что именно его отношения с Борисом окрашены каким-то неповторимым теплом и смыслом. Он жил и дружил взахлеб.

За что бы Виан ни брался, он все делал талантливо и немного не так, как все. Это создавало его индивидуальный стиль. Вот пример: в декабре 1946-го литературный журнал «Нувель ревю франсез» организовал в галерее «Плеяды» выставку картин и рисунков французских писателей. «Если вы умеете писать, значит, умеете и рисовать», — гласил девиз. Галерея заполучила рисунки и картины Верлена, Аполлинера, Арагона, Бодлера, Кено и других. Кено предложил участвовать Виану. И вот за несколько недель Борис, никогда не державший в руках кисти, написал специально для выставки с полдюжины картин. Это удивительно, но в них соблюдены законы композиции, есть глубина пространства, бинокулярная перспектива, движение... Все уравновешенно, значимо, талантливо. Правда, из шести работ галерея приняла только одну: «Железных человечков».

К этому же времени относятся первые киноопыты Бориса: вместе с оркестром Клода Абади он снимается в фильме «Мадам и ее любовник». Как музыкант-джазист Виан становится все более популярен, чему немало способствует слава Сен-Жермен-де-Пре.

Об этом квартале, где бурлит светская жизнь, ходят легенды. Именно там они рождаются легче всего. Потому что легенды во Франции создаются для того, чтобы в них участвовать. Сен-Жермен-де-Пре — один из центральных кварталов Парижа, расположенный на левом берегу Сены. В 30-е годы па-

[1] Роман опубликован в «ИЛ», 1995, №3.

рижане творческих профессий, до того предпочитавшие Монмартр, затем Елисейские Поля и Монпарнас, облюбовали сен-жерменские бистро и кафе для встреч и общения. Это перемещение отчасти объяснялось тем, что здесь, по соседству с Латинским кварталом, расположились переплетные мастерские, книжные магазины и солидные издательства, такие, как «Грассе», «Сток», «Фламмарион», «Галлимар». Некоторые писатели даже снимали квартиры в этом районе. На улице Дофин жил одно время Жак Превер, на улице Бонапарт — Сартр, на улице Сен-Бенуа — Маргерит Дюрас. Еще там проживали Робер Деснос, Раймон Кено, Леон-Поль Фарг и другие.

Самые знаменитые и колоритные заведения Сен-Жермен-де-Пре — это «Липп», «Дё маго» и «Флора». Перед второй мировой «Флора» привлекла к себе внимание благодаря шумным сходкам «компании» Жака Превера, то есть театральной группы «Октябрь», которая в 1933-м участвовала в московской Олимпиаде рабочих театров и заняла первое место. Кроме того, по соседству находился театр «Вьё Коломбье», так что во «Флору» приходили не только литераторы, но и актеры, режиссеры, художники.

Зимой 1942-го во «Флоре» появился Жан-Поль Сартр в сопровождении своей подруги, молоденькой учительницы Симоны де Бовуар. Они расположились как дома и погрузились в работу. Шли дни; Сартра во «Флоре» стали навещать ученики, знакомые начали звонить в кафе по телефону. Постепенно «Флора» превратилась в географический центр экзистенциализма.

В этом мире Виан-джазист вскоре воцарился как «принц Сен-Жермен-де-Пре». Но сначала должна была родиться главная и самая скандальная легенда.

Среди новых друзей Бориса было два брата: Жорж (он же Зозо) и Жан д'Аллюэн, оба — без ума от джаза; Жорж играл на контрабасе и жаждал попасть к Абади; Жан (по прозвищу Скорпион) мечтал раскрутить собственное издательство. Для хорошего старта требовался захватывающий американский роман — единственное, чем можно было в ту пору удивить Париж. Но где же такой взять? И Скорпион обратился за помощью к Борису: он все на свете знал, все книги читал и в американской литературе разбирался как никто другой. Июльским днем Жан разыскал Бориса на Елисейских полях в очереди перед кассами кинотеатра и попросил подыскать что-нибудь для издания. После десятиминутного разговора судьба еще не родившегося издательства была решена: Борис сам напишет роман, да такой, какого никто никогда не читал.

В августе Виан, Мишель, Патрик и несколько их друзей отправились отдыхать на море в Вандею. Там Патрик немедленно подхватил коклюш. Взрослые по очереди дежурили у его кроватки. Черед Бориса наступал ночью, когда можно было спокойно писать. Он сочинял мрачный и кровавый «американский» роман, который собирался назвать «Я приду сплясать на ваших могилах». Через неделю Патрику стало хуже, Мишель повезла его в Париж, а Борис остался работать. По вечерам он играл на гитаре и читал готовые главы Зозо. Имена он заимствовал из уже нашумевших романов, географические названия выдумывал, хотя и держал все время перед глазами карту Америки.

Через две недели роман-пародия был готов. Зозо с Борисом привезли его в Париж и представили на суд Мишель, Скорпиона и Клода Леона. Рукопись вызвала всеобщий восторг. Осталось утвердить название и придумать имя автора. Мишель предложила назвать роман покруче: «Я приду плюнуть на ваши могилы». Вариант приняли единогласно. С именем обошлись по-свойски: писателя нарекли Верноном в честь Поля Вернона, музыканта из ансамбля Абади, а фамилию ему дали Салливен — в память о Джо Салливене, знаменитом джазовом пианисте. Сочинили интригующую легенду: будто Салливен был начинающим писателем, «белым» негром, то есть потерявшим видимые признаки негроидной расы; будто на родине ему грозил суд Линча и потому роман можно было издать только за границей, да и то под псевдонимом. Как переводчик и специалист по американской литературе Виан даже проанализировал в предисловии литературные корни нового американского прозаика, уловив влияние Генри Миллера, Джеймса Кейна, Фолкнера и Колдуэлла. С издательством «Скорпион» был заключен официальный договор, согласно которому Виан как будущий переводчик всех будущих произведений вышеупомянутого автора являлся также его официальным представителем во Франции.

К моменту выхода романа атмосфера в Париже и без того была накалена: два издателя, Галлимар и Робер Дёноэль, обладали правами на «Черную весну» и «Тропик Рака» Генри Миллера. Запустить обе книги одновременно им не удалось, так как в конце 1945-го Дёноэля убили. Сначала вышел только «Тропик Рака», вызвавший негодование официальной общественности, которая в те годы очень пеклась о моральном облике французского гражданина. Тут выяснилось, что издательство «Шен», раздобыло права на «Тропик Козерога» Миллера и собирается его печатать. Против трех книг Миллера выступила организация с устрашающим названием Картель социального и морального действия. Во главе этой организации стоял протестант Даниэль Паркер. В противовес ей образовалось общество друзей Генри Миллера. Книги раскупались на ура. Вот на эту почву и упали зерна, посеянные Вианом. «Кто посеет ветер, пожнет бурю», как известно. Так оно и вышло.

Очень скоро критики и журналисты стали догадываться, что Виан не переводчик, а автор скандального романа и что речь идет о беспардонной мистификации. Кто-то кому-то намекнул, а иные сами додумались, сравнив диалоги «американской» книги с «Хрониками лжеца» и «Сколопендром», который к тому времени уже вышел, ни у кого, правда, не вызвав особого интереса. Сам Борис с лукавым видом увиливал от прямых ответов: «Я не могу доказать, что Салливен существует, как вы не можете доказать, что его нет. Вы вольны верить во что хотите». Сартр в подлог не верил и хвалил «американца» за блестящую картину противоречий буржуазного общества. Жан Ростан огорчался, предполагая, что его юный друг мог сам написать столь грубую и неприличную вещь. Галлимар не скрывал радостного удовлетворения по поводу заметно выросшей популярности открытого им молодого автора. Кено был заинтригован и все допытывался, правда ли то, о чем пишут газеты. А газеты писали следующее:

Насколько можно судить, ни один американский издатель не рискнул публиковать этот горячечный бред метиса, что делает им честь. Мы вынуждены с горечью признать, что во Франции нашлись-таки переводчик и фирма, решившие обнародовать эту непотребную галиматью.

Если уж плевать, то на книгу. («Депеш де Пари», 21 ноября 1946 г.)

О Борисе Виане как о литераторе не имеет смысла долго рассказывать, потому что всем и каждому он теперь известен как переводчик «Я приду плюнуть на ваши могилы», ошеломляющего романа, подписанного Верноном Салливеном, о котором мы знаем только то, что он негр. Определенная схожесть стиля и ряд совпадений уже давно наводят на мысль, что переводчик и автор — одно и то же лицо. Борис Виан отпирается, не желая признавать за собой авторство столь компрометирующей книги. У него со своими-то произведениями хлопот по горло. Возьмите, например, его роман о вечеринках, озаглавленный «Сколопендр и планктон». За сим туманным названием скрывается подтвержденное документально исследование (поскольку Борис Виан сам был организатором немалого количества вечеринок) своеобразных обычаев, принятых на такого рода увеселениях. Книгу эту можно давать в руки не каждому и меньше всего — родителям, которые, если бы знали, что́ на самом деле происходит на праздниках у их отпрысков, запретили бы им там появляться и отправились бы туда сами. («Пуэн де вю», 8 мая 1947 г.)

В феврале 1947 года Картель Даниэля Паркера подает в суд на автора романа «Я приду плюнуть на ваши могилы», обвиняя его в нанесении ущерба общественной морали и нарушении закона о семье и браке. Виан пытается убедить читателей в реальном существовании Салливена и пишет новый роман о белокожем метисе — «Мертвые все одного цвета». Главный герой (ну как тут удержаться от мести?) — Дэн Паркер. Кроме того, Виан переводит «Я приду плюнуть...» на английский. Все напрасно: он уже разбудил фурий. Имя Виана становится одиозным. 29 апреля происходит событие, в котором косвенно опять оказывается замешан Виан: в одной из парижских гостиниц мужчина убивает свою любовницу, а потом скрывается, чтобы покончить с собой. Все бы ничего, но молодая женщина задушена, а рядом на кровати лежит роман Салливена, раскрытый на сцене аналогичного убийства. Парижане мгновенно забыли про Миллера и бросились читать ужасную книгу. «Скорпион» затеял переиздание. Картель Паркера возобновил судебное преследование,

сумев привлечь на свою сторону Ассоциацию ветеранов войны 1914 года. В невиновность Бориса не верит даже его адвокат. Не действует и написанная Вианом статья «Я не убийца», в которой он, подкрепляя свои доводы примерами из литературы, доказывает, что всякий писатель имеет право на вымысел и не в ответе за возможную реакцию читателей.

Скандальная слава, похоже, пришлась Борису по вкусу. Ни на какое «разумное» поведение он, вероятно, способен не был. Поэтому, продолжая дразнить Паркера, в 1948 году он пишет трехактную пьесу «Я приду плюнуть на ваши могилы» и подписывает ее своим именем. Пьеса оживает на сцене в апреле того же года. Акценты в спектакле смещены от эротики в сторону бесправного положения негров в Америке, но ярлык «порнографии» настолько прочно прирос к названию, что в афишах название пьесы стыдливо опускается, указаны только автор и тема.

Если верить газетам, постановка спектакля тоже не обошлась без курьезов. «Самди суар» от 16 марта 1948 г. пишет следующее:

*В третьем акте «Я приду плюнуть на ваши могилы», как известно, речь идет о сексуальной мести чернокожего. Так вот, этот третий акт пропал бесследно. Сожалеть приходится не только об исчезновении текста, но и об исчезновении машинистки, которая его печатала.<...> Паскуали (*режиссер*) вызвал автора. Борис Виан прибежал на зов в полной растерянности.*

— Финал пьесы пропал! — сокрушался он. — Я передал рукопись третьего акта знакомой. Она должна была его перепечатать. И все никак не отдавала. Тогда я пришел к ней сам, и ее муж рассказал мне, что она сбежала с негром. А мой текст исчез.

Устав сопротивляться, Борис в конце концов сознался, что автор скандального романа он сам, и даже повторил это в суде. Ему грозили два года лишения свободы, штраф в триста тысяч франков и запрещение книги. Дело передали опытному адвокату, и тот сумел свести наказание к уплате ста тысяч франков штрафа; правда, тянулось все это до мая 1950-го. Ничего удивительного, потому что Салливен не успокаивался: в 1948-м он написал «Уничтожим всех уродов» (самая талантливая вещь этого мифического писателя), а в 1950-м — «Женщинам не понять». Через три года состоялся новый суд, на этот раз Виана приговорили к двум неделям лишения свободы... с тем чтобы тут же объявить о помиловании.

«Осень в Пекине» была опубликована «Скорпионом» в 1947-м, но отклика никакого не вызвала: на фоне Салливена она выглядела пресной.

Артистическая судьба Виана складывалась куда счастливей писательской. Во-первых, литературные скандалы привлекли к нему внимание и симпатии публики, у него появилось большое количество поклонников и поклонниц. Во-вторых, в Сен-Жермен-де-Пре обнаружились подвалы — обыкновенные подвалы, в которых когда-то хранили вино или старую мебель и про которые давно все забыли. Не желая участвовать в претенциозных и скучных развлечениях «взрослого» общества, молодежь облюбовала эти погребки, чтобы развлекаться по-своему.

История сен-жерменских подвалов 45—50-х годов, — читаем мы во французском путеводителе по кварталу, *— это история нескольких десятков заведений, не отделимая от легенды целого поколения. Завсегдатаи кафе, баров и ресторанов в те годы находили джаз слишком шумным, и молодым музыкантам пришлось спрятаться в подвалы. Собственно говоря, подвалов как таковых было совсем немного: «Табу», «Клуб Сен-Жермен», «Квод либет», «Клуб Вьё Коломбье», «Красная роза» и еще несколько. История одного из них, «Табу», особенно замечательна и богата событиями.*

Первым парижским подвальчиком такого рода был «Лорианте» и находился он не в Сен-Жермен, а в Латинском квартале. Официальное открытие состоялось в июне 1946-го; хозяин пригласил к себе Виана и кларнетиста Клода Лютера, и в течение нескольких месяцев они играли там каждый вечер; потом Борис ушел в «Табу», а Лютер остался и превратил прежний винный погреб в «храм новоорлеанского джаза».

Подвал в доме № 33 по улице Дофин, будущий «Табу», согласно преданию, открыла Жюльет Греко. Как-то она сидела в бистро, повесив пальто на перила лес-

тницы; пальто упало, и она, отправившись его искать, обнаружила заброшенное подвальное помещение.

Вдохновившись успехом «Лорианте» и уступив уговорам своих именитых клиентов, среди которых были Сартр, Камю и Кено, хозяин «Зеленого бара» решил устроить в этом подвале танцевально-музыкальный клуб. Так 11 апреля 1947 года открылся знаменитый «Табу». В качестве музыкантов туда были приглашены братья Вианы, Клод Абади и контрабасист Ги Монтассю.

В «Табу» вела длинная крутая лестница, небезопасная для новичков. Под низкими сводами, в глубине узкого, длинного зала, на некотором возвышении располагался оркестр. Для танцев в середине зала было отведено небольшое пространство, остальные посетители сидели за столиками в густых клубах табачного дыма. Пили в «Табу» в основном кока-колу (летом). Поскольку напиток был еще внове, он вызывал самые противоречивые эмоции и жаркие споры. В холода пили горячий кофе. Когда оркестр отдыхал, на помост выходили молодые поэты и, перекрывая шум, выкрикивали свои стихи. Одним из них был Ален, младший брат Бориса, человек энергичный, одаренный и старавшийся ни в чем не уступать брату. Он читал свои рискованные сатирические поэмы, которые потом подписывал непереводимым приличными словами псевдонимом Никола Вержанседр. Еще там был Габриэль Померан, последователь Изидора Изу, изобретателя летризма как поэтического жанра. Была «молчаливая муза экзистенциализма» Жюльет Греко и ее «ангел-хранитель» журналистка Анн-Мари Казалис. Обращал на себя внимание Марк Дёлнитц, мим и актер, прибалтийский барон, большой друг Греко и организатор ночных празднеств, вошедших в историю под названиями «Ночь невинности», «Ночь кино» и так далее.

В «Табу», само собой, можно видеть экзистенциалистов, хотя Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар показываются достаточно редко. Зато там частенько встречали Альбера Камю с его командой из «Комба», Жана Кокто с Жаном Маре, сыновей Франсуа Мориака, Орсона Уэллса, Марселя Ашара <...>. Так что теперь считается «хорошим тоном» туда захаживать, хотя вы и рискуете, выходя, получить на голову содержимое помойного ведра. (Из статьи в одной газете 1947 года, подписанной Раймоном Янкером.)

Жизнь в «Табу» начиналась вечером и затихала ранним утром, когда открывалось метро. С наступлением сумерек сюда стекалась молодежь со всего Парижа. Здесь вершились судьбы, рождалась мода. Шестнадцати—двадцатилетние «подвальные крысы» копировали тех, кто стоял у истоков сен-жерменского стиля. Для мужчин стали модными американские клетчатые рубашки, часто на шнуровке, если не хватало пуговиц; носки в яркую полоску и кеды — пожертвования американцев. У Виана молодежь «заимствовала» вельветовую куртку и галстук-бабочку; у художника Ива Корбассьера и режиссера Александра Астрюка — кудрявую нечесанную шевелюру, а у Майора — «английский стиль». Для женщин роковым сделался образ Жюльет Греко: облегающий черный свитер, черные брюки, сандалии на босу ногу, длинные прямые волосы и оттененные усталыми кругами миндалевидные глаза, не тронутые косметикой. Еще одна деталь: «поскольку у экзистенциалиста нет стола, то свою настольную книгу он постоянно носит под мышкой: это «Я приду плюнуть на ваши могилы» Салливена». (*Б. Виан.* «Учебник по Сен-Жермен-де-Пре»). Газета «Франс диманш» расценивала «подвальных крыс» как последователей направления «зазу» и называла их «bobby-soxers», подчеркивая, что это название непереводимо на французский.

В 1949-м в «Табу» побывали два советских журналиста, Г. Петров и В. Полторацкий. Какова была их реакция, можно себе представить. Вот что пишет по этому поводу «Самди суар» от 15 января:

Они посетили Сен-Жермен-де-Пре, самый невинный квартал Парижа, по мнению Изидора Изу, но увидели в нем злачное место. «Табу» их просто шокировал.

*Вы встретите там, пишут они (*в «Литературной газете» — М. А.), *девиц в штанах и клошаров в рубахе, зато без штанов. Это нищая молодежь. Она живет в грязи и разврате и клянчит, чтобы вы угостили ее выпивкой. Это молодежь парижского дна: диковинная плесень ненависти, зависти, глупости и самой вульгарной распущенности. Таково лицо экзистенциалистов. Таково их кредо. <...> Суть литературных произведений и сам стиль экзистенциалистов, по их словам, полностью выражен в клеветнической пьесе Сартра*

«Грязные руки» и книге Бориса Виана «Я приду плюнуть на ваши могилы», представляющей собой самую гнусную и извращенную порнографию.

Виан занимал в «Табу» особое место. Поэтому в октябре 1949-го издательство «Тутен» заказало ему путеводитель по Сен-Жермен-де-Пре для тех несчастных туристов, которые, «заблудившись ночью в переулках квартала, просыпаются утром на помойке какого-нибудь двора или тупика». То, что сделал Виан, сильно отличалось от первоначального плана и превратилось скорее в «детскую сказку, в которой неизвестно, происходит все наяву или во сне». (Ноэль Арно, предисловие к изданию 1997 г.) Во всяком случае, легенда о Сен-Жермен-де-Пре, во многом придуманная и оболганная журналистами, была очищена и поэтизирована силой таланта «сен-жерменского принца». Издатели книги уведомляли:

Борис Виан — хоть он в этом и не признается — играл наиглавнейшую роль в организации сен-жерменских погребков, осаждаемых сумасшедшими красотками и кинозвездами из всех стран мира. Он собрал там богатейший урожай анекдотов и баек, порой достаточно фривольных, проиллюстрировал их сотней рисунков лучших французских юмористов, и получился этот вот учебник, ставший катехизисом истинного сен-жерменца.

Символом «Табу» Виан был около года. Потом неповторимая атмосфера изменилась, появилось много посторонних, и организаторы подвала решили учредить новый клуб, совсем рядом с первым, — «Клуб Сен-Жермен». Торжественное открытие состоялось в июне 1948-го и вызвало небывалое столпотворение в узких улочках квартала.

Громкая слава парижского джаза докатилась до Америки, и заокеанские джазисты зачастили во французскую столицу. Здесь побывали Рекс Стюарт, Чарли Паркер, Коулмен Хокинс, Эррол Гарнер, Майлс Дэвис и другие. Встречал их, сопровождал, развлекал и угощал Борис Виан вместе со своей неизменной спутницей Мишель. Приехал даже «великий» Дюк Эллингтон, главный кумир Виана. На вокзале его встречала ликующая толпа, а Мишель даже привезла с собой четырехмесячную дочь (Кароль Виан родилась 16 апреля 1948 года) и дала ее подержать Дюку. Эллингтон пробыл в Париже около недели, в течение которой Борис и Мишель не оставляли его ни на минуту, затем торжественно отбыл на гастроли в Германию. Через несколько дней он вернулся инкогнито и около трех ночи позвонил в дверь на бульваре Фобур-Пуассоньер. Остаток ночи прошел в разговорах обо всем на свете; в половине восьмого утра Борис доставил Дюка на вокзал и посадил в поезд. А история эта вошла в легенду.

В 1947—1948 годах Виан много работает: переводит с английского, организует вечера и концерты, готовит и записывает радиопередачи (всего пять), пишет новеллы, киносценарии (как правило, «в стол»), статьи о джазе, пьесу «Всеобщая живодерня», роман «Красная трава». Он по-прежнему в центре внимания, у него множество друзей и поклонниц. Но он все больше устает, чувствует себя неважно, реже играет в оркестре, хотя и принимает самое живое участие в парижской Неделе джаза в мае 1948-го. Все, за что он ни берется, отмечено печатью его абсурдно-провокаторского гения, пронизано особым юмором. Все талантливо, все на грани допустимого.

В 1949-м в «Клубе Сен-Жермен» Борис появляется в основном как почетный гость и постепенно отказывается от роли «принца». Зато много пишет, становится главным редактором журнала «Джаз-ньюс», где до июня 1950-го под разными псевдонимами сочиняет все статьи. Это продлится до июня 1950-го. Кроме того, он сотрудничает в журнале «Сен-Синема-де-Пре», защищая киновымысел от нападок неореализма.

К концу 40-х в жизни Бориса наступает кризис. Отношения с Мишель уже давно не ладятся. Супруги устали друг от друга, держатся все более независимо, отчужденно. Каждый живет своей жизнью. Мишель очень дружна с Сартром (со временем эта дружба перерастет в нечто большее, их отношения продлятся не одно десятилетие). Борис становится раздражителен, нетерпим с близкими. Периоды апатии чередуются у него с приступами ярости, он отшатывается даже от старых друзей. И чувствует себя очень одиноко.

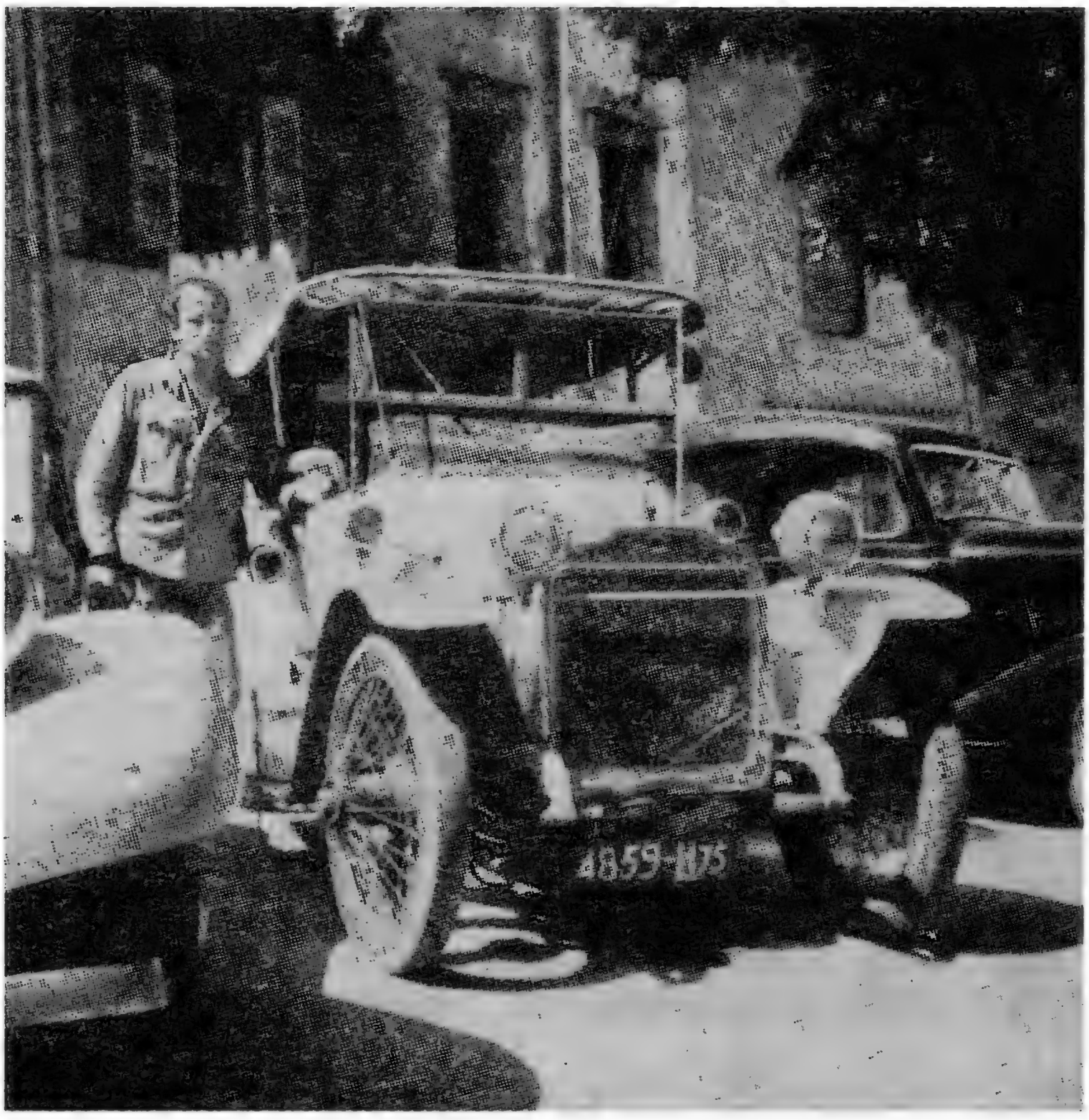
Дюк Эллингтон с женой и дочерью Бориса Виана

На этом печальном фоне произошло одно событие, которому никто сначала не придал никакого значения. На коктейле у Галлимара Борис повстречал Урсулу Кюблер.

Урсуле был двадцать один год, она была балериной и дочерью известного швейцарского художника и журналиста Арнольда Кюблера. В 1948-м родители отправили ее из Цюриха в Швецию, на родину матери, чтобы положить конец безнадежному роману дочери с учителем танцев. После Швеции Урсула попала в Париж под опеку своего дяди, американского дипломата; ее взял в свою труппу Морис Бежар. С ним она гастролировала в Германии, а вернувшись, перешла к Ролану Пети. Урсула была хороша собой, независима и решительна. Кроме того, она предпочитала изысканный круг общения, к которому привыкла с детства.

Борису и Урсуле понадобилось несколько случайных встреч, чтобы обратить друг на друга внимание. Как-то она зашла к нему на бульвар Фобур-Пуассоньер, потом прочла «Пену дней». Постепенно они привыкли друг к другу и стали чаще бывать вместе. У Бориса к тому времени появился очередной и вполне допотопный экзотический автомобиль «бразьер» 1900 года. На нем он возил свою новую подругу по барам и клубам. Правда, довольно часто приходилось его чинить, но Урсула быстро научилась помогать Борису. Весной 1951-го они решили жить вместе и сняли крошечную мансарду на бульваре Клиши. А еще некоторое время спустя Борис, который до этого и слышать не хотел о разводе, сам предложил Мишель официально расторгнуть их брак.

Насколько сильно Борис любил Урсулу, можно судить по записям в его дневнике. Сам дневник пока не опубликован, но хранители фонда Виана позволили французским биографам ссылаться на него. Однажды Урсула уехала в горы лечить осложнение после гриппа. Борис остался один. Он так тосковал, что не мог писать. Сразу обострилась болезнь сердца, начали отекать руки, болели плечи. По нескольку раз в день он отправлял любимой письма. Дождавшись ответа, ненадолго успокаи-



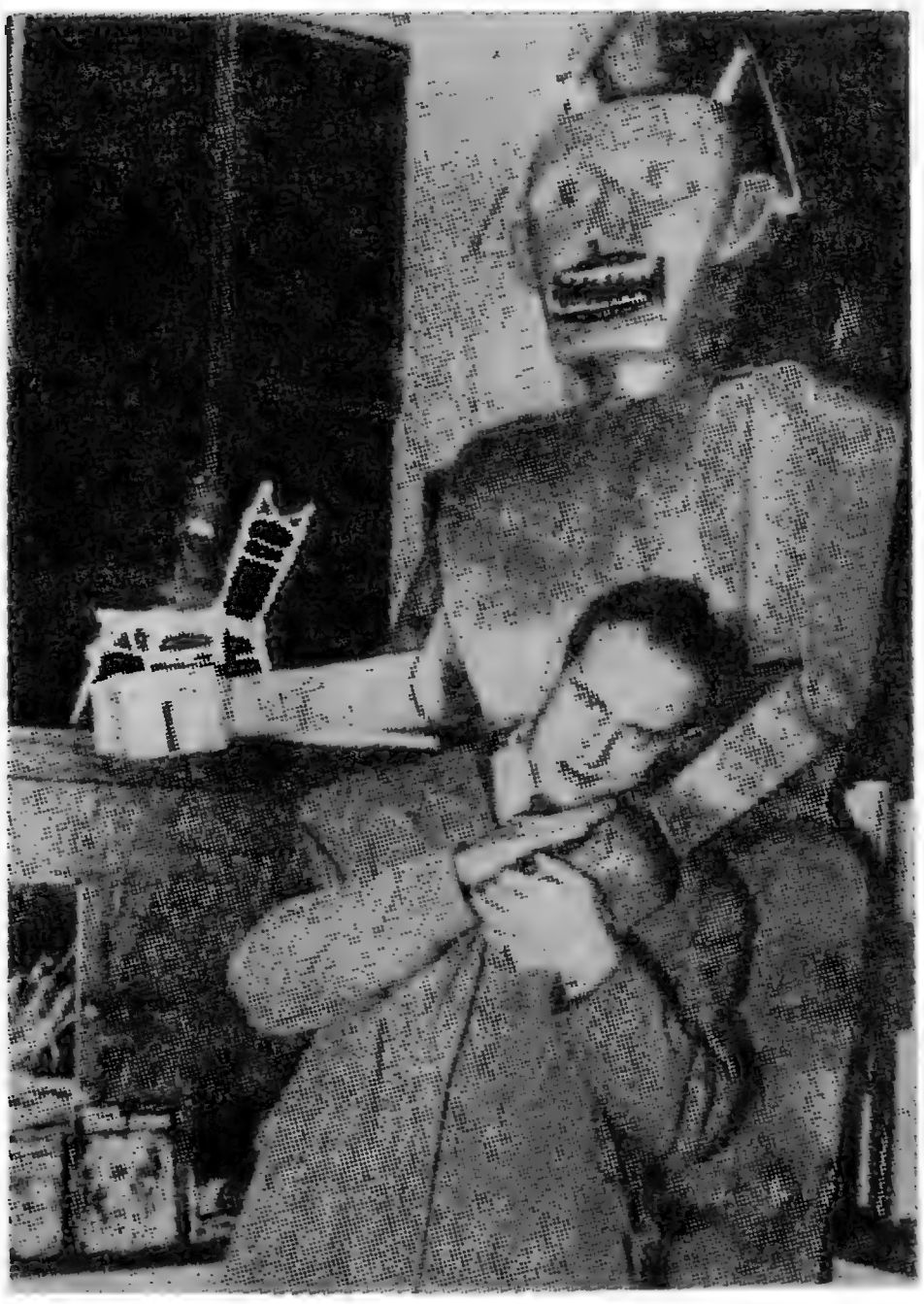
Борис Виан в Сен-Тропезе рядом со своей машиной «бразьер»

вался. «Получил от Урсулы сразу три письма, — записывает он в дневнике. — Ангел. Повторяю, я обожаю ее». И дальше: «Вечер, я опять страшно устал, но нельзя не написать о звуке ее шагов, о том, как я узнавал ее по этим шагам, когда она поднималась на седьмой этаж своей чеканящей походкой». Он даже написал «Колыбельную для медведей, которых нет рядом». Урс, медведь, — уменьшительное от Урсулы; так он называл свою подругу. У них был даже любимый танец — Медведя и Бизона, — когда Урсула становилась ему на ноги и они, раскачиваясь, топтались на месте.

По детям своим Борис тоже скучает, видит их редко. «Я их очень люблю, — пишет он. — Они такие милые. И, кажется, тоже очень меня любят». Он мечтает, чтобы восьмилетний сын жил с ним, но это пока невозможно. С грустью размышляет он и о своих литературных неудачах: «Я пытался рассказывать людям истории, которых они никогда не читали. Полный идиотизм, более чем идиотизм; им нравится только то, что они уже знают. А я — наоборот, от того, что уже знаю в литературе, не получаю никакого удовольствия».

Но не писать он не может. В 1951-м появляется еще одна пьеса в антимилитаристском духе, «Полдник генералов», затем одноактная комедия «Голова кругом», потом роман «Сердцедёр». Галлимар, хоть и подписал договор на публикацию всех произведений Виана, от права своего отказался, и виановские тексты выходят в малоизвестных издательствах, не раскупаются и вообще остаются незамеченными. «Интересно, — замечает Борис в одном письме, — когда я пишу всякую дурашливую галиматью, это выглядит искренне, когда же пишу правду, все думают, что я шучу». «Сердцедёр» — это была правда о впечатлениях детства. Борис подарил книгу матери, надписав: «Мамаше Пуш, вот исчо одна на растопку».

Идет время, жизнь постепенно входит в новое русло. Борис участвует в создании сценария для грандиозного представления в кабаре «Роз руж». Это «Киноврaки», сборник скетчей на тему кино. Спектакль имеет оглушительный успех. «Люди визжали от восторга, а я стоял весь сине-зеленый, до того мне было страшно, — признается Борис в письме к Урсуле, которая опять уехала на гастроли. — Пред-



Робот — покровитель клуба «Савантюрье»

ставляешь, даже не было генеральной репетиции! Я впервые видел их всех на сцене и скоро сам начал хохотать. Марсель держался за живот и жутко сдрейфил, когда дошло до скетча про Air Force, который и вправду такая умора, что дальше некуда! Я думал, американское посольство его запретит...» Но посольство ничего не запретило, и спектакль выдержал около 400 представлений. После этого Виана продолжают приглашать для постановки спектаклей, и его материальное положение слегка поправляется. Они с Урсулой переезжают в квартиру побольше, где Борису все приходится строить и перестраивать своими руками. Новое жилище находится у подножия Монмартра в живописном тупике Сите Верон, дом 6-bis. Окна одной из комнат выходят на террасу под открытым небом, откуда открывается вид на крыши и торчащие меж ними лопасти «Мулен Руж».(Теперь в этой квартирке находится Фонд Бориса Виана.)

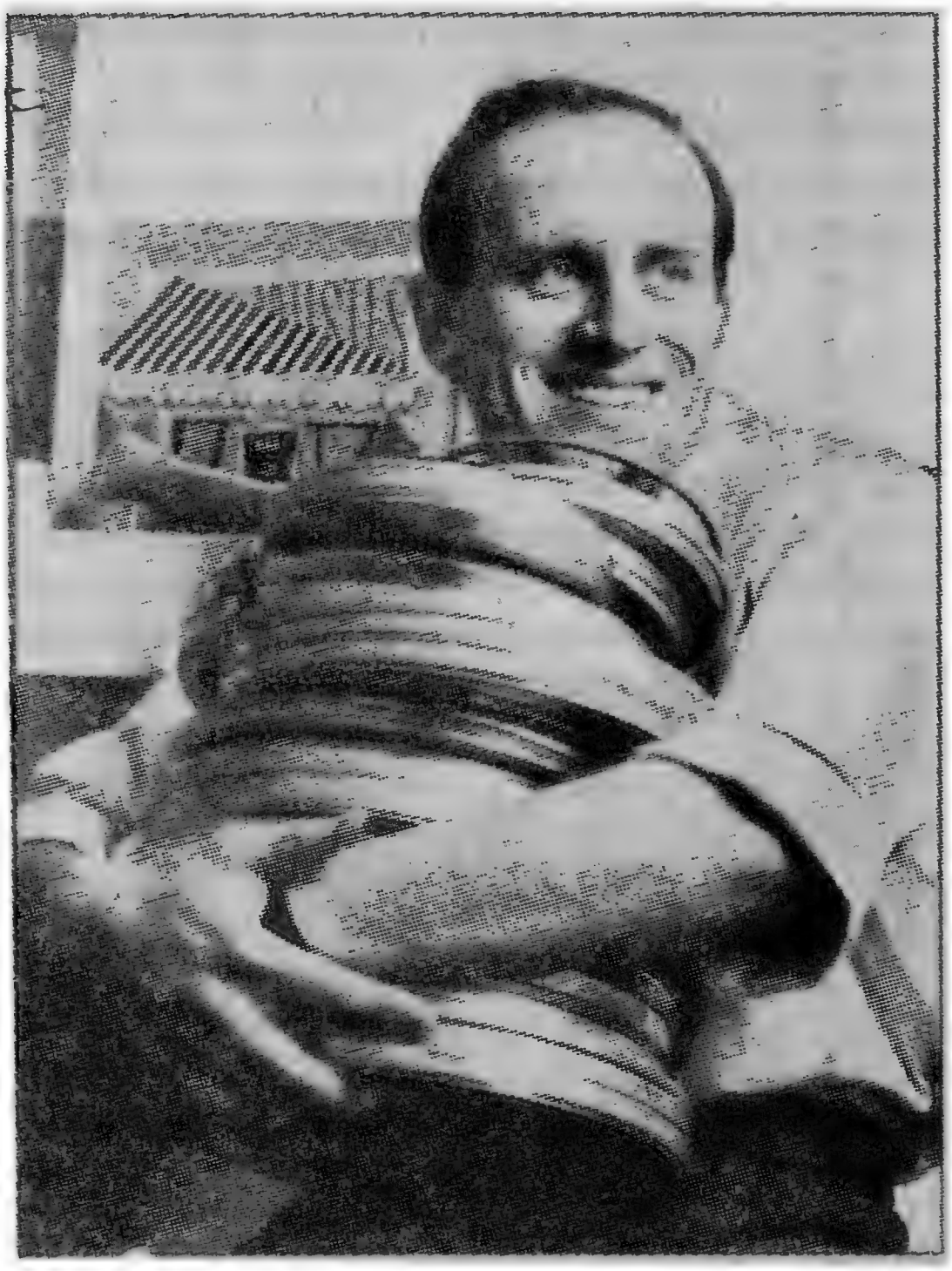
Урсула часто уезжает на гастроли, оставляя Бориса одного. Когда она в Париже, они редко сидят дома. Оба, несмотря на денежные затруднения, красиво и изысканно одеваются. Это одна из самых элегантных пар артистического и интеллектуального Парижа.

Лето они проводят в Сен-Тропезе. У моря Борис оживает: загорает, плавает, ныряет, несмотря на запреты врачей; утром, до восхода солнца, ходит на прогулки, беседует с рыбаками. Урсула не дает ему заботливых советов, она прекрасно понимает и разделяет его жажду жизни.

В Сен-Тропезе их окружала большая компания сен-жерменских друзей. Молодой режиссер Поль Павио как-то затеял снимать невероятный полудокументальный фильм о Сен-Тропезе. Борис написал для него сценарий. Ален Рене, еще не успевший стать известным режиссером, взял на себя монтаж. В одной из главных ролей снимался Мишель Пикколи. Жюльет Греко и Марк Дёлнитц изображали самих себя и целовались перед камерой под комментарий (текст Виана) следующего содержания: «Греко и Марк Дёлнитц посвятили свой отпуск совершенствованию дотоле неведомой эротической практики, которую только истинные знатоки сумеют оценить по достоинству. Научное название того, что они делают, дал Франсуа Мориак: «Поцелуй прокаженного». Виановский «бразьер» тоже фигурировал в этом фильме на правах полноценного действующего лица.

Приблизительно та же роль была отведена ему на фотоприглашении, которое Борис с Урсулой разослали своим друзьям, решив наконец пожениться. Правда, женился Борис неохотно, уступая уговорам друзей и настояниям самой Урсулы. Урсула в свою очередь поддалась увещеваниям матери. После свадебной вечеринки, состоявшейся на террасе в Сите Верон 8 февраля 1954 года, Борис две недели с женой не разговаривал.

В начале 50-х Виан увлекся научной фантастикой. Это было в некотором роде поветрие: его интересы разделял Раймон Кено и многие другие известные люди того времени. Любители фантастики учредили закрытый клуб «Савантюрье» (от слияния «savants» — «ученые» и «aventuriers» — «искатели приключений»). Виан сочинял теперь сценарии скетчей и фильмов на фантастические темы, переводил фантастику и даже написал статью для «Тан модерн»: «Новый литературный жанр: научная фантастика». Движение «савантюристов» опиралось на твердый научный базис: теорию философа Альфреда Кожибского. Польский инженер и гражданин Соединенных Штатов граф Кожибский был основоположником линг-



вистической философии, которую назвал «общей семантикой». Это своего рода теория относительности, согласно которой убеждения человека неизбежно вступают в противоречие с системой лингвистических знаков, усвоеннных в детстве. Кожибский предлагал оздоровить человечество и выработать новые нейролингвистические навыки, для чего выдвинул принципы этического перевоспитания людей.

В июне 1952 года Виан был торжественно принят в ряды другой таинственной организации, которая пристально следила за его творчеством и оказывала ему моральную поддержку. Это была Коллегия патафизиков, основанная в Париже в 1948 году неким доктором Сандомиром. Целью Коллегии было исследование тех областей человеческого знания, на которые не обращали внимания физика и метафизика. Члены Коллегии почитали себя детьми «короля абсурда» Альфреда Жарри и отсчитывали новую эру со дня его рождения, то есть с 8 сентября 1873 года. Все дела Коллегии окружались строжайшей тайной, так что посторонние видели в этой организации лишь клуб шутников и любителей абсурда. Членами Коллегии в 50-е годы были Раймон Кено, Жак Превер, Макс Эрнст, Эжен Ионеско, позже — Жоан Миро, Рене Клер и другие. Коллегия патафизиков присвоила Виану звание Живодера первого класса и опубликовала «Полдник генералов» в своих «Тетрадях». В мае 1953-го Виан был принят в ряды Сатрапов Коллегии, что являлось следующей ступенью к вершинам патафизики.

Ощущая, что жизнь тает, Виан живет все интенсивней, все шире пытается ее охватить. Он сочиняет либретто для балетов, проявляет неожиданный интерес к песне и опере. В 1953 пишет либретто к опере «Снежный рыцарь» (музыка Жоржа Делерю). Театральный фестиваль, на котором разыгрывается грандиозное представление, проходит в Нормандии, в городе Кан, в августе 1953-го. Представление длится четыре часа и поражает богатством декораций, костюмов, количеством статистов. В спектакле задействованы даже живые лошади... За август «Снежный рыцарь» был дан семь раз и имел неизменный успех у публики и критики.

Забавная деталь: появление в Кане вианoвского «бразьера» произвело неизгладимое впечатление на мэра города. Он подружился с Борисом и ждал только одного — хоть на миг оказаться за рулем сногсшибательного автомобиля.

Жанр французской авторской песни еще только утверждался в это время. Еще только начинали звучать голоса Шарля Трене, Лео Ферре, Жоржа Брассанса, Феликса Леклера, Мулуджи. Всерьез заняться песнями Бориса уговаривали многие — Урсула, которой захотелось петь, композитор Жак Дьеваль. Наконец в 1954-м Борис принес в Союз авторов и композиторов текст и музыку песни «Дезертир». Гармонизацию сделал Гарольд Берг. Правда, первоначальная версия «Дезертира» была достаточно воинственной, а вовсе даже не антимилитаристской, и Мулуджи, заинтересовавшийся песней, заставил Бориса изменить текст. Впоследствии, когда «Дезертир» сделался популярным, Мулуджи пытался оспорить у Виана авторство окончательного варианта, но кажется, так в этом и не преуспел.

Виан предложил свои песни певице Рене Лёба. Она отказалась, но познакомила Виана с молодым композитором Джимми Вальтером. Через несколько месяцев было готово около тридцати песен. Сначала дело как будто заладилось, и песни разошлись по исполнителям. Но следующую серию никто брать не хотел. Жак Ка-

нетти, знакомый Виана по «Киновракам» и владелец театрального зала, нескольких театральных компаний и радиопрограмм, а кроме того, директор парижского отделения фирмы «Филипс», посоветовал Борису петь самому. (Французы были и остаются на редкость терпимы и внимательны к проблескам таланта и с готовностью помогают молодому дарованию. Уже одно то, как дебютировала не умевшая петь Жюльет Греко, приводит в изумление.)

Через месяц после разговора с Канетти Виан начал петь в его кабаре «Труа боде» («Три осла»). Он страшно волновался перед каждым выходом, от смущения порой не слышал музыку, сбивался с ритма. Ему не хватало дыхания. Это было даже не вполне пение, скорее декламация под музыку. Но публика с интересом ходила слушать, как поет автор скандального романа, знаменитый сен-жерменский трубач, хотя восторга не проявляла и вообще реагировала вяло. Один только Серж Гензбур оценил тогда песенный стиль Виана и в 1984-м написал в журнале «Ар»: «Только потому, что я услышал Виана, я решил попытать счастья в этом непритязательном жанре».

Однако фирма «Филипс», угадав виановский стиль и его будущий успех, предложила Борису напеть пластинку. Сначала он напел «правила дорожного движения», положенные на мотив популярных песен, чтобы изучающим было легче запоминать, потом записал с дюжину собственных песен под аккомпанемент оркестра. Эта первая пластинка в 45 оборотов называлась «Невозможные песни». В том же году появилась вторая «сорокопятка» — «Возможные песни». Третья, в 33 оборота, вышла в 1956-м и называлась «Возможные и невозможные песни». На конверте была напечатана небольшая заметка об авторе. Если раньше Виан писал о Брассансе, то теперь Брассанс написал о Виане:

Борис Виан — это одинокий странник, бросившийся на поиски новых песенных миров. Если бы этих песен не было, нам, без сомнения, не хватало бы их. В них есть то необъяснимое, что делает любое произведение искусства нужным и важным. Кому-то они не нравятся, пусть так, на это у всех есть право. Но придет время, сказал мне один человек, и песни Виана будут нужны всем.

Летом 1955-го Борис гастролировал со своими песнями по Франции. Сопровождал его друг и аккомпаниатор Ален Гораге. В Париже Виана хорошо знали, многие его любили. Провинция же о нем слыхом не слыхала, в лучшем случае уловила смутное эхо скандала с Салливеном. И вдруг является какой-то человек со странным русско-армянским именем и распевает со сцены непривычные для слуха песни про дезертиров. Сначала публика недоверчиво прислушивалась, затем стала возмущаться и свистеть. Группа пожилых мужчин из Нанта, следуя за Вианом из города в город, пыталась сорвать его выступления. Исполнение «Дезертира» всякий раз сопровождалось криками «Убирайся в Россию!» и угрозами. Позже выяснилось, что это были ветераны второй мировой, которые почему-то приняли песню на свой счет, хотя писалась она по следам событий в Индокитае. Однажды едва не дошло до драки, и Борис пошел ва-банк, пригласив лидера группы выпить и поговорить по душам. После разговора все недоразумения были улажены, и собеседники расстались почти друзьями.

Летние приключения снова привлекли к Борису внимание парижан, и осенью столица ходила в «Труа боде» на Виана. Его признали как автора оригинальных песен, но совершенно не желали воспринимать как писателя. Не помогала даже рекламная кампания Коллегии патафизиков.

Сценическая карьера Бориса продлилась чуть больше года. Каждое выступление стоило ему такого нервного и физического напряжения, что сердечные приступы участились. В результате он надолго слег с отеком легких.

Виан много сотрудничает с фирмой «Филипс», составляет каталог записей джаза, пишет комический рок-н-ролл — первый французский рок, — становится заместителем художественного директора парижского филиала.

Что касается французского рока, то тут опять-таки не обошлось без мистификации. Композитор Мишель Легран привез из Америки новинку: рок-диски, по которым сходила с ума вся американская молодежь. Борису и его другу, молодому композитору Анри Сальвадору, новая музыка не понравилась: она звучала как пародия на джаз. Тогда они написали четыре комические песни с издевательскими названиями типа «Рок-н-ролл мопс» или «Рок-икота» и выпустили пластинку якобы по американской лицензии, обозначив Анри Сальвадора как Хенри Кординга, Виана как

Вернона Синклера, а обладателя прав Жака Канетти как Джека К. Нетти. Сотрудники фирмы «Филипс» веселились от души. Кроме того, Виан сочинил очень популярную до сих пор во Франции песенку «Сделай мне больно, Джонни» (музыка Алена Гораге) и записал ее сам вместе с актрисой Магали Ноэль. Это была пластинка женского рока — в противовес мужскому, американскому. Рок у них получился очень эротическим и агрессивным, так что пластинка произвела шокирующий эффект. Канетти пришлось объясняться в высоких инстанциях.

Чем хуже Борис себя чувствовал, чем меньше времени у него оставалось, тем напряженнее он жил, расходовал себя. Новая работа не на шутку его увлекла, вдохнула новые силы, но все же в 1956 году всерьез встал вопрос об операции. Увы, во Франции искусственные клапаны на сердце тогда еще не ставили. Единственное, что можно было сделать, это «беречь себя». Борис не умел. К тому же сын Патрик успел вырасти и превратился в трудного подростка. Мишель отдала его отцу. Несходство характеров и привычек приводило к конфликтам. Неустроенность быта, теснота, неуверенность в завтрашнем дне не могли не угнетать Бориса.

Отношения с кино у Виана складывались сложно и неровно. Сценарии, которые он писал, так и не нашли своих режиссеров. Тем не менее в середине 50-х Борис снимается в фильме Анри Грюэля «Джоконда» и пишет закадровый текст к этому фильму. На кинофестивале в Туре (1957) фильм занял первое место, затем получил Золотую пальмовую ветвь в Канне (1958). К настоящему моменту от ленты сохранился лишь маленький кусочек, где Борис изображает учителя загадочной джокондовской улыбки. Тогда же его приглашает Жорж Деланнуа, и Виан играет кардинала в «Соборе Парижской Богоматери». Затем он снимается у Пьера Каста в фильмах «Карманная любовь» и «Прекрасный возраст». А в 1958-м про Виана снимают документальный фильм по заказу канадского телевидения (режиссер — друг Бориса Марсель Дельям). И наконец, в год своей смерти, Виан сыграет в полнометражном фильме Роже Вадима «Опасные связи».

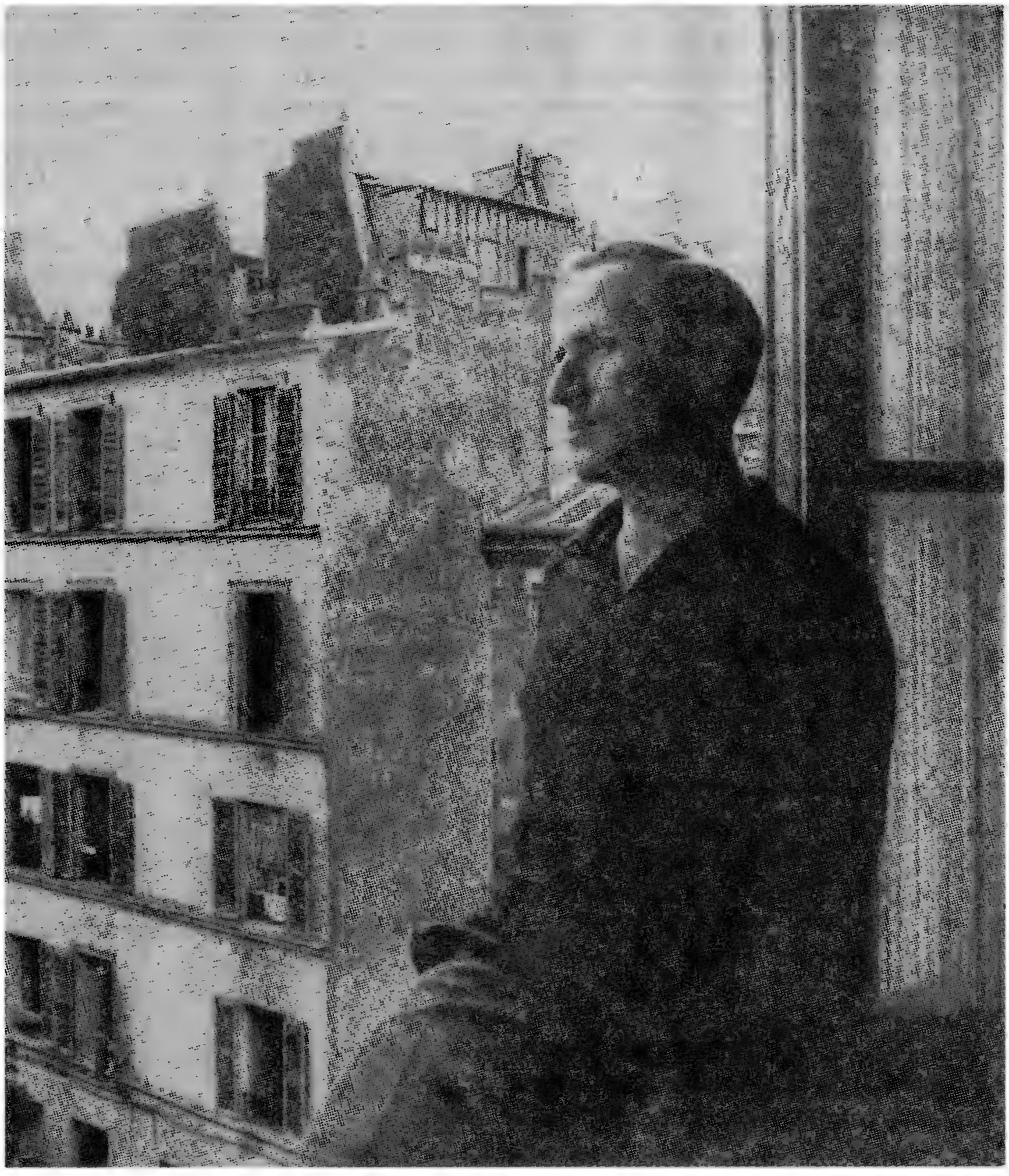
В сентябре 1957-го у Бориса случился новый отек легких. Урсула отказалась от работы и все время проводила у постели мужа. Они оба понимали, что жить Борису осталось немного. Январь следующего года по совету врачей они проводят на курорте в Гури, на берегу Ла-Манша. Наступает некоторое улучшение. Они возвращаются в Париж, снова принимаются за работу. Договор о взаимной независимости дает им возможность дышать свободно и не тяготиться семейными узами. Поэтому увлечение Бориса немецкой актрисой Хильдегард Нефф Урсула воспринимает спокойно.

С Хильдегард Виан познакомился, когда писал песню к фильму Ива Аллегре «Девушка из Гамбурга», в котором Нефф исполняла главную женскую роль. Молодая женщина была талантлива, красива и невероятно похожа на Урсулу: цвет волос, прическа, волевой подбородок, очертания рта, легкий немецкий акцент. И тот же огонь во взгляде. Сходство поражало всех, кто знал обеих женщин. Роман недолго оставался тайной, тем более что Борис отправился вслед за Хильдегард в Берлин. Потом он, разумеется, вернулся, супруги выяснили отношения... и остались жить вместе, потому что Патриком занималась в основном Урсула. Борис про его выходки слышать уже не мог.

В январе Борис, как и год назад, лечился в Гури. Вернувшись в Париж, ушел из «Фонтана́» (это был филиал фирмы «Филипс»), где с апреля 1958-го исполнял обязанности художественного директора. Продолжал переводить с английского, писал, снимался в кино. В апреле согласился на должность художественного директора в музыкальной фирме Эдди Баркле. В мае подготовил радиопередачу, посвященную Коллегии патафизиков и их «Тетрадям». 11 июня отпраздновал на террасе в Сите Верон избрание нового Куратора Коллегии и продемонстрировал своим друзьям изобретенный им прибор для изготовления ордена Спирали (отличительный знак Сатрапов)...

...потом настало 23 июня. И сочиненная Вианом легенда настигла его. Она подкралась издалека, когда с Салливеном, казалось, было покончено.

Еще в 1948 году Бориса попросили написать киносценарий «Я приду плюнуть на ваши могилы», он нехотя согласился, решив изменить роковое название, и заключил контракт. Фирма-заказчик сначала надолго исчезла, потом продала права другой фирме, которая, словно свалившись с неба, почти через десять лет предложи-



ла Борису перезаключить контракт и сохранить за фильмом название романа. Вторая фирма в свою очередь исчезла, и ей на смену неожиданно явилась третья. Виан взялся написать диалоги, но к сроку не успел; фирма стала угрожать иском. Это длилось довольно долго, пока 22 июня кто-то не сказал Борису, что фильм не только уже готов, но просмотр назначен на завтра. Виан успел предупредить, что хочет снять свое имя. Накануне у него так сильно стучало сердце, что Урсула, сидя в другом углу комнаты, отчетливо слышала его удары. Он не знал, идти ли. Урсула молчала. Он позвонил Мишель; та сказала «не ходи». Борис пошел.

Просмотр начался около десяти утра в зале «Пети Марбёф». Несколько минут спустя Борис уронил голову на спинку кресла и потерял сознание. Умер он по дороге в больницу, не приходя в себя.

Хоронили его 27 июня на кладбище в Виль-д'Авре. Среди родственников и друзей, одетых в траур, ярким пятном выделялась фигура упрямой Урсулы: синий костюм, белый шарф вокруг головы, букет пунцовых роз. И совсем в духе виановских историй: могильщики объявили в этот день забастовку...

* * *

Что же было потом? Потом Коллегия патафизиков и несколько верных собрали, спасли и сохранили творческое наследие Виана, которое долгое время мало кому было нужно. Прошло лет шесть-семь, и лицеисты вдруг начали спрашивать друг

друга: «Слушай, а ты читал «Пену дней»?» Потом прошло еще несколько лет, лицеисты стали студентами и во время майских выступлений 1968 года своим кумиром объявили Виана. С этого момента французы говорят о «виановском буме». Вышел специальный номер «Магазин литтерер», посвященный «вероятно, величайшему из мифов, который породила французская литература за последние двадцать пять лет». Виана начали издавать в карманной серии. «Аксьон», официальная газета студенческих майских выступлений, напечатала кое-какие неизданные тексты. Публикацию неизданных произведений взяла на себя также Коллегия патафизиков («Досье» № 12). У Виана появились постоянные и серьезные издатели: Эрик Лосфельд, Жан-Жак Повер, Кристиан Бургуа. И масса исследователей: Ноэль Арно, Жак Бенс, Франсуа Карадек, Жак Дюшато, Филипп Божжио, Паскаль Ори и многие другие. В сферу массового интереса попала не только проза Виана, но и все, что он делал: пьесы, сценарии, песни, джаз.

О природе «виановского бума» рассуждать можно много. Сами французы склонны считать, что его причина — в появлении слоя населения, который называется «молодежью» и который воспринимает мир иначе, чем его «должны» воспринимать взрослые и серьезные люди. Теперь эта самая «молодежь» уже давно достигла зрелого возраста, но продолжает любить Виана. Новые поколения разделяют это пристрастие, тут антагонизмов не возникает. Так что, может, дело вовсе не в возрасте, а вообще в изменении человеческой психологии?

БОРИС ВИАН

Квартира в наперстке [1]

Да нет же, у вас есть место!

РАССКАЗ

Мориса я встретил в автобусе. Вид у него был мрачный.

— Ну что твоя квартира? — спросил я. Я ведь знал, из-за чего он такой.

Морис злобно глянул на меня.

— Это самая большая глупость в моей жизни, — буркнул он. — Лучше бы я остался жить у матери.

— Но ты же не можешь поселить там Жаклин. Невестке со свекровью лучше не жить вместе.

— Неужели? — огрызнулся Морис. — Ну так вот: с того момента, как нам привезли мебель, мне стало негде одеваться. А у тебя что же, иначе?

Мы с Морисом нашли почти одинаковые квартиры: комната, кухня с душем и прихожая где-то полметра на метр.

— У меня-то? — отозвался я с воодушевлением. — Да у нас с Одиль просто обалденно! Места хоть отбавляй.

Расстались мы не попрощавшись. Должно быть, он надулся. Да ладно, наверняка на днях заявится. Забудет, что злился, любопытство возьмет верх. Придет проверять, заливаю я или правду говорю. Жду его без тени сомнения. Места у меня действительно больше чем надо.

---

[1] Впервые рассказ был опубликован под псевдонимом Клод Варнье.

© М. Аннинская. Перевод. 1999

Ну разумеется, все это не само сделалось. Прежде всего надо было сломать идиотский трафарет, по которому обычно обставляют однокомнатные квартиры. Вы знаете, о чем идет речь: в углу кровать, метр девяносто пять на метр сорок. У окна — шкаф (два в высоту, метр десять в ширину и шестьдесят пять в глубину). Посреди комнаты, так что не обойдешь, стол, девяносто на семьдесят пять, а против единственной пустой стены — какой-нибудь немыслимый буфет, метр двадцать в высоту, а тут — метр десять на пятьдесят. Ну еще сколько-то стульев и круглый журнальный столик, шестьдесят сантиметров в диаметре. Короче, когда все сидят, если дышать вполсилы, можно сказать, есть место... Но не более того. Не хочешь ходить в синяках — лучше не двигайся.

Мне еще повезло, у меня кухня чуть побольше: два с половиной на два, где-то так. Впрочем, я бы вообще мог без кухни... Я даже разработал специальный проект, как жить в пространстве в три кубических метра, и у меня еще остался целый куб незанятого воздуха! Это вообще что-то! Но не будем забегать вперед. Итак, я хотел пространства. Заметьте, не бывает, чтобы, приложив немного воли, вы не нашли выхода из самой безвыходной ситуации. То, что я сделал, — Ле Корбюзье в миниатюре. И я добился своего. Государство мне, слава богу, ничем в этом не помогало.

Обратимся в первую очередь к шкафу. Ничто так не давит на психику, как огромный темный шкаф, втиснутый в небольшую светлую квартирку с единственной комнатой — пора уточнить — метражом четыре пятьдесят на три десять. Наш шкаф был из сосны, не слишком веселое зрелище, что-то такое необъятное, угловатое и пузатое.

Сомненья прочь! Сосна там или не сосна, кисть в руки, выкрасить в белый — и на кухню этого монстра! Теперь он подпирает стену в глубине кухни, уравновешивая колонку с раковиной и электроплиту, под которой удобно примостился контейнер для мусора. Закамуфлированный, сливающийся с белизной кухонных стен, шкаф не высится теперь перед вами, как Великая Китайская стена перед Мальчиком с Пальчик. Мне возразят, что запахи жарки могут пропитать одежду. Но я отвечу, что, *во-первых*, в обеденное время мой шкаф заперт, потому что одеваются и готовят еду обычно в разное время. *Во-вторых,* я не большой любитель жареного — это тяжеловато для желудка. И *в-третьих,* теперь в продаже полно всяких дезодорантов с запахом хвои.

Ну раз уж мы оказались на кухне, расскажу вам еще об одном устройстве, необыкновенно простом и удобном. Представьте себе торцовую стену. Слева — колонка и мойка. В центре — электроплита (не подумайте, что я капиталист; это стоит всего-навсего 270 франков в месяц). Справа — шкаф (кстати, сверху на него еще поместилось несколько пустых чемоданов). Таким образом, для посудной сушилки места совсем не осталось, потому что левая стена почти вся до самой раковины занята окном. Так вот, точнехонько над плитой я установил подъемную доску, которой при необходимости можно накрыть конфорки. Особая тонкость состоит в том, что в рабочем положении она плавно опускается в мойку, и по ней стекает посудная вода. Грубая деревяшка, из которой она сделана, покрыта плотным слоем эмали, а специальный клинышек фиксирует ее, когда на плите что-то готовят. Ну, разумеется, над раковиной висят разные шкафчики, в которых хранится всякая всячина и старые пустые банки.

Душ находится в противоположной части кухни. На днях я как раз собираюсь приспособить свободное пространство над ним под бельевую сушку (ну, разумеется, когда мы будем принимать душ, белье придется снимать). А может, вместо сушки устрою дополнительную кладовку-антресоль, отделанную изнутри пластиком. Туда можно запихнуть кучу старого барахла, которое вечно некуда девать, а древний инстинкт накопительства не позволяет выбросить его на помойку.

Над столом я пристрою гладильную доску, обтянутую стеклотканью. Она, как и доска для мокрой посуды, будет подниматься к стене. Окно в кухне, хоть и низкое, но все же позволяет устроить под ним ящик, в который можно поместить корзину для овощей из оцинкованной проволоки, материал и инструменты для изготовления обуви и обувь как таковую. Под ним может встать (если на голову вдруг свалится какое-нибудь солидное наследство) маленький холодильничек объемом тридцать пять литров, что для Парижа

вполне достаточно. Короче, куда ни повернись, повсюду открываются свободные пространства, ниши, ждущие, чтобы их заполнили, невозделанные земли, которые я освою с течением времени. При этом все основное пространство остается свободным.

Вернемся в комнату. Именно туда я направил всю силу моего изобретательского гения. Сопоставив общую свободную площадь и пространство, уже занятое мебелью, я быстро понял, что, пойдя традиционным путем, буду вынужден обходиться без уголка для отдыха, то есть так называемого «салона». Расставив как полагается кровать, стол и прочее (чуть не забыл про ужасный торшер с нарисованной на абажуре каравеллой, которая непременно затонет, если кто-нибудь вздумает ее построить, а с самим торшером, чует мое сердце, на днях приключится беда), так вот, расставив все как полагается, я буду лишен свободного пространства, чтобы в муках творчества мерить комнату огромными шагами. Кроме того, в моем случае все усложняется наличием письменного стола — единственного предмета обстановки, который я сумел купить за свою каторжную жизнь. Он представляет собой монументальное сооружение из металла, покрытое пергамином и покоящееся на двух тумбах с выдвижными ящиками, функционирование которых относится к самым замысловатым изобретениям современности. Единственное неудобство заключается в том, что стол занимает площадь метр девяносто пять на восемьдесят пять. Да, вот еще (все-то я забываю), имеются также два кресла «клубного» типа — известно, сколько они занимают места, — а также немалое количество книг и пластинок. Да еще проигрыватель, тоже порядочная громада.

И пусть не вздумают обвинять меня во лжи. Я голову даю на отсечение, что все это у меня есть и при этом я могу свободно перемещаться по квартире и все такое прочее. Сейчас объясню как. (Я собираюсь изложить одно из возможных решений; есть также другое, еще более «компактное». Только надо заранее избавиться от предрассудка, будто пустая комната нагоняет тоску.)

Диван-кровать, кресло-кровать, кровать-раскладушка, выдвижная кровать, кровать-шкаф, кровать-фиг-знает-что... — это теперь дело обычное. Я напрочь отметаю все эти системы. В конце концов, сточную доску к стене приколотить — раз плюнуть. А вот кровать на воздух вздернуть, пусть даже самую что ни на есть устойчивую, — не так-то просто. К тому же не люблю я убирать одно, чтобы тут же на это место сунуть что-нибудь другое. Точно так же ничего хорошего не вижу в том, что люди, живущие в Шарантоне, вынуждены ездить на работу в Левалуа. Зря только теряют время. К черту потерянное время! Кровать должна оставаться кроватью. В конце концов, в любое время вам может захотеться прилечь, да хоть бы журнал почитать.

Представьте, я нашел вариант, который разом решает многие проблемы:

1. Я сохраняю кровать в ее первозданном виде.

2. Появляется место для книг, пластинок, проигрывателя и одного из клубных кресел.

3. Кровать оказывается сокрытой от взглядов предполагаемых посетителей.(Сознаюсь, что не застилаю постель ежедневно. Обожаю спать на незаправленной кровати... И ноги можно высунуть из-под одеяла куда-нибудь, где попрохладней.)

4. Устройство должно вызывать восхищенные возгласы типа: «О, это же просто гениально!» или «Какой вы необыкновенный!»

5. И наконец, в единственной комнате появляется еще одна встроенная комната.

Ничего в этом сложного нет. Я накупил на десять тысяч франков досок и шурупов и лестницу за две с половиной тысячи. Основу сооружения составляют симпатичные миниатюрные балки, образующие остов сквозной решетки или, как говорят инженеры, «сквозной конструкции». Она состоит из реек толщиной три на два сантиметра. В целом получается следующее: четыре несущих элемента — это угловые столбы, расположенные U-образно, а между ними полки, на которых можно разместить кучу книг.

Высота сооружения от пола до «потолка» — метр шестьдесят пять. В полный рост не встанешь, это точно. Но так ведь там уголок для отдыха: проигрыватель, пластинки, клубное кресло... Хотя, конечно, могло бы быть и повыше. Но тогда от кровати до потолка маловато получается. А так, как сейчас, там вполне можно сесть, не треснувшись лбом

о потолок. Впрочем, в кровати никто не занимает вертикального положения и выражение «спать на ходу» — чистый вымысел.

Когда вы лежите в кровати, в комнату может войти кто угодно; но вас все равно не видно. И места вокруг больше. Я использовал пока далеко не все возможности этой системы. Представьте себе, что я мог бы устроить все это над письменным столом, то есть ниже уровнем (в конце концов, за письменным столом ведь всегда сидят), а значит, с меньшими затратами. У меня аж дух захватывает. Но это еще что' по сравнению с тем, что я действительно устрою над письменным столом.

Лазить вверх-вниз по лестнице — приятная разминка. Да и комната сверху отлично выглядит. Опять-таки, до потолка можно рукой дотронуться — тоже очень даже уютно.

В принципе, если поставить письменный стол под кровать, то это решит проблему человека, работающего ночью, в то время как его дражайшая половина спит; и свет ей мешать не будет.

Это и есть главное. А остальное — уже мелочи. На цоколе можно разместить уйму всяких предметов. Например, к угловым столбам вы можете подвесить кактусы в горшочках или корзину с пластинками, которые часто крутите, или устроить дополнительную вешалку для одежды, или еще что другое.

Мне могут заметить, что убирать постель на весу неудобно. Для вас неудобно, но не для меня. Вам не приходило в голову, как это в течение стольких веков никто не додумался изменить порядок, который заключается в том, чтобы разваливать вечером то, что придется складывать утром? Я придумал такую штуковину, как *перманентная* постель. Нижняя простыня всегда тщательно заправлена, а верхняя всегда свободна. Застилать кровать приходится один раз в десять-двенадцать дней, когда белье меняешь. Это ли не достижение?

На днях Одиль мне заявила:

— Дорогой, надеюсь, ты не рассердишься... Дело в том...

— В чем, душа моя?

— Мне кажется... В общем... О дорогой, поклянись, что не огорчишься!

Взгляд мой зажегся зеленым огоньком понимания, и я заключил мою нежную Одиль в объятия.

— Радость моя, — сказал я, — надеюсь, у нас будут близнецы... В конце концов, чего стеснять себя, когда кругом места навалом?

Я уже кое-что придумал, но вам пока не скажу. Мой мозг так и кипит. А эти их выставки хозяйственных усовершенствований!.. Да это же курам на смех!

Перевод с французского М. АННИНСКОЙ

■

СЕРГЕЙ ДУБИН

«Самоубитые обществом»: Риго, Ваше, Краван

Название книги Антонена Арто о Ван Гоге (1947) использовано в заглавии статьи не случайно. В длинной веренице поэтов и художников, полагавших, как один из героев нашего рассказа Артюр Краван, что «искусство — это вам не изящная поза перед зеркалом», Арто и Ван Гога можно счесть фигурами знаковыми, своего рода вехами в процессе отчуждения искусства от зачастую механизированного процесса творчества и слишком эфемерного понятия вдохновения. Их стремление к прожитому, выстраданному искусству («когда поэзию несешь, словно рану в боку — мстительную и бесстыдную»[1]), где поиски Абсолюта не ограничиваются лишь чистым квадратом холста или листа бумаги, а продолжаются в повседневном существовании, может быть признано образцовым для конца XIX — первой трети XX в.

Опыт Ван Гога и Арто необходимо упомянуть еще и вот почему. Основывающийся на личных примерах Риго, Кравана и Ваше рассказ о «жизни как романе», об искусстве, пропущенном через каждое мгновение повседневности, будет придерживаться обозначенного именно Ван Гогом и Арто *пограничного* опыта, когда сплавляются радость открытия и боль жестокого страдания, прикосновение к запредельным истинам и помешательство, творчество именем жизни, посредством жизни, а зачастую и ценой жизни.

При этом у Арто и Ван Гога стремление вырваться за рамки рутинного представления об искусстве и сбросить оковы традиционного образа автора не мешало им собственно творить, и весьма плодотворно. Если не говорить о последних годах, когда уделом обоих стало сумасшествие, то есть погружение в совершенно закрытый от стороннего зрителя мир, их попытки «вынести» искусство в жизнь не отменяли творчества в привычном и даже бытовом понимании этого слова — как производство вещных картин и книг, переживающих автора. Однако на рубеже XIX и XX веков зарождается и к десятым годам нашего столетия набирает силу тенденция куда более радикального отказа от творчества, как оно понималось до сих пор. На сцену выходят совершенно иные практики: жестуальные манифестации, словотворчество, разлагающее, а то и попросту уничтожающее слово, и, конечно же — если не прежде всего, — возведение повседневного существования в ранг искусства (и если привычный термин «возведение» вдохновляется обыденным представлением, что искусство выше жизни, то целью новых художественных исканий было, в частности, и уничтожение этой уверенности).

Ярчайшим примером такого *антиискусства* стал феномен дада. Рождение этого мощного движения протеста против традиционных ценностей и привычно понимаемого искусства как одной из них было обусловлено многими причинами. Не последнюю роль здесь сыграл опыт первой мировой войны, когда здание европейской цивилизации, выстроенное на торжестве картезианского разума, было разнесено в щепки залпами пушек — отлитых, заметим, с использованием достижений того же самого разума. Дадаисты объявили искусство и философию прямыми виновниками столь губительно понятого индивидуализма, всегда превозносившегося искусством и философией (а потому позже сюрреалисты стремились свести на нет личный фактор в творчестве, будь то в коллективных манифестациях, снотворчестве или групповых играх). Соответственно, на гуманитарном поле следовало воспроизвести ту tabula rasa, которая уже была создана на полях сражений. В искусстве одним из самых ярких предшественников дада является Марсель Дюшан, чьи нигилистические эксперименты были направлены на разрушение самой идеи произведения искусства, на обнажение «сделанности», искусственности, если угодно, искусства и решительное переосмысление роли автора в процессе его рождения (знаменитые ready-mades

---

[1] *А. Арто.* Письмо о Лотреамоне. Цит. по: *Лотреамон.* Песни Мальдорора. Стихотворения. Лотреамон после Лотреамона. М., Ad Marginem, 1998.

© С. Дубин, 1999

Дюшана — готовые предметы — представляли собой обыденные и даже отчасти банальные предметы, снабженные издевательской подписью «автора» и безо всякого изменения выставленные как произведения искусства).

Однако обжигающая похлебка дада не стала бы сама собой без своеобразной «травки вкусночихи» Карлика Носа — шокирующего, дерзкого и вместе с тем заразительно смешного повседневного поведения. За любыми творениями дада (а для антиэстетического авангардного движения дадаизм довольно многолик — это и симультанная поэзия, и шумовая музыка, «механистические» картины, коллажи и театральные постановки-хэппенинги) стояло подобие определенного кода поведения, пусть сами дадаисты и не всегда выделяли поведенческий сегмент как самостоятельную часть мировоззрения и эстетическую практику. Это был своего рода ход конем — причудливый зигзаг, каждым своим сломом отрицающий предыдущий поворот. Сначала требовалось отринуть искусство и, объявив его банкротом, провозгласить ценность жизни и непосредственного действия, но затем, признав и обыденную жизнь столь же скучной и традиционной, как искусство, только что осмеянное и оставленное вроде бы именно ради этой «самой жизни», выстраивать уже собственное существование как яркое провокационное произведение, как захватывающий роман.

Здесь хотелось бы особенно подчеркнуть именно эстетический (за неимением лучшего термина для обозначения причастности к области творческого или духовного, хотя в случае дада скорее следовало бы, конечно, говорить об *антиэстетике*) характер вызывающего поведения дадаистов — в отличие от простого желания выделиться внешне, присущего некоторым социальным группам прошлого или современности. Подобно «караибам» Петрюса Бореля или парижским денди во главе с Шарлем Бодлером, дадаисты не просто эпатировали буржуа. Эта призванная раздражать «красная тряпка» (кстати, вспомним и о красном жилете Готье на премьере «Эрнани») должна была также утвердить принципы нового — даже не искусства, а миропорядка. Для дадаистов их шокирующие наряды (бесчисленная коллекция галстуков Арагона, дополнявшего их резиновыми хирургическими перчатками, которые он снимал крайне редко) были заявлением жизненной позиции, перенесением смелых артистических экспериментов с полотен и театральных подмостков в самое средоточие жизни и, что очень важно, средством ее изменения. В этом смысле сравнение с *одновременно* эстетическим и поведенческим дендизмом Бодлера выглядит вполне обоснованным — именно он привнес в дендизм «жажду тотального существования», единого бытия, которое денди до той поры подменяли лишь внешними аспектами моды, и у Бодлера дада и будущие сюрреалисты выделяли для себя как раз «прожитой» характер его внешнего облика, исходящий, по определению Бретона, «из самой глубины человеческого естества».

Наиболее известным примером «экзистенциального» дадаизма, а позже и сюрреализма, стало поведение все того же Дюшана. Его многочисленные свершения — создание своего двойника-женщины Рроз Селяви, именем которой он подписывал словесные игры и ready-mades (на знаменитом фотопортрете работы Ман Рэя в образе Рроз Селяви изображен сам Дюшан, загримированный и переодетый в женское платье); неожиданное решение уйти в конце 20-х из искусства и почти на десять лет посвятить себя игре в шахматы (еще одна легендарная фотография с обнаженной Евой Бабицки за шахматной доской); наконец, картина на стекле «Невеста, раздетая своими холостяками, собственной персоной», дело всей его жизни, превосходящее своим значением рамки просто произведения искусства, — эти и многие другие свершения Дюшана были вдохновлены именно дадаистским стремлением расширить границы произведения, распахнуть окно в жизнь и даже выпрыгнуть из него, оставив затхлый мир собственно искусства позади.

Однако если для Дюшана такой прыжок прошел безболезненно, а то и вообще сказался на нем благотворно и смертельные удары традиционным представлениям об искусстве он наносил с неизменной легкой усмешкой, то для многих других — здесь уместно вспомнить тех же Ван Гога и Арто, да, наверное, и Уайльда, и Жарри — такой «выход в жизнь», неустанная проверка жизненных установок принципами творчества, и наоборот, оборачивались мучительными поисками себя на двух этих одинаково чуждых им полях, потерянностью, а иногда и самоубийством. В нашем веке такой пограничный опыт, отмеченный, с одной стороны, страданиями как физическими, так и моральными, а с другой — жестокой провокацией, эпа-

тажем и временами довольно злой насмешкой над всеми и вся, объединяет трех авторов, которые своим существованием, на наш взгляд, во многом и сформировали дадаистский шаблон жизнетворчества, стремление творить свою жизнь как шедевр искусства, как увлекательный приключенческий роман (и чей опыт остается востребованным и по сей день). Это Жак Риго, Артюр Краван и Жак Ваше.

«ДАДА-САМОУБИЙЦЫ»

Прежде всего следует внести некоторую ясность в смысл названия этой главы, равно как и распространенных формулировок наподобие «дадаист Ваше» и пр. Из выбранной нами троицы прямое отношение к парижской группировке дада имел, пожалуй, лишь один Риго. Близкий дадаистам по мироощущению и настроению, осенью 1920 года он непосредственно входит в группу Бретона и Тцара. Более того, по словам поэта-сюрреалиста Робера Десноса, «Риго был идеальным воплощением *самого духа* дада», и эта формула соответствия духу, своего рода негласному поведенческому кодексу движения, может многое прояснить нам и в остальных двух случаях.

Артюр Краван также довольно активно участвовал в деятельности нью-йоркского дада в предвоенные годы и был знаком со многими будущими членами парижской группировки (Пикабиа, Дюшаном и др.), однако врожденный нонконформизм Кравана выводит его за рамки любых движений и союзов. Он «придерживался» дада не потому, что разделял какие-то их программные убеждения (с которыми, скорее всего, даже не был знаком), — просто его стремление к провокации находило воодушевленный отклик именно в среде дадаистов. Человек эгоцентричный («Никто не может меня понять, а если кто-то и понимает, то это я сам») и самовлюбленный (вплоть до обожания собственных выделений), Краван ничем не был обязан дада — и наоборот, его постоянная игра с огнем, готовность до конца испытывать жизнь в почти смертоносных пароксизмах наслаждения обусловила многие последующие поступки и позиции дадаистов.

Что же до Ваше, то он не участвовал непосредственно в деятельности дада, видимо, сторонясь какого бы то ни было закабаления. Постоянно одинокий — и эта обособленность характерна, как мы уже убедились, для Кравана и Риго, — утонченный денди и дерзкий хулитель сложившихся судеб, Ваше, как писал о нем Бретон, «сам того не зная, подтверждал своей жизнью ключевые положения «Манифеста дада» 1918 года, когда Тцара еще только читал в Цюрихе судьбоносные строки этой своей прокламации». Не принадлежа к дадаистам, Ваше во многом сформировал мировоззрение Бретона, одного из их лидеров или, по крайней мере, самым значительным образом на него повлиял.

Таким образом, дада предстает скорее не средой, в которой развились и сформировались три эти, в общем-то, не похожих друг на друга человека, а логическим завершением их жизнетворчества, метафорой, вобравшей в себя всю силу их жизненного опыта.

Повседневная жизненная роль этой троицы и дополнявшие ее немногочисленные тексты в значительной степени обусловили позднейшие положения дада и сюрреалистов о крахе искусства и стремление найти ему альтернативу в жизни. В глазах Риго, Кравана и Ваше искусство скомпрометировало себя, оно более не способно дать адекватные ответы на основные вопросы современности и, не заботясь о поиске смысла в «уделе человеческом», стало рядовым способом заработка. «На улицах некуда ступить от художников — ими битком набиты кафе, а каждый день открывается по нескольку художественных школ, — писал Краван. — А вот человека скоро будет не разглядеть».

Отказ от творчества, которое уже самим фактом «пера в руке» («Перо в руке подобно плугу, — писал Рембо, — но на мои руки не рассчитывайте») причисляло автора к когорте писак, зарабатывающих на жизнь бумагомаранием, открывает нам и такую более широкую константу мироощущения «дада-самоубийц», как протест против традиции. Краван демонстративно выпячивал алитературные и асоциальные детали своей биографии («боксер по профессии, дезертир из армий не одной страны») и издевался над сложившейся системой распространения произведений искусства: «Краван ненавидит душные книжные магазины, где все путается и, едва

Жак Ваше, 1915 г.

выйдя из печати, уже обращается в пыль, и он развозит пачки своего журнала «Немедленно» на тележке, которую толкает перед собой: номер по двадцать пять сантимов!»[1].

Логичным в данном случае становилось признание единственно верной ценностью своего внутреннего Я — не подверженного моде, не задаваемого приличиями и традицией и предельно отграниченного от внешнего мира (Риго: «О, эта горькая радость чувствовать себя без истоков. Пустой, точно детская свистулька, мечусь я в поиске всего, что только сможет заполнить эту полость... Мой живот гладок, на нем нет пупка, будто я — Адам»). Подобное всемогущество субъекта — примеры которого встречались и у романтиков, также, кстати, не чуждых «жизненному» творчеству, например у Байрона, Граббе или Бореля, — приводит художника к тому, чтобы превратить свое Я, каждый миг своего существования в произведение искусства, но уже искусства нового, дерзкого, максимально не похожего на традиционное и способного принять это Я в качестве произведения. К таким примерам «жизни как романа» можно отнести легендарный случай с раздеванием Кравана (когда его пригласили в Нью-Йорк прочесть доклад о юморе, он поднялся на трибуну абсолютно пьяный и стал стаскивать с себя одежду) и его поединок с чемпионом мира по боксу Джеком Джонсоном; «внутреннее дезертирство» Ваше («В окопах он носит превосходно скроенную, более того — своего рода синтетическую форму, сшитую из двух половин: слева мундир «союзников», а справа — «врагов»; искусственность подобного объединения усиливается обилием накладных карманов, белоснежных портупей, войсковых шевронов и шейных платков всех цветов радуги», — вспоминает Бретон) и сияющую поистине неземным светом «житейскую мудрость» Риго, который, «укладываясь спать, сует под подушку револьвер: это его версия распространенного поверья, что утро вечера мудренее, и одновременно способ покончить с терзающим его изнутри демоном повседневного приспособленчества». Позже сюрреалисты будут интерпретировать этот предельный эгоцентризм в терминах психоанализа: в «Антологии черного юмора» Бретон приводит слова Фрейда о триумфе нарциссизма — победе, самоутверждении неуязвимого отныне Я, когда «Я не уступает ни пяди собственной земли, над ним не властны страдания внешнего мира, и ему чужда сама мысль о том, что они вообще могли бы его растрогать; мало того — похоже, это даже доставляет ему удовольствие».

Еще раз повторюсь, за этим экстравагантным поведением следует усматривать нечто большее, чем простое желание выделиться из серой толпы. Конечно, в эпатаже Кравана (собравшего полный дом гостей на церемонию буффонного самоубийства и представшего перед ними в весьма открытом борцовском трико) или шикующей нищете Риго есть что-то и от знакомой нам по отечественной традиции «пощечины общественному вкусу», однако глубинная причина такого слияния творчества и жизни куда сложнее: это признание кризиса окружающей реальности и попытка таким жестким противопоставлением себя обыденному порядку вещей этот кризис одновременно усугубить и найти из него выход; это своего рода исцеление болью, выжигание заразы каленым железом по живому телу. Нельзя не вспомнить здесь и о бодлеровском «стремлении вызывать неодобрительный шепот за спиной». «В дурном вкусе опьяняет само аристократическое наслаждение не нравиться», — говорил он.

При этом и для Риго, и для Ваше, и для Кравана характерно и отмеченное нами парадоксальное положение, когда, отвергая рутинный характер искусства и выбирая ему на замену непосредственное существование и логику прямого действия, они точно так же ненавидят повседневную жизнь и ничуть не менее рутинным обра-

---

[1] *А. Бретон.* Антология черного юмора. М, 1999.

зом устроенную реальность («Не так-то просто блевать от жизни, — писал Риго, — если перед этим как следует не закусить»). Приспособленчество, жалкое тщеславие и самолюбие «плотно пообедавших людишек» также были их излюбленными мишенями (Риго: «В тот день, когда он узнал, что у него сифилис, он поужинал и заснул как ни в чем не бывало; позже он даже был вынужден признаться себе, что не смог побороть некую тщеславную радость от столь полного соответствия духу времени»). Подобное неприятие обыденности позже станет характерным для дада и сюрреалистов — часто квалифицировавших ее как «буржуазную», — но Риго, Ваше и Краван придали этому отторжению повседневности абсолютный характер своеобразного raison d'être[1], когда «выказать свое презрение к жизни можно, лишь приняв ее: она не стоит даже того, чтобы ее оставлять», — писал Жак Риго — впрочем, все же ушедший из жизни по своей воле.

ЖАК РИГО, или САМОУБИЙСТВО В БУТОНЬЕРКЕ

«Впервые я покончил с собой, чтобы позлить мою тогдашнюю любовницу». Эти слова Риго потрясают своим сплавом предельно черного юмора и неизвестно как выносимого отчаяния от убогости окружающей жизни. Однако простое уныние, — дырявый плащ меланхолического романтика — выглядело бы столь же конвенциональным, как и та реальность, которая его вызывает, а потому свое неприятие повседневности Жак Риго превратил в тщательно выстроенный спектакль. К двадцати годам он окончательно решил покончить с собой, но, по словам Бретона, «десять лет ждал подходящего момента для того, чтобы свести счеты с жизнью». Риго тщательно режиссирует и эстетизирует это ожидание и вообще все свое поведение. Отвергнув письмо во имя жизни, он вновь обращался к письму, чтобы выплеснуть на бумагу свою ненависть к повседневности («Когда в жизни уже ничем не поможешь, положитесь на меня: безысходность — это моя епархия»). Решимость умереть стала для него такой же обыденностью, как привычка чистить зубы по утрам, но при этом блистала на страницах его текстов несравненным светом, уничтожавшим привычное разделение действия и письма, отрицая сами эти понятия («Попробуйте, если сможете, остановить человека, путешествующего с самоубийством в бутоньерке»). При этом, словно в очередном витке презрения к реальности, Риго отвергает и судьбу высокомерного затворника — он ненасытно жил той самой жизнью, которую ненавидел, словно разлагая ее изнутри, появляясь в модных кафе и на званых вечерах. Серая обыденность — удел большинства — была ему так же невыносима, как и скучное по своей сути богатство («Для меня нет ничего элегантнее дырявых подштанников миллионера»).

При этом реальная биография Риго не содержит прямых объяснений такого экзистенциального творчества «по мясу» самой жизни — всех этих услад досужих биографов в виде родителей-алкоголиков или несчастной любви. Как говорится, «внешне ничто не предвещало» могильного сарказма позднего Риго, каждый день сжигавшего себя без остатка. Он родился в благополучной семье среднего достатка (как говорят французы, «с именами из двух частей» — это и не аристократы с целой цепочкой именований, и не простые мещане), учился в престижном лицее Монтеня, где сдружился с Рене Клером. Успешно сданный экзамен на бакалавра, поступление в юридический институт — казалось бы, все как у людей. Возможно стараясь ускользнуть от этой затягивавшей его серости жизни, а может быть, и подписав уже свой смертный приговор, в 1916-м Риго, не дожидаясь призыва, записывается в армию «до самого конца войны», как сказано в документах. Однако в реальные сражения, стоившие жизни его лучшему другу, Риго попадает лишь два года спустя. Тыловая скука мало чем отличалась от ровного быта парижских пригородов, и большую часть времени Риго посвящает переписке со своей знакомой Симоной Кан, будущей первой женой Андре Бретона. Эти письма помогали ему осмыслить происходящее, выкристаллизовать позднейшие убеждения — уже в одном из первых посланий он говорит: «Я было думал застрелиться, но выбор пули в лоб для меня так же сомнителен, как и намерение жить».

Демобилизовавшись в октябре 1919-го, Риго вращается в литературных кру-

[1] Смысл существования (*франц.*).

гах, знакомится с молодыми поэтами Пьером Дриё Ля Рошелем и Жаном Кокто, сближается с группой дада и публикует в издававшемся Бретоном со товарищи журнале «Литература» программный текст «Я буду серьезен» и еще два коротких рассказа. При этом пишет Риго поразительно мало — часто он вообще записывал свои короткие заметки и афоризмы на салфетках в кафе или клочках бумаги, которые потом рвал или забывал у приятелей. На какую-то его ангажированность Бретон так же вряд ли мог рассчитывать: их союз не был браком по любви. Риго отказывался от *любой* сколь-либо складывающейся судьбы, и вслед за ярмом примерного буржуа участь писателя-авангардиста также стала для него слишком «мирской», слишком обычной. После ссоры Бретона и Тцара в 1922 году и распада парижского дада он не примыкает ни к одному из враждующих лагерей и вообще решает оставить литературу. Он выбирает жизнь — одновременно упиваясь каждым ее мгновением и проклиная в душе каждую «лишнюю» секунду своего существования, швыряя деньги без счета и гневно осуждая стяжательство и материальный успех («Зарабатывать деньги стыдно»).

Словно пытаясь убедить себя, что он еще жив, что еще не привел в исполнение навязчивый замысел самоубийства, Риго обостряет свои ощущения до предела, бросается из крайности в крайность, а в редких текстах, которые он писал «в стол», вновь прокручивает нить прожитых дней (почти все события его рассказов — цикла о лорде Патчоге, исповедального «Я буду серьезным» или самоуничижительного «Э. Л.» — автобиографичны). Он ведет бурную светскую жизнь, играет в карты и залезает в долги, пьет и принимает наркотики. Именно таким безвольным и склонным к саморазрушению денди он утрированно изображен в романах Филиппа Супо («Цельсь!», 1925) и Пьера Дриё Ля Рошеля («Пустой чемодан»,1923, «Непоседа», 1931) — не так-то просто разглядеть открытую рану под шелковой рубашкой.

В 1924 году Риго знакомится с молодой богатой американкой Глэдис Барбер и отправляется вместе с ней в США. Призрак новой жизни уже, казалось бы, замаячил перед ним, но этот явно неравный брак распадается меньше чем через год. Риго остается в Нью-Йорке, несмотря на поистине нищенские условия, что, впрочем, не мешает ему и там покорять светские гостиные, жить на пределе своих физических возможностей. Весь его жизненный замысел, неразделимый на творчество и существование, был посвящен попыткам справиться с апатией и безнадежной пошлостью даже самой пестрой жизни, ухватить ускользающий контур реальности («Это письмо с тем большей уверенностью адресовано мне, что на нем не стоит мой адрес») — но лишь для того, чтобы, уже вроде бы сжившись с ней, обмануть ее и оборвать череду однообразных дней. Его зависимость от алкоголя и наркотиков растет, и в ноябре 1928 года Риго неожиданно решает вернуться на лечение во Францию — впрочем, сменив несколько клиник, он так и не достиг желаемого.

Задолго до иронической дистанции постмодернизма — и много позже постоянного самоотстранения романтиков — Риго отрицал самого себя и вместе с тем утверждал каждое мгновение жизни самим этим накалом, вещественностью отрицания. Наверное, вседозволенность и может утверждаться лишь тотальным разрушением. Риго не мстил миру, просто ему было бы забавно посмотреть, как вселенная однажды отправится в тартарары — это хоть на мгновение развеет скуку («Наконец-то хоть что-то мне дорого, и это моя скука: ни за что в мире не отступлюсь я от нее»). В подобной незаинтересованности можно, наверное, усмотреть и истоки самоубийства Риго — единственного доказанного из всех «дада-самоубийств». Риго ничему не придавал ни малейшей ценности, и своему существованию в том числе, если не прежде всего. Самоубийство не стало для него бегством от лишений или попыткой привлечь к себе внимание. Последние десять лет своей жизни Риго разыграл как вдохновенную карточную партию, как зрелищный спектакль под маской одновременно Пьеро и Арлекина и, чтобы пощекотать нервы публике, искал самый подходящий момент для финального сальто-мортале. «5 ноября 1929 года момент наконец настал. Тщательным образом завершив свой туалет и снабдив этот уход из жизни всеми предосторожностями, которых он мог потребовать: ничего чрезмерного и показного, подушку под руку, чтобы остановить возможную дрожь, эту последнюю уступку хаосу, — Жак Риго пускает себе пулю в сердце»[1].

---

[1] *А. Бретон.* Антология черного юмора.

ЖАК ВАШЕ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ «УМОРИЗМА»

«Не будь Ваше, я, наверное, стал бы поэтом», — признается Бретон. В устах человека, всю свою жизнь посвятившего переосмыслению феномена творчества и роли автора, такое признание дорогого стоит. В январе 1916 года молодой военврач Бретон знакомится в госпитале Нанта с раненым пехотинцем Ваше, и эта встреча, возможно, в какой-то степени изменила лицо всего последующего искусства. Ночи напролет они беседуют о литературе, и поэт, подражавший Малларме, с удивлением обнаруживает, что кто-то может ненавидеть Рембо и почти ничего не знать об Аполлинере. Среди «по-хэттов» — с таким благоговейным придыханием — Ваше почитает одного лишь Жарри, такого же сумасброда, как и он сам. Клясть литературу и ее «пророков», сомневаться во всем, кроме себя самого (но при этом и над собой смеяться при каждом удобном случае), не стирать с лица бесстрастного и презрительного выражения — пожалуйста, никаких ухмылок! — таковым было его кредо.

Здесь, как и в случае с Риго, истоки позднейших убеждений также следует искать в сакраментальной фразе «среда заела»: подвижный, словно ртуть, Ваше вряд ли был создан для размеренной жизни его родного провинциального Нанта. Единственным выходом из затхлого болота посредственности ему виделось осмеяние всего и вся, а его ответом на пресловутую французскую рассудительность стала взрывная смесь из английской чопорности и интернационального абсурда. Первую прививку против литературы и серьезного отношения к чему бы то ни было (а не есть ли занятие литературой, сидение в кресле на протяжении многих месяцев в попытке изложить миру свои взгляды — торжество этого самого «серьезного отношения»?) будущий апологет «забавного смертоубийства» получил в 10-х годах столетия, в группе местных поэтов-анархистов, эпатировавших буржуа и скорее склонных к потасовкам и выпивке, нежели к уединенному творчеству в тиши кабинетов. Сторонясь позиции лидера, публичной и чересчур «долдонской», как он любил повторять вслед за Жарри, Ваше уже тогда вырабатывал свою будущую маску: «одновременно отсутствующего вида и пустоты внутри себя», по словам одного из его биографов. Остро чувствуя ограниченность идеологий прошлого, архаичный характер традиционного искусства и мессианских притязаний писателя, Ваше отказывается от творчества и исповедует принцип вселенского сарказма, непостоянства и подвижности — так, в одном из писем он «расправляется» с Аполлинером, а в другом уважительно признает, что тот «определил свое время». В одежде и поведении Ваше культивировал отстраненный английский стиль, и, наверное, частью этой надменной сухости был и его весьма своеобразный «йумор» или «уморизм» («umour» или «umore»), отличавшийся от традиционного юмора лишь парою букв, но на деле порывавший с банальной галльской веселостью самым решительным образом и позже во многом определивший экзистенциальный черный юмор сюрреалистов. Наблюдая за Ваше на премьере «Сосцов Тиресия» того же Аполлинера — Ваше был одет в форму британского офицера и размахивал револьвером, — Бретон признается: «Никогда еще до того и после мне не представала столь очевидной пропасть, отделяющая новое поколение от предыдущего».

Его единственными произведениями, за исключением короткого стихотворного наброска и небольшой новеллы, стали письма, ранее всегда почитавшиеся своего рода «добавкой» к основному творчеству, развитием предыдущей известности. При этом, выстраивая каждое послание как небольшое эссе, рассыпаясь дробью многоточий и веером карикатур, презирая правила орфографии и синтаксиса, Ваше взламывал и каноны эпистолярного жанра. Он воплощал в себе сам принцип тотального неподчинения, словно незаметно подтачивал окружающий мир, сводя все то, что, казалось бы, наполнялось неким значением, до смехотворных размеров, обмирщая все на своем пути. Весь его жизненный проект состоял в сопряжении предельного накала существования и внешней холодности. «На войне дезертирству вовне Ваше противопоставляет дезертирство внутрь себя самого, тотальное безразличие, стремление не служить ни одной из сторон или, точнее, старательно разрушать сам смысл служения», — писал о нем Бретон (вспоминаются слова Бродского о «внутренней эмиграции»).

Ваше символизирует собой свободу от готовых значений, когда единственным способом отношения к ним становится игра и насмешка, но насмешка не «веселая»,

снимающая напряжение проблемной ситуации, а «серьезная», призванная обострить восприятие проблемы. Видимо, такой же свободной игрой было и отношение Ваше к собственной жизни — готового значения par excellence. С тем же бесстрашием, которое он демонстрировал на фронте, Ваше принял смертельную дозу морфия — может быть, решив уйти от жизни, может, по неосторожности, а может, как писал Бодлер, «*чтобы испытать судьбу*, чтобы заставить себя дать доказательства своего мужества... или же так, без всякой цели, из каприза, от безделья». Как скажет позже Бретон, «смерть Жака Ваше прекрасна хотя бы тем, что абсолютно случайна».

АРТЮР КРАВАН, «ПОЭТ И БОКСЕР»

Краван был — и остается по сей день — самым известным из тройки «дада-самоубийц». Несмотря на то что литературным салонам и выставкам живописи он предпочитал боксерские матчи и поединки борцов («Я не испытываю ничего, кроме отвращения, к живописи какого-нибудь Шагала или Шакала, все это хваленое безумие мне совершенно не по душе — за ним стоит лишь мозг, тогда как истинный гений всегда есть чрезвычайная манифестация тела»), появление Кравана в любом из городов, между которыми он неутомимо сновал — Женева, Нью-Йорк, Барселона, Париж, — не проходило незамеченным. Он оставлял по себе шлейф элегантных скандалов, прекрасно срежиссированных диких выходок, неудержимо смешных оскорблений и почти уважительных записей в полицейских протоколах, которые куда лучше любой литературы донесли память о нем до потомков.

В дошедшей до нас биографии Кравана правду невозможно отделить от вымысла — о нем всегда ходило множество невероятных историй. Его настоящее имя было Фабиен Авенариус Ллойд, он родился в космополитической Лозанне, но по паспорту — которого, впрочем, никто толком не видел, — вроде бы был подданным английской короны. О его родителях неизвестно ничего или почти ничего, но его (опять же предполагаемый) дядя известен всему миру — Краван любил представляться племянником Оскара Уайльда. Он был прирожденным путешественником («Если сидеть на одном месте, человеческая глупость просто поражает»), поначалу просто скитаясь по свету от избытка денег и привычной лени юнца из богатой семьи, а затем меняя страны по мере их вступления в войну, чтобы избежать мобилизации. Этот статный красавец исповедовал культ мускулов и тела, в оценке произведений искусства руководствовался «своей тягой к мастерам исключительно мускульной тренировки»[1], а выходя на ринг, представлялся как «Артюр Краван, боксер и поэт»; один из матчей он даже завершил лекцией о поэтике Уайльда.

После нескольких лет скитаний в 1909 году Краван обосновывается в Париже и с апреля 1912-го по апрель 1915-го на свои средства издает пять номеров журнала «Мэнтенан», ставшего образцом нонконформистского юмора. Журнал в основном состоял из фантастических рассказов о мнимых встречах Кравана с реальными лицами — с Уайльдом или Андре Жидом, — а также его отчетов о выставках, оборачивавшихся серией насмешек над художниками, и безумных анекдотов («Ах, как бы кстати здесь была какая-нибудь железнодорожная катастрофа: воистину, место Мориса Дени — на небесах, ему неведома прелесть ношения смокинга и сырного запаха от ног... Будь я так же известен, как Поль Бурже, я каждый вечер выступал бы в мюзик-холле в одном исподнем и, уверяю вас, делал бы неплохой сбор».) В высшем акте издевательства над литературой и авторством он использовал акт письма, предназначенный вечности, для того чтобы вызвать реакцию в преходящей жизни, — а о вечности совершенно не заботился. Способный существовать лишь на ответном отрицательном заряде публики, Краван словно черпал новые силы в осуждении: «Я пишу только затем, чтобы бесить».

Краван, как Риго и Ваше, не жалел слов для обличения серой обыденности («Скоты могут видеть прекрасное лишь в прекрасном»), но при этом интенсивность его поисков иной судьбы, попыток вырваться за пределы единожды данного окружения не имеет себе равных. Краван словно бы хотел узнать все наслаждения (или страдания, как знать) на свете, сразу и в ту же минуту: «Я хотел бы оказаться одно-

[1] *А. Бретон.* Антология черного юмора.

временно в Вене и Калькутте, сесть на все возможные поезда и уплыть сразу на всех кораблях, обхаживать всех женщин земли и обжираться блюдами всех кухонь мира».

В отличие от многих позднейших «авангардистов» Краван играл честно и был готов ответить за сказанное и содеянное. За публичные оскорбления художницы Сони Делоне он провел несколько суток в тюрьме, а шпильки по адресу еврейской крови Аполлинера обернулись для него вызовом на дуэль — но он, не желая утихомириваться, превращает извинения в очередные издевательства: «Хотя я вовсе не боюсь булатного клинка вояки Аполлинера — мне просто чуждо самолюбие как таковое, — я готов взять свои слова назад, внести все мыслимые в подлунном мире исправления и заявить, что... г-н Гийом Аполлинер не еврей, а исправный прихожанин римско-католической церкви. На будущее, чтобы избежать подобных недоразумений, могу добавить, что означенный г-н Аполлинер со своим раздувшимся пузом скорее напоминает носорога, нежели жирафа, физиономия его больше смахивает на морду тапира, нежели льва, и вообще он больше походит на стервятника, нежели длинноклювого журавля».

С началом войны он бежит из Франции и, оказавшись в 1916-м в Барселоне, много общается с Пикабиа и... с художницей Мари Лорансен, несмотря на то, что ранее вел себя по отношению к ней оскорбительно (в качестве иллюстрации тезиса об искусстве и позе перед зеркалом он предлагал «задрать ей юбки и всыпать по первое число»). На апрель 1916-го приходится его бой с Джеком Джонсоном: Краван в первом же раунде едва не отправился в нокаут, и матч сознательно затягивали для повышения зрелищности. Получив-таки роковой удар, Краван, едва встав на ноги, громко расхохотался. В конце 1916 года он отплывает в Америку на одном корабле с Троцким, который почтительно, хоть и не без естественного для «нормального» человека осуждения, упомянет о нем в своих мемуарах. Без средств и крыши над головой, Краван ночует на скамейках Центрального парка, но даже получив в марте 1917-го заказ на публичный доклад о юморе, не удерживается и превращает достойное собрание в пьяный дебош, который весьма живо приветствовал Дюшан. Со вступлением Америки в войну Краван бежит в Канаду, потом в Мексику, где работает преподавателем физкультуры. В 1919-м он снова поднимается на борт корабля — и больше о нем ничего не известно.

Острота желаний и серьезность насмешки подразумевают способность идти до конца, и Краван, любивший повторять: «Хотя бы раз в год стоит рисковать своим будущим», не чурался крайних мер. Самым загадочным эпизодом и так предельно «романизированной» биографии Кравана стало это его неожиданное исчезновение. Тело так и не было найдено. Среди друзей Кравана распространилась уверенность, что он не погиб, а просто начал новую жизнь под чужим именем, ускользая разом и от надвигавшейся войны, и от сложившейся судьбы повесы и интеллектуального хулигана, и мало ли от чего еще.

Эта гипотеза выглядит не такой уж сумасбродной, если принять во внимание, что вся жизнь Кравана была выстроена на поразительной двойственности бытия, переодеваниях и чуть ли не сменах личности. Краван исследовал мир посредством провокации, наподобие психиатра, ударяющего молотком по коленке, или «беспричинного убийцы» Лафкадио, списанного Жидом, как говорят, напрямую с него. Он принимал существование в самых крайних дозах и искал жизнь в самых крайних условиях, которые мог найти. Позже многие были склонны видеть «воскресшего» Кравана в авантюристе по имени Дориан Хоуп — имя не может не отсылать к бессмертному творению Уайльда, на родство с которым Краван претендовал, а фамилия по-английски значит «надежда». В начале 20-х этот Хоуп совершил целую революцию в «уайльдоведении», выбрасывая на рынок якобы неизвестные тексты Оскара Уайльда, оказавшиеся настолько мастерски выполненными подделками, что смутили и признанных специалистов по творчеству писателя. Такая новая судьба, когда связь с таинственным предком еще больше укрепилась (вымышленную встречу с ним Краван описал столь изящно и убедительно, что несколько американских газет отправили в Европу корреспондентов для расследования происшествия), выглядит не менее привлекательной, чем стезя «поэта и боксера».

ЖАК РИГО

Э. Л.

РАССКАЗ

Э. Л. всегда с нескрываемым раздражением читал в газетах объявления типа: «Шофер *X* принес в комиссариат бумажник, который он обнаружил на сиденье своей машины» или «Разыскивается дамская сумочка, забытая в такси такого-то числа, содержащая...». Садясь в такси, он почти инстинктивно проводил рукой между кожаными сиденьями и дверцами машины, а иногда так даже и приподнимал тяжелые подушки, чтобы убедиться, не выпало ли что из карманов у предыдущего пассажира.

Поскольку лень нашего героя была куда сильнее его непорядочности, он никогда всерьез не задумывался о мошенничестве, — чем воровство отличается от иных профессий? — однако вкладывал какую-то поистине детскую веру в чудесные случайности, будь то безумная любовь и состояние в придачу или нежданная находка. Бумажник в такси был для него чем-то большим, нежели просто метафорой редкой удачи, — это была идефикс, завладевшая его помыслами настолько, что каждый день он начинал подбрасывая монетку в попытке узнать, не сегодня ли доведется ему найти вожделенный кошелек. И даже если день не приносил желанного чуда, на следующее утро он начинал игру снова и снова, упорно бросая монету до тех пор, пока не выпадала удача. Он не чурался также и угадывания суммы будущей находки, которую методом исключения и при помощи все той же чудодейственной монетки выбирал между тремястами, девятью тысячами, тридцатью семью и, наконец, семьюдесятью двумя тысячами франков.

Подобное ребячество способно даровать человеку немалую уверенность в себе, и то спокойствие, с каким он проходил через полосы отчаянного безденежья, в гораздо большей степени объяснялось его надеждой обнаружить-таки в один прекрасный день заветный бумажник, нежели теми пачками банкнот, которые он занимал и перезанимал, чтобы появляться в свете и прилично одеваться. Даже в моменты полной нищеты он, пренебрегая автобусом или метро, без тени сомнения садился в такси, чтобы в очередной раз попытать счастья.

В то утро, когда, проезжая по набережной Тюильри, Э. Л. нащупал под сиденьем какой-то плотный и упругий предмет — оказавшийся сумкой инкассатора, толщина которой с уверенностью позволяла предположить неплохой улов, — он с облегчением улыбнулся. Более того, он с удовольствием бы расхохотался при мысли о том, что по нелепой прихоти судьбы одна из четырех или пяти значительных сумм, неотвратимо пропадающих куда-то каждый год, оказалась в руках одной из четырех или пяти персон, которые не без наивности ожидали эту сумму заполучить. Но, опасаясь, как бы внезапно нахлынувшее возбуждение не испортило банальной неловкостью всей прелести произошедшего, он решил оставить ликование на потом.

Пряча сумку под полой пальто, Э. Л. взглянул в узкое зеркальце, и печать ничем не примечательной скуки на его лице, а также непременная светлая шляпа рассеяли последние остатки беспокойства.

И в самом деле, найти его будет непросто — прежде всего он дал шоферу адрес некоего кафе. Не то чтобы он всерьез думал провести там время, просто квартира друга, к которому он направлялся, располагалась на втором этаже ровнехонько над означенным заведением. Следующая удача — шофер едва взглянул на него, когда он садился в машину, и наверняка не сможет припомнить, на какой стоянке это произошло. Наконец, сама эта стоянка находилась у оживленного выхода из вокзала, что едва ли облегчит те поиски, которые со временем будут неизбежно предприняты.

© С. Дубин. Переводы, 1999

Машина уже почти подошла к месту назначения, когда Э. Л., взглянув на счетчик, обнаружил не без легкого холодка по спине, что у него нет мелочи, а имевшаяся банкнота в пять франков значительно перекрывала стоимость поездки. Ждать, пока шофер отсчитает сдачу, означало предоставить ему великолепную возможность изучить лицо седока и даже запомнить эту злосчастную светлую шляпу — но, выскочив из машины не дожидаясь расплаты, он еще больше рисковал пробудить подозрение несоизмеримой величиной чаевых.

Поэтому, как только такси остановилось, Э. Л. крикнул:

— Я не вижу на террасе человека, который назначил мне встречу, отвезите-ка меня на бульвар И..., дом 28.

Это была какая-то финансовая контора — Э. Л. никогда там не бывал, но адрес почему-то запомнил, — достаточно удаленная для того, чтобы довести плату за проезд до заветных пяти франков. Расчет оказался точным. Он вылез из машины, стараясь не попадаться на глаза водителю, протянул ему мятую бумажку и не спеша поднялся по ступенькам банка. Вновь появившись на крыльце через несколько минут, он прошел три ближайшие улицы и только тогда позволил себе подозвать еще одно такси.

Перескакивая через целые пролеты, он взлетел по лестнице своего дома и спрятал сумку в глубине платяного шкафа у себя в комнате. Затем, как если бы день только начинался, он размеренным шагом вышел на улицу, приказал очередному таксисту отвезти себя к другу, визит к которому только что с такой поспешностью отложил, и вообще не пропустил ни единого номера намеченной программы, а потому и вернулся к себе домой — точнее, к матери, с которой все еще жил вместе, — лишь поздно вечером.

Только тогда он смог как следует ознакомиться с содержимым своей находки. Пересчитывая банкноты, он испытал то самое возбуждение, которое утром, руководствуясь соображениями безопасности, вынужден был подавить. Увы, впоследствии ему, несмотря на все старания, так и не довелось испытать это возбуждение вновь, да и само происшествие с течением времени неотвратимо погружалось в топь обыденной рутины. Пока же результат был таков: тысяча триста шестьдесят семь купюр по тысяче франков, еще несколько ассигнаций разного достоинства и акции на сумму около сорока тысяч. Э. Л. не был человеком упрямым, а потому с легкостью простил судьбе небрежение его каждодневными упражнениями в устном счете — ведь сумма не совпала ни с одной из облюбованных им цифр, это не были ни триста франков, ни девять тысяч, ни тридцать семь, ни даже семьдесят две тысячи. На мгновение в голове его промелькнула мысль, не происходит ли это небольшое состояние из банка, в котором он случайно оказался утром, однако буквы, оттиснутые на потертой коже сумки, опровергли подобное предположение.

Сердце бешено стучало в груди. Э. Л. до такой степени потерял контроль над собой, что даже забыл пересчитать банкноты во второй раз. Позже, исправив эту досадную оплошность, он осознал, что отныне ему суждено быть скупцом.

Как правило, Э. Л. смотрел на вещи и события с точки зрения случая. Разумеется, он был игроком — больше того, он отказывался признавать человеческие достоинства в тех смертных, кто игроком не был. Довольно часто и, как правило, совершенно сознательно он относился к игре, как другие относятся к приему наркотика, говоря себе: я всегда сумею это остановить. Ни проигрыши, ни настойчивость кредиторов, ни прямые унижения не могли подавить в нем бессонный зуд игры. Он решал сыграть партию в баккара и, усевшись для начала за стол со ставками поскромнее, ждал, пока придет выигрыш, достаточный для того, чтобы перебраться к более крупным понтерам. Он мысленно расписывал ходы, играл на собственных нервах, отказываясь увеличить ставку, пасовал, не без тайной дрожи позволял себе проиграть половину только что сорванного банка и объяснял неудачу скудостью чаевых, бросаемых крупье. Потом вдруг приходил жирный куш, затем второй, третий, и он становился богачом. Пытаясь отыграться, разорившийся банкир ставил на кон свой «роллс-ройс» — и тот переходил к нему, равно как и колье его соседки, каковое он немедленно преподносил соседке с другого бока, усаживаясь вместе с ней в выигранный кабриолет. Тогда счастье не давало ему сомкнуть глаз. Теперь же

— ничего подобного. Он чувствовал скорее не радость, а какую-то подавленность, как те из игроков, что острее переживают грядущие опасности крупного выигрыша, нежели сиюминутные преимущества такой удачи.

Назавтра, решив было пропустить обязательный доныне, но совершенно никчемный теперь утренний объезд знакомых, он быстро одумался: вести себя надлежало совсем не так. Напротив, день за днем надо делать вид, что ничего не произошло, неукоснительно следовать заведенным ритуалам и постепенно превратить свалившееся на голову богатство в официальное состояние, которое можно было бы явить миру, — вот только как этого добиться?

Он решил позвонить одному из друзей и одолжить у него пять тысяч франков; сначала покраснев при мысли о столь грубой уловке, затем он испугался, что поступок этот выдаст его куда скорее любой расточительности, и, размышляя о неудобстве, способном омрачить и это весьма счастливое облегчение материальных проблем, решил, что чрезмерная осторожность столь же подозрительна, как и непозволительная роскошь, а потому слишком хитроумных шагов следует остерегаться ничуть не меньше преступной в его обстоятельствах беспечности. В итоге он остановился на тысяче франков — обычной для него сумме займа.

На протяжении многих лет он покрывал часть дневных расходов, заглядывая почти каждый вечер в сумочку своей матери. Сейчас он заставил себя поступить точно так же: с одной стороны, следуя своему плану и не желая изменять привычке, а с другой — опасаясь, как бы мать о чем-нибудь не догадалась, поскольку втайне полагал, что она прекрасно осведомлена о его ежедневных заимствованиях и молчит только для того, чтобы изводить его сомнениями.

Оставалось лишь избавиться от акций и инкассаторской сумки. Веселое расположение духа Э. Л. услужливо нарисовало несколько довольно забавных возможностей с этим покончить. Если бы он не боялся обнаружить себя почерком, водяными знаками на конверте или штемпелем почтового отделения, то мог бы послать компрометирующий излишек своего состояния г-ну W. R. B., самому богатому человеку на свете, — по примеру некоего анонима, который отправил этому матросу, внезапно разбогатевшему благодаря наследству в тридцать миллионов, чек на семьдесят пять франков с пометкой «на организацию приюта для бедняков». В итоге акции были сожжены, что же до сумки, беспокоившей его куда больше, то с наступлением темноты Э. Л. бросил ее в ближайший почтовый ящик.

Отныне он был свободен распоряжаться оставшимися деньгами. Прикидывать грядущие траты не было для него внове, однако он впервые предавался этому занятию, обладая реальными средствами. Однажды, попытавшись определить порядок расходов, случись ему внезапно разбогатеть, он был поражен низменностью своих притязаний: в голову не шло ничего, кроме пошлых атрибутов роскоши — сигара толщиною в трость, появление у театрального подъезда с тремя неслыханно прекрасными спутницами на тонком поводке из отборных жемчужин и прочее. Но даже когда приятное умиротворение от этих миражей рассеивалось, жажда богатства не ослабевала: он был по-настоящему болен автомобилями, и его сердце замирало всякий раз, как по Елисейским полям мимо него проносился сверкающий лимузин. Да-да, автомобили, отели «люкс» и женщины с божественным даром проводить полдня за туалетным столиком — он чувствовал, что прививкой от пожиравшей его «дворцовой лихорадки», как он ее называл, может стать только состояние, целиком и полностью предназначенное для расточительства. До сих пор безобидная ничтожность всех этих фантазий не беспокоила его и он пребывал в полной уверенности, что, дойди дело до настоящих трат, он блеснет куда большим воображением. В тот вечер меж тем ему предстояло решиться на удовлетворение желаний куда более серьезных и, главное, реальных. Э. Л. задумался и по прошествии часа был вынужден признать, что не нашел ничего лучше: 1) номера в «Ритце» до полного истощения средств; 2) целой системы трат, которая потихоньку подтачивала бы состояние, учитывая и проценты, вплоть до самой его смерти (умирать все же следовало бедным),

намеченной на конец пятого десятка — при необходимости он поможет неспешной судьбе; и разумеется 3) покупки автомобиля — а там будь что будет.

Негусто, что и говорить. Основным достоинством внезапного обогащения всегда был шанс зажить новой жизнью. Уже сама возможность переехать в другой город или даже квартал, поселиться в деревне под вымышленным именем и убивать время за обедами у местного кюре способна оправдать даже ужасы кропотливого накопительства скромных трудяг — если, конечно, к такому выбору не принуждают внешние причины. Сменив имя, человек не может даже думать по-прежнему. Иногда просто поражает, как это люди проводят всю жизнь под одним и тем же именем. Тот факт, что возможность расстаться со старой личиной прельстила столь немногих, красноречиво свидетельствует о нашем самодовольстве и суеверном нежелании перечить сложившимся обстоятельствам.

Однако Э. Л. прекрасно понимал, что все эти атрибуты беспечного существования не значат абсолютно ничего и попросту ему заказаны, покуда он не придумает своему богатству достоверного происхождения.

Иначе говоря, ему было позарез необходимо раздобыть где-то миллион триста шестьдесят семь тысяч франков — веселого, согласитесь, мало.

Так прошло несколько дней. Э. Л. без всякого трепета пролистывал газеты, из которых узнал, что инкассатор был арестован, но позже выпущен на свободу — в день обнаружения сумки в почтовом ящике. Разделяя известное убеждение, что вора губят его сообщники, Э. Л. удерживался от того, чтобы поделиться с кем-нибудь рассказом обо всем происшедшем или посмеяться собственной удаче вместе с другом. Решимость все же остановиться на том или ином варианте посещала его от силы два-три раза на дню — и то как залп переполнявшей его скуки; так думают о наступлении Нового года или неизбежной операции. Ему не хотелось ни думать, ни действовать. Единственное, что он себе позволял, была покупка сорочек — четырех, не больше — и виски, которое он мог бы пить дома; как правило, друзьям, заходившим в гости, он его не предлагал.

Подобная жизнь могла бы тянуться поистине бесконечно — впрочем, она и тянулась. Главным пороком Э. Л. была неспособность предпринять даже малейшее усилие, если его можно было отложить хоть на полчаса. Так, он часто был не в силах ответить на полученное письмо — не то чтобы он пренебрегал оказанным вниманием, напротив, задержка даже вызывала у него некое подобие стыда, довольно быстро, впрочем, переросшего в злобу на приятеля, который, пусть и желая по-дружески его подначить, напоминал ему об этом бессилии хоть что-либо начать. Однако Э. Л. никогда не путал свою особого рода лень с банальной нерешительностью и втайне даже гордился собственной храбростью при пересечении плохо освещенных или попросту опасных улиц и той быстротой, с которой он обычно открывал карты. Итак, жизнь его текла без изменений — но Э. Л. все же сумел извлечь из неожиданного богатства кое-какую выгоду. Прежде всего теперь к тем деньгам, которые он продолжал по привычке занимать, он мог добавить суммы вдвое или втрое большие, почерпнутые из заветного тайника (при этом расплатился он лишь с парою особенно допекавших его заимодавцев), и пусть сила его желаний, как несложно предположить, не ослабевала, в лучах будущего достатка они теряли присущий им ранее тягостный характер. Теперь ему даже случалось выходить из дома в мятом пиджаке, и он не терял больше сознания при виде шикарных автомобилей («Вот стану миллиардером, тогда и на метро вдоволь покатаюсь!»). Он был свободен от тех ужасных угрызений совести, которые донимают людей, тратящих больше денег, нежели имеют, и ведущих тот же образ жизни, что и более обеспеченные друзья, но безо всякого обеспечения. Все траты даются им словно через силу: они и рады бы от них ускользнуть, но не могут, и идут на них скрепя сердце, а позже рвут на голове волосы с досады.

Ни на гран не изменив заведенным привычкам, Э. Л., напротив, превосходно с ними сжился — как и надоевшие обязанности, он легко откладывал желанные наслаждения на потом. И надо ж было терзавшему его демону собственного достоинства положить конец этой череде беспечных дней (признаем все же, что подмогою здесь выступил страх). Войдя однажды к себе в комнату, он застал там мать и тотчас же заметил у нее в руках

кожаный несессер, в котором хранил деньги. Похолодев, он едва разобрал в бормотаниях старушки, что та искала в бумагах сына какой-то старый рецепт. Под неким благовидным предлогом он сумел обратить поиски матери в иное русло — однако тревожный звонок прозвенел и мирная игра в прятки неожиданно стала опасной. Было просто необходимо придать сбережениям какую-то солидную основу — да и потом, богатство, которое нельзя пустить в ход, быстро приедается.

Словно профессор на экзамене, который ставит перед учеником очередную проблему, он задал себе четкий вопрос: что позволяет человеку быстро сделаться обладателем значительных сумм? И ответил на него — стремительно, как тот же ученик, у которого лишь двадцать секунд на размышление и три минуты на доказательство непокорной теоремы: это скачки, баккара, игра на бирже, смерть родственника и чья-то любовь.

Итак, скачки: Э. Л. честно отправился на ипподром в надежде потерять сотню-другую франков, а потом отыграться как следует, поставив жирную маржу на тайного фаворита. Бедняга выиграл пятьдесят франков, но никакие маржи не смогли приблизить его к желанной цели. Опять-таки, он прекрасно понимал, что удачей на скачках объясняют свое богатство именно те, кто, как и он сам, нуждается в прикрытии куда более сомнительных операций. И наоборот, люди, живущие игрой — есть и такие, — всегда приписывают достаток именно причудам зеленого сукна.

Смерть родственника вряд ли подойдет для объяснения семье. Наконец, любовь требует наличия сообщника, но не сильно увеличивает шансы на правдоподобную историю.

И все-таки даже в этом безрыбье можно было отыскать вполне сносные варианты. Что, если уехать куда-нибудь на год и вернуться богачом: распустить слух, что ты дневал и ночевал на конюшнях и так далее, — это сможет худо-бедно оправдать будущие кутежи. Однако все эти комбинации были отметены им с порога: Э. Л. ставил свой вопрос как настоящую математическую задачу, у которой должно быть точное и единственно возможное решение (так детей в школе предупреждают, что контрольная не будет зачтена, если в ответе не появится целое число, без десятых долей) — не подогнанный к ответу выход из положения, а железное и даже почтенное алиби.

Как раз выходов-то было в достатке — начиная с поддельной картины некоего мастера, обнаруженной на чердаке и проданной подставному аукционисту, и заканчивая комиссионными за никогда не совершавшуюся сделку. Однако для этого нужна была подходящая ситуация, а то и какая-нибудь временная должность. Но неужели обретенное состояние заставит Э. Л. пошевелить хоть пальцем — ведь одинаковое отвращение к труду и нищете уравнивало в его глазах праздность и работу. Или все, что ему остается, — это подбросить деньги в очередное такси?

Вот и подумайте, так ли просто разбогатеть на миллион с хвостиком всего за неделю...

Весьма теплые отношения связывали Э. Л. с некою девицей, весьма средний достаток которой в свое время отвратил его от планов на ней жениться — каковые, впрочем, не выглядели вовсе уж невероятными, если учесть преданную верность и ангельское терпение означенной особы. И вот как раз тогда эта его подруга оказалась в весьма заманчивом положении: после смерти отца неожиданно открылись весьма запутанные долги, а потому она сама и ее мать были вынуждены еще больше поумерить свои и без того довольно скромные запросы.

Э. Л., не теряя времени, стал все чаще бывать в доме девушки, расцветив былую дружбу всеми оттенками неусыпного покровительства, а временами так и весьма ревнивого внимания, что не замедлило пробудить в его избраннице понятную надежду.

Низость дальнейшего поведения Э. Л. угадывается без труда: невзирая на увещевания своей семьи, он посватался к бесприданнице; поскольку он и сам, по сути, сидел без гроша, это не вызвало подозрений. Пару недель спустя, когда дело уже было на мази, девица получила приглашение явиться в бюро одного парижского нотариуса. Последний ознакомил ее со следующим посланием:

Мадемуазель,

Увы, Ваш отец скончался не в окружении роскоши и богатства; возможно, в этом есть и часть моей вины, поскольку, вопреки уговору, я помешал ему получить причитавшиеся прибыли со сделки, составившей все мое нынешнее состояние. Я уже стар и был бы Вам до крайности признателен, если бы Вы согласились принять от меня в виде возмещения сего давнего ущерба сумму в один миллион двести тысяч франков, которую вручит вам мэтр Х, нотариус в городе Париже. Я не склонен открывать свое имя, и, если Вы решите отказаться, означенная сумма перейдет на нужды благотворительности. Я не жду от вас благодарности, а лишь прошу помочь мне умереть со спокойной совестью, даровав свое прощение.

На безумные восторги своей нареченной Э. Л. отвечал лишь скупыми проявлениями радости — как и подобает человеку, сознающему всю деликатность ситуации.

Такси сделало его богатым, такси же и вернуло все на свои места. На углу улиц Прованс и Могадор машину, в которой ехала его невеста, буквально-таки сплющило между автобусом и стеной соседнего дома. Тело несчастной было извлечено из-под обломков, но она умерла, так и не придя в сознание. Нежданно обретенное ею состояние естественным образом переходило к ближайшему наследнику. Однако беда не приходит одна — Э. Л. заплатил по долгам ее отца и заказал похороны. Печально проводив глазами гроб с телом девушки, он попросил, чтобы обручальное кольцо осталось у нее на пальце, — это было единственное, чем он мог заплатить бедняжке за блестяще сыгранную роль.

Возвращаясь с кладбища, Э. Л. по привычке уселся в такси. Предыдущая пассажирка оставила на сиденье свою сумочку. Э. Л. подобрал ее и без тени сожаления выбросил в окошко.

ЖАК ВАШЕ

Письма с войны[1]

Х., 5 июля 1916

Дорогой друг!

Я как-то слишком быстро выпал из круговорота событий в нашем дорогом Нанте, прошу меня за это извинить. — Однако министр обороны (или г-н Министр Военных Дел, как у них принято говорить) счел необходимым мое присутствие на фронту[2], да поскорее... — что поделаешь, пришлось подчиниться.

В качестве переводчика я прикомандирован к английским частям. — Содержание офицерское и вполне сносное, а именно — лошадь, багаж без ограничений и денщик, что в военное время совсем нелишне. — Уже начинаю пахнуть, как заправский британец (лак для волос, чай и светлый табак).

И все же, и все же — что за жизнь! Вокруг (разумеется) никого, с кем можно было бы поговорить, ни единой книги, а на рисование толком даже нет времени. — Иначе говоря, я *чудовищно* одинок. — I say, Mr. The Interpreter... — Will you... Эта дорога ведет в...? Have a cigare, sir?[3] — Интендантский эшелон, местные жители, скуксившийся мэр и мандат на подселение — вот и все, что меня здесь окружает. — Снаряды, упорно талдычащие о своем, и дождь, дождь, дождь — утром дождь — ночью дождь — и сотни две

---

[1] Адресатами «Писем с войны» были Бретон, Луи Арагон и Теодор Френкель — французский поэт-дадаист и сюрреалист. Публикуемые в настоящей подборке письма адресованы Бретону. *(Здесь и далее — прим. перев.).*

[2] Одно из частых у Ваше искажений орфографии.

[3] Г-н переводчик, как это сказать... — Вы бы не... Сэр, не найдется закурить? *(искаж. англ.).*

грузовиков, конца и края не найдешь — найдешь, найдешь, найдешь, парам-пам-пам.

Короче говоря, меня гложет умопомрачительная скука (см. выше) от занятий абсолютно бесполезными вещами. — Чтобы как-то развеяться — а что делать? — я мечтаю. Представляю, будто англичане — на самом деле немцы, и на фронту я с ними... да что там, просто за них. Если как следует затянуться душистой сигареткой, офицер «на службе Его Величества» без труда превращается в крылатого андрогина и выделывает бесовские коленца эдакой вампирской пляски, пуская слюни с остатками своего любимого чая с молоком. — А я просыпаюсь в знакомой до боли в костях кровати и отправляюсь на разгрузку подвод с овсом.

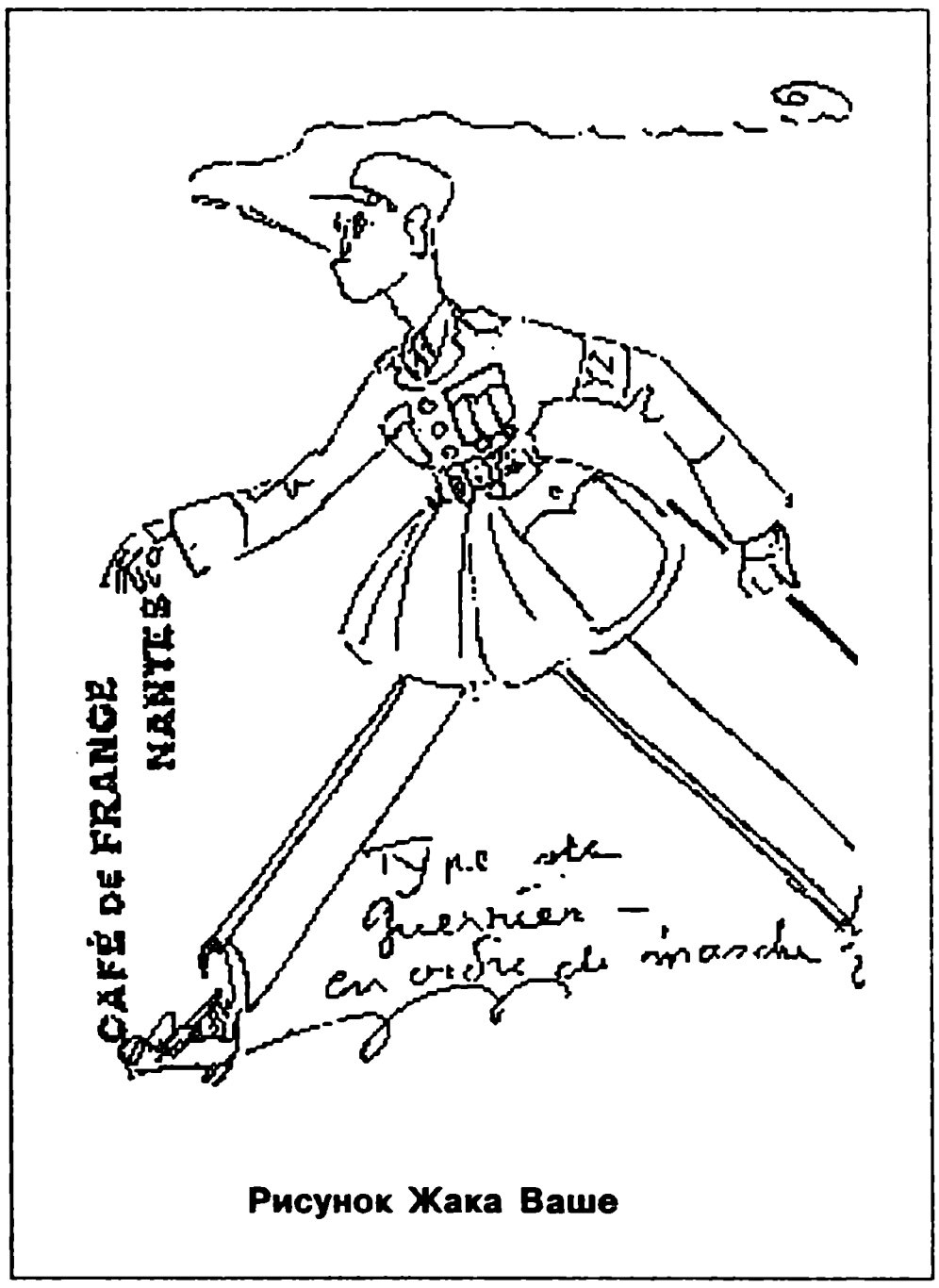


Рисунок Жака Ваше

О, хватит, черт возьми! — Довольно! Это уж чересчур... Черный костюм, острая, как нож, стрелка на брюках да напомаженные волосы, вот что мне подавай! Париж — метры тканей в полоску — шелковые пижамы и лениво неразрезанные книги — где мы ужинаем сегодня вечером?.. Ах, эти милые довоенные привычки, ушедшие в ностальгическое небытие — А потом — а что потом? Мы просто рассмеемся — не так ли?

И верно, хватит! — Довольно!.. чересчур —

Сидней и Мельбурн — Вена — Нью-Йорк, в оба конца — Вестибюль Отеля — яхта с лакированными бортами, багажная квитанция, Управляющий — Подозрительные типы у входа — и Назад.

Как же скучно, дорогой мой друг — видите сами... впрочем, я вас, наверное, утомляю, а потому немедля завершаю свои досужие размышления.

Не забывайте, я всегда испытывал к вам самые теплые дружеские чувства (придется уж вам с этим смириться) — которые меж тем тотчас же уничтожу (возможно даже, без особых терзаний) — как только вытяну из вас все ваши потенциальные возможности.

Прошу вас самым серьезным образом — пишите почаще...

Приветствую народ польский согласно всем установленным ритуалам[1] — храните в душе наилучшие воспоминания о вашем друге

J. T. H.[2]

P. S. Перечитывая свое письмо, нашел его — в общем и целом — непозволительно запутанным — и вообще написанным из рук вон плохо — еще раз простите меня, мой друг.

Dont acte[3]

4.6.17

Надеюсь в скором времени (числа 15-го—20-го) оказаться в Париже и повидать вас — В принципе, нечто похожее я уже написал Народу Польскому, но ответа от него до сих пор нет. Похоже, наши коварные почтари умудрились затерять сие послание, а потому ответьте мне вы — задержит ли вас Париж до этой даты?

---

[1] Скорее всего, речь идет о Теодоре Френкеле. Одновременно здесь возможна отсылка к пьесе Альфреда Жарри «Король Юбю», действие которой «происходит в Польше, а значит нигде».

[2] Почти ни одно из писем Ваше не подписано его настоящим именем — это либо псевдонимы, либо вымышленные инициалы.

[3] Don't act: «Ничего не предпринимай», «Выбери бездействие» *(англ.)*.

Кругом стена огня и клубы пыли, пот так и льет — сердиться бесполезно, это наверняка какой-то вселенский заговор. — Вереницы огромных грузовиков сотрясают раскаленный воздух и застилают золоченую монету солнца своими ядовитыми испарениями. Как это все смешно! — ну чистый Аполлинер — что ж, тем хуже! — глянцевые журналы с лакированными блондинками и блестяще-взмыленные ноздри штабных лошадей одинаково прекрасны. The girl I love is on a magazine cover[1]. Ну и пусть! Тем хуже! — Все без толку, тут уж ничего не поделаешь. Однако мне порядком надоели эти томные лилии, что вскипают во время артобстрелов белыми одинокими столбами, а затем опадают, точно после старого как мир наслаждения — ах, эти лилии — вы помните цветочные ряды, раскидывавшиеся летом прямо на асфальте, и лейки, лейки продавцов, которые нет-нет да и замочат чье-то воскресное платье? — Стоит жара, и непонятные субъекты, лорнируя толпу, с важным видом домохозяек рассуждают, судя по всему, о биржевых сводках. Да... Правда, вас быстро возвращает к реальности аромат раздавленных дынь под ногами толпы и запах из сточной канавы неподалеку! А потом благоухание сырости меж ног у молоденькой шлюшки в линялом белье, висящем пузырями! И тут вы видите, как раздувшаяся зеленая муха плавает в вашем стакане чая, бессильно распластав крылышки — Ну и черт с ним, тем хуже — вот и все — Well[2].

Well — Коли будет на то ваша воля, я жду от вас письма, покуда окутанные монотонным ревом самолеты прихорашиваются пуховкой бомбовых разрывов, а какая-то ужасная птица исчезает в режущей глаза синеве, оставляя по себе лишь ядовито-уксусную струю мочи прямо мне на голову.

Ваш друг

J. H. T.

19.12.18

Мой дорогой Андре!

Мне также очень бы хотелось вас повидать — Существа утонченные, решительно, исчезающая раса. — Как я вам завидую, ведь вы в Париже, где пруд пруди людей, что так и просятся быть одураченными! — Я же снова оказался в Брюсселе, в дорогой моему сердцу атмосфере легкого танго часа в три утра, а как займется день, сижу, обогащенный чудесными открытиями, перед каким-нибудь чудовищным коктейлем с парою соломинок и кровоточащей улыбкой напротив. — Тружусь над нашими забавными рисунками, цветные карандаши замечательно ложатся на шершавую бумагу, а на полях так хорошо писать заметки обо всем на свете — и ни о чем конкретно. Признаться, я пока никак не соображу, когда смогу закончить: вы пишете о театральной постановке (ну помните: персонажи, вы так точно их описали) — а потом гравюры на дереве к вашим стихам успеем ли вовремя? Извините, может, я не все понял в вашем донельзя загадачном[3] последнем письме: чего вы от меня хотите? — опять подробностей о *йуморе*?.. — Мой дорогой Андре, это не так-то просто пояснить в двух словах. Во всяком случае, речь не идет о каком-то там неонатурализме. Может — при случае — напишете, как видите проблему вы? — Помнится, мы договорились оставить мир в изумленном и нерешительном неведении до какого-нибудь убедительного и даже, может быть, скандального явления сего феномена. Так или иначе, предоставляю вам самому набросать неисповедимые пути этого Бога-обманщика — пусть временами и насмешника, но всегда жестокого громовержца. — Вот увидите, будет действительно забавно, когда *настоящее* новое сознание[4] вырвется на волю!

---

[1] Моя любимая красуется на обложке журнала *(англ)*. В оригинале письма в середине фразы стояли несколько нот этой песенки.

[2] М-да; ну ладно *(англ.)*.

[3] Частое у Ваше намеренное (или нет) неправильное написание: «sybilline» вместо «sibylline».

[4] Обыгрывается название программной лекции Аполлинера «Новое сознание и поэты», прочитанной им в ноябре 1917 г. незадолго до смерти и ставшей его своеобразным духовным завещанием.

Получил ваше письмо — все из наклеенных вырезок[1] — и был ему несказанно рад. — Все очень красиво, я бы добавил лишь фрагмент какого-нибудь железнодорожного расписания, как это вам?.. У Аполлинера в наших глазах не так уж мало заслуг, и он, конечно, все еще жив — впрочем, он просто вовремя остановился. — Не раз уж было говорено, однако повторимся: во многом он определил свое время. Сколько прекрасных вещей стали возможными только теперь!

Прилагаю отрывок из моих недавних заметок — может, поместите их с вашими стихами в этих, по словам Т. Ф.[2], «газетенках с недоброю славой» — а кстати, где нынче этот субъект? Напишите обязательно. Вот уж действительно кто выиграл войну!

Пробудете ли вы какое-то время в Париже? — Надеюсь выбраться где-то через месяц и обязательно вас увидеть.

Ваш друг

Генри Джеймс

АРТЮР КРАВАН

Оскар Уайльд жив!

РАССКАЗ

Это случилось вечером 23 марта 1913 года. И если ниже я собираюсь с максимальной точностью рассказать о моем тогдашнем расположении духа, то лишь потому, что этот вечер на излете зимы запомнился мне на всю оставшуюся жизнь. Кроме того, этим описанием я хотел бы продемонстрировать необычность моего характера — источника гложущих меня противоречий, — да и вообще всю мою отвратительную сущность, которую, впрочем, ни за что не променял бы на какую-либо другую, хотя именно она повинна в тягостном непостоянстве моего поведения; из-за нее я то честен, то лжив, могу одновременно быть тщеславным и скромным, похабником или тихоней. Мне бы хотелось, чтобы вы познакомились с особенностями моего характера поближе, и тогда, быть может, вы станете относиться ко мне чуть лучше — ведь, признайтесь, прочтя эти строки, вы уже меня ненавидите. <...>

Так вот, говорю я, был вечер 23 марта 1913 года. Шел дождь. Пробило десять часов. Я лежал на кровати не раздеваясь и даже не позаботившись о том, чтобы зажечь лампу — а точнее, у меня просто не было на это сил. Мне было чудовищно скучно, в голове носились следующие мысли: «Париж, как это невыносимо! Друг мой, что ты делаешь в этом городе? Ну да, конечно, — ты уверен, что здесь тебя ждет успех! Но почему ради него надо убить не меньше двух десятков драгоценных лет, о, почему? — ведь заслуженные почести ты встретишь уже безобразным стариком. Мне ни за что не понять, как мог Виктор Гюго сорок лет кряду заниматься своим ремеслом. Литература — точно бабья болтовня: язык, как помело. А, черт его дери! В такие минуты я бываю до неприличия груб, хоть и понимаю, что нельзя переходить определенную границу: я умею сдерживать себя, несмотря на досаду. —Ну и что, мне все равно нужен успех, просто нужен, ведь я один по-настоящему знаю, как посмешнее им распорядиться. Да и вообще, быть знаменитым — это забавно; правда, нужно относиться к себе хоть сколько-нибудь серь-

---

[1] Судя по всему, речь идет о первых опытах Бретона по составлению текстов из готовых фраз, в частности вырезанных из газет.

[2] Имеется в виду Теодор Френкель.

езно, но как того добиться?» Непонятно вообще, как люди не покатываются со смеху день-деньской над одним уже тем фактом, что им дарована жизнь. Но — еще одна проблема — мне до крайности мила изумительная жизнь неудачника! А поскольку печаль во мне неотделима от веселья, то венцом сей тирады стало беспечное «о-ля-ля!», а следом — бодрое «тра-ля-ля!». И вот еще что: сейчас у меня есть хоть какие-то деньги, отлично, — но что станется со мной годам к сорока, когда я окажусь во всех смыслах на мели? «Опля — вот что!» — таков был мой ответ на все эти ламентации: мне было необходимо приободриться. Чтобы развеяться, я решил немножко посочинять, но вдохновение, которое обычно услужливо откликается на мой малейший каприз, на сей раз решительно повернулось ко мне спиной. После некоторых мучений у меня родилось следующее четверостишие, но его банальное ерничество тут же наполнило меня живейшим отвращением:

Я лежал на смятых простынях,
точно лев на раскаленном пляже, —
но я чувствовал себя все гаже
и стонал на смятых простынях.

<...> Мне стало совсем тошно: я все еще был в Париже, не находя сил уехать прочь, бежать от окружавших меня стен и душившей меня мебели, — ах, с каким удовольствием я бы сжег дотла весь дом! Я торчу в столице, а где-то на воле резвятся львы и жирафы, и мне подумалось, что наука, наверное, уже давным-давно воскресила мамонтов, а нам по-прежнему всюду видятся слоны и что наши машины через тысячу лет будут в своем совершенстве издавать лишь еле слышное «ц-ц-ц» (признаюсь, это «ц-ц-ц» меня даже слегка оживило). А я? Я валяюсь на кровати, точно какой-то бездельник — не то чтобы мне было противно оказаться разгильдяем, просто неприятно оставаться подолгу *только им одним*, и это в нашу-то эпоху неограниченных возможностей для предприимчивых мужчин и просто мелких воришек! Незатейливая песнь смычка способна пробудить во мне безумную жажду жизни, я готов убить себя силою страсти или умереть от любви ко всем женщинам мира, рыдать над руинами городов прошлого и будущего, но я торчу здесь, потому что *в жизни нет смысла*! Я могу весело носиться по лестницам Монмартра, когда мне только вздумается, и вытворять тысячу разных глупостей; я даже умею думать — нечеловеческим напряжением всего тела, — могу по очереди превращаться в моряка, садовника или брадобрея, но, реши я напялить на себя шкуру похотливого священника, мне придется отказаться от бесчисленных наслаждений во имя обета вынужденного целомудрия. Я, не забывающий о самом себе даже среди всемирных катаклизмов, говорю вам: человек несчастен только потому, что в его теле толпятся тысячи душ.

Итак, это был вечер 23 марта 1913 года. До меня доносились свистки портовых буксиров, и я отвечал им: «Отчего столько морской поэзии в ваших голосах, ведь плаваете вы не дальше Руана и вам неведомы опасности открытых океанов. Ах, так и хочется расхохотаться, просто зарыдать от хохота — но по-настоящему, как гогочет обычно Джек Джонсон!»

Определенно в тот вечер во мне заговорил человек, обманутый в своих лучших чувствах, поскольку никто — и в этом я уверен, у меня даже друзей никогда не было, — никто не способен любить так, как я. Я готов виться над каждым цветком, подобно бабочке, кататься по траве вместе с овцами, а воздух — воздух! — не посвящал ли я целые дни сосредоточенному и вдумчивому вдыханию воздуха? Стоит мне завидеть море, как сердце мое уже подпрыгивает в груди, точно буек, а ступив в его бурные волны, я плаваю и ныряю как рыба. Выехав за город, я покрываюсь листвой, мои волосы зеленеют, а кровь бурлит хлорофиллом; я боготворю дорожный щебень, мне неизъяснимо мил вечерний звон колоколов, и я люблю слушать голос воспоминаний — когда они печально насвистывают какую-нибудь старую мелодию.

Я перевернулся на живот и тут же начал проваливаться в какое-то нереальное, сказочное состояние — кишечник у меня вообще довольно часто командует головой. Все клетки моего тела пустились в неистовый пляс, на ногах словно выросли ремешки вол-

шебных сандалий. В мысли о неземной природе случившегося укрепляет меня и тот факт, что в этот миг раздался робкий звонок в дверь и его обычно ничем не примечательное дребезжание разлилось тогда по всем моим членам наподобие магического эликсира. Я медленно встал с кровати и, будто боясь упустить что-то важное, ринулся к двери в предвкушении неожиданных развлечений. За нею стоял человек исполинского роста.

— Мсье Ллойд?

— Он самый, — ответил я. — Проходите, будьте так добры.

Незнакомец переступил порог с очаровательной неуклюжестью деревенского увальня или английской королевы.

— Подождите, я зажгу свет... извините за такой прием... я никого не ждал...

— Нет-нет, прошу вас, не стоит беспокоиться.

Я все же потянулся к газовому рожку.

— Умоляю вас, — проговорил незнакомец, — мне бы хотелось остаться в темноте.

Такое признание позабавило меня, я пододвинул ему кресло и уселся напротив. Не тратясь на формулы вежливости, он спросил меня в лоб:

— Способны ль ваши уши вынести признанья о неслыханных вещах?

— Что-что? — переспросил я, несколько озадаченный. — Простите, как вы сказали?

— Способны ль ваши уши вытерпеть признанья о неслыханных вещах?

На этот раз я ответил просто:

— Да.

Немного помедлив, тот, кого я считал незнакомцем, проговорил:

— Я Себастьен Мельмот[1].

Я бессилен передать то волнение, что пробудили тогда во мне эти слова: в бешеном порыве абсолютного самоотречения я хотел броситься к нему на шею, стиснуть его в объятиях, точно тайную возлюбленную, напоить и накормить до отвала, уложить в мягкую постель, одеть в лучшие наряды и взять на полное обеспечение — снять все деньги с моих банковских счетов и набить ими карманы нежданного гостя. Слабым выражением переполнявших меня чувств были лишь два слова, которые я сумел выдавить из себя: «Оскар Уайльд!» Тот понял мое волнение, душившую меня невысказанную нежность, и только прошептал: «Мой дорогой Фабиен». С самого детства так обращались ко мне только самые близкие и любящие меня люди, а потому имя это растрогало меня до слез. Затем, стряхнув оцепенение, я насладился уникальностью и исключительностью ситуации — втянув ее полной грудью, словно тончайший аромат. <...>

Усевшись напротив, я решил как следует разглядеть Уайльда. Сперва я пристально рассмотрел его лицо, изборожденное глубокими морщинами, и голову, почти лишенную волос. В тот момент мне подумалось, что в Уайльде есть скорее нечто музыкальное, нежели живописное; никакого точного содержания в эту формулировку я не вкладывал, просто решил: в нем больше музыки, чем пластики. Я окинул взглядом всю его фигуру. Он был прекрасен. Расплывшись по креслу, он был похож на огромного слона и почти подминал под себя сиденье; при виде этих гигантских рук и ног я попытался в восхищении представить себе, сколь же божественно счастлив должен быть их обладатель. Я опустил глаза на его сапоги; ступни Уайльда были относительно невелики, слегка сплющены, что должно было придавать походке характерную размеренность и неспешное достоинство толстокожих, а соответственно и возвеличивать его непостижимым образом до звания поэта. Я почти влюбился в него, так он напоминал мне громадного зверя; в своих мечтах я рисовал его... да, например, гиппопотамом — образ этот восхитил меня своей точностью и подкупающей простотой... <...>

Одутловатое лицо выдавало подтачивавшую его изнутри болезнь; тонкие бескровные губы приоткрывали гнилые и сточенные зубы, подправленные кое-где золотыми коронками; подбородок был почти не виден за окладистой бородой, чей изначально

---

[1] Уайльд назвался этим именем при выписке из тюрьмы. Фамилия отсылает к герою «черного» романа «Мельмот-скиталец» (1820) ирландского писателя Чарльза Роберта Мэтьюрина (1782—1824), с которым Уайльд состоял в дальнем родстве.

бурый цвет отчаянно сопротивлялся вездесущей проседи. Чуть раньше я приписал его волосам серебристый оттенок, что не совсем верно, они скорее напоминали покрытые серым пеплом головешки — эти жалкие кустики были словно подцвечены экземой на коже, однако по-прежнему тянулись к солнцу, неистребимые, как сама вечность или восточная истома.

Словно очнувшись от какого-то оцепенения, я обнаружил, что все это время мой гость чему-то смеялся, но не обычным нервным лаем европейцев, а от души, широко раскрывая рот. Последнее, на что я обратил внимание, был его костюм — Уайльд был одет в черную пару, поношенную, но еще вполне пристойную; вообще, в нем чувствовалось некое пренебрежение к внешнему виду.

Крупный бриллиант, на который я тут же положил глаз, лучился в его левом ухе, придавая облику Уайльда определенную харизму.

Я вышел на кухню за бутылочкой шерри, и мы опустошили с ним по нескольку бокалов; в комнате уже было довольно сильно накурено, я начинал терять свою обычную сдержанность и привычку не повышать голос — и решился задать очевидный своей пошлостью вопрос:

— <...> Скажите, вы вот тут сидите, живы-здоровы, тогда как весь мир уверен, что вы давно умерли; г-н Давре[1], к примеру, недавно заявил мне, что имел возможность прикоснуться к вашему телу, и вы были мертвы.

— Ну да, я мертв, так что с того, — вскричал мой поздний гость с такой ужасающей естественностью, что я начал всерьез опасаться за его рассудок.

— Да нет, ничего, я всегда воображал вас лежащим в могиле между двумя мошенниками — наподобие Христа!

Потом я принялся расспрашивать его о брелоке, висевшем на цепочке для часов, и он поведал мне, что это был ни много ни мало золотой ключик Марии-Антуанетты, которым покойница во время оно отпирала Малый Трианон.

Мы опустошали бокал за бокалом, и, наблюдая за Уайльдом, веселевшим на глазах, я подумал вдруг, а не отравить ли его — теперь он уже грубо хохотал, откидываясь на спинку кресла. <...>

— Вы больше ничего не пишете? — спросил я.

— Нет-нет, я только что закончил книгу воспоминаний, — Боже мой, как это смешно! — Я работаю над томиком стихов и написал целых четыре пьесы... для Сары Бернар! — воскликнул он расхохотавшись. — Я без ума от театра, но обычно никак не могу придумать, что же делать с персонажами, пока они не усядутся и не заведут чинную беседу.

— Послушай, старина, — я вел себя все более развязно, — у меня есть к тебе небольшое предложение: вот увидишь, я парень ловкий хоть куда! Я тут издаю некий литературный журнальчик и уже нередко выезжал на твоем имени — литературный журнал, это не абы что! — так вот, сейчас ты мог бы передать мне одну из этих книжек, о которых только что говорил, а я опубликую ее вроде бы посмертно, как неизданный шедевр. А хочешь, я стану твоим импресарио, подпишем контракт на серию лекций в мюзик-холлах, и если наскучит болтать, можешь станцевать что-нибудь экзотическое, пантомиму, например, с хористками. <...>

Бутылка шерри давно опустела, и я окончательно созрел для какого-нибудь восхитительного бесчинства. Я принес три литра столового вина — единственное, что у меня оставалось, — но когда я предложил его моему новому другу, тот, не в силах двигать языком, смог лишь провести ладонью по горлу.

— Come on! Have a bloody drink![2] — вскричал я с неожиданным акцентом боксера-американца, немало удивившим Уайльда («Боже, — пробормотал он, — это из-за меня ты растерял все твое достоинство»). Через мгновение, однако, он согласился, осушил бокал одним глотком и вздохнул:

— Никогда в жизни еще не приходилось столько пить.

---

[1] Французский переводчик Уайльда.
[2] Да ладно тебе! Выпей, черт тебя дери! *(англ.)*

— Да заткнись ты, алкаш старый! — заорал я, подливая вина. Затем, словно сорвавшись с цепи, набросился на него: — Эй, ты, дряхлая развалина! Откуда ты свалился на мою голову? Признавайся, кто тебе сказал, где я живу? Ну, — кричал я почти ему в лицо, — чего молчишь? Все никак не отойдешь от своего маскарада? Да что с тобой возиться, нянька я тебе, что ли! — И, решив идти до конца, смачно рыгнул: — Эй, отвали, понял! Ты хуже уличной шлюхи, ни на что не годишься — оторва, грязь с сапог золотаря, вахлак, тупица, старый педик, туша безмозглая!

Я закричал:

— На Монмартр! Гуляем!

Сама эта идея Уайльду, похоже, приглянулась, его лицо засветилось радостью, но он лишь слабо выговорил:

— О, нет, я не могу.

— Да ты что! Я проведу тебя по барам и буду бесконечно тебе надоедать; потом мы притворимся, что ты где-то потерялся, и я буду орать во всю глотку: «Оскар Уайльд, выходи, пропустим по стаканчику!» Вот будет здорово — когда еще представится возможность доказать миру, что он не властен над тонким устройством твоей души?! В конце концов, не Царь ли ты Всего живого? — заключил я, точно Сатана.

— О, мальчик мой, ты настоящее чудовище, — прошептал Уайльд по-английски. — Я так хотел бы быть с тобою, но не могу, правда, не могу. Мне жаль тебя, не искушай свою душу без нужды. Я ухожу, Фабиен, пора прощаться.

Мне было уже все равно, и я не удерживал его; он встал, пожал мне руку, взял шляпу, которую при входе положил на стол, и направился к двери. Я спустился проводить его на улицу и, немного протрезвев, спросил:

— А кстати, ты приходил за чем-то специально?

— Нет-нет, мне ничего не нужно, прошу только, молчи обо всем, что ты видел и слышал этой ночью... впрочем, нет — говори что хочешь, но не раньше чем через полгода.

Ступив на тротуар, он сжал мои пальцы и, обнимая меня, снова прошептал:

— You are a terrible boy.[1]

Я смотрел, как силуэт его исчезает в ночной тьме, и поскольку сама жизнь давала мне в тот момент прекрасный повод посмеяться, я показал ему за спиной язык и размахнулся ногой, как будто давая ему пинка под зад.

Дождь уже прошел, но воздух еще был прохладным и сырым. Я вспомнил, что Уайльд пришел без пальто, и подумал, что он, должно быть, очень беден. Целая лавина чувств внезапно нахлынула на меня; мне было грустно, сердце сжимала несказанная нежность, и, словно в поисках какого-то утешения, я поднял глаза: но луна была слишком красива, и это лишь разбередило мою душевную рану. Тогда я подумал, что Уайльд, скорее всего, не так меня понял, он не догадался, что я просто не могу быть серьезным, — я, наверное, заставил его страдать. Словно потеряв рассудок, я побежал вслед за ним, оглядываясь по сторонам на каждом углу и крича что было силы: «Себастьен! Себастьен!» Не останавливаясь, я обежал все бульварное кольцо и только тогда осознал, что потерял его навсегда.

Не смотря под ноги, я возвращался домой и не сводил глаз с луны, преследовавшей меня, точно проклятье.

Перевод с французского С. ДУБИНА

■

[1] Ты настоящее чудовище, мальчик мой *(англ.)*.

«Храни меня в своем сердце!»

К 250-летию со дня рождения Иоганна Вольфганга Гёте

ЗИГРИД ДАММ

«АХ, НО ТЫ ЖЕ НЕ ОСТАВИШЬ МЕНЯ ОДНУ!»

Кристиане Вульпиус двадцать три года, когда Гёте избирает ее своей спутницей жизни. Ему тридцать восемь. Кристиана так и останется единственной женщиной, с которой он обзаведется хозяйством и будет иметь детей. Они проживут вместе более четверти века — восемнадцать лет в свободной любви и десять лет в браке.

В детстве и юности на формирование представлений Гёте о женственности оказали сильное влияние его мать и сестра Корнелия. Две женщины, совершенно разные и являющие собой с трудом вообразимую противоположность друг другу. И если первоначально — в случае с Шарлоттой фон Штейн — Гёте увлечен женщиной того же типа, что и сестра, то, став зрелым мужчиной, он выбирает себе другую — по образу и подобию матери. *Жизнерадостная натура,* называет он ее, говорит о том *животворном веселье*, которое такие женщины *распространяют вокруг себя, не предъявляя в дальнейшем никаких претензий.*

© Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig, 1998
© Г. Косарик. Перевод, 1999

Шиллеру представляется идеальной супруга Виланда: *крайне малые запросы и бесконечная хозяйственность*. Выбирая из двух женщин, Виланд предпочитает взять в жены ту, с которой у него *общение на мертвой точке*, относительно же другой, живущей миром искусства, он резюмирует: неизбежно *один из нас предъявлял бы слишком много требований к другому*. Ницше, чтобы осилить свою *сверхтрудную жизненную задачу*, хотел бы видеть рядом с собой такую женщину: *Она должна быть юной, очень веселой... мало- или вовсе необразованной и... хорошей хозяйкой, но по собственному убеждению и внутренней склонности. Для человека, как я*, пишет он своей сестре, *брачных уз не существует, это должно быть в стиле нашего Гёте.*

Гёте особо говорит о даре Кристианы Вульпиус *уметь быть счастливой. Радуйся жизни, пока горит ее свет /Розу срывай, пока не увял ее цвет*, напишет она одному из своих друзей в поэтический альбом для гостей. Эти слова из песни могли бы стать эпиграфом к ее жизни. Для Гёте она *маленький Эротикон*, его *возлюбленная крошка*, его *клад и бесценное сокровище*: в доме, на кухне и *в постели*, добавляет его мать. *Начитанная, интересующаяся политикой и страдающая литературным зудом*, говорит Гёте Кристиане, это все *качества, которые тебе как раз несвойственны*. Для Виланда она *служанка* Гёте, и ее официальный титул в течение восемнадцати лет в Веймаре — *домоправительница у господина фон Гёте.*

Став зрелым мужчиной, Гёте не нуждался больше в женщине, которой надо было бы сообщать, как его утонченно-интеллектуальной сестре, о всех своих творческих замыслах; не нуждался он больше и в поучительных сентенциях Шарлотты, которая в своей любви к нему в какой-то мере становилась его вторым «я»; тем более не нуждался он в женщине, которая пишет сама и делает встречные наброски вариантов к его стихам, как поступила Шарлотта с его стихотворением «К луне».

Достигнув середины жизни, он захотел видеть рядом с собой женщину, которая даст ему плотское ощущение счастья, окружит его уютом и сделает жизнь приятной — в постели, за столом, в доме. Он возвращается к тому, что провозгласил, еще будучи студентом, в Лейпциге в разговоре с гравером Штоком. На его вопрос, по какой части отдать тому в учение своих подрастающих дочерей, Гёте ответил: *Только по части домоводства и ничего другого. Пусть они научатся хорошо готовить, и это будет самое лучшее для их будущих мужей.* Таков же, собственно, и женский идеал Руссо, оказавшего влияние на формирование взглядов молодых сторонников романтического движения «Буря и натиск». Когда Гердер похвалил свою будущую жену за тонкое суждение об искусстве, та возразила: *Разве я когда хотела стать одним из этих пугал, такой, как все эти ужасные ученые женщины?.. Нет, это было бы чудовищно! Лучше уж не видеть ни одной книги, чем уметь судить об искусстве или — чего доброго! — превратиться в синий чулок.* Образованная, эстетствующая женщина считалась чуть ли не исчадием ада, *существом, противоречащим природе.* По Руссо, такая женщина — *бич для своего мужа, детей, своих друзей, слуг и всего ее окружения.*

Одно из своих ранних писем к Гёте Кристиана Вульпиус подписывает *твое маленькое дитя природы.* За годы совместной жизни с ней — а это для него период между тридцатью восьмью и шестьюдесятью семью годами — он создает свои самые великие творения. Неуклонно следует своему страстному внутреннему *стремлению... возвести ввысь острие пирамиды своего существования.* Его творчество — самое главное для него, оно всегда стоит на первом месте. Кристиана осознает это и смиряется вскоре после первых попыток бунта. Служа Гёте всю свою жизнь, она никогда не привязывает его к дому, не препятствует свободе его передвижения, столь необходимой ему для творчества и вдохновения, вообще предоставляет ему полную свободу и всячески поддерживает его, взяв на себя все житейские заботы, чтобы он только мог беспрепятственно творить. О ее роли в его творчестве — больше, чем любой другой женщины, — до сих пор так и не оцененной по достоинству, остается только догадываться, как и о том, насколько далеко эта роль выходит за рамки простых будней и быта. То, что Кристиана не была *начитанной, не интересовалась политикой* и не страдала *литературным зудом*, априори исключало всякую возможную угрозу, которая могла бы исходить для его творчества от женщины. Выбор Гёте с точки зрения его собственных интересов жизненно мудр, но, пожалуй, он не менее мудр и в отношении интересов его спутницы жизни также.

Жена великого писателя Толстого делает в своем дневнике 2 апреля 1898 года следующую запись: *Все эти дни обшиваю Л. Н. Заметила ему гладью платки, сшила новую блузу, буду шить теперь панталоны. Мои знакомые меня спрашивают, почему я* потухла,

стала молчалива, тиха и грустна. Я им ответила: «Посмотрите на моего мужа, зато он как бодр, весел и доволен». И никто не поймет, что когда я жива, занимаюсь искусством, увлекаюсь музыкой, книгой, людьми, – тогда мой муж несчастлив, тревожен и сердит. Когда же я, как теперь, шью ему блузы, переписываю и тихо, грустно завядаю – он спокоен и счастлив, даже весел. И вот в чем моя сердечная ломка! Подавить, во имя счастья мужа, все живое в себе, затушить горячий темперамент, заснуть и – не жить, а durer[1], *как выразился Сенека о бессодержательной жизни.*

Такой проблемы у Кристианы Вульпиус не было. И это связано с ее происхождением. Она родилась 1 июня 1765 года в Веймаре, где ее окрестили, дав имя Кристиана, она — дочь юриста, служившего архивным писцом при княжеском дворе, но получавшего крайне низкое жалованье. Все небольшое количество денег в семье уходит на обучение детей — брат Кристиан-Август ходит в гимназию, где изучает юриспруденцию. Кристиане всего четыре года, когда умирает ее мать. Ей исполняется семнадцать, и ее отец, совершивший служебный проступок, теряет свое место. Кристиане приходится идти зарабатывать деньги на жизнь, она берется за черную работу на цветочной фабрике. Отец умирает. В двадцать она круглая сирота. И должна заботиться о своей тетке и маленькой сводной сестре, живет вместе с ними и своим братом, который пытается пробиться на писательском поприще. Детство Кристианы и ее юность проходят под знаком лишений и нужды. Отнюдь не за вышиванием на пяльцах, не в игре на фортепиано, не за чтением романов и уроками французского или итальянского. В лучшем случае — выход в комедию, по всей видимости, с братом. И чтение его литературных трудов. Ее жизнь не чужда искусству, но в ней нет односторонней направленности только на интеллектуальные и театрально-музыкальные развлечения, как было принято в светском обществе, напротив, она нацелена на практическую деятельность и будничное выживание. Так что Кристиана не страдала *недостатком в воспитании*, на который сетовал супруг Корнелии, говоря, что та *слишком мало уделяет внимания кухне и погребу.* И ей не нужно было, как жене Толстого, *подавлять* в себе *все живое* и *тихо и грустно завядать.* Она с наивной легкостью может следовать завету матери Гёте: *Будь хорошей супругой и немецкой домашней хозяйкой, и тогда ничто не сможет нарушить твой внутренний покой и мир в твоей душе.*

Силуэт Шарлотты фон Штейн

Домоводство — предмет честолюбивой гордости Кристианы. Она варит, жарит и запекает, сама выращивает спаржу, сажает на зеленном поле картофель, ухаживает за садами, получает урожаи артишоков, консервирует и сушит фрукты, держит домашнюю птицу, забивает ее, разливает по бутылкам вино, наполняет бочки в погребе квашеной капустой и солеными огурцами, следит за запасами на кухне и в погребе. И даже тогда, когда у нее для всех этих хлопот давно уже есть слуги, она трудится не покладая рук. Это наполняет ее радостью, нет ни малейшего признака неудовольствия с ее стороны. Всего за несколько дней до смерти она прибирается в кабинете Гёте. Двадцать восемь лет печется она об уюте. Наводит лоск в комнатах для гостей и устраивает для них застолье. Она — полновластная хозяйка в доме. На ней лежат заботы об одежде и белье для Гёте. Она шьет ему ночные рубашки и сорочки. Скорее всего, сама метит его носовые платки. Когда они, заключив *сердечный союз,* начинают жить вместе, у него — согласно записям прачек — пятьдесят четыре *носовых платка,* тринадцать из них помечены инициалами *И. В. Г.*, несколько только *В. Г.*, а остальные *ф. Г.* Кроме того, *галстухи* — сорок две штуки, — *чулки, льняные, хлопчатобумажные и шелковые* — всего 81 пара, — и все помечены его инициалами. Кристиана стирает сама, не подпускает к его вещам чужих прачек. О стирке, отбеливании, развешивании, глаженье и пересчете белья она без конца заводит речь: *сегодня мне гладить, и утюги уже раскалились, так что мне писать тебе больше некогда.*

---

[1] Терпеть, существовать (*франц.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Хорошая хозяйка по собственному убеждению и внутренней склонности. Не в этом ли тайна их совместной жизни? Гёте неоднократно говорил о своей *любви к классу людей,* который называют *низшим*, или *простонародьем*, говорил о них как о *самых лучших людях... Тут ведь все добродетели вместе: наивность и простота мышления, нетребовательность, прямота, верность, радость по поводу приобретения любого, самого жалкого житейского добра, бесхитростность, терпение — терпение — выносливость...* Так можно было бы охарактеризовать и Кристиану. В 1808 году Гёте скажет о ней: *Можно ли поверить в то, что эта особа прожила со мной уже двадцать лет? Но мне как раз и нравится в ней, что она ничего не утратила из того, что свойственно ее натуре, и осталась такой, какой была прежде. Такой, какой ее сформировала веймарская беднота.*

Ее происхождение, социальный разрыв между сословиями, сам факт, что она круглая сирота, делают для Гёте беспрепятственным вступление в 1788 году в свободный брак с двадцатитрехлетней девицей. Ни отца, ни семьи, которая могла бы высказать протест, выдвинуть жесткие требования. Сын имперского советника, *барон*, как называет его мать, Гёте все решает сам. Ставит себя вне закона. Избирает для себя особую форму частной жизни на глазах всего Веймара — в конечном счете всей Германии и всего мира, поскольку он лицо общественное, государственное, — это такая же провокация, как и вхождение двадцатишестилетнего франкфуртского бюргера по приезде в Веймар в придворные круги и правительство княжества. И если в одном случае возмущение утихает очень скоро — герцог на его стороне и ставит всех на место, одергивая недовольных, произнося о своем друге слова: *Не использовать у себя такого гения, не позволить ему развернуть свои выдающиеся таланты — означает преступно злоупотребить ими...* то в другом — относительно его свободного брака — неудовольствие держится долго. До сегодняшнего дня. *Вызывающей распутной связью* называет Томас Манн их *сожительство, которое общество никогда не простило ни ему, ни ей.* Ему, пожалуй, все-таки простило. Вина с Гёте снимается, поскольку виновной во всем объявляют Кристиану Вульпиус. Самые нелестные суждения в адрес Кристианы исходят как раз от самых великих почитателей Гёте. Для Томаса Манна она *un bel pezzo di carne*, то есть просто красивый кусок мяса, *глубоко необразованная особа*, для Ромена Роллана — *nullité d'esprit*, абсолютный нуль в духовном отношении. Роберт Музиль в «Человеке без свойств» вкладывает в уста Бонадеи слова о *женщине* с *полунеприличной фамилией*, *известной сексуальной партнерше стареющего олимпийца.* Потомки в своем осуждении едины.

Но ведь и современники смотрят на нее так же. Шарлотта фон Шиллер называет ее *круглым ничтожеством*, Беттина фон Арним *взбесившейся кровяной колбасой.* Друг Гёте и меценат герцог Карл-Август так никогда и не признал Кристиану. *Эта Вульпиус все испортила, отдалила его* (Гёте) *от общества*, скажет он снова даже в 1824 году.

В последнем есть доля правды, только в противоположном смысле. Карл-Август имеет в виду аристократическое общество. От него Гёте действительно отдалился из-за своей любви к Кристиане Вульпиус, этому *бедному созданию*, как он называет ее в письме к своей аристократической подруге Шарлотте. Это происходит в 1788 году, когда Гёте возвращается из Италии с ультимативными требованиями к своему меценату. Впредь никакого присутствия на государственной службе, никакого *лакейства и низкопоклонничества*, никакого деления на государственного чиновника и поэта, он хочет отныне *творить... со свободной душой и только в любви.* Он выбирает Кристиану Вульпиус, и свободная любовь с ней в высшей мере отвечает представлениям Гёте послеитальянского периода об идеальном существовании его как *художника* и *гостя* в Веймаре.

Брак принудил бы его к соблюдению принятых в светском обществе норм. А так он создает себе свободное пространство, выстраивает неким образом замкнутое оппозиционное существование, отказывая в доступе туда и двору, и знати, и даже его сиятельному меценату. С Кристианой он становится тем *другим человеком*, которого имеет в виду в своем прощальном письме к Шарлотте: если *отношения нельзя сохранить такими, как они устоялись... значит, я стал другим человеком и должен буду впоследствии измениться еще больше.* Став этим *другим человеком*, Гёте становится и *другим* поэтом и художником, соприкосновение с судьбой Кристианы Вульпиус, прожитые с ней годы отразились в его творчестве. «Римские элегии», «Бог и баядера», «Коринфская невеста», «Аминт», «Метаморфоза растений» — все это ее следы в его произведениях.

Эксперимент Гёте со свободной любовью — вне рамок права и закона — делает его для возлюбленной той единственной персоной, через которую она общается с остальным миром; он для нее отец, церковь и государство в одном лице. Кристиана Вульпиус разделяет с ним этот эксперимент — спрашивали ее о том или нет, нам неизвестно, — во всяком случае, очень мужественно, за все восемнадцать лет в ее письмах ни разу не всплывает ни слова о браке.

Гёте прикрывает Кристиану, методично ограждает ее от веймарцев, знати, сторонних визитеров, даже от своего друга Шиллера. Уединяясь с ней, *запираясь от всего мира*, уменьшая до минимума неизбежные трения со светским обществом, он верит в то, что сумеет сохранить для себя в целости и невредимости отвоеванное им у общества свободное пространство вместе с той, которую он называет *маленькое дитя природы.*

Это обернется потом иллюзией. Площадь Фрауэнплан — не остров. Подобный эксперимент вряд ли мог удаться в реальной действительности конца XVIII — начала XIX века. Вопреки открытой позиции Гёте или именно потому, что она была столь откровенно открытой. На отказ от соблюдения условностей общество вместо ожидаемого от него понимания и лояльности реагирует санкциями. Открытыми и тайными. Целятся в обоих. Но Гёте защищают власть и слава великого поэта. В Кристиану попадают без промаха. Суждения о ней — те же обвинения, издалека бьющие в цель, ибо она никого не интересует как личность; в высказываемых мнениях муссируется на все лады неудовольствие языческим отступничеством Гёте, его пренебрежением к священному институту брачных уз, его *вызывающая распутная связь;* в эти суждения вплетаются зависть, недоброжелательство и мещанское высокомерие. Тут не одни только придворные аристократы и стражи закона, судящие и злословящие, так говорит почти без исключения все его окружение: знакомые, друзья, даже самые ближайшие соратники, включая Шиллера.

Что за свобода тогда им добыта, если чашу весов, на которую положена свобода от условностей, постоянно перевешивает другая — публичное порицание и санкции? И кроме того: *другой человек*, каким Гёте становится с Кристианой, это только *одна* грань его личности, на более длительный срок ее маленький мирок оказывается для него непривлекательным; он остается привязанным ко двору, к власти и властям предержащим, к целому огромному миру, этой неотъемлемой части его существования как человека, художника и творца.

Оглядываясь назад, Гёте расценивал свой жизненный эксперимент с Кристианой как провалившийся, и этому есть много неоспоримых доказательств. Одно из них — своего сына он женил на аристократке. *Двор и город одобрят союз, который создаст основу для довольно милых компанейских отношений* — комментирует он свое решение, и это как раз то, чего ему так и не удалось достичь за двадцать восемь лет совместной жизни с Кристианой. Другое — его оценка женитьбы Виллемера. Тот жил с Марианной многие годы в свободном браке, *узаконение их отношений* Гёте охарактеризовал как *спасение маленькой женщины*, поступок Виллемера как *большое нравственное благо.* И наконец, его письмо 1821 года. Один молодой человек восхищается Гёте и его жизнью в свободной любви, его внешним видом и подчеркнуто античными манерами и признается, что не обладает таким мужеством, да и не художник он вовсе, поэтому решается на ординарный шаг и скоро женится. Гёте отвечает ему: *Но прежде всего хочу дать Вам свое благословение на скорейшее вступление в брак... Все, что Вы об этом говорите, это так, и* [я] *готов подписаться под каждым словом, поскольку, пожалуй, смею высказать, что все то плохое, даже самое плохое, с чем мы имеем дело в рамках закона, касается ли это природы человека или его гражданских прав, физических или хозяйственных сторон его жизни, все это и в тысячной доле не может сравниться с теми неприятными последствиями, с которыми нам приходится сталкиваться, если мы [ходим] рядом, или вне закона, или паче чаяния перечеркиваем закон и устойчивые традиции и еще к тому же ощущаем необходимость оставаться в гармонии с самими собой, другими людьми и нравственными устоями миропорядка.*

Те ли это *неприятные последствия*, которые побуждают Гёте молчать о Кристиане и после ее смерти? Не выставлять напоказ публике свою частную жизнь, ее интимные черты — естественная самозащита. Ведь и о Шарлотте он тоже молчит. Тем важнее для нас подлинные свидетельства — письма. Шарлотта свои уничтожила. Сохранился только его монолог. В случае Гёте и Кристианы мы имеем дело с диалогом.

Кристиана Вульпиус с Августом

Дошедшая до нас переписка Кристианы Вульпиус, она же фон Гёте, и Иоганна Вольфганга фон Гёте содержит 601 письмо. 247 писем Кристианы к Гёте, 354 его письма к ней. Это далеко не все письма, что они написали друг другу. Гёте уничтожил в 1797 году, устроив великое аутодафе, ранние любовные письма Кристианы и свои собственные, написанные до 1793 года. Таким образом, мы лишились свидетельств их первого, счастливого периода. Акты сожжения предпринимались еще не раз; предположительно жертвой их пали также письма более поздних, полных внутреннего напряжения лет. Например, не сохранилось ни единого письма Кристианы к Гёте за период почти в семь лет: с 1804-го до середины 1810 года.

Письма Кристианы удивительны. Точны в своей непосредственной выразительности и радостны в самых своих мельчайших деталях. Эта женщина находит слова для передачи ощущений своего тела, своей женственности, своей сексуальности, что весьма необычно для того времени. Таким же необычным кажется и то, с какой словоохотливостью описывает она свою повседневную работу. Нам открывается удивительная женщина — решительная, непрерывно занятая трудом, она ведет хозяйство на два дома, под ее присмотром земельные угодья, два сада, зеленное поле. Она улаживает наследственные дела, делает подготовительные шаги по приобретению земли и совершению торговых сделок, осуществляет денежные операции. Она может править санной упряжкой. Она путешествует одна на дальние расстояния и держит при себе старинные ружейные пистолеты. Когда ей встретились солдаты, она *выдвинула дула чуть вперед, чтобы их было лучше видно.* Она любит поесть. Любит выпить вина, особенно шампанского. Умеет радоваться, умеет праздновать. Обожает ярмарки и праздники стрелков с непременным состязанием охотников в стрельбе по мишеням, изображающим птиц, а еще фейерверки и игру в кегли. Она превосходно танцует и, будучи уже сорокапятилетней, берет уроки танца у танцмейстера. Она не прочь пококетничать с мужчинами, *строит* им *глазки,* как это называется на общем у них с Гёте языке, предпочитает мундиры, любит стройных, красивых мужчин высокого роста, ее партнеры в танцах — офицеры и студенты. Она охотно окружает себя молодыми людьми. Дружит с актерами. Любит комедию. В «Эгмонте» Гёте ей особенно нравятся сцены Эгмонта с Клэрхен. Читать она любит меньше, она делает это только при *плохой погоде* или *от скуки.* Она не может долго сидеть на одном месте. Разве что когда Гёте читает ей вслух: «Рейнеке-Лиса», первые части «Поэзии и правды», дает ей рукопись «Избирательного сродства», хочет услышать ее мнение о романе. Ее ответное письмо не сохранилось. Все его поручения она исполняет с величайшей аккуратностью. Когда он однажды недосчитался одного пакета, она пишет ему: *Ты больше никогда не услышишь, что письмо или пакет, который ты отправил мне, где-то затерялся... А что он не пропал у меня, за это я ручаюсь своей жизнью.*

Эпистолярный стиль Кристианы радостный, остроумный, игривый, привязанный к конкретному моменту. Рассказывать любимому про себя не представляет для нее никакого труда. Другое дело, как это изложить на бумаге. Оригиналы ее писем свидетельствуют о том, что писать было для нее занятием не из легких. То чернила разливаются, то перо плохо заострено и цепляется за бумагу, она начинает сначала, переворачивает листок на другую сторону, пишет одни и те же слова дважды, пробует их сначала на лежащем перед ней письме Гёте, на которое она отвечает. Она слишком глубоко окунает гусиное перо в чернильницу, отсюда по всему письму кляксы. Она пишет без точек и запятых, без обращения и подписи. Строчки бегут вкривь и вкось, и только если на бумаге ручной выделки заметны бороздки от во-

лосяного сита, образующие подобие прочерченных линий, она следует им. Она вовсю сражается и с орфографией. *То, что писать и рисовать буквы не входит в число моих прочих талантов — простите уж меня, — в этом виноват мой школьный учитель* — пишет она матери Гёте. Виноват, конечно, не учитель, а бедность семьи Кристианы Вульпиус, ограничившая время ее пребывания в школе.

Гёте это нисколько не мешает. Важным для него остается стиль Кристианы, а не огрехи в орфографии в ее письмах. Вчитываясь в них, он слышит, вероятнее всего, ее голос, ее слегка певучую тюрингскую интонацию: t превращается у нее в d, p в b, когда она пишет *Borzlan* вместо Porzellan (фарфор), *Disch* вместо Tisch (стол), *duhn* вместо tun (делать). Однако Гёте ни разу не выразил неудовольствия по поводу правописания своей спутницы жизни.

Страдала ли Кристиана от недостаточности своего образования? *Я много сердита на себя, что совсем ничего не могу,* напишет она однажды. И в другой раз: *Сегодня мое письмо наверняка написано лучше, потому что я о-о-чень старалась... если бы это не было письмом к тебе, я бы уже давно бросила писать.*

У тебя уже действительно получается с письмом, тебе надо только больше упражняться — отвечает ей Гёте. Что касается систематического упражнения в письме наподобие уроков (Гёте оплачивает, например, обучение французскому своего слуги Гётце и личного камердинера Зутора на протяжении двух лет по двадцать часов ежемесячно), то в отношении Кристианы Вульпиус на этот счет нет никаких документальных подтверждений. Считал ли Гёте это излишним для *своего клада и бесценного кухонного сокровища, или ей просто не хватало терпения?* Мы этого не знаем. Позднее Кристиана диктует свои письма и дневники путешествий слуге Генслеру, своей компаньонке Каролине Ульрих, мадам Кирш; в последние годы к ее услугам был личный секретарь Гёте — Фридрих Кройтер. Чаще всего она собственноручно добавляет в конце несколько строк и ставит подпись CvG (ХфГ), написав слитно первые буквы имени, дворянского титула и фамилии.

Если же попытаться вникнуть в ее письма, додумать половинчатые фразы, поразмыслить над тем, что могло пасть жертвой личной цензуры в интимной переписке, воскресить в памяти известные нам биографические факты тех лет, корреспонденция за которые была Гёте уничтожена, обратиться к другим ее письмам, тогда перед нами предстанет совсем другая Кристиана. Женщина, от которой постоянно требуют слишком многое. Она недовольна, ворчлива, капризна и своенравна. Подвержена приступам дурного настроения. У нее случаются депрессии. Пять беременностей не прошли бесследно для ее тела, и она страдала, тяжело переживая смерть четверых своих детей. Подрастает только первенец. Все остальные умирают через несколько дней после рождения.

Кристиана — женщина очень ранимая. И одинокая. *У меня... совсем никого нет, кому я могла бы и хотела довериться... Так, вероятно, и должна буду пройти весь свой путь одна.* Эти две фразы в 1803-м и 1805-м тайком от Гёте написаны ее единственному верному другу, бременскому врачу Николаусу Майеру.

Женщина, располневшая после пяти родов. *Милая моя дочь,* пишет ей свекровь, *Вы, вероятно, заметно поправились, стали очаровательной корпулентной особой, это радует меня, потому что это признак хорошего здоровья и в нашей семье это принято.* Женщина, которая опасается старения, становится ревнивой, потому что с появлением на горизонте молодых интеллектуальных дам для нее возрастает опасность конкуренции. В мае 1810 года она пишет Гёте в Карлсбад: *А правда ли, что Беттина приехала в Карлсбад и госпожа фон Айбенберг тоже? И здесь поговаривают, что Сильвия и Готтер тоже отправились туда. Ты что же, хочешь всем им сразу строить глазки? Это уж чересчур. Только не забывай совсем свою старушку, прошу тебя, думай хоть иногда обо мне.*

Женщина, которую всю жизнь изводят болезни: у нее гипертония, неблагополучно с почками. Может, она слишком много пила? По сегодняшним понятиям, Гёте и она потребляли много алкоголя. Но никаких упреков в адрес Гёте. И ни в одном из его писем к Кристиане нет ни малейшего указания и даже просьбы о воздержании. Потребность в вине и шампанском как у Гёте, так и у Кристианы — неизменный предмет их разговора в письмах.

Из 354 дошедших до нас писем Гёте к Кристиане часть написана собственноручно, но в подавляющем большинстве продиктована его секретарям. Тон писем Гёте не тот язвительно-колкий, раздраженный и вызывающе интеллектуальный, каким

он общается с сестрой Корнелией, и не тот чарующе интимный, пронизанный любовным ухаживанием, как в посланиях к своей духовной подруге Шарлотте фон Штейн, в которых он раскрывает мир своих идей. В письмах к Кристиане интеллектуальное и художественное самовыражение вообще выносится за скобки. Господствует обыденный тон повседневности, особенно в средний и поздний периоды их совместной жизни, в отличие от первого, когда, напротив, все говорит об их любовной близости.

Их первые годы были самыми счастливыми. И это нашло свое отражение в письмах. В 1792-м Гёте, участник военного похода против революционной Франции, пишет Кристиане: *Здесь везде огромные широкие кровати, и ты бы не досадовала, как это случается иногда дома. Ах! милочка моя! Нет ничего лучше, чем быть вместе.* Это те годы, когда *было не раз, что стихи сочиняя в объятьях у милой,/ мертвый гекзаметра счет пальцев игрой на спине/ тихо́ отстукивал я...* (*перевод Н. Вольпиной*), когда... *милый скрипучий звук ходящей ходуном кровати* сопровождал их жизнь. Кристиана была, по-видимому, эротически очень привлекательной. Отличалась большой чувственностью. Была талантливой в любви. По всей вероятности, они давали друг другу то, что Гёте описал в своих впечатлениях об Италии как обретенный им там сексуальный опыт: *душа* обретает *свежесть*, а *тело восхитительную гармонию равновесия*. По всему, они были великолепной чувственной парой. Об их любовных утехах и радостях говорит хотя бы то, как многократно возникает потребность в починке кровати. *Кровать подбить, заменить шесть пар сломанных петель с гвоздями в придачу... подбить снова сломанную кровать... опять подбить новую кровать* — стоит на счетах, поданных Гёте слесарем Шпангенбергом.

Но знаменитое *Ах! милочка моя! Нет ничего лучше, чем быть вместе* продолжается недолго. Семья, счастье в домашнем кругу и творчество, слава поэта исключают одно другое.

С началом дружбы с Шиллером Гёте переносит в 1795 г. свое рабочее место в Иену, чтобы быть рядом с другом. *Вы... снова сделали меня поэтом, каким я, можно сказать, перестал быть*, сознается он ему.

Кристиана одна в огромном доме на Фрауэнплан, она жалуется, не хочет с этим мириться: *вечера без тебя невыносимы; я выхожу из дому или ложусь в постель.* Гёте пытается в письмах сделать ее участницей своих творческих трудов. Это кончается предписаниями с ее стороны. В период его высочайшей творческой продуктивности — в споре с Шиллером рождаются в 1797 году знаменитые баллады Гёте — она советует ему: *Мое сокровище, ты должен быть всегда прилежным. А то я так думала, ты еще не начал ничего нового... и теперь какое-то время вовсе больше ничего не делал.* Чтобы удержать его при себе, она хочет отвлечь его от работы. Выдвигает возражения и против его намерения отправиться в Италию. Когда же он все-таки едет, предварительно подстраховав ее и сына завещанием и взяв ее с собой только до Франкфурта, она протестует: *И если ты поедешь в Италию или предпримешь другое долгое путешествие и не захочешь взять меня с собой, я сяду [с] Густелем на запятки, потому что по мне так лучше терпеть ветер и непогоду и разные неудобства в пути, чем опять так надолго оставаться без тебя. Я так думаю, это просто больше невозможно.*

Портрет Кристианы (рисунок Гёте)

Пугающая картина. Не прошедшая бесследно для творчества. Гёте откликается на нее элегией «Аминт». Мужчина — дерево, женщина — обвивающая его лоза, грозящая выпить из него все соки. Однако он все же прерывает путешествие и возвращается назад. *Я возвращаюсь только из-за тебя и малыша,* пишет он ей. *Лишь вам одним я и нужен, весь остальной мир прекрасно обойдется без меня.*

Снова самообман.

Все последующие годы проходят, видимо, несмотря на любовную близость, под знаком глубоких расхождений и размолвок, хотя письма почти ничего не сообщают об этом. Гёте, скорее всего, вынашивает намерение расстаться. Такое положение вещей, при котором он, и только он, осуществляет связь Кристианы с внешним

миром, становится для него обузой, сковывает его по рукам и ногам. Он хочет обеспечить ей *независимое существование.* Страхи Кристианы в предчувствии расставания приходят к ней во сне (он женится на другой), она *так плакала во сне и так громко кричала*, что сестра разбудила ее, и *вся* (ее) *подушка была мокрой.*

В конце 1798 года с обеих сторон предпринимаются попытки заново урегулировать свои отношения. Поездка в Лейпциг в мае 1800 года, похоже, была тайным свадебным путешествием. Не 1806 год, год женитьбы, а 1798-й является началом их брака в смысле совместного ведения хозяйства. Энергичный протест Кристианы против отсутствия Гёте в доме угасает, воспитательный процесс закончен, она поняла: то, что стояло для нее на последнем месте — его творчество, на самом деле занимает первое, а она должна отступить. *И когда ты доволен* — что означает «плодотворно трудишься», — *мне это милее всего,* пишет она ему.

Он в свою очередь предоставляет ей полную свободу времяпрепровождения: танцы, комедия, игра в карты. Их запросы совершенно различны. То, что развлекает ее, нагоняет скуку на него. Но он никогда не выражает протеста. Он знает, как использовать ее пристрастия, и отправляет ее на несколько недель к месту летних гастролей веймарских комедиантов, она сообщает ему о каждом спектакле, вплоть до размеров театральных сборов. Благодаря своей дружбе с актерами она оказывается для него даже полезной советчицей, *ибо без тебя, ты знаешь, я не мог и не хотел бы больше заниматься и дальше театральным делом*, пишет он ей. Он уже не может обойтись без нее.

В 1806 году, чтобы получить полное право владения домом на Фрауэнплан, они узаконивают свои отношения. Герцог хотя и подарил дом Гёте, но — из-за его свободной любви — не сделал последнего шага и не закрепил юридически полную передачу дома в собственность Гёте. Но эта женитьба — еще и реакция на изменившуюся историческую ситуацию после Иена-Ауэрштедтского сражения, когда гражданские права обрели свое признание после победы Наполеона и появившегося вместе с ним Code civil (Гражданского кодекса). Нет никаких документальных свидетельств тому, что Гёте женился на Кристиане из благодарности за спасенную ему жизнь в ту ночь после битвы. Кристиана — часть его дома, его жизни, его творчества; собственные манускрипты — вот за что он опасался больше всего, когда наполеоновские солдаты рвались в его дом: *Той ужасной ночью*, пишет он шесть дней спустя своему издателю господину фон Котта, *мои рукописи были главной моей заботой.*

После женитьбы Гёте живет совершенно независимо от Кристианы. Месяцами, по полгода проводит он один в Богемии, позднее — в провинциях на берегах Рейна и Майна. Он уделяет внимание другим женщинам. Именно на тот десятилетний период супружества приходится его дружба с Минной Херцлиб, Беттиной Брентано, Паулиной Готтер и Каролиной Ульрих, его страсть к Сильвии фон Цигезар и Марианне фон Виллемер. Эти годы, вероятно, самые трудные для Кристианы. Со стороны Гёте они наполнены не любовью к ней, а, скорее всего, большой благодарностью. Он все время шлет ей подарки. Высказывает в письмах слова признательности, благодарит ее за то, что она терпеливо относится к его долгому отсутствию, *дает* ему возможность *следовать привычному для него образу жизни*, снимает с него все тяготы повседневности: *Что касается дома и забот о нем, я в каждом случае полагаюсь на тебя и спокойно отправляюсь дальше.*

Женитьба в 1806 году поначалу ничего не меняет для Кристианы в ее положении в Веймаре. Только в конце 1808 года Гёте решительно добивается ее признания в высшем свете: *...впервые общество гоф-дам города, среди них госпожа фон Штайн, посетило его жену,* отмечает Ахим фон Арним. Кристиана сообщает своему сыну: *я должна была сделать визиты восемнадцати благородным дамам*, и еще о том, что в комедии она больше не сидит на своей *старой скамейке, а в ложе рядом с Шопенгауэр. Так что из этого письма ты можешь видеть, что мое теперешнее существование стало совсем иным, чем обычно.*

Кристиана, которую всегда избегали и которая после рождения пятерых детей все еще так и оставалась «девицей», *demoiselle Vulpius*, и находилась в Веймаре на положении изгоя, была, по-видимому, все же более счастливой женщиной, чем когда стала *госпожой тайной советницей фон Гёте*, а под конец и *госпожой супругой первого министра фон Гёте.*

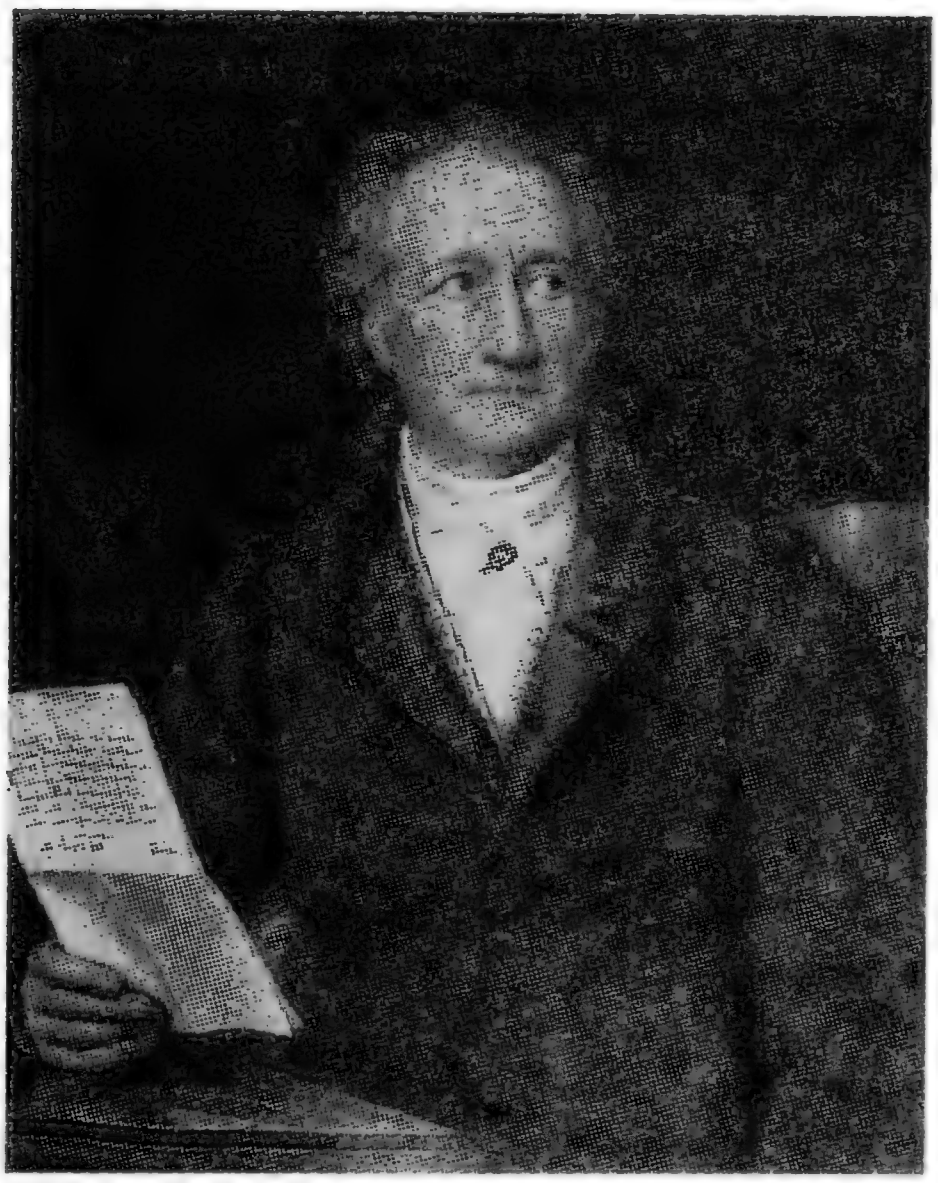
Нельзя не заметить, что именно в период десятилетия супружеской жизни у

Гёте накапливается все больше негативных высказываний обобщающего характера в адрес женщин. *Невероятно, насколько общение с женщинами тянет назад,* пишет он в 1808 году. И в 1809-м: *Женщины, кажется, не способны ни на одну идею... они вообще берут от мужчин гораздо больше, чем дают...* Его *представления о женщинах не умозрительны, а изображенные* им *женские характеры все лучше тех, какие можно встретить в действительности,* скажет он позже. Скрывается ли за этим накопившаяся горечь от личного опыта общения с женщинами, включая и его двадцативосьмилетнюю жизнь с Кристианой? Факт ли его биографии, реальность ли его собственной жизни то недвусмысленное определение *тянет назад*, не свидетельствует ли оно также и о крахе его идеалов, всей его поэтической концепции — ведь он всегда придавал *идеальному женские формы,* отсюда и его знаменитые заключительные строки второй части «Фауста»: *И женственность вечная/ Сюда нас возводит* (*перевод Н. Холодковского).*

Какую цену заплатил каждый из них в этой любви, в этом браке, остается только гадать.

Заплатила ли за это Кристиана оттеснением на задний план, своим длившимся месяцами, а в общей сложности и годами, одиночеством? Было ли это то, что слышится как намек в высказывании Гёте: *Я пытаюсь дать каждому из находящихся у меня в подчинении слуг возможность свободно двигаться в отведенном ему круге, чтобы он тоже чувствовал себя человеком.* Гёте возвел Кристиану в ранг привилегированной особы, но никогда так и не предоставил ей тех привилегий, которые могли бы облегчить ей ее роль. Он полагался на ее *терпение — терпение — выносливость*, делал ставку на ее *природное естество*, называя ее *мое маленькое дитя природы.*

Цена для него? Его колебания на протяжении всей жизни между двумя принципиально разными формами эроса. С одной стороны, эстетически-чувственное влечение к таким женщинам, как Шарлотта, или нимфеткам, его музам, как Минна, Каролина, Сильвия, Беттина, навязывавшим ему воздержание от плотской любви, которую он замещал сердечной интимностью и духовной близостью. С другой — такие женщины, как *пассии* его юных лет, как его римская возлюбленная, а в середине жизни — Кристиана, физическая близость с которой означала для него блаженство, дарование счастья, заставлявшее его забывать их духовную отдаленность или даже отчужденность. В его отношениях с Кристианой наверняка так все и было в течение первого десятилетия. Но вот в Марианне фон Виллемер шестидесятипятилетний Гёте вдруг впервые встречает женщину, которая объединяет в себе обе формы эроса, всю жизнь существовавшие для него раздельно: духовная и физическая близость создают утопию совершенной, идеальной любви. Использованный им в 1797 году в элегии «Аминт» образ неравенства — мужчина как дерево и женщина как обвивающая его лоза — заменяется в «Западно-восточном диване» (стихотворение «Gingo biloba») на символику овеянного мифами дерева, раздвоенная форма листьев которого наводит на мысль, что *сразу двое предстают в единстве нам*, образуя идеальную симметрию и вызывая ассоциацию равноценного партнерства. Гёте болезненно осознавал границы своих отношений с Кристианой. Роман «Избирательное сродство» посвящен тому, чем писателю пришлось пожертвовать в жизни. Беттина замечает, что в этой книге он *собрал, словно в урне с прахом, слезы по поводу того, что упустил.*



Гёте в старости

В поздние годы Гёте сомневался в верности избранного им жизненного пути, как бы помеченного знаком Сизифа, видел всю тщетность своих усилий. *Это было вечное перекатывание камня, который нуж-*

но было постоянно поднимать заново. Гёте осознавал, что ему назначен *поэтический труд* и *нес за это ответственность*, а... *жизненные дела*, напротив, *никак не хотели ему удаваться*, приходит он к выводу. Относится сюда и четверть века его жизни с Кристианой? Сколько бы света ни проливали письма на детали и подробности их жизни, в общем и целом это так и останется в потемках.

Самым трудным временем, для обоих наполненным большими разочарованиями, были, пожалуй, годы с 1813-го по 1816-й. «Западно-восточный диван» — это новая творческая находка, осчастливившая Гёте в смутную пору наполеоновских войн. Работая над этим циклом, он чувствует себя помолодевшим даже физически, снова становится стройным. А в Кристиане, которая моложе его на шестнадцать лет, наоборот, заметен упадок сил. Она только что пережила первый апоплексический удар, за ним следует другой, она *на волосок от смерти.* Эта тяжелобольная женщина — обуза и для своего мужа. Ее болезнь сулит ему помехи в работе. Он отправляет ее в Иену, в Карлсбад. *Позаботься о развлечениях и оживлении в памяти старых милых картин и образов*, пишет он ей. Кристиана, грузная, располневшая, страдающая от параличей после двух перенесенных ударов, впадающая в депрессию, отвечает ему: *Здесь я, однако, веселюсь как птичка. Твое бесценное сокровище.* До самого своего конца пытается она соответствовать тому образу, который еще живет в его душе.

Она проходит свой жизненный путь в одиночку. 6 июня 1816 года Кристиана фон Гёте умирает в невыносимых страданиях — у нее отказали почки. Ей пятьдесят один год.

Гёте, одержимый своим творчеством, неуклонно *возводя ввысь вершину пирамиды своего существования*, являясь истинным патриархом, безусловно, был трудным партнером, чему есть неоднократные свидетельства; он был подвержен ипохондрии и внезапной смене настроений, был крайне требовательной, авторитарной личностью; вспыльчив и нетерпелив, особенно в периоды творческого спада. Его многолетний помощник филолог Ример пишет, что все, кто был при нем, должны были *глазеть на него с разинутым ртом.* Семидесятичетырехлетняя Шарлотта фон Штейн жалуется: *Даже за самую малость, высказанную не в его духе, можно получить взбучку. Милое дитя*, называет он ее, и она возмущается: *Словно я десятилетняя девочка.*

Кристиана больше других могла бы порассказать об этом. Но ее письма, дошедшие до нас, не содержат ни единого слова упрека. Напротив, ее позиция остается неизменной: *Такого мужчины, как ты, нет на всем свете.* И: *Ты еще и в вечной жизни найдешь меня благодарной тебе.*

Последнее письмо Гёте к уже тяжелобольной Кристиане, из тех, что сохранились, написано меньше чем за год до ее смерти, в сентябре 1815 года в Хайдельберге, в страстном любовном опьянении Марианной фон Виллемер, и выдержано в необычном для него задумчивом и самокритичном тоне. Он пишет, что *учится терпимости и снисходительности. Если бы дома удавалось прощать людям столь же много, как это делаешь вдалеке, можно было бы распахнуть над собой небо...* В сослагательном наклонении — *можно было бы.* Означает ли это: я не сумел этого? Или это прозрение и признание того, как тяжело все это было для близкого к нему человека, для Кристианы? Последнему письму весомость придает то, что это письмо как бы прощальное. Его можно прочитывать так же, как и просьбу к Кристиане о снисходительности к нему и прощении.

Берлин, февраль. 1998 г.

Кристиана и Гёте: из семейной переписки

ГЁТЕ

В лагере под Верденом, 10 сентября 1792 г.

№ 1

Я написал тебе уже не одно письмецо, не знаю только, в каком порядке они до тебя дойдут. Я упустил из виду пронумеровать их и с сегодняшнего дня намереваюсь делать это. Сообщаю тебе вновь, что чувствую себя хорошо, а как сердечно люблю тебя, ты и сама знаешь. Если бы ты только могла быть сейчас подле меня! Здесь везде огромные широкие кровати, и ты бы не досадовала, как это случается иногда дома. Ах, милочка моя! Нет ничего лучше, чем быть вместе. Давай всегда говорить себе это, как только снова окажемся в объятиях друг друга. Представь себе! Мы стоим так близко от Шампани и не можем раздобыть ни глотка хорошего вина. На Фрауэнплан, надеюсь, все будет иначе, как только моя милочка возьмет хозяйство в свои руки и будет сама заботиться о кухне и погребе.

Будь для меня моим истинным домашним сокровищем и устрой мне прелестную квартирку. Позаботься о малыше, храни меня в своем сердце и люби вечно.

Да! Люби меня вечно! Ведь в мыслях я иногда ревную тебя и представляю себе, что кто-то другой может понравиться тебе больше, потому что и сам нахожу многих мужчин привлекательнее и обаятельнее себя. Но ты не должна видеть их такими, ты должна считать меня лучше их всех, потому что я ужас как люблю тебя, и нет мне на свете ничего милее тебя. Ты часто снишься мне и всякий конфузный вздор, но в этих снах мы всегда любим друг друга. И пусть так оно и будет.

Я попросил матушку прислать две пуховые перины и подушки и еще много всяких других полезных вещей. Постарайся только сделать так, чтобы все в нашем гнездышке было как следует, а уж я позабочусь об остальном. В Париже полно всего, да и во Франкфурте есть еще одна еврейская лавочка. Сегодня отбыла корзиночка с ликерами и пакетик со сластями. И я неустанно буду и впредь пополнять твои домашние запасы. Только не оставляй меня своей любовью и будь верной девочкой, остальное приложится. Пока твое сердце не принадлежало мне, все прочее не приносило мне радости, но с тех пор, как оно мое, я хочу, чтобы оно навсегда моим и осталось. Зато и я весь твой. Поцелуй дитя, кланяйся Майеру[1] и люби меня.

Г.

КРИСТИАНА

Веймар, 7 июня [1793 г.]

Любимый, я получила красивый платок и все остальное и радовалась от души, но больше всего меня обрадовал привет от твоей милой матушки, от радости я даже заплакала. Не спросясь тебя, я написала твоей горячо любимой матушке и поблагодарила ее, так приказало мне мое сердце, я должна ей написать, ты ведь не будешь на меня за это сердиться? Письмо, может, получилось не очень складное, но попроси свою милую матушку не сердиться на меня и скажи ей, что лучше я не умею. Ах, любимый, если бы ты только был здесь и видел, как я всему этому рада, но больше всего тому, что твоя милая матушка не сердится на меня, это делает меня очень счастливой, ведь временами я очень печалилась. Часто задумывалась над этим. Теперь мне не хватает только одного тебя,

---

[1] Генрих Майер (1760—1832) — швейцарский художник и искусствовед, друг Гёте.

любимый, чтобы я могла радоваться вместе с тобой и прижать тебя к своему сердцу и сказать, как я люблю тебя все горячее и что в мыслях у меня только ты один, и потому всякая радость для меня только вполовину, когда тебя нет рядом. Приезжай поскорее. В доме все идет своим чередом, начал работать обойщик, моя светелка уже готова и на следующей неделе я наведу в ней порядок; я мало выхожу из дому, полно дел, все время копошусь, то одно, то другое, да я и не рвусь никуда. Меня навещают обе душечки, Вернер и Буркхардт, и еще приходило несколько милых и ласковых щебетуний, возможно, из любопытства, чтобы посмотреть, как у меня выпирает живот, словно толстый краб, сейчас уже очень заметно. Мы с малышом здоровы, со мной тоже все в порядке, кроме того, что на одной ноге далеко не ускачешь, а другая сильно раздулась и наступать на нее больно, я разговаривала с доктором, но он меня заверил, что это пустяки и отеки скоро пройдут. Я выезжаю иногда на часок погулять, он мне это разрешил. В воскресенье я надевала новое неглиже[1] и была в церкви, потому что проповедь читал Гердер. После обеда ходили в воксал[2], там тоже все восхищались моим нарядным платьем и хвалили его. Но Вернер, той всегда весело, она без конца дурачилась и вдруг говорит: завтра у Хушке дел будет полон рот, «потому что завтра все только и будут что посылать за рвотным, я это по их лицам вижу». Чуть не забыла тебе написать, что малыш очень радуется своей азбуке и хочет выучить все буквы, он говорит: «Чтобы я тоже что-то умел, когда приедет милый папá». Но ты должен привезти ему саблю и ружье. Прощай и только в бой не ходи, и думай о нас, и храни меня в своем сердце, а я люблю тебя больше всех. Прощай, любимый.

В.

ГЁТЕ

Иена, 10 апреля 1795 г.

Я отправляю тебе, моя милочка, пять пустых бутылок и даже пробки к ним, чтобы ты могла видеть, что и я могу следовать хорошему примеру по части аккуратного ведения хозяйства. Меня радует, что вам было радостно и весело в саду, а то я уж думал, что погода испортила вам все удовольствие.

В воскресенье вечером вернется Майер и останется на ночь. Он напомнит тебе про мангольд. Мешочек лежит у меня в библиотеке, и ты сделаешь очень хорошо, если в самое ближайшее время опустишь семена в землю.

Устрой так, чтобы ты смогла, когда приедешь, остаться здесь на несколько дней. Поцелуй малыша. Мне хотелось бы услышать, что твое недомогание сейчас для тебя вполне терпимо, а может, в скором времени и вовсе даже пройдет. Будь здорова.

Г.

КРИСТИАНА

[Веймар, 11 апреля 1795 г.]

Посылаю тебе 6 бутылок вина. Я не думала, что ты так надолго задержишься в Иене. Во вторник или среду я приеду с малышом, он уже заранее радуется этому. Мальчуган очень любит своего папочку, но и мамочка тоже его любит. Я очень рада свидеться с тобой и побыть рядом. Я не приехала раньше, потому что надо было сначала известить людей и определенно написать им, когда мы хотим приехать, а кроме того, надо так много еще сделать по весне в саду и на вспаханном поле, в нижнем саду, надеюсь, дней через

---

[1] Утреннее платье (*уст.*).
[2] Сад или зал для публичных увеселений и концертов (*уст.*).

8 все будет в порядке, в саду перед домом все уже приобрело приятный вид. Когда ты приедешь сюда, я угощу тебя савойской капустой. Ты удивишься, какая она сегодня сильная, две делянки возле нашего алтаря[1]. Сад доставляет мне много радости, я почти не выхожу оттуда. Сегодня собираюсь пойти в старый сад, а вечером в комедию. Прощай, храни меня в своем сердце и не строй всем без устали глазки. Про меня можешь на этот счет не беспокоиться, потому что я выгляжу ужасно, а кроме того, очень-очень люблю тебя. И с нетерпением жду предстоящего путешествия.

Пока, мой милый. Этот журнал пришли назад, как только прочтешь, шесть экземпляров «Вильгельма» я привезу сама, или это сделает господин М[айер].

ГЁТЕ

Иена, 9 ноября 1795 г.

Мне здесь довольно хорошо работается, и я сейчас очень прилежен и хотел бы только знать, что ты и малыш здоровы. Напиши мне и отправь поскорее весточку. Возможно, я пробуду здесь до конца недели, потому что в тихом замке очень хорошо думается и пишется.

По вечерам я у Шиллеров, и там мы беседуем до глубокой ночи.

Желаю тебе оставаться в добром здравии и чтобы младенец хорошо ел и пил и прибавлял в весе.

Прощай, будь здорова и храни меня в своем сердце.

Г.

КРИСТИАНА

Веймар, 10 н[ября 1795 г.]

Мне очень жаль, что не могу написать тебе, что мы оба чувствуем себя хорошо. Я более или менее здорова и могу уже вставать с постели. А вот малютка два дня как очень слабый и вялый и почти все время спит. И когда ему пора кушать или попить водички, мне приходится его будить. И тогда я кормлю его. Доктор и Либер наперебой утешают меня, а я и не отрицаю, что очень опасаюсь за него. Я не хотела тебе, любимый, пока ничего сообщать, но все же лучше, чтобы ты обо всем знал, и поэтому посылаю к тебе гонца, чтобы сразу получить от тебя весточку и хоть чуть-чуть утешиться. Светлейший герцог посылал сегодня дважды справиться, не возвратился ли ты уже. Густель шлет тебе самые нежные приветы и радуется, что скоро увидит тебя. Будь так добр и напиши несколько строк мне в утешение.

Прощай, жду [тебя] к концу недели. Храни меня в своем сердце.

ГЁТЕ

Иена, 15 января 1796 г.

Ожидаю тебя с радостью, мое дорогое сокровище, утром следующего воскресенья. Погода, надеюсь, продержится приличная, но все же возьми мою шубу и закутай себя и малыша. Моя седьмая книга готова, и скоро за ней последует восьмая. Как мне приятно думать о том, что скоро увижу тебя в моем заточении. Подъезжай сразу к замку, и я хочу еще сделать так, чтобы малыша разместили в соседней маленькой комнатке. Прощай, будь здорова и люби меня.

Г.

[1] На языке Кристианы и Гёте: садовый домик.

КРИСТИАНА

[Веймар, 14 (или 18?) мая 1796 г.]

Хочу приехать к тебе, дорогой, мое страстное желание увидеть тебя, погода стоит хорошая, и, может, мой приезд снова вызовет у тебя охоту к роману. Малыш совсем обезумел от радости, что поедет навестить тебя. Напиши нам поскорее, когда мы можем приехать, а я так готова отправиться в любое время, и сообщи заодно, должна ли я привезти немного вина или еще чего. Мы можем пожить в соседней комнатке, и я привезу еще с собой какую-нибудь работу для себя. Прощай и люби меня. Я очень радуюсь, что увижу тебя.

ГЁТЕ

Иена, 9 сентября 1796 г.

Мое милое дитя, не могу тебе с определенностью сказать, приеду ли я в ближайшие дни, все зависит от того, появится у меня или нет желание снова засесть за работу. Если такое случится, я останусь здесь. Вот идиллия, о какой я только и мечтаю, и тебе об этом известно; если я смогу сделать работу еще в этом месяце, я буду безмерно счастлив.

Пришли мне на всякий случай теплые чулки, потому что по утрам уже чувствуется холод.

Еще прилагаю ключик от моего письменного стола, где в верхнем правом ящичке ты найдешь первые отпечатанные листы седьмой книги моего романа[1] .

Скажи мне, как ты живешь, поцелуй малыша и помни и люби меня.

Г.

КРИСТИАНА

[Веймар], среда, 22 [февраля 1797 г.]

Посылаю тебе, что ты просил: часы, книгу и 6 бутылок вина. Деньги тоже едут; я вынула оттуда 10 серебряных монет, потому что обойщик хочет получить за конский волос, парусину, суровые нитки, гвозди и за обивку стульев и канапе от 14 до 15 талеров. Я подсчитала, и выходит, что это обойдется нам не так дорого, как в прошлые разы.

Желаю тебе, чтобы господин фон Шёнфус заехал к тебе и привел тебя в наилучшее расположение духа и поспособствовал тому, чтобы ты написал стихотворение.

Прощай и не оставляй меня своей любовью.

Твое маленькое дитя природы.

Пятница, 11 августа, днем в 3 часа в Веймаре

Мы оба в добром здравии и благополучно добрались до дому и нашли здесь все в полном порядке. Малыш шлет привет тебе и любимой бабушке. А ты, мой милый, извинишься за меня перед госпожой советницей за то, что я не смогу сегодня написать ей. Я чувствую себя с дороги какой-то очень взвинченной, так что даже эти несколько строк и те дались мне с большим трудом.

Прощай и люби меня, как я люблю тебя.

---

[1] Имеются в виду «Годы учения Вильгельма Майстера».

КРИСТИАНА

Веймар, 18 августа [1797 г.]

Даже если я уже давно представляла себе, что наступит день и ты отправишься в путешествие, то сегодня, когда я получила твое письмо, мне все равно стало при этой мысли очень тяжело. Мы с сыном долго вдвоем плакали. Из-за войны повсюду дальше Швейцарии очень плохо. Я прошу тебя, напиши мне поскорее. А когда приедешь в Швейцарию, все время давай о себе знать, и я заклинаю тебя всем на свете, не надо сейчас ездить в Италию! Ты так меня любишь, и ты определенно не допустишь мысли, что я обращаюсь к тебе с пустой просьбой. Как меня все тут кругом пугают, что ты собираешься в Италию, ты даже не можешь себе представить; кому-то сказал об этом сам герцог, кто-то наверняка знает о том от тебя самого, я больше не хочу никого из них ни слышать, ни видеть. Любимый, бесценный, не сердись на меня, что я так убиваюсь, но сейчас мне тяжелее, чем когда-либо, остаться без тебя на такое долгое время, мы так привязаны друг к другу. Не одни дорожки в саду кажутся мне одинокими и длинными, весь дом кажется мне таким большим и пустынным. Не уезжай так надолго, очень тебя прошу. Меня утешает только одно, что это путешествие пойдет на пользу твоему здоровью, потому что сидеть часами дома на одном месте это не очень хорошо; но не уезжай только дальше Швейцарии. Ты даже не представляешь, как я тебя люблю, я все ночи только о тебе и думаю. Сегодня я видела во сне тебя и дорогую госпожу советницу, и я спала сегодня чуть дольше, и меня разбудили, принесли твое письмо. Малышу немножко нездоровится, но доктор говорит, ничего серьезного, это сказывается путешествие и перемена воды. Малыш сам хочет тебе обо всем написать. Если бы ты был так добр и написал господину Цапфу про поставку вина из Франкфурта. А то у меня совсем ничего нет. Черное платье еще не готово, думаю, смогу надеть его в воскресенье и пойти в церковь. Но у меня к тебе большая просьба: черное платье никак нельзя ничем отделать, кроме нескольких красивых и толстых золоченых шнуров с кистями. Они стоят 2 серебряных талера. Напиши мне, могу ли я еще взять из тех дукатов и положить себе на платье понизу отделку. Один дукат мне уже пришлось отдать кучеру, так что у меня есть только два. Серебряных монет хватило до Эрфурта, в Маркзуле была еврейская лавочка, там я купила себе за два серебряных талера хлопчатые шейные платки. Ты ведь сам знаешь, как это будет; всем известно, что я была во Франкфурте, и мне хотелось бы немного произвести впечатление. Ты наверняка не будешь на меня за это сердиться. Когда ты вернешься, я дам тебе полный отчет. В пути я жила очень скромно. Все, что ты написал мне про пакеты и письма, я исполню в точности. Пока ничего не прибыло, кроме одного письма, которое я тебе и переправляю. Сегодня приедут актеры и отправятся завтра в Рудольштадт. Здесь сейчас маркграфиня Баденская с двумя принцессами, одной 14, другой 15 лет; старшая уже обручена с королем шведским, но она еще не конфирмовалась. Конфирмация пройдет здесь, и поговаривают, что и бракосочетание тоже состоится здесь. Король Швеции был здесь инкогнито, но уже отбыл. Все торжества проходят в римском доме, там у бедных слуг скоро ноги отвалятся. Сегодня дают концерт. Прощай. Я желаю тебе приятного путешествия, доброго здоровья и хорошей погоды.

Храни меня в своем сердце и пиши ко мне поскорее.

К. В.

Не забудь написать мне словечко про госпожу фон Ведель.

ГЁТЕ

Франкфурт, 24 августа 1797 г.

Прежде всего должен попросить тебя, мое дорогое дитя, не тревожиться так из-за моего дальнего путешествия и не портить себе тех счастливых дней, которые ожидают тебя. Ты

убедилась сама, что в здешнем моем положении я работать не могу, а тогда что мне здесь делать дальше? Ведь жизнь-то в городе у всех на виду, и я не удостаиваюсь в этом смысле никакого особого положения, да и не хочу этого. Время года столь прекрасно, что остается только ежедневно завидовать каждому, кто выезжает за городские ворота.

Ты сама знаешь и видела во время последнего путешествия, что я при любых маневрах очень внимателен и осторожен. Ты легко можешь себе представить, что ни с того ни с сего я не полезу туда, где мне будет грозить опасность, и я могу тебя с определенностью заверить, что на сей раз в Италию я не поеду. Держи это про себя, и пусть люди болтают, что им вздумается; тебе же известны все повадки особ женского пола, они скорее нагонят беспокойство и постараются разжечь огонь, чем утешат и ободрят. Содержи в порядке дом и устрой все так, чтобы ты могла принять меня или, может, снова сама приехать ко мне. Теперь ты уже наверняка смогла увидеть, как поступали без тебя твои люди за время твоего короткого отсутствия и что за распоряжения ты должна сделать на тот случай, если будешь отсутствовать дольше. Позаботься о малыше и поговори с доктором, как вести себя впредь в пути, если недуг повторится.

Я очень доволен, что ты купила себе золотые шнуры и хорошенько принарядилась; посылаю также записочку к господину Цапфу, пусть твой брат приложит, как полагается, печать и передаст ему этот заказ.

И о ведре маркобруннского вина урожая 81 года для господина управляющего делами строительства я тоже позаботился, можешь сообщить ему об этом; это очень изысканное вино, я вчера отыскал его и отправлю для большей надежности на свой адрес неоплаченным, ты сразу передашь вино господину управляющему и оплатишь провоз, акциз и питейный налог.

Прилагаю также чек на двести талеров, ты сможешь предъявить его господину тайному советнику Фойту на св. Михаила.

Еще прикладываю для тебя список цен на различные съестные припасы, сколько за них здесь сегодня нужно платить; будешь рада, что ты у себя на кухне обходишься без этой дороговизны.

Дорогая маменька шлет тебе очень красивую чашку и еще немного сластей для малыша и тебя; а ты тотчас же попроси своего брата, если не найдешь сама, отыскать в моей библиотеке книгу Хуфеланда «О долголетии» в двух томах, и отправь ей с бодрым благодарственным письмом. Пусть и малыш сделает приписку, она очень благоволит к вам обоим.

Мой багаж тем временем уже отбыл в Штутгарт, а я только выжидаю, чтобы погода немного устоялась. Восемь дней назад у нас прошла гроза, она длилась 15 часов, и с того времени погода стоит прохладная, пасмурная и переменчивая.

Будь здорова, храни меня в своем сердце, поцелуй малыша и передай ему прилагаемую записочку. Напиши мне поскорее, ты тоже будешь всегда получать от меня весточку.

Г.

ГЁТЕ

Тюбинген, 30 октября 1797 г.

Мы отказались, моя милая, от путешествия в Базель и отправились из Цюриха прямо в Тюбинген. И очень правильно сделали, потому что сейчас крайне неприятное время года, дороги плохие и все кругом невероятно дорого. Я еще не знаю, поедем ли мы через Франкфурт или Нюрнберг, но и тем и другим путем нам нужно на дорогу *восемь дней*; если прибавить еще остановки на ночь тут и там, то до тебя мы доберемся, пожалуй, к середине ноября. Думаю, тебя должно очень обрадовать, что ты сможешь так скоро увидеть своего дружка.

Могу даже еще сказать, что я возвращаюсь только из-за тебя и малыша. Лишь вам одним я и нужен, весь остальной мир прекрасно обойдется без меня. Будь здорова и люби меня так же, как я люблю тебя. Я несказанно рад снова тебя увидеть.

Г.

ГЁТЕ

Иена, 5 августа 1798 г.

Посылаю тебе к твоему дню рождения с самыми сердечными пожеланиями немного фруктов, чтобы ты, наслаждаясь ими вместе с Августом, вспоминала при этом о моей любви. Как мне хотелось бы провести этот праздник в тиши с тобой вдвоем, однако я хорошо сделал, что отправился в Иену; даже здесь мне будет трудно снова собраться полностью, и до сих пор я, собственно, ничего путного еще не сделал. На следующей неделе, думаю, дело уже пойдет, и тогда я буду очень доволен, так как время начинает поджимать. Приведи свои дела в порядок и поезжай в Рослу и вкуси радость от тамошних сельских хлопот. Это очень хорошо, если ты сможешь сама увидеть все вблизи своими глазами. Не огорчайся из-за того, что происходит вокруг тебя! — люди не умеют иначе обращаться друг с другом ни в большом, ни в малом. Думай о том, что я люблю тебя и что у меня нет других забот, кроме как создать для тебя условия независимого существования; и мне это, как и многое другое, удастся тоже.

Делай только каждый день то, что нужно, и ничего другого нам не остается ни в хорошие, ни в плохие времена. Заботься о малыше и помни, что у нас ни в чем не будет недостатка, пока мы вместе.

Я хочу приложить все свое усердие и старание, чтобы сделать в срок необходимую работу, и тогда мы снова увидимся. Оставайся в добром здравии. Поцелуй милого Густеля и храни меня в своем сердце.

Г.

КРИСТИАНА

[Веймар, 24 ноября 1798 г.]

Благодарю тебя за жаркое из косули. У нас теперь начинается радостная пора зимних забав, и я не позволю ничем ее себе отравить. Веймарцы охотно бы сделали это, но я ни на что не обращаю внимания. Я люблю тебя и только одного тебя, забочусь о своем малыше, строго веду хозяйство и веселюсь. Но они никак не могут оставить меня в покое. Позавчера в комедии подходит Майзель и спрашивает меня не церемонясь, правда ли, что ты женишься и что приобрел уже ради этого сани и лошадей. Я вмиг так разозлилась, что ответила ему чувствительно едко, убеждена, он больше никогда не будет задавать мне вопросов. Но я все время думаю об этом, и сегодня ночью мне это даже снилось. Это был дурной сон, мне надо рассказать его тебе, когда ты приедешь. Я плакала во сне и так громко кричала, что Эрнестина разбудила меня, и вся моя подушка была мокрой. Я очень рада, что это всего только сон. И твое милое письмо опять возвращает мне покой и радость. Лед здесь сейчас уже хорошо окреп, и я хочу снова покататься на коньках, а завтра мы собираемся прокатиться на санях в Кёчау, я, Эрнестина, Матейчек и Боль. А оттуда друзья отправятся в Иену, а мы возвратимся в Веймар. Мы с нетерпением ждем маскерада. Если бы ты приехал, нам было бы еще веселее; но раз я слышу, что твоя работа хорошо продвигается, тогда в этом, конечно, для тебя больше радости, чем от маскерада, и я знаю, когда тебе работается хорошо, ты приедешь потом в хорошем настроении. И тогда мы вдоволь повеселимся вместе. Но судя по всему, зима будет суровой, потому что снег лежит здесь у нас уже толщиною с локоть. Прощай и храни меня в своем сердце.

Матейчек шлет тебе наилучшие пожелания; в среду будут давать «Волшебную флейту», а в субботу после танцев в редутном зале и в понедельник мы займемся тем, что будем расставлять для меня платье-распашонку.

ГЁТЕ

Иена, 25 ноября 1798 г.

Ты написала мне, что поедешь сегодня в Кёчау, и я спешу отправить тебе туда с оказией свой привет. Меня радует, что у вас стоит мягкая погода, и я желаю, чтобы эта приятная поездка, как и другие радости этой недели, пошли тебе на пользу и прогнали бы все твои мрачные мысли и дурные сны.

Моя работа продвигается очень хорошо, и если так продлится еще какое-то время, то на Пасху мы порадуемся хорошим доходам.

Будь здорова и кланяйся от меня твоей веселой компании.

Г.

ГЁТЕ

Иена, 12 мая 1799 г.

Грандиозная чистка колодца состоится только в понедельник, 20-го, так что все складывается удачно, чтобы тебе навестить меня, и на этой неделе у меня будет еще время завершить все необходимое.

Итак, ты прибудешь сюда в субботу, 18-го, ввечеру около шести. Гайст выйдет к тебе навстречу, так что подъезжай прямо к саду, где тебе наверняка все очень понравится.

Но привези с собой кое-что, а именно:

Шесть бутылок красного вина,

Несколько флаконов ароматической эссенции для бишофа[1],

Немного колбасы сальвелат и

холодной закуски на первый вечер.

Еще несколько штук восковых свечей.

В остальном все уже готово к твоему приезду, и мы сможем провести несколько дней вместе с полным удовольствием и вдоволь наболтаться.

Привези еще немного хорошего растительного масла и что еще нужно, по твоему разумению, для здешнего натурального хозяйства; потому что мне было бы очень по сердцу, если бы ты осталась здесь на какое-то время, и мне ничто не может помешать, ибо я буду работать в замке.

Посылаю тебе два экземпляра «Германа и Доротеи», один для матушки и один для тебя; но не пускай свой экземпляр долго ходить по рукам, потому что, если он будет замаран, я не смогу тебе снова с легкостью достать другой.

Будь все это время бодрой и здоровой.

Г.

[1] Холодный напиток из красного вина.

КРИСТИАНА

[Веймар, 25 сентября 1799 г.]

Твои комнаты, мой любимый, и весь дом в полном порядке и ждут своего хозяина с величайшим нетерпением. Может, с работой дела здесь пойдут теперь лучше, чем обычно. Ты можешь и здесь, как в Иене, диктовать в постели, и я не буду приходить к тебе поутру, пока ты не позовешь меня. И Густелю тоже не будет позволено заходить к тебе утром. Приезжай только поскорее; ты ведь должен уладить все с театром, а иначе без тебя, как всегда, ничего не будет. Посылаю деньги для Гётцена, пусть Гайст возьмет от него расписку. Прощай.

КРИСТИАНА

[Веймар, 9 октября 1799 г.]

Любимое мое, самое дорогое сокровище, я сказала Густелю, он не должен говорить тебе, что мне нездоровится. Пусть мой брат подтвердит тебе это! Но раз уж ты знаешь, я тоже хочу обо всем рассказать тебе. Как только ты уехал, у меня все время болели зубы; я даже прикладывала шпанскую мушку, вроде полегчало. Но вчера утром, не успел Густель уехать, со мной будто обморок приключился. Я послала вчера к доктору, хотела принять соль; но он написал, что делать этого не надо, он думает, раз зубной боли уже не было, значит, дело в другом. Он мне кое-что послал, после этого я правда чувствовала себя лучше, но зуб опять дергает. И мне не станет лучше, пока ты не приедешь, а то сейчас и Густеля со мной нет, и все это мне совсем не нравится. Я думала, ты приедешь в понедельник, чтобы отобедать со мной, или приезжай лучше к столу в субботу вечером. Ожидаю от тебя ответа с утра.

Прощай, я о́чень рада, что скоро увижу тебя.

ГЁТЕ

Иена, 24 ноября 1799 г.

Благодарю тебя, душа моя, что ты ни слова не сказала мне о своем недомогании, пока оно не прошло, ты знаешь, какое сердечное участие я в тебе принимаю. Меня утешает мысль, что милое дитя с тобой.

Мое стремление работать только сейчас по-настоящему набирает силу, как это всегда и бывает после первых двух недель пребывания здесь; благоприятная погода плавно подвигает нас к завершению года, и я надеюсь, что эта зима окажется намного мягче прошлой. Только бы ты оставалась здоровой.

Целую мысленно тебя и дитя, а разлуку с вами мне облегчает сознание, что я буду работать ради вас. Прощайте и любите меня.

Г.

ГЁТЕ

Карлсбад, 29 мая 1808 г.

Твое милое, как ранняя пташка, письмо очень порадовало меня, оно первое, которое я здесь получил. Но, возможно, что мое, которое я отправил с кучером, тоже уже дошло до тебя. От эгерской воды ожидаю хорошего действия.

Весна здесь тоже необычайно хороша, все цветет и заново зеленеет среди старых скал и сосен. В этот раз я могу больше насладиться ландшафтом, я чувствую себя очень хорошо и поднимаюсь в гору, как в молодости.

Здесь пока еще очень малолюдно. Кроме знакомых карлсбадцев, я почти ни с кем

еще не разговаривал; зато многие дневные часы я провожу под открытым небом, отчасти с Римером, отчасти один, и мне при этом очень хорошо.

Так у меня есть время подумать о многом и разном, и не бывает без того, чтобы я не вспоминал о тебе и о той любви и верности, которые ты мне даришь и делаешь мою жизнь настолько удобной, что я могу следовать привычному для себя образу жизни; но зато и я всем сердцем всегда забочусь о тебе и о милом Августе, который еще принесет нам немало радостей...

В нашем маленьком хозяйстве царит полный порядок, дела ведутся чинно и достойно. Однако нужно оставаться в рамках, воздерживаться от произвольных трат и особенно противостоять желанию неумеренно покупать и делать подарки. Правда, сейчас мое положение более терпимое, чем год назад.

С твоими театральными друзьями продолжай общаться в том же духе и не подавай с самого начала слишком много надежд, чтобы нам потом не пришлось идти на попятную. Оделила ли ты вниманием господина Мойзеля за его добро и участие в нас? Не упусти сделать это!

Других писем от тебя я пока еще не получал. Прощай и будь здорова. Погода великолепная, и я чувствую себя превосходно...

Люби меня и давай будем всегда вместе.

Г.

ГЁТЕ

[Иена,] среда, [14 сентября 1808 г.], вечером

С этим гонцом извещаю тебя, мое дорогое дитя, что я благополучно прибыл в Иену. И нашел, что мне надо здесь многое сделать, чтобы устроить свою жизнь; и услышал, что вам все еще досаждают неприятельские войска, и поэтому я не хотел бы сразу возвращаться в Веймар. Более того, только отсюда я смогу увидеть кое-что получше и глубже понять.

Поэтому было бы кстати, если бы ты решилась и поехала в Кёчау, скажем, рано утром в пятницу, я тоже имею намерение прибыть туда не поздно ввечеру; ты бы привезла мне все, что получила для меня за это время, если, конечно, это не так громоздко, а я со своей стороны тоже привезу тебе несколько изящных вещиц. Я узнал бы от тебя то, что мне необходимо знать, и мы могли бы вдвоем многое обдумать. Как я хочу увидеть тебя и сказать, как сильно я тебя люблю.

Прощай и поскорее отвечай мне.

Г.

ГЁТЕ

Иена, 15 сентября 1809 г.

Первым делом благодарю тебя и твою прелестную спутницу за приятный визит; затем посылаю один томик, но только при следующих условиях:

1. Что вы будете читать при закрытых дверях.
2. Что никто не узнает о том, что вы читали.
3. Что в следующую среду я получу его обратно.
4. Что мне после сразу будет написано о том, о чем вы говорили между собой при чтении.

Больше мне сейчас сказать нечего, как и нет никаких поручений и просьб, поскольку мы вдвоем обо всем переговорили. Впрочем, напиши мне, если вдруг что случится, и не забудь послать мне пакет с рукописью, в ящике стола, среднем, что справа, тот, что перевязан узкой коричневой ленточкой. Будь здорова и позаботься о нашем сносном зимнем существовании.

Г.

ГЁТЕ

Иена, 22 сентября 1809 г.

Вчерашние друзья пришли ко мне очень не вовремя. Я уже с утра почувствовал недомогание, и мне следовало бы со всем повременить и от всего воздержаться. Но так как я принудил себя появиться за столом, то под конец мне стало вовсе плохо, и я вынужден был уйти и даже не смог попрощаться. Однако с помощью нашего Штарка я на сей раз довольно быстро справился с этим делом и спал ночь очень хорошо, хотя и просыпался. Сегодня я остался на целый день в постели, но мы смогли, несмотря на это, продолжить нашу работу.

Раз вы так лестно отозвались о первой части романа, пусть половина второй сроком на всю следующую неделю прибудет к вам на тех же условиях. Тот том, который сейчас у тебя в руках, ты отправишь мне назад, а мы тут надеемся добраться в скором времени до конца. Но нам потребуется для этого, если ничто не помешает, еще дней десять. Если ты паче чаяния услышишь, что кто-то собирается приехать сюда ко мне, то отклони поездку, потому что для тех, кто приедет, как я сумел убедиться, на сей раз никакого проку от этого не будет.

Прощай и кланяйся Каролинхен.

Г.

ГЁТЕ

Тёплиц, 13 августа 1810 г.

К депеше, которую отправляет надворный советник Фогель, я прилагаю только несколько строк для тебя. Твое милое письмо из Лаухштедта я получил, мне очень жаль, что ты чувствуешь себя не совсем хорошо и что торжественное богослужение не возымело должного успеха. Полечись дома, пока мы опять не будем вместе.

Кланяйся от меня госпоже фон Хайгендорф и пожелай ей счастья в делах ее младшего сына. Ты, конечно, во всем поможешь ей.

Мне здесь очень хорошо, целительные воды несколько забирают силы. Голова совсем не работает.

Беттина вчера уехала. Она действительно была прелестна и приветлива как никогда. Но в отношении других очень нелюбезна.

С Арнимом уж определенно. Будь здорова. Черные кружева привезу.

Г.

КРИСТИАНА

Карлсбад, 9 июня 1815 г.

Твое милое письмо из Висбадена я получила еще в Веймаре, а сейчас очень радуюсь тому, как скоро мы добрались. В воскресенье, 4-го дня сего месяца, мы выехали в 6 утра из Веймара и еще засветло прибыли в Кале, оттуда мы на следующее утро в 5 отправились дальше. Кучер запряг белых лошадей и с приветливой улыбкой сел на козлы. В 3 часа мы прибыли в Шляйц, быстро поели и пораньше легли спать. До Хофа, 6-го числа, ничего особенного нам не встретилось. Все шло как обычно, мы были усталые и вскоре легли отдыхать. Однако как только мы покинули Хоф и въехали в лес под Реау, то были приятно поражены: навстречу нам ехало двое дрожек, издали мы приняли их за те, на каких передвигаются русские, и ощутили заметное смятение; но каково же было наше великое удивление, когда они приблизились и мы увидели, что это наш великий герцог.

Он очень по-дружески приветствовал нас; а проехав несколько шагов, он спросил своих людей, кто мы такие. И тут же приказал остановиться и вышел и направился к моей коляске. Как я это увидала, я поспешила выйти и пошла ему навстречу. Он был очень милостив и сразу спросил о тебе, справился о моем самочувствии и пожелал мне удачи в лечении. При нем был необыкновенно статный русский, должно быть князь, у него было много орденов, он еще очень молод и из тех, про кого говорят — настоящий красавец. Мы не могли забыть его всю дорогу.

7-го мы благополучно добрались до Франценсбада, где у нас было время только сходить к источнику, пока не полил дождь. Вообще до этого момента все у нас складывалось счастливо, во время всего путешествия у нас не было ни малейшего повода к неудовольствию. 8-го пополудни мы благополучно и в добром здравии добрались до места. И господин Граф, которого мы сразу спросили про квартиру, сказал, что у бургомистра на верхней поляне в «Прекрасной принцессе» еще свободен верхний этаж. Мы послали туда справиться и тут же сговорились, 5 саксонских гульденов за неделю. Там, правда, несколько высоковато, зато все так радушны и оттуда прекрасный вид. Вчера мы очень были заняты тем, что распаковывали вещи. Кирш очарована всем, что здесь увидела, особенно ее поразил источник. А она еще далеко не все видела, времени было мало; она только немного погуляла и [видела] новый фонтан с целебной водой да источник. Сегодня утром мы приняли соль и чувствуем в себе сильную слабость и хотим завтра проверить, как на нас подействует вода.

А вообще я чувствую себя вполне сносно. И очень довольна, что путешествие прошло так благополучно, и я думаю, что мне очень необходимо сейчас снова попользоваться здешними водами. Госпожа фон Рекк и герцогиня Курляндская тоже снова здесь.

Ну, будь здоров и люби меня, как я люблю тебя, и помни обо мне.

К. ф. Гёте

Курортных гостей здесь всех 180.

КРИСТИАНА

Веймар, 22 мая 1816 г.

Дорогой тайный советник!

Мне надо попросить у тебя прощения, что я не так скоро последовала твоему доброму совету сделать кровопускание, благодаря чему, очень вероятно, избежала бы этого несчастья. Благодарю Бога, что я благополучно перенесла его. В настоящее время я чувствую себя довольно хорошо, голова у меня легкая, все помыслы и ощущения неотягощенные, радостные, и нигде ничего не давит, и обморочной тяжести я тоже не ощущаю. Только еще шпанская мушка доставляет мне немного беспокойства.

Прощай и помни обо мне.

Шампанского сейчас в нашем погребе вовсе не сыскать. Раманн еще не поставил его. *Вертхаймер*, 2 бутылки, отправляю вместе с письмом.

К. ф. Гёте

Перевод с немецкого ГАЛИНЫ КОСАРИК

АЛЕНА ЗЛОБИНА

ЗЕРКАЛО

Шекспир на московской сцене и вокруг

Замшелый мрамор царственных могил
Истлеет раньше этих веских строк.

Шекспир. Сонет 55

Сколько-то лет назад в беглой заметке из разряда «разное» я прочла, что если сложить, а затем поделить все рабочие часы, в течение которых население планеты занимается Уильямом Шекспиром, то в итоге получится: драматург ежегодно обеспечивает работой сорок (кажется) тысяч человек — театральный и кинематографический цеха, преподавателей, наборщиков... Нынче этих тысяч стало явно больше: мировой интерес к британскому классику резко вырос. «Влюбленный Шекспир» обвалом прошел по экранам, в придачу к огромным миллионам собрав семь «Оскаров». Киностудии, вдохновившись успехом, вперегонки принялись ставить Барда; среди новых проектов — оригинальная версия «Ромео и Джульетты», где героиня стала чернокожей певицей, а герой превратился в китайца-каратиста... В Лондоне восстановлен «Глобус». В Москве за последний сезон вышло восемь премьер — раза в два с половиной больше, чем обычно, хотя вообще-то Шекспир никогда не мог пожаловаться на небрежение: один из самых репертуарных авторов, он постоянно соревнуется с Островским за первое место в сводной московской афише. А сейчас его не сумел обогнать даже Пушкин, который в мае — июне по понятным причинам вышел в лидеры. К тому же пушкинские постановки (увы!) в абсолютном большинстве были безнадежной обязаловкой, и осуществляли их коллективы, чья роль в театральном процессе исчезающе мала, в силу чего возникало несимпатичное подозрение, что эксплуатация юбилейной жилы вызвана корыстными целями: привлечь внимание прессы, попасть на фестиваль «России первая любовь» — в общем, ухватить хотя бы маленький кусочек именинного пирога. А к шекспировским спектаклям можно, разумеется, предъявить самые разные претензии — и предъявим, — но корыстью там не пахнет. Впрочем, и качественные показатели неплохи — недаром же на последнем всероссийском фестивале «Золотая Маска» Бард занял чуть не половину афиши и главный приз получила «Зимняя сказка»... Наконец, надлежит отметить активизацию антистратфордианцев — загадочных людей, которым хочется, чтоб Шекспир был кем угодно, только не Шекспиром: за нашумевшей книгой И. Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса» последовала еще куча разных статей, разгорелась полемика... Обычно подобные вспышки бывают связаны с юбилейными оргиями — что мы и наблюдали на пушкинское двухсотлетие, — однако ж 1564-й или 1616-й никак не рифмуются с окрестными годами. Тогда в чем дело?

Подозреваю, что виноват все-таки юбилей — хотя не собственно шекспировский. Гипноз рубежной даты — 2000 год — побуждает к ревизии накопленных ценностей. А Шекспир — ценность номер один. Во-первых, просто потому, что он занимает особенное положение: «Главнее только Бог», — точно сформулировал Гейне. А во-вторых, именно с него начинается настоящее время европейской культуры. Античность, что ни говори, сегодня воспринимается скорее как музей, пусть посещаемый; ее сюжеты и темы, конечно, питают некоторых современных писателей и опосредованно доходят до читателя, но собственные ее тексты занимают все меньше места в окружающем пространстве. Данте, Петрарка, Рабле, Боккаччо почитаемы и даже иногда читаемы, но в современном культурном процессе практически не участвуют. Зато пьесы Шекспира регулярно ставятся в театре и кино, а телевидение доставляет их зрителю на дом, к креслу и тапочкам; главное же, они по-прежнему работают на отражение актуальности.

© Алена Злобина, 1999

* * *

Чаще всего эту роль исполняет «Гамлет» — кстати, вообще самая репертуарная Шекспирова вещь, безусловно заключающая в себе некую магию: определив некогда «цель и назначение театра» — «держать как бы зеркало перед природой» и «являть всякому веку его подобие и отпечаток», она сама действительно стала «зеркалом, в которое смотрится каждая эпоха». Особенно увлекаются этим занятием кризисные времена, ощущающие свое родство с трагедией перелома. И что любопытно: даже если держатели волшебного стекла сами не знают, что хотят показать, отражение все равно возникает — правда, в этом случае оно оказывается замутненным, кривым или осколочным...

В минувшем сезоне московский житель, проявив усердие, мог посмотреть аж пять новых «Гамлетов»: одного привезенного на «Маску» и четыре премьеры — причем две, что называется, событийные; к этому стоит добавить триумфальный визит «Гамлета» Эймунтаса Някрошюса, случившийся в сезоне 1997/98 г. Но прежде чем обращаться к новинкам, имеет смысл сделать «обзор и краткую летопись» недавнего прошлого.

Самое начало общегосударственного слома отразил «Гамлет» Глеба Панфилова (Ленком, сезон 1986/87 г.). В его спектакле Гамлет, Клавдий, Лаэрт, Горацио, Розенкранц и Гильденстерн — все были ровесниками и в прошлом друзьями, одной «командой», вместе гонявшей мяч по датскому двору. И трагедия принца Датского трансформировалась в драму раскола поколения, связанного общим детством и, может быть, общими идеалами. Конечно, эта мысль ощутимо беднее шекспировских — но она пришлась ко времени и даже несколько обогнала его: в последующие годы мы имели возможность наблюдать, как теряют лица, предают себя и друг друга те молодые, вроде бы честные и надежные «герои нашего времени», которые вышли на политическую сцену вместе с перестройкой. Занятно, что панфиловский спектакль волей случая прекратил свое существование в тот самый момент, когда его идея утеряла актуальность: в Ленкоме случился локальный пожар, и гамлетовские костюмы сгорели...

А между тем, как известно, время очень резко вывихнуло суставы. Соответственно и первые попытки взглянуть на него через «Гамлета» вышли какими-то судорожно-вывихнутыми; впрочем, три спектакля, появившиеся в сезоне 1994/95 г., составили достаточно выразительное отражение межвременья, которое стремится либо вообще выкинуть из своего сюжета не поддающиеся упрощению проблемы, либо маскирует отсутствие реального решения некой расплывчатой псевдоглубокомысленностью. Текст во всех трех случаях был урезан раза в три; с остатками обошлись по-разному. В Театре Антона Чехова — превратили в крутой и пустой боевик, в Студии при Театре на Таганке — наполнили мистической мутью, в Театре Армии — вовсе отдали в слабые руки одного артиста, который пытался играть за всех, демонстрируя исключительное самомнение, катастрофически не совпадающее с возможностями... А самой яркой и значимой деталью этого бедлама было, как ни забавно, название одного из спектаклей: «В ожидании Гамлета». Лично я восприняла его по Фрейду — как проговорку «коллективного бессознательного» нашего театра, который нуждается в «Гамлете» для осознания реальности, но реализовать задачу не может, а может только без толку суетиться, нервно ждать и призывать...

Следующие две попытки ответить на ожидания тоже были маловразумительны: Юрий Погребничко (Театр «Около дома Станиславского») и Сергей Арцыбашев (Театр на Покровке) продемонстрировали не концепцию, но состояние своего поколения, которое не умеет расстаться с прошлым и впадает в ностальгическое безумие. Расщепленность сознания проявилась у них зримо и конкретно: в одном из спектаклей Гамлет делился надвое, в другом — кажется, натрое; впрочем, это детали. А существенно то, что «поколенческое» восприятие трагедии явно отражает проблематику времени — по крайней мере частично. Недаром же оно так или иначе заявлено и в спектакле Санкт-Петербургского театра «Фарсы», которому на «Маске» достался только разнос, и в постановке Някрошюса, которая после своего (почти премьерного) показа в Москве успела стяжать мировую славу.

В питерском спектакле можно было — поднапрягшись — прочитать мысль о том, что на самом деле Гамлетовы мечты стремятся (как и полагал Полоний) исключительно к Офелии: действие начиналось с дежурства под ее окошком и заканчивалось видением этого же самого окна, за которым нежная девушка некогда ждала возлюбленного; но подлый взрослый мир помешал светлому юному чувству. Сюжет и текст этому прочтению противоречили, отчего возникал сумбур; но требование молодого постановщика В. Крамера — отстаньте от нас с вашими вечными вопросами, дайте жить и любить! — похоже, высказывалось как позиция поколения... Литовский режиссер, в отличие от наших, не идентифицировался с героем, а, напротив, брал на себя ответственность и вину «отцов», которые губят детей, втягивая их в свои безрассудные кровавые распри. А потом оплакивают — как Призрак, воющий над те-

лом мертвого сына, — но поздно... Чтобы выразить эту простую идею, Някрошюс резко упростил и Гамлета, превратив его в малоумного тинейджера; на то же работал самый выбор исполнителя — неизвестного у нас, но популярного в Литве рок-певца А. Мамонтоваса, сохранившего и свой панковый имидж, и эстрадное отношение к стиху как к текстовке. Что касается игры, то ее заменила истерическая вздернутость — впрочем, вполне адекватная данному образу. Но литовский мэтр не зря почитаем во всем мире: он, бесспорно, владеет некой театральной магией. Его мысли обычно незатейливы — но создаваемые им сценические образы сложны, непредсказуемы, а притом проникнуты смутной завораживающей красотой... В общем, спектакль получился сильнодействующим. И, возможно, послужил своего рода «подсказкой»; но возможно и то, что просто пришла пора: отчаявшись наконец сфокусировать магический отражатель так, чтобы «отпечаток» времени получился осмысленным, цельным и объемным, — российский театр призвал варягов. Почтенных, именитых, знаменитых князей сцены: с запада — Петера Штайна, с востока — Роберта Стуруа. И каков результат?

Как ни странно, опять осколки — но некоторые выводы сделать можно. Штайн попробовал обойтись вовсе без концепции, поставив «остросюжетный» спектакль для молодежи, знающей «Гамлета» лишь понаслышке, и за его нарочитой интеллектуальной выхолощенностью слышится призыв: «Давайте начнем с чистого листа, забыв про прежние крушения и утраты»; возможно, как раз таким и должен быть message постороннего... Стуруа — все-таки «наш», и в сатириконовской постановке присутствует близкий нам смысл. Роли Призрака и Клавдия отданы одному актеру (Александру Филиппенко); по идее, это означает, что убитый и убийца, старое и новое время на самом деле неразличимы и слова про вывихнутый век говорят лишь о наивности Гамлета, не замечавшего, что все давно прогнило в Датском королевстве. Пусть так, но отсюда должны следовать соответствующие сценические выводы. К примеру, реплика «Где у вас глаза?» обязана получить совершенно иное звучание: ведь королева как раз видит абсолютную идентичность двух братьев — это у принца глаза не на месте; да и всей трактовке надлежало бы повернуть к утверждению слепоты героя, сражающегося за придуманный идеал. Однако ничего подобного на сцене не происходит. Концептуальная заявка существует сама по себе, а Гамлет — сам по себе, и каким ему надобно быть, Константин Райкин явно не знает: он играет (и превосходно играет!) каждую сцену по отдельности, тогда как образ в целом не складывается. И спектакль не складывается; зато сложилось отражение времени, отвергающего и прошлое и настоящее, но не знающего, что ему с собой делать...

Две другие постановки — явления вполне анекдотические. Но если «драматический балет» в постановке С. Мелконяна не отразил ничего, кроме всепроникающей претенциозной пошлости, а потому достоин всего двух строк, то спектакль «Быть или не быть», выпущенный продюсерским центром телекомпании «АГА», заслуживает пристального внимания: ведь случается, что анекдот отражает эпоху точнее любых серьезных жанров. Начать с того, что афиши гласили: «Режиссер будет объявлен особо» — первый компанию почему-то не удовлетворил, и замену подыскивали чуть не на выпуске. Таким образом, мы не имеем возможности определить, что именно сделал заканчивавший работу Гарольд Стрелков. Но знаем, что концепция у него была, — знаем, правда, не из спектакля, в котором режиссерский замысел вообще не читается, а из интервью. По мнению постановщика, Клавдий — цивилизованный реформатор, попытавшийся вывести страну из тупика, в который завел ее дикий и воинственный Гамлет-старший; и если б не вмешательство Гамлета-младшего, все могло бы кончиться хорошо. Соотнести эту идею с сюжетами эпохи не составит труда; парадокс, однако, в том, что она вступает в непримиримое противоречие с главной сценической затеей: Клавдия, Призрака и Гамлета играет один артист!.. И благодаря такому причудливому антагонизму как раз и получается «отпечаток» нашего причудливого времени, где исполнение так резко конфликтует с намерениями, что догадаться о них по результату в принципе невозможно. И кто за что отвечает — не разберешь... Но эта абсурдная картинка больше говорит о состоянии российского социума, нежели о роли Шекспира в современном мире; а наметить некоторые аспекты оной нам поможет всесветный кинохит.

* * *

Сценарий его написал Том Стоппард, известный нам как сугубый интеллектуал: вспомним публиковавшиеся в «ИЛ» замечательные пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и «Аркадия»[1]. А вот «Влюбленный Шекспир» — кино для всех. Для самого массового зрителя, легко скользящего по поверхности увлекательного романтического сюжета, и для самого придирчивого критика, который найдет здесь не только остроумную и изощренную литератур-

[1] «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». «ИЛ», 1990, №4; «Аркадия». «ИЛ», 1996, №2. *(Прим. ред.)*

ную игру, но и достаточно серьезную мысль... Да, надлежит еще отметить, что был ведь и второй (точнее, первый) автор, Марк Норман, но его сценарий пять лет пролежал в скорбном забвении, пока не попал на переделку к мастеру. Осталась ли от него в итоге хоть строчка, не знаю. Вижу только, что текст фильма воистину стоппардовский, а тема — соотношение правды и вымысла, действительности и иллюзии — принадлежит к числу его постоянных и любимых.

В данном случае речь идет о возвышающей силе искусства, которое преображает реальность в идеал — но пафос героя-поэта иронически снижен сценаристом; по крайней мере, так кажется поначалу. Влюбленный Шекспир сочиняет «Ромео и Джульетту» по горячим следам собственного романа, шаг за шагом поэтизируя его форму и содержание. Потаскушка Розалина оборачивается ледяной девой; «сцена в саду», закончившаяся комическим бегством, становится безупречно лирическим дуэтом; сова и петух, пролетевшие через утренний диалог любовников, переправлены на соловья с жаворонком — да и про смертельную угрозу речи не было: просто надо писать очередной эпизод, и возлюбленная, которая любит пьесы Уилла не меньше, чем самого Уилла, в итоге сбрасывает его с кровати; самоубийства тем более не было: героиня «жизненной» драмы хоть плачет, а выходит замуж... ну и так далее.

Конечно, все это «преображение действительности» не имеет ничего общего с действительностью: как известно, Шекспир не проживал сюжет, а просто заимствовал его из итальянской новеллы. Но что за беда, если фактические вольности, которых у Стоппарда предостаточно, воспринимаются как чистая правда — причем не только художественная. Потому что герой фильма (кстати сказать, отлично сыгранный молодым англичанином Джозефом Файнзом) очень похож на Шекспира, каким он предстает в ранних пьесах, — пылкого, страстного, полного самых сумасбродных мечтаний, безудержно идеализирующего Человека. И любимая стоппардовская тема приобретает в этой связи новое наполнение. «Возвышающий обман», которым на протяжении всего действия занят влюбленный Уилл, вроде бы контрастирует с «демаскирующей» игрой, которую последовательно ведет сценарист; но на деле этот ход работает не на иронические снижение, а на возвышение сюжета — и художественный результат оказывается тем парадоксальней, что «правда жизни» сама нескрываемо, беззастенчиво обманна: двойная ложь складывается в живой, достоверный и очень обаятельный образ. И искусство как бы утверждается в своей прежней роли, когда вымысел и идеал не были противопоставлены правде.

Возможно, что я приписываю слишком большую значимость ходовой голливудской продукции. Но, в конце концов, Том Стоппард и в Голливуде остается Томом Стоппардом — пожалуй, самым крупным драматургом современности; к тому вдобавок стоит отметить: он не стесняется утверждать, что его искусство вдохновляется моральными ценностями. Каковые — хочется думать — имеют непосредственное отношение к делу: в нравственной безупречности этого постмодернистского по всем художественным параметрам фильма явственно слышен некий отзвук «шума времени». Ибо сегодня, на рубеже тысячелетий, с культурной ценностью номер один происходит то же, что и с миром: тенденция к разрушению борется со стремлением к сохранению, утверждению и строительству. И если «Влюбленный Шекспир» наполнен жизнестроительным пафосом, то поиски альтернативного Шекспира вдохновляются демоном отрицания. Чем и опасны — хотя на первый взгляд кажутся безобидной окололитературной забавой.

Главная их причина, на мой взгляд, кроется в исключительности Шекспировой роли: где Бог, там и богоборчество. По крайней мере, логика совершенно одинакова: как может Бог допустить то и это? Как мог божественный Бард заниматься откупами и не заниматься образованием дочерей?.. При этом «еретиков» (характерное самоназвание!) нимало не смущает ни наличие многочисленных и бесспорных документальных доказательств, что Шекспир был не кем иным, как Шекспиром, ни простая логика, говорящая, что театр — место, для тайн непригодное: там идет совместная творческая работа, в которой каждый на виду и всем ясно, кто чего стоит. Шекспир проработал в театральном штате двадцать с лишним лет — чего, слава богу, никто не отрицает. И если б он не писал своих пьес, то самое позднее к концу второго сезона об этом знали бы все лондонские актеры, а к началу третьего — весь Лондон... И чем большую популярность завоевывал драматург, тем активней эта скандальная тема обсуждалась бы в аристократических гостиных и дешевых трактирах; и никаким террором невозможно было бы остановить распространение «тайны».

Террор помянут не случайно: на нем держится вся «концепция» Гилилова, по которой получается, что король Яков — горячий поклонник Шекспирова творчества — в угоду своему любимцу (не актеру Шекспиру, разумеется, но графу Рэтленду) запустил мощный механизм государственного подавления. То есть Гилилов таких слов не употребляет: у него это называется «игра» — хороша игра, в которой

применяется не только постоянное запугивание, но поджоги, тюремное заключение и прочие подобные средства воздействия; разве что до казней не дошло...

Таким образом, желание «улучшить» гения оборачивается кардинальным ухудшением; но дело не столько в конкретных гнусностях, которые автор «Игры...» приписывает Шекспиру, сколько в общем принципе антистратфордианских «игр»: создатель серьезнейших, трагических произведений, обращенных к основным вопросам бытия и глубоко нравственных по своей природе, превращается в упорного и последовательного обманщика, который скрывался под маской всю жизнь, а затем и потомков постарался провести. И этот бессмысленный маскарад точно отвечает сегодняшнему отношению к искусству — как к постмодернистской забаве, раскованной «игре по жизни», не имеющей ни эстетических, ни тем более этических правил. То есть идея разрушения, явно или подспудно присутствующая в современной эстетике, распространяется и на прошлое, причем стремится подорвать именно основу. Ибо если деструктивную роль исполняет сам Шекспир — создается авторитетнейший из возможных прецедент, который позволяет оправдать любые сомнительные игры... Не думаю, что таково сознательное намерение антистратфордианцев, но важен результат.

***

На сцене ведется та же борьба: между тенденцией к разрушению (которому отчасти синонимична энтропия) и утверждающими (можно также сказать — подтверждающими) принципами. Правда, пересмотром этических ценностей театр в последние годы почти не занимается: спор касается художественных позиций, причем встретить их в чистом виде удается не так уж часто — эстетический сумбур конца столетия торжествует, естественно, и на сцене, так что сегодня в режиссуре нет ведущих направлений, но есть все, что угодно. А впрочем, число употребительных театральных языков и способов выражения не слишком велико: их явно меньше, чем постановок Шекспира, где как раз и обнаруживаются все наличествующие варианты; однако конструктивный путь, на мой взгляд, лишь один, тогда как способы разрушения — кардинального или частичного, намеренного или невольного — все же разнообразны.

Крайний вариант — полная энтропия смысла — является закономерным итогом «режиссерского своеволия». XX век предоставил постановщику право считать себя единоличным автором спектакля, а к тексту относиться как к материалу для собственных построений. Однако не всякий же способен действительно построить из старого новое — то есть дать реально новую трактовку известной пьесы; да и классика хоть неисчерпаема, но когда из нее столько уже повычерпали... В результате нам предлагаются неосмысленные перекройки сюжета и резкие режиссерские жесты, произведенные по принципу «такого еще не было» и напрочь разрушающие логику действия. Персонажи делятся надвое, натрое и так дальше или, наоборот, соединяются в одном лице; монолог «Быть или не быть» распределяется между принцем и королем, Клавдий закалывается сам, Полония закалывает Гертруда, а Гамлет при появлении Розенкранца и Гильденстерна быстро снимает штаны... Но если от постановки трагедии мы привычно ждем мысли и говорим «фе», когда обнаруживаем ее отсутствие, то к комедии — другой подход: критика готова позволить режиссеру развлечься разрушением как таковым.

Здесь стоит, кстати, отметить, что комический театр вообще значительно популярней трагического. Мольер обыкновенно занимает третью-четвертую строку репертуарного рейтинга, Гольдони, Гоцци, Ростан стабильно имеют по две-три (как минимум) постановки, Бомарше, Шеридан, Голдсмит, Мариво — хотя бы по одной, тогда как Расин или Шиллер периодически сходят с репертуара, а Корнель с Гюго практически отставлены; да и сам Шекспир-трагик уступает Шекспиру-комедиографу. Такое положение дел, в общем, естественно: театр призывает публику развлечься и отвлечься от наличной действительности, и «деконструкция» — один из способов.

Основные наши специалисты в данной области — Алексей Левинский и Владимир Мирзоев. Первый имеет почетный чин экспериментатора; реально это значит, что его опыты забавляют лишь очень избранную аудиторию. Полсотни мест — вот объем зала, который могут собрать пародийные упражнения на тему «Гамлета», вместе с «Ромео и Джульеттой» ставшего материалом для «психодрамы», разыгрываемой в сумасшедшем доме («Дисморфомания», Театр «Около»)... Мирзоев при начале своей карьеры (в пору перестройки) тоже ставил «лабораторные» спектакли и считался чуть ли не надеждой молодой режиссуры; теперь он занимает штатную единицу хулигана. Впрочем, есть люди, всерьез считающие его «очень небездарным растлителем общества» (С. Юрский) — тем более опасным, что он умеет привлечь тинейджеров, всегда приветствующих «феньки», «приколы» и «прибамбасы», которыми изобилуют мирзоевские постановки; агрессия по отношению к классическому тексту им тоже близка. Изгоняя из действия всякий смысл, нарезая сюжет в салат, Мирзоев созда-

ет по-своему увлекательное зрелище — особенно стараясь, чтоб в глазах рябило от пестроты и голова кружилась от неожиданных виражей режиссерской мысли. В «Укрощении строптивой» (Театр им. Станиславского) Петруччо и Катарина в какой-то момент приобретают явственное сходство с Петром I и Екатериной II — чтоб затем бесследно его утратить; в другом эпизоде герой щеголяет в детском комбинезончике, а в сцене сватовства выступает эдаким карнавальным пенисом, гордо торчащим из курчавых меховых штанов. Да и вообще по части сексуальных фантазий постановщик весьма изобретателен: душа героини у него становится отдельным персонажем и орет совершенно как мартовская кошка; отец вожделеет к младшей дочке... Смешно?

Впрочем, склонность к эротическим добавкам свойственна не только Мирзоеву: многие режиссеры нынче пустились в разгул. В «Ромео и Джульетте» Константина Райкина влюбленные то и дело набрасываются друг на друга, что отчасти напоминает фильм Дзефирелли, но только значительно менее красиво; а иные сцены — например, та, в которой герой буквально повисает на губах героини, — выглядят и вовсе неаппетитно. В «Виндзорских насмешницах» Сергея Яшина («Современник») Фальстаф чуть ли не демонстрирует свои мужские достоинства. В «Макбете» Валерия Беляковича (Театр на Юго-Западе) леди побуждает супруга к убийству, возбуждая эротически; в его же «Сне в летнюю ночь» малоодетые феи соблазняют зрителя танцами, заимствованными из дешевого кабака, а влюбленные веселят шуточками вроде «Я сегодня в отличной сексуальной форме». И прочая, прочая... С комедией в этом плане все ясно: она всегда использовала эротику — подчас грубую — как один из способов увеселения, и сам Шекспир (ранний) не брезговал хохмами на тему «хорошо стоит». Да и вообще броская простота фарса действует безотказно: падает ли артист, или с него спадают штаны, эффект одинаков — хохот... С трагедией имеет смысл разобраться.

Может быть, главное, что ей необходимо, — это эмоциональный накал, из которого, собственно, и рождается трагедийная стихия; а наши артисты странным образом охладели. Или ничего странного тут нет? — ведь современное искусство вообще порастратило эмоциональный заряд, заменив его иронией либо «скорбным бесчувствием», а безудерж роковых страстей отдав на откуп мелодраме. В результате трагедия лишается своей сути; особенно это заметно в постановках «печальнейшей на свете повести» (которая, кстати, делит со «Сном в летнюю ночь» вторую по популярности позицию). Потому как в «Ромео и Джульетте» нет места для концептуальности и перекроить ее сюжет практически невозможно — его можно лишь осовременить или травестировать (что и делается: см. популярное голливудское кино с Ди Каприо или спектакль по пьесе Григория Горина «Чума на оба ваши дома» в Театре им. Маяковского). Соответственно, роль постановщика сводится к тому, чтоб раскрасить действие какими-нибудь театральными эффектами, мизансценическими подробностями и красотами декора; но компенсировать таким образом отсутствие актерского «проживания» не удается — и приходится подменять чувства простыми физическими действиями.

Впрочем, иногда изгнание трагедийной стихии преподносится как задача; пожалуй, наиболее показательный в этом смысле пример — «Король Лир» Сергея Женовача (Театр на Малой Бронной): самая громокипящая из шекспировских пьес была разыграна тихо, неторопливо и спокойно, как партия в шахматы. Никаких завываний бури, никаких душераздирающих безумств, вообще почти никаких эмоций; даже движения артистов — и те были скованы тесной, разбитой на клеточки площадкой сцены. А что же мы получили взамен? Нечто, пытающееся выдать себя за концепцию: дескать, это такая тихая домашняя история про папу и трех дочек, и нечего рвать страсти в клочья, а надо разобраться, почему они — родные же люди! — вступили в непримиримый конфликт... Конечно, такое обращение с пьесой не назовешь сознательным разрушением, но энтропия — то есть утрата тепла — присутствует.

В комедийных спектаклях она наблюдается тоже — проявляясь прежде всего в том, что артист постепенно превращается в простую деталь театрального зрелища. Казалось бы, в Шекспировой — да и вообще классической — комедии такой подход совершенно неуместен: ведь она всегда требовала острой, яркой, азартной игры. Но сегодня это требование как бы утратило свою обязательность, и даже сама классическая задача — создание выразительного образа — перед исполнителями обыкновенно не ставится. Отсюда не следует, разумеется, что хороших работ в этой части театрального пространства не сыщешь вовсе — они есть: темпераментный Бенедикт Д. Назарова (Театр Армии), озорной, пластичный Пак в исполнении совсем юного М. Педенко (МХАТ им. Чехова), грациозные близнецы Виола и Себастьян — сестры Кутеповы (Мастерская Петра Фоменко)... Но меня в данной ситуации интересуют не отдельные удачи, а тенденция, которая состоит в том, что комедия перестает восприниматься как материал для актерской игры, превращаясь в материал для примитивного увеселения либо для стилизаторских игр. В

первом варианте все сводится к ужимкам и прыжкам, к пошлому дуракаваляниию, которое при желании можно назвать гордым словом «гротеск»; во втором мы имеем красивое отстраненное позирование, в лучшем случае согретое ласковой насмешкой.

Данное различие становится особенно заметным, если сравнить две постановки одной пьесы. «Сон в летнюю ночь» Беляковича — откровенный балаган, совершенно уравнивающий шекспировских шутов и их пародийную «прегорестную комедию» с прочими действующими лицами и сюжетами. Дикие завывания Ипполитты, подчеркнутое комическое уродство одной из влюбленных пар, назначение на роль Фисбы самого долговязого артиста труппы, незамысловатые вставные шуточки — все стремится к одному: дурацкой потехе... «Сон в летнюю ночь» Николая Шейко (МХАТ им. Чехова) тоже не обошелся без текстовых добавок — но противоположного толка: это сонеты и знаменитый монолог «Весь мир — театр». А читает его главный «дурак» комедии — осел Основа, исполняемый, кстати, умным и тонким актером Виктором Гвоздицким; да и все пародийные сцены разыгрываются достаточно тонко и иронично — как лукавая стилизация «старины». Таким образом, шутовская компания и здесь приравнена к эльфам и влюбленным сновидцам, только смысл этого уравнения опять же обратный: вместо фарса нам предлагается изящное и насмешливое упражнение на тему «театральности», как бы игра в игру, условность которой подчеркивает рисованный фон — копии с гравюр шекспировского времени. А живая смеховая стихия оказалась изгнана со сцены вон.

Положим, такой изысканный способ засушить комедию встречается явно реже, чем эксплуатация «сочных» фарсовых приемов; но все же он достаточно распространен, чтобы возникла потребность в компенсации. И взамен веселья публике предлагается праздник для глаз; впрочем, иногда он заменяет и трагические переживания. Яркая декоративность сценографии, очаровательные старинные костюмы, эффектные выходы, картинные мизансцены — всеми этими средствами постановщики пользуются весьма активно. В связи с чем надлежит сказать похвальное слово нашим художникам, которые научились создавать столь восхитительные зрелища, что их можно рассматривать просто-таки как самостоятельные произведения искусства. В спектакле «Много шума из ничего» (Театр Армии) Иосиф Сумбаташвили распахивает торжественную перспективу полуренессансного-полусказочного города — башни, арки, блестящие крыши, радужно переливающиеся в лучах театральных прожекторов; оформленный Натальей Зарубиной мхатовский «Сон в летнюю ночь» не столь живописен, зато ажурная трехэтажная конструкция с навесными ширмами позволяет выстраивать сложные и эффектные мизансцены — своего рода живые картины, где артистам отводится, в общем, декоративная роль; ровно то же происходит в сатириконовской постановке «Ромео и Джульетты», где мизансцены — особенно массовые — практически копируют звонкокрасочную живопись Ренессанса...

Замена смысла и/или чувства сценической красотою — разумеется, не худший путь; но все-таки и это путь распада. Во-первых, потому, что он легко может привести к эстетизму, рассматривающему и «пир во время чумы» исключительно с декоративной точки зрения, — что отлично показывает спектакль «Чума на оба ваши дома», где на реализованную Шекспирову метафору наворачивается множество роскошных сценографических эффектов... А во-вторых, утрачивая эмоциональную силу, театр попросту лишается своей основы. И по большому счету не важно, какое — грубое или изысканное, простецкое или мудреное — зрелище ее подменяет.

* * *

Но иногда исконный порядок все-таки восстанавливается. В минувшем сезоне мы видели это дважды: в «Зимней сказке», сделанной Декланом Доннелланом в санкт-петербургском Малом драматическом и сыгранной в Москве на «Золотой Маске», и в «Двенадцатой ночи», поставленной Марком Вайлем (Театр им. Моссовета). Заметим, кстати, что оба режиссера — не россияне: один из Лондона, другой из Ташкента; не хочу сказать, что отсюда напрашиваются какие-то выводы, но сообщаю как факт.

Моссоветовский спектакль — это, конечно, не событие, а просто три часа удовольствия. Обычно название комедии в театре не прочитывается, что понятно: оно никак не связано с действием, а возникло по воле случая, определившего время первой постановки — двенадцатую ночь после Рождества, когда завершалась череда зимних празднеств и театральных представлений. У Марка Вайля нам явлена именно двенадцатая ночь с ее шальной, пьяной и пьянящей атмосферой: чувствуется, что разгул длится уже давно и всех уже шатает от веселья — но раз праздник подходит к концу, надо не упустить последних его часов. Я смотрела спектакль с дамой из Кембриджа, которой эти радости знакомы непонаслышке, и она отметила: очень похоже. Как будто с натуры.

Шумная и шалая компания слуг постоянно бродит по сцене, свистя в какие-то свистелки, выпивая, дурачась и пританцовывая с сэром

Тоби, подпевая Шуту, помогая Марии в ее проделках, вместе с Виолой ломясь в ворота к Оливии и вообще ловя любую возможность поразвлечься. Азартные участники всех забав, они составляют своего рода живой (и очень симпатичный) фон действия; а на первом плане блистают Александр Леньков — великолепный Тоби и Евгений Стеблов — восхитительный Мальволио. Один — неутомимый, неукротимый, неотразимо обаятельный хулиган, постоянно хмельной, но не столько от вина, сколько от радости жизни; другой — невыразимо самодовольный зануда, которого, однако, не случайно выставили безумцем: за его серой ограниченностью и впрямь таится огонек безумия... И оба смешны до слез: кажется, через них являет себя сама стихия комедии. Режиссер поглощен ею тоже: он насочинял массу забавных, неожиданных шуток, напридумывал острых, ярких игровых жестов — словом, развлекся от души. Но все эти развлекалки идут не поперек текста, а исходят из него, выявляя и подчеркивая радужную прелесть Шекспировой комедии.

...Спектакль Доннеллана — именно событие: недаром он получил Главный приз фестиваля. Но принцип, которым руководствуется знаменитый английский режиссер, ровно тот же, что господствует в скромной «Двенадцатой ночи»: доверие и любовь к пьесе. Здесь они доходят едва ли не до самоотречения: постановка намеренно освобождена от какой бы то ни было внешней «театральности». Простой, почти не меняющийся свет; скромные, по преимуществу фронтальные мизансцены, выстроенные так, словно постановщик ничего не знает про возможности их эффектного построения; пустая, голая сцена, на которую лишь при сюжетной необходимости выносят какой-нибудь неприметный стул, — все уводит прочь от зрелищности, концентрируя внимание на тексте.

Исполнять его, понятное дело, назначено артистам. Тут сразу вспоминается привычная формула «режиссер умер в актерах» — тем паче что неспособность большинства исполнителей самостоятельно разобрать роль давно стала очевидной, а у Доннеллана они работают — о! это надо видеть! Абсолютная естественность, искренность, простота, эмоциональная выразительность и вместе сдержанность — пустые, ничего не значащие слова, которыми критик лишь прикрывает свою беспомощность; единственное, что остается — попробовать описать какой-либо эпизод.

Например, финал, который у Шекспира откровенно неправдоподобен: шестнадцать лет считавшаяся мертвой королева вдруг оказывается живой (воскресает?), к вящей радости оплакивавшего ее супруга и только что найденной дочери. Однако эта сказочная небывальщина оборачивается бесспорной, несомненной правдой жизни — то есть правдой чувств. Постаревшая Гермиона стоит, обняв коленопреклоненных, прижавшихся к ней Леонта и Утрату, и мы пронзительно ощущаем их потрясение, нежность, любовь, печаль — все те простые эмоции, которые человек не может не испытывать в таких (нужды нет, что невозможных) обстоятельствах. И в этот остановленный миг на сцену выходит Время вместе с умершим принцем; мальчик легко, едва касаясь, гладит руки, плечи, волосы своих родных, а потом Время знаком показывает: пора, и они тихо покидают мир живых. А мгновение все длится и длится...

Эта единственная вольность Доннеллана является и единственным его открытым режиссерским жестом; в остальном режиссура совершенно незаметна. Но за этой нарочитой (я бы даже сказала, демонстративной) незаметностью скрывается высшее мастерство. И заключается оно отнюдь не только в блистательном умении работать с актерами; однако ж прочие средства, с помощью которых соткана художественная ткань спектакля, ускользают от определения. Режиссер умело прячет все швы, все следы работы — кажется, он хочет, чтобы все выглядело так, будто ставит сама жизнь: строго, просто, реалистично. И силой этой простоты причудливая шекспировская фантазия превращается в почти жизненную, правдивую историю — и именно это и есть режиссерская цель. А также концепция.

* * *

Шекспир был, в сущности, первым художником, четко осознавшим значимость исторического Времени со всеми вытекающими последствиями, включая невозможность сбросить с себя его «ярмо»; но это отнюдь не означает, что человек должен послушливо принимать любую ношу. Напротив, его долг и миссия — пытаться вправить вывихнутый век. Положим, во все века он занимался этим не слишком успешно — но, как говорил другой художник (Антонио Мачадо), надо всегда питать надежду: ведь, если ее не питать, она умрет с голоду. Исходя из такой позиции, будем считать, что само присутствие Уильяма Шекспира на авансцене сегодняшней культуры — факт обнадеживающий.

■

АЛЕКСЕЙ МОКРОУСОВ

СЧАСТЛИВЫЙ ПОБЕГ, ИЛИ ВРЕМЯ МАНЕКЕНОВ

Жан Эльон и соблазны эпохи

В конце 20-х годов парижская публика повторяла как зачарованная лишь одно слово: сюрреализм. Интерес к движению Бретона подогревался бесчисленными скандалами, манифестами и манифестациями, а тех, кто делал иное искусство, словно вычеркивали из современности. Художники обижались и подвергали критике удачливых собратьев.

Один из основателей группы «Де Стийль», Ван Дусбург, писал о творчестве соратников Дали: «Подобная живопись может интересовать лишь детективов, криминалистов, психологов и психотерапевтов. Она существует и будет существовать вне современной жизни, вне наших социальных и художественных потребностей; она не связана ни с нашим архитектурным восприятием, ни с конструктивным разумом».

Но на сюрреалистах свет клином не сошелся. В 20-е становятся известны опыты Мондриана, и, хотя абстрактная живопись не находила поддержки ни у галеристов, ни у публики, тот же Ван Дусбург занялся созданием группы «Конкретное искусство», заявившей, что смысл картины заключен только в ней самой. Среди участников группы был и Жан Эльон (1904 —1987), начавший рисовать в восемнадцать лет и проделавший — в столь подвижной парижской атмосфере — быструю эволюцию. Его первый визит в Лувр был совершенно случайным, но впечатление, произведенное Пуссеном и Филиппом де Шампанем, осталось надолго. Только в 1927 году он впервые увидел — и то на репродукциях! — Сезанна. Что и определило его переход от фигуративной живописи к кубизму (этому способствовала и дружба с уругвайским художником Хоакином Торресом Гарсиа), а затем и к совершенно абстрактным формам.

В 1929-м Эльон, в соответствии с духом времени, совершает во многом символичный переезд со становящегося все более «матрешечным» Монмартра на Монпарнас. Но абстракционисты не долго считали его своим, хотя Эльон и стал одним из создателей группы «Абстракция — творчество» (1931). Она объединяла «нефигуративистов» со всей Европы, от Англии до Польши, включая и поздних кубистов, и классиков русского конструктивизма — Наума Габо и Антона Певзнера. На самом деле группа сыграла роль детонатора для многих художников — например, Александра Колдера. Сам же Эльон никогда не отличался склонностью к абсолютизации формы. Зрителям его полотен слишком часто мерещились в них очертания чего-то знакомого. Видимо, крестьянские корни и работа в архитектурном бюро в молодости навсегда сделали его приверженцем рационалистических идеалов.

Догматизм, царивший в кругу «Абстракции — творчества», поразил в свое время Кандинского (что не мешало, впрочем, его общению с Эльоном). Не очень уютно чувствовал себя там и наш герой. В середине 30-х он порывает с группой и, объявив себя совершенно независимым художником, зарекается отныне вступать в какие бы то ни было союзы.

Переехав в 1936 году в Америку, Эльон в начале войны возвращается на родину. Становится солдатом, оказывается в плену. Его заключение в одном из лагерей Померании

© А. Мокроусов, 1999

длится больше года. Художнику удается бежать. Через Марсель, Испанию и Португалию он вновь попадает в Америку. Историю своего побега он описал в рассказе «Им меня не видать». Однако, как и большинство европейских эмигрантов, он так и не смог сжиться с временной родиной. Хотя именно в Соединенных Штатах сюрреализм был потеснен: абстракционисты начали преподавать в высших школах и университетах, обеспечив себе тем самым главное место в художественной жизни. Эльон тоже занялся преподаванием, но не меньше сил отдавал работе в Красном Кресте и публицистической деятельности: он часто выступает на французском канале «Радио Свобода», как и антрополог Клод Леви-Строс, философ Жак Маритен и искусствовед Анри Фосийон.

Американское гостеприимство обходилось эмигрантам дорого. В Нью-Йорке, в отличие от ныне оккупированной «столицы мира», мало кто из иностранцев встречался с друзьями в кафе, долго засиживался там вечерами; привычный, насыщенный общением парижский быт сменился для многих жизнью в одиночестве. Редко кому удавалось войти в местную арт-среду так же гармонично как Максу Эрнсту, женившемуся на богатой даме, коллекционерке Пегги Гуггенхайм.

Вновь поселившись после войны в Париже, Эльон окончательно меняет художественную манеру. Двигаясь против общего течения (мейнстримом постепенно становился как раз абстракционизм), Эльон возобновляет фигуративные опыты. Но побег от абстрактного к реализму не есть устремленность в светлое настоящее или просто академические штудии. Да и побег ли это вообще? Скорее, попытка найти ту зыбкую пограничную область между видимым и идеальным, где обитает разум. Что-то родственное магическим пространствам Де Кирико или искривленным реальностям Леонора Фини и Тутунджяна. Только населяют это пространство обыкновенные парижане. Прохожие и посетители булочных, велосипедисты и манекены в витринах.

Последние превращаются в постоянных персонажей его полотен. Эпоха массового производства переиначивает весь быт, подчиняя его себе. Изображаемый мир лишается той метафизической полноты (точнее, воспоминания о ней), что свойственна своеобразным манекенным пространствам итальянской «метафизической живописи». Зачарованность куклами в человеческий рост характерна для многих художников и фотографов 20—30-х годов, от Магритта до Ханса Белмера, от Поля Ситроена до Умбо. Именно куклы оказались главными персонажами знаменитой парижской выставки сюрреализма 1938 года на Фобур-Сент-Оноре («художественным руководителем» проекта Бретона и Элюара стал Марсель Дюшан). К этому времени от былой, почти рубенсовской пышности манекенов конца XIX века не осталось и следа. На смену пришла античная строгость форм. Но поиски топографии иной, манекенной страны, сменяются у послевоенного Эльона новым ви́дением происходящего. Бог из витрины настаивает на своем праве обращаться к прохожим как равный. Он не просто подсматривающий, но и сверхусмотрящий: перспектива полотен такова, что манекен Эльона — всегда алтарный образ, а человек предстает перед ним чаще всего в состоянии неравновесия или падения.

Подобную эволюцию — от абстрактного к повседневному — в послевоенное время переживали многие. А в конце 40-х европейцы начали дискутировать: что́ именно способно выразить современный дух? В дебатах участвовали и бывшие сюрреалисты, вроде Макса Эрнста, и сторонники социального в искусстве — как Леже, обвинивший коллег в том, что те слишком заняты собственными проблемами и не в состоянии почувствовать происходящее с народом, его судьбу.

Эльона в меньшей степени интересовало общество, в большей — мировосприятие городского жителя, которому витрина заменяет пейзаж, а скользнувшая тень велосипедиста — метнувшуюся рысь. Вслед за Колетт он мог бы воскликнуть: «Твои витрины — мои музеи, о Париж! Там узнаю я, что любит женщина, чего она требует от художников и мастеров, своих рабов и искусителей... У такого праздника свои злые духи, так называю я манекены».

Одним из первых Эльон почувствовал странность новых отношений, продуцируемых «обществом потребления» (из-за чего его даже поминают среди предвестников поп-арта). В «Большой витринной сцене» кто-то, может и пьяный, без правого ботинка, лежит на тротуаре. Над ним, в витрине, два манекена полны энергии и живут

вполне энергичной жизнью. Кто за кем наблюдает или кто кому привидеˊлся, понять трудно. То ли человеку снятся общающиеся между собой манекены. То ли сам он становится предметом их разговора. И разговор этот длится вечность, ибо господствующее здесь время — время манекенов, бутафорское время рекламных часов. Длится в пространстве серийной продукции — той самой, что стирает грань между витриной и улицей, манекеном и человеком.

Уже в 45-м, в «Фигурах дождя», человеческий мир выглядит не столь эмоциональным и подвижным, как мир рекламы и настенных афиш. Мужчина спешно удаляется от зрителя, женщина тащит цветы в горшке — и лишь плакатный персонаж готов воспарить над равнодушной суетой улицы, где никто не замечает действительности, где люди не видят друг друга. Хотя сам Эльон и готов петь гимны повседневности. Больше всего его внимание занимают прохожие или проезжие (уезжающий велосипедист — один из любимых мотивов послевоенных лет). Кто-то выныривает из магазина, кто-то заходит в него, оставляя зонт на пороге как знак своего присутствия, и приоткрытая дверь словно приглашает спрятаться, исчезнуть в темноте безымянных лавок, о таинственной жизни которых свидетельствует не столько мрак, выползающий из-за двери, сколько жестикулирующие манекены в витринах.

Что же за улица у Эльона? В отличие от итальянских мастеров конца XIX века, с их идиллически-патриархальными видами города, или немецких экспрессионистов, обнаживших на улице все пороки современной цивилизации, Эльон рассматривает лишь ее фрагмент. Его полотна — разрозненные части большой панорамы, никогда и никем не увиденной целиком. Не в этом ли и обаяние парижской улицы, дробящейся на отдельные витрины и отдельных прохожих и никогда не сомневающейся в вечности сиюминутного, в самоценности всего здесь происходящего?

Эльон, впрочем, видит и то давление театральности, которое испытывает парижская улица, вынужденная служить и буфетом, и гримерной, и альковом одновременно. Его картины послевоенного времени напоминают декорации к спектаклю, который так никогда и не был поставлен на сцене, потому что все еще продолжается в жизни.

Кюстин называл Россию «страной фасадов». Меткое его замечание является (как у всякого наблюдательного путешественника) и описанием собственной страны: оно легко применимо и к самой Франции, а уж к Парижу — наверняка. Эльон принимает это главенствование фасадов, невозможность свободно проникнуть за них как данность. Но осознает и поразительные свойства города: тот полон меланхолии, а населяющие его люди неожиданно обнаруживают свое родство с призраками. Во многом подобное ощущение достигается благодаря варьированию одних и тех же предметов, кочующих из картины в картину: зонт, шляпа, велосипед превращают живопись едва ли не в пиктограмму.

К тому же в 40-е на полотнах у Эльона все время дает о себе знать его «абстрактное» прошлое — и в геометрической заостренности композиции, и в ровности цвета, и в пересечении кругов и полукругов, вертикальных и горизонтальных линий. И даже попытка «проститься» с абстрактным опытом (в «Наоборот» автор в качестве фона использует собственные картины 30-х) оборачивается признанием его как неизбежного наследства, от которого нельзя избавиться.

Много позже художник увлекся изображением морских тварей и посвящал омарам не только серии акварелей, гуашей и пастелей, но и проникновенные записи в дневниках. Восторг вызывают у него и цветы (Мишель Турнье даже называл его картину «Ирис и двойник» «одним из самых лучезарных шедевров» этого жанра). Но и морковка, и тыква достойны восхищенного внимания. А уж что говорить о капусте — «восхитительной розе, зеленой, стоящей всего франк за кило и даже съедобной»?!

В этой эволюции — от раннего проникновения в геометрическую структуру мира, через пространство уличного быта к красоте морских существ — очевидно несовпадение с общим течением истории искусства и даже едва ли не осознанное стремление идти наперекор ему, руководствуясь лишь собственным, внутренним временем и внутренним компасом, а не тем, что предлагают декларации и манифесты.

К счастью, судьба Эльона складывается из картин, а не из манифестов. Чем он, собственно, и интересен потомкам.

«ДРУГ ДРУГА ОТРАЖАЮТ ЗЕРКАЛА»

Роман Дубровкин. Стефан Малларме и Россия. Bern, Peter Lang, 1998

У Георгия Иванова, чьё позднее, 50-х годов, стихотворение подсказало заглавие этой рецензии, далее сказано: «Взаимно искажая отраженья» — ситуация, точно характеризующая историю «русского Малларме». Фундаментальное (500 с лишним страниц, множество сносок, исчерпывающая библиография) исследование Р. Дубровкина воссоздало эту историю шаг за шагом.

Наверное, многих удивит, что она так пространна — длится уже второе столетие, правда с перерывом на советские годы. Был в ней период притяжения — заря уходящего века. И период отречения, совпавший с кризисом символизма. Наконец, был период замалчивания. Но колебания русской репутации парижского мэтра все же не самое любопытное.

Интереснее и поучительнее вот что: Малларме увлекались до самозабвения и, подобно Иннокентию Анненскому, признавали его учителем («Малларме был одним из тех писателей, которые особенно глубоко повлияли на мою мысль»). Но в действительности его русские приверженцы чтили поэта, созданного их воображением, — он лишь отдаленно схож с тем, кто написал «Иродиаду» и очень странную прозу, называющуюся «Игитур». А интерпретаторы «серебряного века», искавшие ключ к этой художественной эпохе, в частности и через тогдашний русский образ Малларме, в итоге неизбежно корректировали его образ другим, более достоверным, если стоять на почве фактов, а не легенд, то есть вносили в свою интерпретацию эпохи явный анахронизм. Поистине история взаимных искажений.

Но и история зеркал. Подразумевая русско-французские литературные отношения той поры, зеркала многочисленны: Бодлер, Верлен, парнасцы. Пока не вышла книга Р. Дубровкина, как-то реже думалось в этом контексте о Малларме. А напрасно: его присутствие в московской и петербургской художественной жизни начала столетия неоспоримо. И значительно: об этом говорят уже имена тех, для кого Малларме значил очень много.

Это имена самого первого ряда. Анненский: его версии «Гробницы Эдгара По» и «Дара поэмы» — бесспорная переводческая классика. Брюсов, признававший, что Малларме (вместе с Бодлером и Верленом) открыл ему «новый мир» и помог понять ремесло поэта, — вот где истоки идей, возвещенных знаменитыми выпусками «Русских символистов». Волошин, чей «Лебедь» превосходит и брюсовское переложение, и перевод И. Тхоржевского, еще одного энтузиаста Малларме (потом, в эмиграции, он стал крупным историком русской литературы). Сологуб, сделавший переводы тринадцати стихотворений в прозе — они были извлечены из архивов всего несколько лет назад, и теперь приходится по-новому судить о русской судьбе этого редкого жанра, замечая не только Тургенева. Кстати, и загадочная стилистика прозы Сологуба, в частности «Творимой легенды», кажется, получит после публикаций его переводов из Малларме более вразумительное объяснение.

Чем он всех их притягивал, этот мало писавший и еще меньше печатавший парижский литератор, по слову Верлена, «занятый исключительно красотой»? Может быть, и тем, что к творчеству Малларме относился с неимоверной строгостью: целые годы уходили у него на шлифовку стихотворения и даже не всего стихотворения, а двух-трех строф — какой контраст на фоне неряшливого многописания, которое не просто допускалось, а возводилось в принцип поколением русских стихотворцев-«общественников» 80-х годов.

Брюсов, во всяком случае, ценил у Малларме именно эту жесткую поэтическую дисциплину, «математику», которая, как он думал, могла быть даже не «вдохновенной», вопреки мнению По (а стало быть, и Малларме, разделявшего художественные воззрения американского поэта практически полностью). Но Соло-

губа (как и Анненского) Малларме мог привлекать еще по иным причинам. Все трое были учителями, вынужденными отдавать гимназической рутине часы, отнятые у вдохновения. Все трое ощущали себя «мучениками от педагогики», пользуясь словцом, пущенным в ход Реми де Гурмоном, автором известной в те годы «Книги масок», где есть биография Малларме. И для всех поэзия наполнялась сакральным величием почти в буквальном значении слова. Тем более что каждый из них мог бы повторить признание Анненского в письме 1904 года: «Я потерял Бога и беспокойно, почти безнадежно ищу оправдания для того, что мне кажется справедливым и прекрасным».

Поэзия Малларме (и его творчество, и вынесенное им понимание поэзии) представлялась одним из таких оправданий. На самом деле вовсе не аксиома, что ее надлежит воспринимать как свидетельство безверия, но об этом в символистских кругах не задумывались. В «Аполлоне» появлялись статьи, толкующие об «утонченнейшей логичности» Малларме, о найденных им способах выражать «отвлеченность» или, как чуть позже писал Поль Валери, своей «искусственной концепцией» корректировать «наивное влечение» поэтов-романтиков. Дискутировали о смысле этой концепции — вправду ли она означает отказ не только от привычных ассоциативных рядов, но даже от закрепившихся синтаксических норм? — и еще усиленнее пытались составить полную опись образов, которым Малларме отдает предпочтение. Очень скоро его закат, его молчание ночи, музыка стиха стали общими местами лирики русского символизма.

Но в сущности, никто из символистов не усомнился в том, что Малларме и вправду тот бесстрастный эстет, для которого «умственная химия» (так выразился он в письме, где доказывается, что образ — лишь комбинация простых элементов, предварительно вычлененных интеллектуальным усилием) составляет творческое, да и жизненное, кредо. Никто из них, впрочем, и не считал, что производимый Малларме переворот затрагивает исключительно область поэтического языка, имея своей целью, по современной трактовке Ролана Барта, окончательно «устранить автора, заменив его письмом». Нет, новации Малларме обладали для символизма бесспорным философским и духовным значением — но каким?

Чтобы это понять, нелишне вспомнить о том, как начиналось знакомство с Малларме в России. Оно начиналось с увлеченного чтения серии очерков Верлена «Про́клятые поэты», из которой о Малларме в 1883 году впервые узнал литературный Париж (а вслед за тем, лет через десять, Анненский и Брюсов). Восприятие Малларме в России окрашивалось впечатлениями от исключительно популярного на рубеже столетий романа Гюисманса «Наоборот» (1884). А герой этого романа бредит над книжкой Малларме, восхищаясь «произведениями поэта, который в век всеобщей подачи голосов и наживы жил в сфере литературы, защищаясь от окружающей глупости своим презрением, наслаждаясь вдали от мира дарами разума, видениями своего ума, совершенствуя уже признанные мысли, прививая им византийские тонкости, увековечивая их в свободно набросанных дедукциях, едва связанных незаметной нитью...»

И вот этот «густой процеженный отвар искусства», доводивший героя «Наоборот» Дез Эссента до головокружения, сделался для русского символизма чем-то вроде мандрагоровых яблок, без которых, по библейскому сказанию, не смогли бы зачать Лия и Рахиль. Вера в чудодейственную силу снадобья, изготовленного при помощи «умственной химии», привилась прочно. Так прочно, что ее унаследовали и акмеисты, хоть они объявляли символизм мертвым, требуя убрать трупы «самоубийц», возмечтавших о мистерии и трагедии. Тот же Георгий Иванов — в юности акмеист, то есть один из могильщиков символизма, — с запальчивостью утверждая, что поэзии надлежит оставаться чистой, ссылается на имена «Данте, и Пушкина, и Малларме». Причем это рассуждение увенчивает собой его вступительную статью к «Письмам о русской поэзии», вышедшим в 1922 году. Автор «Писем» Николай Гумилев, который для Иванова олицетворяет в современности эту вожделенную чистоту, расстрелян несколько месяцев назад.

Через тридцать лет в стихах об искажающем отражении Иванов скажет, что более не верит «в музыку, что жизнь мою сожгла», но все еще хранит веру «в пепел, что остался от сожженья». Поклонение Малларме, окрасившее наш «серебряный век», теперь, пожалуй, тоже вызовет ассоциацию с оставшимся от сожжения пеплом. Но в этом пепле и сегодня попадется несколько непотускневших жемчужин.

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ

ПРОРЕХА В ТКАНИ БЫТИЯ

Томмазо Ландольфи. Жена Гоголя и другие истории. Перевод с итальянского. М., Аграф, 1999

Однажды, исчерпав все темы для разговора, я стал читать по телефону Баратынского. «Да, хорошие стихи, — послушав, отвечала девушка, — только… только какие-то другие!» — «Конечно другие, — отвечал я. — Вроде бы по стилю, по темам похожи на классические пушкинские, но при этом — не Пушкин!»

Сходное ощущение возникает у читателя при знакомстве с книгой, включающей роман, повести, рассказы и пьесу классика итальянской литературы, одной из ключевых фигур XX века Томмазо Ландольфи (1908 — 1979). Да, фантастический реализм, интеллектуальная проза, но какая-то другая, не та, к которой нас приучили испано- и немецкоязычные кудесники-интеллектуалы. В каких-то других пропорциях взяты ингредиенты (скепсис, готовность к чуду, насмешка, усталость, рефлексия и так далее) и как-то по-другому перемешаны. У Ландольфи есть изощренно-иронические, едко насмешливые, «интеллектуалистские» рассказы-«казусы», как, например, «Новое о психике человека», в котором ученые собаки (точнее, «собаки-ученые») в буквальном смысле облаивают своего коллегу, высказавшего предположение о разумности человека, или совершенно честертоновский «Наперекосяк»: убийца лихорадочно выбирает, в какую руку, чтобы правдивее имитировать самоубийство, вложить пистолет своей жертве (тот был левшой, но почему-то тщательно это скрывал), и в конце концов его выдает звон монетки, с помощью которой он пытается разрешить эту дилемму… Нашла место в творчестве Ландольфи и рефлексия homo scribens (человека пишущего) — в таких рассказах, как «Авторучка», «Взбунтовавшиеся слова» и других.

Но при этом во многих произведениях для Ландольфи важнее оказываются не подобные «игры ума», а изощренный, изломанный порой психологизм. В «Диалоге о важнейших системах» некий злокозненный чудак выучил героя, под видом персидского, несуществующему языку; герой, влюбившийся в этот язык и написавший на нем три стихотворения, отправляется к «маститому критику», чтобы тот объяснил, могут ли существовать стихотворения на несуществующем языке; критик, опасаясь, не разыгрывают ли его и не впутывают ли в неприятности — дело происходит во времена Муссолини, — юлит, уходит от прямого от-вета, для героя это становится идеей фикс, и он просто сходит с ума. Причем психологизм этот окрашивается порой не только в достоевские («Взгляды», «Упущенная игра», «Грудь», «Тени»), но и в устойчивые гумберт-гумбертовские тона («Немая», «Дело случая», «Смерть французского короля»).

Однако и психологизм оснащается сказочной машинерией или фантазией, но фантазией какой-то перевернутой, остраненной. (Так, в рассказе «Меч» герой обретает идеальное оружие, способное резать все подряд, но вместо великих дел, о которых мечтает, оказывается в состоянии только напополам разрезать влюбленную в него девушку.) А «Тараканье море» примерно до середины разворачивается как вполне нормальная мальчишеская ночная греза (Роберто мечтает предстать перед своей возлюбленной на пиратском бриге под именем Большого Варяга и в сапожках с раструбами), только перегруженная какими-то сюрреалистическими подробностями и почему-то увиденная глазами его отца, а потом вдруг выставляет героя в самом неприглядном свете. Но кончается все настолько для него хорошо, что невольно задаешься вопросом: да не издевается ли рассказчик? И если издевается, то над кем? Над своим инфантильным героем или над доверчивым читателем? Или над атмосферой муссолиниевской Италии, сделавшей их такими?

Еще злее «Смерть французского короля»: громовые приказы на всех языках мира, которыми морской волк держит в подчинении свою лихую команду, оказываются просто невинной игрой скромного чиновника. Да к тому же предаваться ей он способен не везде и не всегда, а только уютно расположившись в комнатке за дверцей с двумя нулями…

Другая его игра, с тринадцатилетней приемной дочерью, не столь невинна, но повесть и не об этом тоже. А о чем же?

«*Скажу без обиняков: иные часы и даже дни — словно прорехи в непрочной ткани нашего бытия*», — так начинается один из рассказов Ландольфи, и именно это — *прорехи в ткани бытия*, — кажется, и интересует его больше всего.

С понятием «прорехи» тесно соприкасается понятие пустоты. «*Пустота*», «*ничто*» — очень важные слова для Ландольфи. «*Люблю тебя, а в душе все равно пусто*», — говорит у него красавица героиня. «*У меня из-за тебя пустота заболела*». — «*Что еще за пустота, шут гороховый?*» — «*Полость, где у других*

сердце», — переругивается со своим альтер эго другой герой. В обширной вступительной статье к книге Л. Аннинский так объясняет разницу между Ландольфи и мощным в Италии литературным движением герметизма, куда Ландольфи порой стараются «вписать»: герметики стремились спасти от бесцеремонного постороннего взгляда *нечто* внутри себя, внутри нормального человека, Ландольфи же всем своим творчеством яростно доказывает, что внутри у человека — *ничто*...

В противоположность «шести персонажам в поисках автора», уверенным, что их жизненная коллизия есть готовая пьеса, герой пьесы «Фауст-67» приходит в театр именно в надежде обрести хоть какое-нибудь наполнение: «*Можно ль как-нибудь помочь Пустому Месту, оказавшемуся в трудном положении?*» Но в конце пьесы, однако же, «небесный голос» (то ли всерьез, то ли издевательски) возвещает: «*Хотите знать, кто спасется? Никто! Уточняю: господин Никто. Объясняю: он спасется, потому что никогда не соглашался стать кем-либо!*»

Надо сделать важное пояснение: лично для Ландольфи пустота часто оказывалась той особой пустотой переводчика, что способна наполниться цельными художественными мирами. Славист по образованию, он всю жизнь переводил Гоголя, Достоевского, Лескова, Бунина и был *интимно* знаком с русской литературой. Только так мог быть написан рассказ, давший название книге, — оглушительно кощунственный для русского уха внешне и выдающий жгучую любовь-ненависть при внимательном прочтении: «*Как всякий русский, Николай Васильевич до страсти любил бросать в огонь ценные вещи*».

«Ах, восточные переводы, как болит от вас голова!..» — писал Арсений Тарковский. «О Гоголь, Гоголь, как дорого ты мне стоишь!» — писал Томмазо Ландольфи, а «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Петербургские повести» до сих пор выходят в Италии под шапкой «*Гоголь в переводах Ландольфи*», причем обе фамилии набираются шрифтом одного размера.

Впрочем, некоторые рассказы Ландольфи написаны словно из параллельного мира. В авторском примечании к рассказу «Из «Популярной мелотехники», в котором говорится о цвете, весе и плотности звука, а тенор-виртуоз оказывается способен взобраться по собственной руладе, как по пальме, Ландольфи как ни в чем не бывало выражает признательность «*известному оперному певцу Эудженио Монтале*», автору «*двух сборников стихов, не лишенных известных достоинств, хотя и далеких еще от совершенства, какового он достиг на оперной сцене*». Почему бы Гоголю не иметь в этом мире надувную куклу-жену?

Виртуозный и признанный переводчик, Ландольфи сам порой, словно в отместку, ставит перед переводчиками чрезвычайно трудные задачи. В рассказе «Слепая всевидящая богиня» графоман-«авангардист» «творит», вытаскивая слова из лотерейного барабана (что, заметим, при нынешнем господстве в европейской поэзии верлибра выглядит вполне правдоподобно и оттого — куда как злее, чем по-русски). Уже на второй «найденной» таким образом строчке у итальянского читателя начинается неудержимый хохот: бедняга поэт на его глазах «сочиняет» классическое стихотворение Леопарди, известное каждому итальянскому школьнику, но мало что говорящее читателю русскому. Как быть переводчику? Е. М. Солонович, лучше кого бы то ни было чувствующий тайну жизни итальянского стиха в русском языке, находит нестандартное и обескураживающе простое решение — читатели «Иностранной литературы» уже могли его оценить («ИЛ», 1994, № 4).

Совершенно другие сложности, конечного решения не имеющие, возникают при переводе романа «Осенняя история». Номинально события романа происходят в конце войны («*Два грозных чужеземных войска сошлись тогда на наших землях в жестокой схватке, и всем казалось, что не будет ей конца*»), но переплетение лейтмотивов, настроений, вопросов и ответов осуществляется в нем не только и не столько на уровне повествования, сколько на уровне языка: чрезвычайно разнообразной, вычурной порой лексики, чередования ритмов (вплоть до ритмической прозы) и стилей. Русскому читателю не часто доводится встречать подобное богатство в иноязычных романах, и оно вполне дает представление, почему переводчик «Осенней истории» Г. П. Киселев считает этот роман «одним из самых сложных текстов, написанных в XX веке».

Эта книга должна была выйти в 1990—1991 году в издательстве «Радуга» как венец серии «Мастера современной прозы». Получилось так, что она открывает сейчас в «Аграфе» серию «Speculum mundi» — «Зеркало (зерцало?) мира». Наверно, это что-нибудь да значит. Ведь, по убеждению Г. П. Киселева, составившего книгу и переведшего бóльшую ее часть, «все, что связано с Ландольфи, — загадка».

МИХАИЛ ВИЗЕЛЬ

ПРИРУЧЕННАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ СЛОВАРЯ

Современная западная философия: Словарь. Составители В. Филатов, В. Малахов. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М., ТОН — Остожье, 1998

Как уместить саму неисчерпаемость и неопределенность — а ведь именно эти значения, кажется, записаны за все еще *нашей* современностью, пока она не стала уже чужим *наследием,* — в ограниченные временем и силами, объемом и финансами рамки сравнительно скромного по объемам тома, да еще уложив в словарную структуру? В принципе, есть несколько стратегий построения философских энциклопедических словарей. Эти стратегии были вполне успешно реализованы в прошлом, и между ними нынешний знающий дело составитель может с толком выбирать.

Выбор первый: история или система. Скажем, немецкий шеститомный «Исторический словарь по философии» Иоахима Риттера (1971—1989) выполнен в рамках особой дисциплины «история понятий»; опираясь на разработки фундаментального журнала «Архив истории понятий», Риттер идет от основных познавательных проблем европейской мысли и закрепляющих их категорий, прослеживает преемственность и динамику в их истолковании. Напротив, французская «Всеобщая философская энциклопедия» под редакцией А. Жакоба как бы на манер планетария разворачивает космологическую систему философской мысли. В первом томе дан Универсум философии, в остальных умственный телескоп последовательно переходит от одного ключевого понятия и произведения к другому.

Отсюда — вторая альтернатива: понятия или персоны. Немецкий «Философский словарь» Вальтера Бруггера (1947, выдержал несколько изданий) склоняется к «понятийному» варианту; его разновидность, достаточно популярная в истории — терминологический лексикон с цитатами-примерами, — таков французский «Словарь философского языка» Поля Фукье и Ремона Сен-Жана (1962). Регулярно переиздающийся мецлеровский «Словарь философов от досократиков до наших дней» Б. Лутца и Н. Ретлиха, как и аналогичные итальянский, выпущенный Центром философских исследований Галларате словарь издательства Сансони (1976), либо французский Дени Юисмана (1984), выбирают вариант «персональный».

Наконец, еще альтернатива: личность или учение. Пример первого решения — англоязычный «Биографический словарь философов XX века» Стюарта Брауна и др. (1996); образец второго — допустим, французский «Словарь философских доктрин» Л. Жерфаньона (1973).

Но, наряду со всеми этими существенными моментами, важно другое. Дело ведь не просто в том, чтобы читатель — сейчас не важно, специалист он или любитель — узнал о той или иной конкретной философской идее либо фигуре; для этого, может быть, и в самом деле достаточно перечисленных иноязычных словарей, из которых читающему на нескольких языках достаточно с умом выудить нужное. Есть еще извечный вызов со стороны культуры, на которой произрастает и самая отвлеченная мысль. А культура, даже для *общих проблем,* знает только *собственные слова.* Они как особые, всегда свои понимательные устройства и составляют каждую отдельную, но, ясное дело, ни от кого и ни от чего не замурованную культуру. Возникает проблема — в самом широком смысле — *перевода*: отбора, переноса, пересадки, приживления, взращивания, без которых, кстати, не будет и ответного дара. Вот на этот неотменимый «вызов» как повод к встречному «отклику» и отвечает том, составленный В. Малаховым и В. Филатовым.

Они избрали смешанный, тоже имеющий за собой солидную традицию вариант — словаря персон и понятий разом (таков, к примеру, словарь Франца Аустеды, 1989). Прежнее издание составленного ими Словаря было выпущено в 1991 году тиражом сто пятьдесят тысяч (приглашаю заметить и оценить перепад от тогдашнего тиража к сегодняшнему; думаю, не в одних экономических трудностях тут дело, но это разговор особый и для образованных слоев болезненный). Та книга, понятно, давно разошлась: справочные пособия, тем более относящиеся к *новейшей западной мысли,* в России всегда в ходу, особенно если они (вещь здесь и сейчас нечастая) сделаны как следует, на совесть. А перед нами — именно такой случай: добротное пособие, удобное для читателя, основательный и в то же время доступный путеводитель по маршрутам мысли XX века. Причем не столько особая авторская версия философских проблем и подходов, так сказать, собственное учение в пробной форме историко-словарной систематики (как оно было, допустим, в словарях Ф. Маутнера или Н. Аббаньяно либо в «Истории западной философии» Б. Рассела), сколько приведенное к согла-

сию многоголосие более чем сотни разных авторов — помимо отечественных специалистов, к работе были привлечены исследователи из Австрии, Германии, Канады, Франции, Чехии, Югославии.

К указателю упоминаемых имен в прежнем издании теперь прибавились указатели анализируемых предметов и авторов статей самого Словаря (в подобных книгах полезнейшие и, вообще говоря, обязательные: количество и добротность указателей в научном, тем более справочном, издании — не просто услуга пользователям, но и индекс профессионализма составителей). Дополнена ссылками на новейшие издания пристатейная библиография; приятно отметить, что за прошедшие семь лет в ней заметно выросло число публикаций на русском языке — как переводов зарубежной философии, так и ее отечественных исследований уже девяностых годов. Многие ключевые статьи Словаря в корне переписаны. В целом добавлено свыше 100 страниц нового текста, так что прежний том вырос более чем на четверть.

Словарь и его читатели обогатились информативными статьями о таких современных мыслителях Европы и Америки, как З. Бауман, И. Берлин, Х. Блюменберг, П. Бурдье, Ф. Гваттари, Р. Дарендорф, У. Дрей, С. Сонтаг (в Словаре опечатка — она, слава богу, жива), Я. Икскюль, Р. Ингарден, Х. Йонас, Ю. Кристева, А. Лавджой, Э. Левинас, Т. Лессинг, К. Лефорт (может быть, все-таки — Лефор?), Н. Луман, А. Макинтайр, Т. Масарик, Дж. Г. Мид, Э. Мунье, Р. Нозик, Р. Отто, Я. Паточка, О. Розеншток-Хюсси, Дж. Серл, К. Твардовский, Э. М. Чоран, К. Шмитт, Э. Шпрангер, Р. Штейнер, Н. Элиас и другие. Развернуты в отдельные статьи такие проблемы и понятия, как власть, габитус, гендерные исследования, дискурс, диспозитив, другие сознания, идентичность, идеология, историчность, коммуникация, консервативная революция, миф, объяснение, письмо, повседневность, психологизм и антипсихологизм, симуляция. Если работа над Словарем будет продолжена (а, рискну сказать, плох тот Словарь, который не требует нового издания!), то, вероятно, составителям стоило бы подумать про отдельные статьи в нем, например, о таких понятиях, как аллегория, возвышенное (или высокое — le sublime), воображаемое, желание, «критики культуры» (Ливис, Элиот), культура и цивилизация (как отдельное словарное гнездо), меланхолия, метафора, ностальгия, очевидность, практика (праксис), присутствие, репрезентация, рецептивная эстетика, скука, утопия (антиутопия), фрагмент (как тип философствования — скажем, у Чорана, Валери или Эдмона Жабеса, Эрнста Бертрама, Симоны Вайль, а может быть, и Антонио Мачадо в «Поучениях Хуана де Майрены»). Понимаю, что возможности ограниченны, но парадоксальная форма словаря, по определению, бесконечна, а сказанное — всего лишь пожелание.

Кстати. Раз уж в Словарь введена такая реалия, как философия литературы и, больше того, *философия литераторов* и *литература философов* — а вряд ли без них в обзоре философии постклассической эпохи можно обойтись! — то не включить ли в состав и соответствующую проблемную статью типа «литература и философия» (в классическую эпоху этой проблемы не то чтобы не существовало, но она, кажется, так не ставилась). Сюда вошли бы как «случаи» Канетти или Камю, с одной стороны, и Г. Марселя или П. Клоссовского, с другой, так и феномены Кафки в сознании Беньямина и Адорно, Бланшо и Делеза, творческое взаимодействие Хайдеггера с суггестивной лирикой Рене Шара и Пауля Целана, значение неклассической поэтики Целана для философской мысли Деррида и Лаку-Лабарта и т.п.

И еще. Соображения экономии, принудившие изъять из Словаря прежние статьи об отдельных ставших уже классикой произведениях (отчасти эти материалы «втянуты» в нынешние персональные словарные рубрики), понять, конечно, можно, хотя согласиться с ними все-таки трудно. А вот с отказом уважаемых составителей (см. с. 3 их Предисловия) определять ключевое для Словаря понятия «современность» смиряться, признаюсь, вовсе не хочется. Тем более коррелятивные ему понятия «постмодерн» и «постмодернизм» на положенном им месте присутствуют. Так что если рецензируемая книга все же будет — как хотели бы надеяться те, кто не успел ее приобрести, — иметь продолжение, то в нем непременно хотелось бы видеть отдельную разработку проблемного узла «современность» («модерность»). Хотя бы, допустим, в таких общих рамках: от программных установок Бодлера через Ницше, Беньямина и Хайдеггера до, скажем, статей Пола де Мэна 1970-х гг. о тех же Бодлере, Ницше, Беньямине и до подытоживающей — по титулу и смыслу — книги Джанни Ваттимо о Ницше и Хайдеггере «Конец модерности» («La fine della modernita», 1985, американские издания 1989 и 1991 года).

БОРИС ДУБИН

КАРЛОС РОХАС

Незаконнорожденный отпрыск короля

Carlos Rojas. El bastardo del rey

Planeta, 1999

Известный испанский писатель Карлос Рохас по праву считается мастером исторического романа. Своему излюбленному жанру он не изменил и на сей раз: в новом романе сливаются различные периоды прошлого и настоящего, чтобы главный герой смог осуществить критическое исследование «Божественной Комедии». Для К. Рохаса это открывает прекрасную возможность для построения своего романа по аналогии с шедевром Данте; испанскому автору это удалось в полной мере. Обширное художественное пространство его книги населяют (если не перенаселяют) король Хуан Карлос и его дед Альфонс XIII, Сальвадор Дали и Курцио Малапарте, персонажи «Божественной Комедии» и даже генерал Эйзенхауэр.

ЭРНЕСТО САБАТО

Перед концом

Ernesto Sábato. Antes del fin

Seix Barral, 1999

Публикация мемуаров недавно скончавшегося видного аргентинского писателя Эрнесто Сабато вызвала не только огромный интерес читателей (книга разошлась тиражом около 90 000 экземпляров и стала бестселлером в Аргентине и Испании), но и ожесточенную полемику. Это неудивительно, ибо в мемуарах отражены крайности противоречивой натуры автора. Э. Сабато с горечью вспоминает свою жизнь: тоска по ушедшему детству с его сказками; университетские годы, когда он открыл для себя мировую литературу; недолгая связь с анархистами и коммунистами — о связи с последними он впоследствии жалел, считая, что «научный социализм» Маркса загубил «утопический социализм». Затем была докторская степень по физике, увлечение живописью, приход в литературу и общественно-политическая деятельность, связанная с трагедией людей, пропавших без вести во времена диктатуры. В этих мемуарах-завещании звучит призыв к братству, примирению перед лицом новой волны истории.

ХАЙКО МИХАЭЛЬ ХАРТМАН

MOI

Heiko Michael Hartmann. MOI

Hanser, 1999

Дебютный роман Х. М. Хартмана, привлекший к себе внимание критики — это пародия на страхи рубежа тысячелетий. Автор рассказывает о Германии 2001 года, когда на смену старой доброй марке пришла новая общеевропейская валюта — евро. Но вместе с ней появилась и до сих пор неизвестная ужасная болезнь под названием MOI. Роман Хартмана, посвященный описанию страшного вируса, разносчиком которого стала банкнота в 50 евро, отличается динамизмом и неожиданным сочетанием мрачного тона с искрометно остроумной игрой слов. Еженедельник «Цайт» пишет: «Смелый роман Хартмана полон пронзительного задора и хладнокровного пессимизма. Это свойственно литературе «конечных» эпох, которая ничего не воспринимает всерьез, потому что все уже потеряно».

ПАУЛА СЕРРА

ДИНФО: тайные дела военной разведслужбы

Paula Serra. DINFO: Historias secretas do serviço de informações militares

Dom Quixote, 1999

Эта книга, ставшая в Португалии бестселлером, представляет собой журналистское расследование крупных секретных операций, которые проводили агенты военных разведок разных стран, действовавшие в Португалии начиная с периода «революции гвоздик» 1979 года и кончая 1990 годами. В книге есть сюжет о террористах, пытавшихся совершить государственный переворот; рассказ о

советских шпионах, искавших в Португалии доказательства деятельности НАТО; материалы об операциях израильской разведки Моссад. Общую картину дополняет история разоблачения двойного агента — полицейского Жозе Амеду, который от имени испанского правительства вербовал агентов для сбора разведданных на юге Франции и попался, расплатившись кредитной карточкой в одной из гостиниц Лисабона. Кроме того, в книге рассказывается о тайной поддержке, которую оказывала творческая интеллигенция Португалии освободительному движению в Мозамбике и Анголе.

ГИЛЬТРУД ГНЮГ, РЕНАТА МЁРМАН

История литературы, созданной женщинами

Hiltrud Gnüg, Renate Möhrmann. Frauen Literatur Geschichte

J.B. Metzler, 1999

Эта книга об истории литературы, созданной женщинами, охватывает период от раннего средневековья до наших дней. Построенная хронологически, она исследует возможности «женской» манеры письма, особенности самовыражения женщин, излюбленные «дамские» жанры — дневники, письма, мемуары, путевые заметки. Само собой разумеется, женщины осваивали в литературе и традиционно «мужские» жанры — драму, утопию, криминальный роман, фантастику. Достоинство этой книги в том, что здесь представлены не только отрывки из произведений, но и их подробный анализ. Характерно, что наряду с традиционной литературой рассматриваются также сценарии радиоспектаклей и фильмов, тексты Интернета.

БЕНЕДИКТ ЕССИНГ, БЕРНД ЛУЦ, ИНГА ВИЛЬД

Мецлер Гёте-лексикон

Benedikt Jeßing, Bernd Lutz, Inge Wild. Metzler Goethe Lexikon

J. B. Metzler, 1999

Как протекали будни немецкого писателя, философа, ученого? Как относился Гёте к смертной казни? Как был создан его винный погребок? Откуда он брал средства, чтобы вести светский образ жизни? Сколько писем написал за свою жизнь Гёте, а сколько получил? Что за люди были его слуги, переписчики, врачи? Какое место занимали алхимия и астрономия в системе наук его времени? Это лишь некоторые из множества разнообразнейших вопросов, ответы на которые можно найти в «Мецлер Гёте-лексиконе», — энциклопедии жизни и творчества великого литератора. Более двух тысяч статей о жизни драматурга, чьи произведения продолжают ставиться в крупнейших театрах мира, о культуре его времени, друзьях, возлюбленных, о безграничной любознательности Гёте — движущей силе его научных исследований, о его огромном влиянии на литературу вплоть до наших дней создают образ выдающегося деятеля культуры.

МЕЛИССА БАНК

Руководство по охоте и рыбной ловле для девушек

Melissa Bank. The Girls' Guide to Hunting and Fishing

Viking, 1999

Дебютная книга 38-летней жительницы Нью-Йорка Мелиссы Банк привлекла внимание критиков не только потому, что идею заглавной новеллы в этом сборнике из семи рассказов автору подсказал Ф. Ф. Коппола, который уже предложил ей написать киносценарий. Читающей публике близки проблемы главной героини — «типичной американки» из Манхэттена. Она настойчиво ищет равновесие между свободой и стремлением вступить в счастливый брак. Ее жизнь — от подростка до вполне взрослой женщины — представлена как вполне обычная череда событий и ситуаций: учеба, свидания, общение со сверстниками и с боссом, работа в издательстве и рекламном агентстве. Хотя героиня не обделена мужским вниманием, достойных мужей из ее кавалеров не выходит, и основной смысл ее жизни составляют банальные поиски мужа. Название книги на первый взгляд обещает отход от тем традиционных дамских книг, однако на самом деле это всего лишь «приманка» для читателей.

■

Великобритания

СВОИ ИЛИ ЧУЖИЕ?

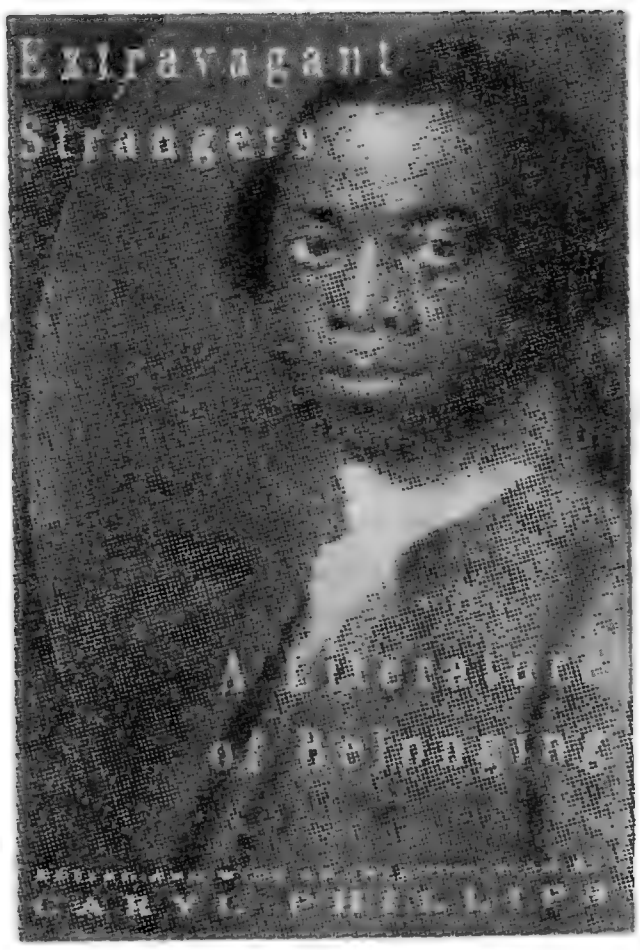
Современный английский писатель Кэрил Филлипс не слишком похож на англичанина — у него темная кожа. Автор шести романов о жизни эмигрантов, он родился на маленьком карибском острове Сент-Китс, но еще младенцем был привезен в Англию, в город Лидс. Хотя К. Филлипс практически всю жизнь прожил в Великобритании, он постоянно слышал от окружающих и задавал себе сам вопрос о своей истинной принадлежности.

Однажды, будучи студентом Оксфорда, он купил книгу под названием «Жизнь между двух культур», в которой были главы о живущих в Англии выходцах с Кипра, из Турции, Индии и стран Карибского бассейна. Изучив эту книгу, К. Филлипс понял, что, с точки зрения авторов книги, он и похожие на него люди словно зависли в некоем географическом, социальном и культурном вакууме.

Однако жизнь говорила об обратном. Уже блестяще закончив университет, став лондонским драматургом и преподавателем (он читает уникальный курс — миграция и общественное устройство), Кэрил Филлипс увидел, как мощно влияют на английскую литературу выходцы из других стран. Ему захотелось опровергнуть расхожее заблуждение, будто лишь благодаря модной волне появились и утвердились авторы с такими странными для европейского слуха именами, как Сальман Рушди и Кадзуо Исигуро. «Еще Дэниэл Дефо заметил, что Англия, по сути своей, дворняга. В ее жилах смешалась кровь бесчисленных народов и племен. И так было сотни лет», — напоминает Кэрил Филлипс.

Доказать это он решил с помощью беллетристики; так появилась книга «Странные чужаки». Это антология произведений, авторы которых родились за пределами Великобритании, но чье творчество составляет неотъемлемую часть ее литературных традиций. В ней представлены отрывки из произведений, написанных более чем за 200 лет такими «чужаками», как Редьярд Киплинг, В. С. Найпол, Дорис Лессинг, Джордж Оруэлл, Кадзуо Исигуро... В романе последнего «Остаток дня» К. Филлипс считает особенно показательным то, что дворецкого принимают за аристократа, за которого он затем себя и выдает: «Вот прекрасный пример условности классов в Англии. Именно поэтому англичане — великолепные актеры: жесткая кастовая система общества вынуждает их постоянно выдавать себя за другого».

Жесткая структура британского — да и любого иного европейского — общества издавна отторгает эмигрантов как чужеродный элемент; именно поэтому в творчестве многих из них часто присутствует тема обращения к бывшей родине (например, в большинстве книг В. С. Найпола действие происходит за пределами Британии). Тем не менее эмигрантам необходима не столько ностальгия, сколько чувство уверенности в своем европейском будущем.



Обложка антологии «Странные чужаки»

Израиль

СОВРЕМЕННЫЙ СПИНОЗА, «ДОЧЬ УТРЕННЕЙ ЗАРИ» И ДРУГИЕ

Конфликт с арабскими странами — не единственная проблема еврейского государства. Страна разделилась также по религиозному признаку, и противостояние фундаменталистов и либералов отражается во всем, в том числе и в литературе.

Яркий пример накала страстей — та сенсация, которую произвела публицистическая книга «Осел мессии» (издательство «Иедиот ахронот») 32-летнего философа Сефи Рахлевского. В стране с населением 6 миллионов (среди которых немало эмигрантов, не читающих на иврите) этот бестселлер за полгода разошелся тиражом 60 000 экземпляров.

Главный тезис С. Рахлевского состоит в том, что современный иудаизм превратился в новую религию, которая изменилась с социологической, теологической и политической точек зрения и перестала быть открытой для гуманизма и каких-либо внешних воздействий. Из канонических текстов раввинов С. Рахлевский делает вывод о том, что, с точки зрения нынешних правоверных иудеев, неверующие — это, образно говоря, ослы, которых приносят в жертву во искупление грехов.

После публикации этой книги ее автора стали сравнивать с Барухом Спинозой — первым светским еврейским философом пантеистского толка, изгнанным из еврейской общины Амстердама в XVII веке. Сефи Рахлевский проводит любопытную параллель, сравнивая иудаизм с современным западным обществом, которое также претерпевает изменения и теряет свою культурную стабильность из-за все большего проникновения в него представителей других стран.

Другое весьма заметное

явление в израильской литературе — книги религиозных писательниц, выделяющиеся из общего достаточно большого числа произведений, написанных женщинами. Показателен в этом смысле ставший бестселлером роман «Агарь» (издательство «Иедиот ахронот»), в котором Иохи Брандес рассказывает историю студента — будущего раввина — из Меа-Шарим, ультрарелигиозного квартала Иерусалима, и девушки из киббуца — символа нового «социалистического» устройства общества. Пришедшие из разных, даже противостоящих миров, они встречаются в «пальмахе» (нерегулярной еврейской армии, которая боролась с англичанами до образования государства Израиль), и между ними рождается всепоглощающее и роковое чувство. Полвека спустя внучка бывшего студента приезжает из Иерусалима в киббуц в поисках истоков любви своего деда.

Еще одна религиозная писательница, Наоми Реген, в своем последнем романе «Дочь Ифтаха» представляет не менее драматичный сюжет: юная Бат-Шева, насильно выданная замуж за раввина, сбегает от него в Лондон, где окунается в совсем иную жизнь.

В свою очередь Яна Бат-Шахар (псевдоним, означающий «дочь утренней зари») опубликовала книгу «Сладкий вкус меда», состоящую из двух повестей о любви, счастье и страданиях в особом религиозном мире. Книга полна смело заявляющих о себе чувств, фантазии и эротизма. ния около пяти часов, хотя роман воспроизведен не полностью.

Как известно, «Поминки по Финнегану» — это сложнейшее повествование, близкое к потоку сознания и изобилующее каламбурами, игрой слов, смешением языков, фонетическими парадоксами и головоломками. Все эти элементы передают сны и кошмары дублинского трактирщика и его семьи, причудливо перемежающиеся со старинными ирландскими преданиями. По утверждению создателей аудиоварианта романа, подобную книгу надо слушать, поскольку так ее значительно легче понять. Критики полагают, что «Поминки по Финнегану» на компакт-дисках едва ли станут популярны, однако джойсоведы — как любители, так и профессионалы — охотно возьмутся за наушники.

■ Ирландия

СЛУШАЙТЕ «ПОМИНКИ ПО ФИННЕГАНУ»

Фирма звукозаписи «Наксос», знаменитая своими превосходными и недорогими записями классической музыки, также выпускает аудиосерию литературных произведений. Теперь к их числу добавился последний и самый замысловатый роман Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану», который автор создавал 17 лет и выпустил в виде книги в 1939 году.

Аудиовариант (текст читают актеры Джим Нортон и Марселла Риордан) представляет собой набор компакт-дисков с общим временем звуча-

■ США

ПУЛИЦЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ — ХОРОШО, А ДЕТСКИЙ САД ЛУЧШЕ

Как обычно празднуют вручение общенациональной литературной премии? Наверняка под звон бокалов с пенящимся шампанским. Во всяком случае, многие лауреаты устраивают подобные торжества для своих друзей и почитателей. Многие — но не воспитательница одного из детских садов Атланты, 37-летняя Мэгги Эдсон. Когда в этом году ее пьесе «Ум» была присуждена Пулицеровская премия в области драмы, Мэгги более чем скромно отметила это событие в местной пиццерии, заказав себе пирог со шпинатом и мягким сыром, а потом отправилась домой — спать. «В понедельник не до бурных увеселений — ведь рабочая неделя уже началась». Как объяснишь своим пятилетним воспитанникам, что ты — первая в США воспитательница детского сада, удостоенная Пулицеровской премии?

Но к идее написать пьесу Мэгги подвели другие ее подопечные — пациенты из палат для больных СПИДом и раком, где Мэгги работала до детского сада. Героиня ее насквозь литературной, странной пьесы — преподавательница английского языка, больная раком; она из тех натур, что смотрят смерти в

Мэгги Эдсон, лауреат Пулицеровской премии 1999 года

лицо, цитируя классика английской поэзии Джона Донна. Необычна не только героиня, но и вся пьеса, одной из тем которой является, по замечанию автора, пунктуация. Но еще более необычным можно назвать решение Мэгги не браться больше за перо. Своей музой она считает учебную комнату детского сада: «То, что происходит там, намного интереснее театра. Если меня хватит еще на 20 лет такой работы, я буду просто гордиться собой» .

ПИШИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Люди издавна писали письма-исповеди и вели дневники, даже не подозревая о том, насколько это полезно для здоровья, причем не только душевного, но и физического. Исследовать и доказать эту взаимосвязь решил ученый-психолог из Остинского университета (штат Техас) Джеймс Пеннбейкер — первопроходец в области «экспрессивного письма». Так, в ходе одного из экспериментов он сравнил две группы студентов, которые с приблизительно одинаковой частотой обращались к врачам университетской клиники. Первой группе было предложено излить на бумаге свои душевные переживания, а второй — описать нечто заурядное, например собственную спальню. Добиваться изящной словесности при этом не требовалось. В результате авторы драматического сюжета стали вдвое реже болеть.

Конечно, студенты — народ в целом крепкий. Но оказывается, для людей с физическими недугами эффект от этого необычного лечения еще удивительнее. Страдающие

астмой, доверив листу бумаги воспоминания о пережитых ими автокатастрофах, физическом насилии, разводах или сексуальных проблемах, стали дышать легче в среднем в 19 процентах случаев, а в группе с ревматоидным артритом улучшение почувствовали 28 процентов человек.

Если кому-то такие упражнения не подходят, то другой психолог — Терри Ванс — может порекомендовать «эпистолярную терапию». В книге «Письма домой» она приводит примеры того, как письма-откровения помогли людям избавиться от дурных спутников жизни или конфликтов. Кстати, письма можно и не отправлять, то есть их можно писать для себя в виде дневника. Кроме того, печатный или рукописный монолог эмоционально безопаснее устного, когда легко сорваться на крик и слезы. При письменном изложении отрицательные эмоции гасятся, ибо человек, буквально считывая то, что у него на уме, начинает понимать себя, и в результате растут его самооценка и уверенность в себе.

В этом на собственном опыте убедилась автор книги «Письмо как средство лечения» Луиза Десальво. Решив одолеть свою астму оружием пера, преподавательница английского языка во всех подробностях описала ее симптомы и порожденное ею чувство неполноценности. И болезнь отступила! Чтобы поддержать это состояние, Луиза продолжает принимать лекарства, однако о болезни она думать перестала. Значит, Дж. Пеннбейкер прав, утверждая, что «сочинениями рак не вылечить, но улучшить свое здоровье можно». Словом, пишите на здоровье!

■ Швеция

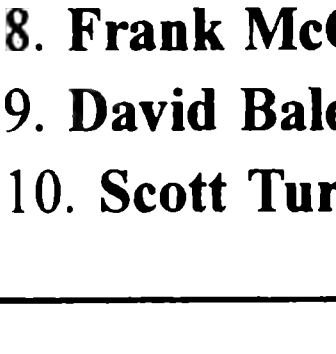
СТО ШВЕДСКИХ КНИГ ВЕКА

На рубеже столетий в Швеции решили выяснить, какие отечественные писатели и книги достойны титула «лучших в XX веке». Редакция популярной литературной телепрограммы организовала опрос, в котором участвовали 20 000 человек. Первую строку в итоговом списке из 100 книг и авторов занимает Вильгельм Муберг («Эмигранты»); далее следуют Харри Мартинсон («Аньяра») и Франс Бенгтсон («Красная змея»).

Безусловно, многие упомянули и всемирно известную Астрид Линдгрен («Пеппи Длинныйчулок»). Кстати, она — почти ровесница века — оказалась единственной из ныне здравствующих авторов в первой семерке списка. Его продолжают историко-географические произведения: серия публикаций о Стокгольме (автор — Пер Андерс Фогельстрём), «Повелитель Португалии» (Нильс Хольгерссон) и «Иерусалим» (Нобелевский лауреат Сельма Лагерлёф).

Как показал опрос, шведы ценят не только классику, но и произведения послевоенного поколения литераторов. В отличие от многих коллег-предшественников, они сумели выйти за рамки внутринациональной популярности. Это такие авторы, как Ян Гиллоу, Хеннинг Манкелль и Марианна Фредикссон, о которой следует сказать особо. Шведские критики упорно отказывают ей в признании, считая ее книги слишком легковесной беллетристикой. Тем не менее ни один современный шведский писатель не сравнится с ней в коммерческом успехе и популярности за рубежом.

По материалам газеты «Паис» (Испания), еженедельника «Ньюсуик» (США)



Книги, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров журнала «Ю-Эс-Эй тудей» (США) от 20 октября 1999 г.

1. **J.K.Rowling.** HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE
2. **Richard F.Heller, Rachael F.Heller.** THE CARBOHYDRATE ADDICT'S LIFESPAN PROGRAM
3. **J.K.Rowling.** HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN
4. **Robert C.Atkins.** DR.ATKINS' NEW DIET REVOLUTION
5. **J.K.Rowling.** HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS
6. **Sue Grafton.** O IS FOR OUTLAW
7. **Nicholas Sparks.** A WALK TO REMEMBER
8. **Frank McCourt.** 'TIS: A MEMOIR
9. **David Baldacci.** THE SIMPLE TRUTH
10. **Scott Turow.** PERSONAL INJURIES

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

КРИСТОФЕР ТЕЙЛОР БАКЛИ (CHRISTOPHER TAYLOR BUCKLEY; род. в 1952 г.) — американский писатель и журналист. Окончил Йейльский университет. В 70-е годы работал в журнале «Эсквайр», в 80-е писал речи для многих крупных вашингтонских политиков. С 1990 г. — главный редактор журнала «Форбс Эф-Уай-Ай». Автор романов «Неразбериха в Белом доме» («The White House Mess», 1994), «Зеленые человечки» («Little Green Men», 1999).
Роман «Здесь курят» был издан в США в 1994 году («Thank You for Smoking». New York, Random House).

ХАРРИ МУЛИШ (HARRY MULISCH; род. в 1927 г.) — нидерландский писатель, автор романов, рассказов, пьес, эссе, произведений документальной прозы. Произведения Х. Мулиша переведены на многие языки; его творчество отмечено литературными премиями. На русском языке опубликованы роман «Расплата» («De Aanslag», 1982; рус. перев. 1995) и несколько рассказов: «Что случилось с сержантом Массура» (М., 1971), «Усовершенствованный человек» (М., 1981), «Граница» (М., 1981).
Рассказ «Симметрия» («Symmetrie») взят из сборника «Рассказы» («De verhalen. 1947—1977». Amsterdam, De Bezige Bij, 1981).

РАДЕК КНАПП (RADEK KNAPP; род. в 1964 г.) — австрийский писатель, поляк по происхождению. Пишет на польском и немецком языках. Его первый рассказ «Доклад» («Ein Bericht») был напечатан в 1989 г.
Рассказ «Франек» взят из сборника рассказов Р. Кнаппа «Franio» (Wien, Franz Deuticke Verlagsgesellschaft, 1995), получившего премию за лучший литературный дебют на немецком языке.

КОРМИЛЬЦЕВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ (род. в 1959 г.) — поэт, переводчик с английского и итальянского языков. В его переводе публиковалась «малая проза» Дж. Р. Р. Толкиена, рассказы Р. Дала, Ф. Макдональда, Дж. Балларда и др. В «ИЛ» в его переводе напечатаны роман «Пока мы лиц не обрели» К. Ст. Льюиса (1997, № 1), повесть «Садовник» Е. Косинского (1997, № 10), рассказ «Вечеринка что надо» И. Уэлша (1998, № 4), эссе «По поводу «Раскрашенной птицы»: заметки автора» Е. Косинского (1999, № 3), опубликованы также его статьи «Поколение Икс: последнее поколение?» (1998, № 3) и «Сказка о Мальчике, которому до поры до времени везло. Судьба Ежи Никодема Косинского» (1999, № 3).

ГАБРИЕЛЕ Д'АННУНЦИО (GABRIELE D'ANNUNZIO; 1863—1938) — итальянский поэт, прозаик, драматург, политический деятель. Автор романов «Наслаждение» (1889), «Невинный» (1892), «Триумф смерти» (1894), «Девы скал» (1895), «Пламя» (1900), «Быть может — да, быть может — нет» (1910) и др.; драм «Мертвый город» (1898), «Слава» (1899), «Дочь Йорио» (1904), «Корабль» (1908) и др.; поэтических сборников «Весна» (1879), «Новая песнь» (1882), «Интермеццо рифм» (1884), «Римские элегии» (1892), «Альциона» (1904) и др. Многие произведения Д'Аннунцио переведены на русский язык, они представлены в Полном собрании сочинений (т.1—12, СПб, 1912), Собрании сочинений (т.1—2, М., 1994), сборниках «Сладострастие» (М., 1993) и «Леда без лебедя» (М., 1995). Впервые повесть «Леда без лебедя» была опубликована в «ИЛ», 1994, №4.
«Речь, произнесенная с балкона Капитолия 17 мая 1915 года» печатается по изданию «Per la Più Grande Italia». Milano, Fratelli Treves Editori, 1915.
Фрагменты автобиографической книги «Ноктюрн» («Notturno», 1921) публикуются по изданию «Ноктюрн», Пб-М., Гос. изд., 1923 (Всемирная библиотека).

АННИНСКАЯ (ИВАНОВА-АННИНСКАЯ) МАРИЯ ЛЬВОВНА — переводчик с французского и итальянского языков. В ее переводе издавались романы «Осень в Пекине» Б. Виана («ИЛ», 1995, № 3), «Ловушка для нации» Ж.-Ж. Арно; новеллы Б. Виана, Р. Гари, Т. Ландольфи, Д. Буццати («ИЛ», 1994, № 12), эссе А. Жида, Алена (Эмиля Шартье), статьи о современной французской литературе, «Мемуары» Андре Моруа (М., 1999); в «ИЛ» (1998, № 6) напечатаны фрагменты этой книги под названием «Воспоминания».

БОРИС ВИАН (BORIS VIAN; 1920—1959) — французский писатель, драматург, поэт, публицист и музыкант, автор шести романов, в том числе «Пена дней» («L'écume des jours», 1946; рус. перев. 1983), «Осень в Пекине» («L'automne à Pékin», 1946; рус. перев. «ИЛ», 1995, № 3), «Красная трава» («L'herbe rouge», 1950), «Разбитое сердце» («L'arrache coeur», 1953), а также пьес и новелл. Под псевдонимом Вернон Салливен написал четыре романа и одну новеллу.
Рассказ «Квартира в наперстке» («Un appartement dans un dé à coudre») взят из журнала «Констелласьон» («Constellation», 1952, № 49).

ДУБИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1972 г.) — кандидат филологических наук, переводчик с французского и английского языков. Автор статей о современной зарубежной литературе. В его переводе и с его комментариями вышли книги «Песни Мальдорора» Лотреамона (М., 1998) и «Андре Бретон. Антология черного юмора» (М., 1999). Автор публикации «К 100-летию со дня рождения Андре Бретона» («ИЛ», 1996, № 8).

ЖАК РИГО (JACQUES RIGAUT; 1898—1929) — французский писатель, близкий кругу парижских дадаистов. Подавляющее большинство произведений опубликовано посмертно: «Посмертные записки» («Papiers posthumes», 1934), «Сочинения» («Ecrits», 1970). В русском переводе рассказы Риго опубликованы в книге «Андре Бретон. Антология черного юмора» (М., Carte blanche, 1999). Текст «Э. Л.» при жизни Риго не издавался и впервые был опубликован в сборнике «Посмертные записки» (Paris, Au Sans Pareil, 1934).

ЖАК ВАШЕ (JACQUES VACHÉ; 1896—1919) — французский писатель, близкий друг лидера сюрреалистов Андре Бретона, во многом определивший его последующие взгляды. Оставил по себе лишь письма к друзьям, изданные Бретоном отдельной книгой «Письма с войны» («Lettres de guerre», 1919). В русских переводах письма Ваше публиковались в «Антологии черного юмора» А. Бретона; настоящий перевод дается по изданию Vaché J. «Lettres de guerre» (Paris, Au Sans Pareil, 1919).

АРТЮР КРАВАН (ARTHUR CRAVAN; 1881—1920) — французский писатель, англичанин по происхождению. Был некоторое время близок нью-йоркской группировке дада. Лишь несколько рассказов были опубликованы в издававшемся самим Краваном журнале «Maintenant» («Немедленно»). Русский перевод опубликован в упоминавшейся «Антологии черного юмора». Перевод рассказа «Оскар Уайльд жив!» выполнен по изданию Vaché J., Rigaut J., Cravan A., Torma J. Four Dada Suicides (London, Atlas Press, 1995).

ЗИГРИД ДАММ (SIGRID DAMM) — немецкая писательница; лауреат многих литературных премий: имени Лиона Фейхтвангера (1987), Теодора Фонтане (1994), премии Фонда Шиллера (1997) и др.; опубликовала несколько монографических исследований жизни и творчества немецких писателей, среди них работы о Фолькере Брауне, Гюнтере де Бройне и Саре Кирш. В 1988 г. вышла ее книга о Корнелии Гёте («Cornelia Goethe»). Документальный роман «Кристиана и Гёте» («Christiane und Goethe». Eine Recherche, 1998), созданный на основании изучения семейной переписки И. В. Гёте и Кристианы Вульпиус, занимает одно из первых мест в списке бестселлеров 1999 г.

ЗЛОБИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА (АЛЕНА ЗЛОБИНА) — литературный и театральный критик, автор многих статей, публиковавшихся в периодической печати. Лауреат премий журналов «Новый мир» (1995) и «Знамя» (1996). В «ИЛ» (1999, № 1) напечатана ее статья «Возвращение на землю».

МОКРОУСОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1965 г.) — литературный критик, автор статей по изобразительному искусству. В 1991—1996 гг. вел раздел «Книжный шкаф» в журнале «Огонек». Печатался в журналах «Современная драматургия», «29», «Московский наблюдатель». В «ИЛ» были опубликованы статьи «Бестселлер: русский акцент» (1994, № 7), «Траектория шляпы» (1997, № 2), «Шепоты и крики» (1997, № 6), «Слишком красивая полячка, или История одной неудачи» (1997, № 7), «Кругом одни попутчики» (1997, № 8), «Город как идеальная машина» (1998, № 1), «После конца света» (1998, № 7), «Читатель Будды, ценитель акробатов» (1998, № 12).

Переводчики:

ИЛЬИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1948 г.) — переводчик с английского. В его переводе издавались написанные по-английски романы и рассказы В. Набокова; «Король былого и грядущего» Т. Х. Уайта, «Волшебная сказка Нью-Йорка» Д. П. Донливи; «Каббала» Т. Уайлдера; «Чернее некуда» Н. Марш; «Вообрази себе картину» Дж. Хеллера («ИЛ», 1998, № 2), «Наша банда» Ф. Рота; «Осень в Петербурге» Дж. М. Кутзее («ИЛ», 1999, № 1).

БЕЛОКРИНИЦКАЯ СИЛЬВИЯ СЕМЕНОВНА — переводчик с немецкого, нидерландского, английского и шведского языков. В ее переводе публиковались: с немецкого — повесть «Судья и его палач» и рассказы «Пилат» и «Минотавр» Ф. Дюрренматта, романы «Немой», «Фотограф Турель» О. Ф. Вальтера; с нидерландского — книга «Убежище» (Дневник Анны Франк) (М., 1994), «Уроки английского» Й. Ванделоо, «Мертвый сезон» В. Рейслинка, пьеса «Сахар» Х. Клауса, рассказы Б. ден Ойла («ИЛ», 1975, № 11), рассказы Х. Мулиша; с английского — рассказы У. Фолкнера, Ф. С. Фицджеральда; со шведского — И. Бергмана (в сборнике «Осенняя соната», Библиотека «ИЛ», 1988).

КРУЖКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1945 г.) — поэт и переводчик, литературовед. В его переводе опубликованы стихи английских, американских, ирландских, французских поэтов, в том числе «Охота на Снарка» Л. Кэрролла, «Избранное» Дж. Донна, «Избранные стихотворения» У. Б. Йейтса. Пересказал для детей «Чашку по-английски» С. Миллигана, «Сказки Биг Бена» (диплом Международного совета по детской книге), «Неуловимый ковбой» (американские стихи, сказки), «Пак с Волшебных холмов» Р. Киплинга и др.

В «ИЛ» печатались его переводы стихов Йейтса (1995, № 2), Ш. Хини (1991, № 4), стихи Д. Энрайта (1994, № 3), У. Стивенса (1998, № 10) и др.

СОКОЛОВА ЕЛИЗАВЕТА ВСЕВОЛОДОВНА — переводчик с немецкого. В ее переводе в «ИЛ» напечатаны стихи австрийского поэта К. Любомирского (1995, № 8), немецких поэтесс У. Хан (1994, № 2 и 1997, № 7) и И. Тильш (1996, № 8), швейцарской поэтессы Э. Буркарт (1998, № 9), а также эссе Д. Грюнбайна «Галилей измеряет Дантов ад» (1998, № 1).

КОСАРИК ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА — переводчик с немецкого. В ее переводе печатались рассказы А. Мушга и Г. Гессе, повести «Запоздалая любовь» П. Хэртлинга, «Лунное затмение» Ф. Дюрренматта, романы «Власть безумия» Ф. Глаузера, «Потерянная пристань» М. Шпербера, «Гелиополис» Э. Юнгера, «Супероодиночки» Г. Эрнста, «Исчезнувшая миниатюра» Э. Кестнера. В «ИЛ» в ее переводе публиковались фрагменты книги «В дополнение к бедекеру» Г. Кунерта (1973, № 10), «Северная мозаика» Ф. Р. Фриза (1974, № 10), стихи и рассказы из австрийского журнала «Wespennest» (1993, № 11), фрагменты дневника Э. Кестнера «Нотабене 45» (1995, № 5), эссе П. Хандке «Опыт познания усталости» (1996, № 6), роман «Small World» М. Сутера (1998, № 9) и др.

РУССКИЙ ЖУРНАЛ
www.russ.ru

ежедневное сетевое издание,
посвященное наиболее актуальным
проблемам политической,
литературной и культурной жизни

ВЫХОДИТ В ИНТЕРНЕТЕ С ИЮНЯ 1997 ГОДА

Ежедневно на сервере РУССКОГО ЖУРНАЛА:

- ☑ рецензии на новые книги, журналы и учебники
- ☑ новости электронных библиотек русского Интернета
- ☑ последние события политической и культурной жизни
- ☑ аналитические обзоры масс-медиа
- ☑ дискуссионные форумы
- ☑ экспертные оценки и мнения по широкому спектру гуманитарных проблем
- ☑ новости киберкультуры и анализ различных вопросов развития Интернета

Русский Журнал (http://www.russ.ru)
103009, Москва, Малый Гнездниковский пер., д.9, стр.3б

ТЕЛ./ФАКС: (095)201-75-51 E-MAIL: journal@russ.ru

ИНСТИТУТ «ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО» (Фонд Сороса)
Представительство в Российской Федерации

МЕГАПРОЕКТ «ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

Итоги конкурса
«СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА — 1999»

Московское представительство Института «Открытое общество» сообщает об итогах конкурса «Современная зарубежная художественная литература — 1999».

На конкурс было подано 139 заявок от 131 переводчика.

Экспертный совет признал право на получение гранта за 26 подателями заявок:

1. **И.Е. АДЕЛЬГЕЙМ** (Москва). **Густав Херлинг-Грудзиньский** (Польша). «ГОРЯЧЕЕ ДЫХАНИЕ ПУСТЫНИ». *Рассказы, эссе.*
2. **А.С. АСЛАНЯН** (Москва). **Эдгар Хильзенрат** (Германия). «ПРЕДСМЕРТНАЯ СКАЗКА». *Роман.*
3. **В.О. БАБКОВ** (Московская область, г. Королев). **Дон Делилло** (США). «ИМЕНА». *Роман.*
4. **Н.М. БЕЛЕНЬКАЯ** (Москва). **Хуан Марсе** (Испания). «ЛЮБОВЬ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ». *Роман.*
5. **А.Г. БЕРЕЗИНА** (Санкт-Петербург). **Инго Шульце** (Германия). «33 МГНОВЕНИЯ СЧАСТЬЯ». *Рассказы.*
6. **А.С. БОГДАНОВСКИЙ** (Москва). **Жозе Сарамаго** (Португалия). «ГОД СМЕРТИ РИКАРДО РЕЙСА». *Роман.*
7. **И.Я. ВОЛЕВИЧ** (Москва). **Паскаль Киньяр** (Франция). «СЕКС И ИСПУГ». *Эссе.*
8. **Э.Э. ВОРОНОВА** (Москва). **Т. Корагессан Бойл** (США). «ДОРОГА В ГОРОД СЧАСТЬЯ». *Роман.*
9. **А.В. ГЛЕБОВСКАЯ** (Санкт-Петербург). **Кингсли Эмис** (Великобритания). «ЭТА РУССКАЯ». *Роман.*
10. **В.П. ГОЛЫШЕВ** (Москва). **Иэн Макьюен** (Великобритания). «АМСТЕРДАМ». *Роман.*
11. **С.Н. ЗЕНКИН** (Москва). **Ролан Барт** (Франция). «РОЛАН БАРТ О РОЛАНЕ БАРТЕ». *Эссе.*
12. **И.В. КОРМИЛЬЦЕВ** (Екатеринбург). **Ник Кейв** (Австралия). «И УЗРЕ ОСЛИЦА АНГЕЛА БОЖИЯ». *Роман.*
13. **В.С. КУЛАГИНА-ЯРЦЕВА** (Москва). **Чеслав Милош** (Польша). «СОБАЧОНКА У ДОРОГИ». *Эссе.*
14. **Е.М. ЛЫСЕНКО** (Москва). **Эрнесто Сабато** (Аргентина). «АВАДДОН-ГУБИТЕЛЬ». *Роман.*
15. **Н.С. МАВЛЕВИЧ** (Москва). **Эмиль Чоран** (Франция). «ИЗБРАННОЕ». *Эссе.*
16. **Н.Ф. МЕЧТАЕВА** (Москва). **Хавьер Мариас** (Испания). «БЕЛОЕ СЕРДЦЕ». *Роман.*
17. **Е.Д. МУРАШКИНЦЕВА** (Москва). **Амин Маалуф** (Франция). «ЛЕСТНИЦЫ ЛЕВАНТА». *Роман.*
18. **В.В. ПРОРОКОВА** (Москва). **Тама Яновиц** (США). «На прибрежье Гитчи-Гюми». *Роман.*
19. **Д.В. ПСУРЦЕВ** (Московская область, г. Лобня). **Дэвид Маалуф** (Австралия). «ВООБРАЖАЕМАЯ ЖИЗНЬ». *Роман.* «АНТИПОДЫ». *Рассказы.*
20. **А.М. ПЧЕЛИНЦЕВ** (Санкт-Петербург). **Доналд Бартелми** (США). «ШЕСТЬДЕСЯТ РАССКАЗОВ».
21. **О.К. РОССИЯНОВ** (Москва). **Магда Сабо** (Венгрия). «ДВЕРЬ». *Роман.*
22. **В.А. СКОРОДЕНКО** (Москва). **Анита Брукнер** (Великобритания). «ГОСТИНИЦА «ОЗЕРНАЯ». *Роман.*
23. **В.Б. СОЛОВЬЕВ** (Московская область, п. Переделкино). **Бен Окри** (Нигерия — Великобритания). «СТРАЖДУЩАЯ ДОРОГА». *Роман.*
24. **А.А. СТАРОСТИНА** (Москва). **Эуджен Урикару** (Румыния). «В ОЖИДАНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ». *Роман.*
25. **С.Л. СУХАРЕВ (МУРЫШКИН)** (Санкт-Петербург). **Кадзуо Исигуро** (Великобритания). «БЕЗУТЕШНЫЕ». *Роман.*
26. **Л.Н. ТОКАРЕВ** (Москва). **Франсуа Нурисье** (Франция). «УКРАДЕННЫЙ РОМАН». *Эссе.*

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

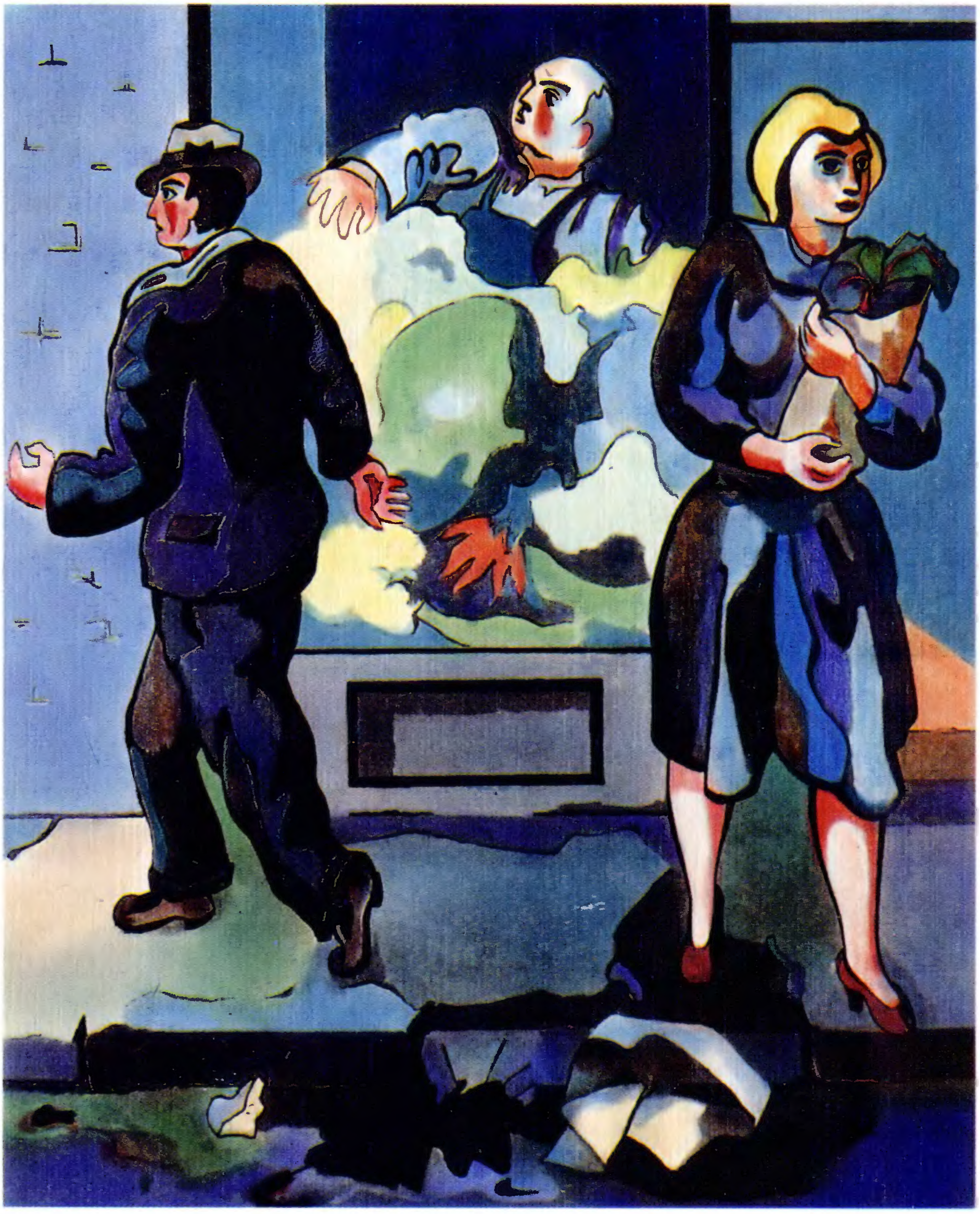
галерея
линия-арт

Среди ведущих
авторов Галереи
известные московские художники,
представители поколений
60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ
ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ
АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
ИГОРЬ КИСЛИЦЫН
АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
ОЛЬГА БУЛГАКОВА
СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ
ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО
ОЛЕГ СЛЕПОВ
КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Адрес Галереи:
Пятницкая ул., д. 41, стр. 1
(левое крыло
особняка)

Галерея открыта для посетителей
с 12 до 20 час.
по предварительным заявкам.
Тел./факс **953-3624**; **201-2603**



Внимание!

Возобновляется выпуск БИБЛИОТЕКИ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В нашей новой книжной серии *«ИЛЛЮМИНАТОР»*

ЧИТАЙТЕ

ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЛУЧШИХ ПЕРЕВОДАХ

По вопросам оптовых закупок обращаться в редакцию журнала «Иностранная литература»

Fax **(095) 953-5061**
E-mail **inolit@adicom.ru**

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1999, №11, 1 — 256.